10. 1975

Иностранная литература

ЗЛАТКА ДАБОВА *(Болгария).* Девушка

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

СОДЕРЖАНИЕ

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — Сады. *(Перевод с польского М. Игнатова и А. Ермонского)* 4

МИЛАН РУФУС — Из книги «Стол бедных» *(Стихи. Переводы со словацкого Олега Малевича, Виктории Каменской, Игоря Инова. Вступление Олега Малевича)* 31

ИРВИН ШОУ — Вечер в Византии *(Роман. Окончание. Перевод с английского К. Чугунова)* 40

АТ-ТАЙИБ САЛИХ — Сезон паломничества на Север *(Повесть. Окончание. Перевод с арабского В. Шагаля. Послесловие А. Давидсона)* 129

АЛЕН БОСКЕ — Стихи *(Перевод с французского Мих. Кудинова)* 171

ХАНС ЛИДМАН — Рассказы *(Перевод с норвежского и предисловие В. Якуба)* 174

Критика

Т. МОТЫЛЕВА — Снова о романе 199

Л. ЧЕРКАССКИЙ — Литературная жизнь Китая 50-х годов и Маяковский 206

Литературные портреты

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС — Яннис Рицос сегодня *(Перевод с греческого С. Ильинской)* 213

Интервью

АНТАЛ ГИДАШ — Разговор с самим собой *(Перевод с венгерского Агнессы Кун)* 220

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Огонь Прометея 224

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

10
ОКТЯБРЬ
1 9 7 5

СОДЕРЖАНИЕ

Культура и современность

Заметки на полях

Ю. Гусев — О национальном и интернациональном. Г. Богемский — Росселлини, год 75-й. Т. Коробкина — Съезд португальских писателей. 227

Публицистика

МАЙК ДЭВИДОВ — Письмо советским друзьям из «свободного мира» *(Перевод с английского В. Воронина)* 236

Изобразительное искусство за рубежом

МИРОСЛАВА БЕЗРУКОВА — Карл Миллес (К столетию со дня рождения) 259

Среди книг

Издано в СССР

В. Огнев — Четыре поэта. Мирзо Турсун-заде — Продолжение открытия 263

Издано за рубежом

Вацлав Садковский — Путь к партии. И. Левидова — Сегодняшнее, вчерашнее, вечное. В. Седельник — Находки и открытия. Вл. Вавилов — роман о новой Африке 269

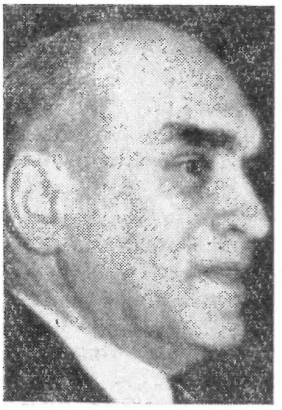
Из месяца в месяц 273

Авторы этого номера 286

На обложке: картина мексиканского художника ЭНРИКЕ БРАЙАНТА «Крестьянка».

На цветной вкладке: работы французского художника ИВА БРАЙЕРА.

© «Иностранная литература», 1975.



ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

Сады

■

Перевод с польского М. ИГНАТОВА и А. ЕРМОНСКОГО

Ежи Лисовскому

«Сады» — не раздел моих дневников или воспоминаний. Это род композиции из ландшафтов, людей, разговоров, событий — подлинных или возникших в моем воображении, соответствующим образом сгруппированных и помещенных в сады моей молодости, моей жизни вообще. Истолковывать эти картинки можно по-разному, но ссылаться на них как на свидетельства в пользу каких-либо исторических событий или характеров было бы небезопасно. Они весьма далеки от точности, и значительно больше содержится в них Dichtung, нежели Wahrheit[1].

Я. И.

I

Встарь не страдали
поэты на свете
Мир был как древо
они точно дети[2]

(Ружевич)

Когда-то поэты видели не только одно древо. Они видели скопища деревьев, которым ничто не угрожало, видели леса, видели сады. Может, уже вскоре не будет садов. Огромные пространства земли покроются мертвенно поблескивающими оранжереями, и цветы, как все остальное, будут производить промышленным способом — и никакой импровизации, никаких неожиданностей.

Матушка моя сажала крохотные черные зернышки, и из них две-три недели спустя вырастал в саду довольно большой куст, каких теперь не встретишь. Куст этот покрывался бутонами, которые распускались под вечер, словно разноцветные вывески для ночных бабочек. Это были мелкие колокольчики — красные, желтые или как из малинового ситчика в белую полоску,— и пахли они очень сильно. Цветок этот назывался «ночная краса». Я его уже не встречаю больше, нигде не встречаю. И был другой цветок, в отличие от того —

[1] Очевидно, имеется в виду знаменитая автобиография Гёте «Поэзия и правда». *(Здесь и далее — примечания переводчиков.)*

[2] Здесь и далее — стихотворные переводы А. Эппеля.

синий с белым. Он раскрывал свои выгнутые лепестки с утра, часов в одиннадцать, а закрывал перед заходом солнца. Цветок этот по тем временам был самым заурядным, хоть и не знаю его польского названия, а называли его «belle de jour». Очень нравились мне эти «бельдежуры», неразрывно срослись они с моим детством, и если случается подумать об этих цветах или увидеть их во сне, потом весь день у меня словно просветленный.

Но эти цветы сажали перед самым домом. А весь сад, довольно странный, простирался за домом и вокруг него. Окна в матушкиной спальне, которые были окнами и моей спальни, выходили прямо на буйные заросли сирени. Таких огромных кустов сирени впоследствии я уже не видывал, и по очень простой причине: сам подрос, и со временем все представлялось мне как бы значительно уменьшенным.

Главный сад тянулся за домом. А перед домом простирался широкий круг, засаженный ирисами и обрамленный живой изгородью. Ирисы тут были самые ранние, темно-лиловые, которые в Риме можно увидеть цветущими даже зимой, или поздние, серо-голубые. Эти два сорта сохранились в моей памяти, и я долго не знал, что могут существовать и другие разновидности. Даже теперь, когда произношу слово «ирис», когда слышу, например, имя английской писательницы Iris, я представляю себе только один из двух этих сортов — «iris germanica», низкорослый, темно-лиловый или высокий, серо-голубой. Тот круг перед домом обрамляла еще живая изгородь — я подолгу простаивал тут восхищенный, ибо отсюда виднелись гребля над прудом, обсаженная старыми ветлами, блики солнца, играющие на поверхности пруда, и вода, которая меня всегда восхищала. Было это место заветным для меня и по иным причинам. И этот сад, и живая изгородь, и полоска блеклой зелени ирисов окружали пространство, где в самом раннем детстве чудились мне какие-то нагие тела, корчащиеся в адских муках, какие-то полные страстей сцены, навеянные иллюстрациями Доре к огромным библиям, которые я разглядывал у соседей. Дом их располагался так, что крыша его высовывалась из зарослей крушины и барбариса, бурьяна и малины, начинавшихся тут же, за ирисами.

В доме этом, на первый взгляд, не было ничего примечательного, но что-то соединяло его в моем воображении с теми светлыми и темными ирисами и очертаниями темных дьявольских фигур, которыми французский рисовальщик населил свои преисподнии и которые казались мне вовсе не страшными, а только очень красивыми.

В дальний сад, лежащий позади нашего дома, вела калитка, что была рядом с крыльцом. Это крыльцо, дверь и несколько ведущих вниз каменных ступенек тоже были как бы частицей сада, частицей деревенской жизни, частицей, исполненной мечтаний, тихих, полупонятных для ребенка разговоров и далекого кваканья лягушек, которое было тут отчетливо слышно. Отец мой сиживал здесь вечерами и прислушивался к этому весеннему и летнему гомону.

Уже тогда — хоть я был еще очень мал — меня интересовало, о чем отец мог размышлять. Отец был суровым человеком, все в доме его боялись. О том, что получилось с тем восстанием, я не имел понятия, но отец, возможно, вспоминал, как сидел в тюрьме, как грозила ему ссылка в Сибирь и как он всего этого избежал. Почему? Об этом я никогда не узнаю.

Почему дядюшке Зигмунту, который был гораздо моложе отца (то есть лет восемнадцати), пришлось бежать за галицийский кордон, где он уже так и не смог оправиться... от повстанческих ран? хвори? простуд? — и через несколько лет после восстания умер. Знаю только, со слов матушки, что писали ему в Галицию как «кузине Зосе».

И так это меня ошеломило, что он обретался там под именем «кузины Зоси». Я испытывал глубокое влечение к этому дядюшке.

Прямо с крыльца через калитку проходили в сад. Здесь росли пионы. Красные и розовые. Но особенно они были красивы не в пору цветенья, а когда ранней весной начинали проклевываться из земли. Красные ростки, торчавшие словно клешни сваренного рака, медленно тянулись вверх. Каждый день я глядел на них и не замечал, чтобы стрелки подрастали, делались выше, однако спустя неделю они уже зеленели, теряли сходство с клешнями и их яркий багрянец сменялся лоснящимся изумрудом.

А рядом с пионами были кусты крыжовника. Такие же огромные, как сирень, ну, может, чуть поменьше, и так же очень рано они окутывались зеленой кисеей листков. Но это весной, а та сторона сада была царством лета. Тут летом кипела жизнь, тут стояла дряхлая решетчатая беседка, оплетенная диким виноградом, в беседке всегда плясали солнечные блики, пахло сыростью и какими-то заплесневелыми фруктами. Возле беседки сидела как-то бабуля Чекерская. И теперь сидит для меня, уже навсегда. Ведь я навестил недавно те места. Нет там ни дома, ни крыльца, ни сада, ни кустов сирени, ни крыжовника, вообще ничего нет, но как ни подумаю о том уголке сада, там всегда сидит бабуля Чекерская.

Это была бабуля сбоку припека, какая-то дальняя родственница, а может, и вовсе не родственница, которая жила вот эдак, кочуя из дома в дом, пока не уселась возле садовой беседки на веки вечные. Была она низенькая, сгорбленная, все лицо в морщинах, а под носом седые густые волоски, не усы, а какая-то поросль, словно трава или птичий пух. Бабуля говорила по-французски, что глубоко меня уязвляло, ибо я ничего не понимал, и ярко запечатлелась в моей памяти. Например, когда Гончаров упоминал в своем «Обрыве» о «бабушке России», то я всегда видел эту бабушку в образе бабули Чекерской. Почему? Ведь тут же не было ничего общего.

Бабуля так муштровала моих сестер — я-то был еще слишком мал,— что однажды, когда она собралась переезжать в какой-то другой дом, очередное ее прибежище, моя сестра сказала, скорчив плутовскую рожицу:

— Вот уж я наковыряюсь в носу, когда бабуля уедет!

Но беседка, полная тени и листвы, сумрачна, и нечего задерживаться здесь, нет ничего примечательного в беседке, следует избегать беседки — ведь рядом, в нескольких шагах, там, где цветут пурпурные пионы, есть чудесное местечко: все там веселы, и радостны, и озарены солнцем, если не ссорятся. Это площадка для игры в крокет.

В беседке ведутся серьезные разговоры. Это в беседке рассказывает о своей школе такая забавная, с ямочками на щеках, в синем берете и платьице в белую и голубую полоску Стася Шимановская. Ее матушка беседует с моими родителями в гостиной, там пьют чай и едят хворост (хворост — летом, почему?), а нам велено развлекать Стасю, но, собственно говоря, она нас развлекает. Как все Шимановские, говорит без умолку, и так много рассказывает эта пришелица из большого мира, и все у нее вперемешку: и Львов, и Сакре-Кёр, и Елизаветград, и Краков, и, признаться, ничего не говорят мне эти названия, а кажутся только волшебными, и все, о чем лепечет эта очаровательная девочка,— сплошное волшебство. Матушка выходит и говорит: «Возьмите Стасю на прогулку, покатайте ее», но что это за прогулка — тарантас да старая кляча,— пусть уж лучше барышни поиграют в крокет, но Стася удивлена: в крокет? Она терпеть не может крокет, ведь это такая скучища, а кроме того, все непременно перессорятся.

А потом рассказывает, как причащается в монастыре каждый месяц. Матушка поражена: так часто? Каждый месяц? А Стася рассказывает, как это бывает, когда причащаешься натощак и сразу же исчезает чувство голода, ибо Христос всего тебя насыщает своей плотью и ты уже не алчешь, не жаждешь. Матушка моя удивляется пуще прежнего. Она очень религиозна, но никогда не испытывает подобной экзальтации. А солнечные блики падают прямо на лицо Таси и ее очаровательные ямочки на щеках, и она такая приятная, и я так радуюсь, что она приехала к нам со своей мамой.

Но крокет есть крокет. Частенько я слышу во сне, как шары ударяются друг о друга со стуком, характерным для «месяца в деревне». Вероятно, снится мне этот крокет и все эти барышни с буфами на рукавах и молотками, кокетливо вскинутыми на руку.

В дальней комнате Фрузя шьет платья моим сестрам, там стоит манекен, на котором она прикидывает материю. Одно такое прекрасное, из тончайшей шерсти, белой в светло-коричневую полоску, и именно с такими огромными буфами на рукавах, как у барышень, что играют в крокет. И к тому же еще со вставочкой из коричневого шелка; как все это красиво выглядит на манекене, и как красива Фрузя, когда прилаживает этот материал и прикалывает его к вставочке булавками, которые достает изо рта, словно во рту у нее целый склад булавок и иголок.

А днем, на солнцепеке, все эти блузки такие лучезарные, яркие, и на каждом шаре поясок иного цвета — у одного черный, у второго лиловый, у четвертого зеленый. Моя сестра предпочитает шар с зеленым пояском. Он тяжелее других и издает особый сухой щелчок, когда по нему бьют. А если его приставить к другому шару, а потом хотя бы слегка подтолкнуть молотком, то первый летит далеко, в кусты, почти в малинник. Ведь прямо за крокетной площадкой — заросли малины. И цветут малиновые пионы.

В гуще малины есть одно-единственное «лесное дерево». Однажды пан Парчевский прислал матушке из леса саженец дубка, и она посадила его в этом месте. Дуб рос медленно, но я еще видел его там, когда в первый год первой войны посетил те края. Думал, что это деревце-реликвия останется тут навсегда. А когда приехал позднее, дуба уже не было. Между зарослями малины и узорчатой изгородью, мастерски сплетенной из ивняка здешними крестьянами только им известным способом, был такой уголок, где с одной стороны прикрывала тебя малина, а с другой — прочный, высокий плетень. Тут я прятался всякий раз, когда сестру навещали подруги, которых я смертельно боялся. Поныне у меня сжимается сердце при воспоминании о той минуте, когда, возникнув из-за плетня, склонилась надо мной прекрасная, изящно причесанная Зина К., которая отыскивала меня, припавшего к черной земле среди лопухов и крапивы под малиновым кустом и убежденного в полнейшей надежности своего укрытия. В ту пору мы, дети, также играючи, прятались от кого-нибудь, наряженного смертью, в белой простыне и с листком белой бумаги на лице вместо маски. Если меня, глубоко забившегося под кровать, находила «смерть», то сердце сжималось от ужаса точно так же, как и при виде прекрасной Зины, перегнувшейся через плетень.

За беседкой главная дорожка сада, обрамленная кустами крыжовника и зарослями сирени, подымалась вверх. Оставляла в стороне лужок, прячущийся среди кустов рядом с кирпичными стенами дома, и это веселое, благоухающее летом местечко. Стояла там на вольном воздухе печь для варки повидла и варений. Летом всегда сидела там матушка с ложкой или веселкой в руке, а на одиноко стоявшей печке, где пылали целые поленья, поблескивали огромные

миски, называвшиеся у нас тогда по-русски «тазами», медные, золотистые, в них клокотало темно- или светло-красное варенье из лепестков розы, пурпурное — вишневое либо темное сливовое повидло. На столике рядом стояла тарелка, куда матушка собирала пенки, которые напоминали розовый пух и из-за которых сражались дети-сластены...

Взбирающаяся вверх тропинка вела на «лужок», участок земли, где не было уже и следа садово-огородных поползновений, а стояли только плодовые деревья, как, например, две растущие рядом груши. Они стояли так близко друг от друга, что на них вешали гамак, в котором можно было качаться, как на корабле, и даже, при желании, вздремнуть. Щебетали тут птицы и гудели пчелы, хоть ближайшая пасека была довольно далеко, где-то там, за прудом, «в деревне»...

Груши ежегодно давали богатый урожай плодов, достоинство которых заключалось в том, что они не годились — или это не было заведено — для сбора и какой-либо переработки и их можно было есть прямо с дерева. Ели их еще недозревшими, ибо, созревая, они делались как каша и теряли всякий вкус, по крайней мере не нравились нам, детям. Сестры съедали этих груш несметное количество...

Под грушами был не только гамак, были там и качели. На этих качелях я раскачивал мою подружку детских лет, Янинку. У Янинки были короткие чулки из красной шерсти и обнаженные коленки. Матушку мою коробило, что Янинку одевают так вызывающе. А для меня эти красные чулки были чем-то заколдованным, чем-то из страны чудес или волшебной сказки.

Вообще все пространство вокруг этих груш было заколдованным. Тут всегда что-нибудь происходило. Моя фантазия, подхлестываемая этими немудреными сценами, творила сложные картины. В траве и под гамаком мне мерещились какие-то крохотные деревянные церковки, а в них множество таких девчушек, как Янинка, только поменьше и с более обнаженными ногами. Церковки эти, словно могильники, прикрывали тела повстанцев, а повстанцы были все очень молоды, и очень красивы, и с обнаженной грудью, как на рисунке Гротгера [1], или как иудейские воины, которые на иллюстрациях Доре шли воздев мечи.

Ни с чем не сравнимы впечатления от этого луга. Когда ночью, после ванны, я нежился в постели, накормленный молочной кашей, в засыпающей голове возникали какие-то туманные картины, нагие люди, придавленные огромными решетками, которые лежали на лугу как гигантские железные бороны. Из-под этих железных борон высовывались обнаженные руки и девчачьи ножонки в коротких красных чулках.

Ночами я бродил во сне по этому лугу. Порой вел меня за руку отец. Но я упирался изо всех сил, ненавидел отца и не желал идти туда, куда он меня вел. Я хорошо видел, что был там зеленый обыкновенный курган, а под тем курганом спал по-юношески прекрасный дядюшка Зигмунт.

А иногда ночные скитания по удивительному лугу становились невыносимой мукой. Я искал спасения у матушки. Она успокаивала меня, тоже брала за руку. Но матушку я любил. И не боялся идти с ней все дальше и дальше.

Лужок заканчивался высоким деревянным забором, отделявшим наш сад от огородов, где росли картошка, свекла и подсолнухи. Вдоль забора тянулись рядком вербы. В августе полагалось взбирать-

---

[1] Артур Гротгер (1837—1867) — польский график и живописец, представитель романтизма.

ся на них с запасом свежих огурцов и громадными шапками зрелых подсолнухов в руках. С верб открывался вид на огороды, которые, собственно говоря, были уже полями, далее простирались настоящие ровные и однообразные поля, откуда тянуло запахом цветущих будяков и словно бы дыханием Черного моря. Разумеется, в моем воображении. Я сидел на этих вербах с сестрами, а они распевали попеременно то украинские, то патриотические польские песни.

Это был сад моего детства.

II

В Тымошовке к дому подъезжали со стороны маленького крылечка, украшенного довольно забавными деревянными аркадами. С крыльца проходили в переднюю, а потом в длинный коридор. Из этого коридора некогда выплыла мне навстречу бабушка Таубе, о которой я был весьма наслышан. Я очень удивился, что это такая крохотная, совсем седая старушка. Слева по коридору были комнаты, за спальней Нули — большая столовая, за столовой квадратная библиотека, а потом просторная, кажется в шесть окон, гостиная. Из библиотеки можно было попасть на широкую веранду, откуда лестница вела в главный сад.

Перед верандой была обширная площадка, а потом край обсаженного цветами откоса, по которому широкие дорожки размашистыми зигзагами круто сбегали к самому пруду. Если же от этого пути отказывались, то оставалась верхняя дорога, и тогда шли напрямик по террасам, которые тоже постепенно спускались к воде.

Цветы росли только по краям откосов, у змеящихся вниз дорожек, а на террасах стояли одни фруктовые деревья таких диковинных сортов и летом обычно столь обильно усыпанные плодами, что воспоминание о Тымошовке всегда связывается у меня не с цветами, а с плодами.

У самого спуска стояла скамья, на которой я беседовал со Стасей о музыке. Что значило говорить с ней о музыке? Это был разговор только о песнях. О Шуберте, о Малере и об ариях. От этих разговоров в памяти моей навсегда сохранилась мелодия из «Лакме», так как по дороге домой я, изображая колоратурное сопрано, пытался выводить рулады знаменитой арии с колокольчиками, или опять-таки преследующая меня поныне мелодия полонеза Филины из «Миньон» Тома.

Порой теперь, уже в старости, когда причесываюсь в гардеробной или надеваю рубашку, звучит у меня в ушах этот помпезный полонез. Сперва не могу припомнить, что это за мелодия, откуда взялась и почему так меня преследует, а потом невзначай возникает передо мной тенистая дорожка того сада, Стася, сидящая на скамье и напевающая арию, которая вовсе не отличается какой-либо красотой. И я думаю, почему от этого прекрасного сада, старого дома и этих небывалых воспоминаний не остались у меня мелодии красивые, чарующие или хотя бы нежные, а приходит эта пустая колоратурная мелодия Филины! И становится символом молодости, дум и волнений, которых уже ничто не заменит.

В Тымошовке были три памятные скамьи. Разумеется, для меня памятные. Одна — именно та, где я говорил со Стасей о музыке и где она напевала мне свои любимые песни и арии с несравненным очарованием старшей сестры, а вторая — совсем в другом конце сада. Пройдя коридор, на котором как бы держался весь дом, через комнату Фелека можно было попасть на крылечко, а затем и в сад, в

самые дебри; здесь была небольшая лужайка, и с нее днем открывался самый восхитительный вид в Тымошовке. Отсюда были видны пшеничные поля и все восемь ветряных мельниц, выстроившихся у поворота, то есть у самого въезда в деревню. На этой лужайке стояли «гигантские шаги», которые мы называли по-французски «pas des géants», и та, вторая заветная скамья.

Скамья эта была свидетельницей моих встреч с младшей из сестер Кароля, Зёкой. Нас связывала в то памятное лето, когда я гостил в Тымошовке после сдачи экзаменов на аттестат зрелости, большая дружба, которая, вопреки обоюдным усилиям, не желала перерасти в любовь. Женщина, моя ровесница, смотрела на меня как на мальчишку, у нее были свои, взрослые и очень серьезные увлечения, я же не слишком разбирался в обуревавших меня чувствах, был далек от страстей и решительных действий, имел весьма туманное представление о собственных планах на будущее и о том, к чему стремился, но разглагольствовать был способен часами. Она тоже. И вот именно эта садовая лавочка становилась хранительницей наших полупризнаний, полукомедиантских поз, исполненных незрелого притворства, и разговоров полунамеками, которыми давалось понять, что в нас бушуют страсти. А это была только поза.

Третья памятная скамейка стояла на веранде, на большой веранде. На ней усаживалась Нуля, когда подбирала букеты цветов для всего дома. Было это занятие «трудоемкое», и посему ей требовался кто-нибудь для разговора. Очень часто я выполнял роль этого собеседника.

Последнее время с легкой руки тех, кто любит потолковать о том, о чем не имеет ни малейшего представления, распространились нелестные отзывы о старшей сестре Кароля Шимановского. Это всегда меня крайне огорчало. Действительно, к старости Нуля, возможно, и сделалась несносной, но ведь, прежде чем состариться, она была молодой, пухленькой, красивой девицей с огромными голубыми глазами, похожими на глаза Кароля («Elle ressemble à des mauvaises photos de Karol»[1],— говорила о ней Козелька), одевавшейся, как правило, в красное или розовое. Женщины знают, как нехорош для одежды розовый цвет, однако Нуля питала к нему слабость, и я помню ее только в розовых тонах. Иногда она вся пламенела. Было у нее огненно-красное платье с коротким болеро, и в этом туалете она позировала Марусю Добровольскому в гостиной тымошовского дома,— при сем я присутствовал, спрятавшись за одним из кресел. Марусь Добровольский, состоявший через Крушинских в родстве с Шимановскими, был тогда красавцем студентом Академии изящных искусств в Кракове. Холостяцкую комнату во флигеле он украсил «восхитительной фреской», а проще говоря, нарисовал углем над постелями мальчиков огромный хоровод русалок. Это были пляшущие нагие женщины, и некоторые лицом явно напоминали горничных и дворовых девушек из тымошовской усадьбы. Марцели Добровольский стал впоследствии респектабельным профессором, историком искусств, одним из серьезнейших людей в серьезном Кракове, но все краковские профессора были когда-то молоды, о чем порой совершенно забывают.

К Нуле я всегда питал большую симпатию и, говоря по правде, считал ее четвертой сестрой. Впрочем, так сложились обстоятельства, что я встречался с ней чаще, чем с ее братом. Нуля изнывала от скуки в Тымошовке, Варшавы ей было мало, на заграничные вояжи не хватало денег, поэтому она часто гостила перед первой войной в Кие-

[1] Она напоминает худшие фотографии Кароля *(франц.)*.

ве, а во время войны проводила там целые зимы, останавливаясь у тетки, Юзефы Шимановской, в одном с нами доме либо неподалеку, и мы ходили на концерты и в оперу. Впервые я слушал «Валькирию» Вагнера в киевском оперном театре вместе с ней. Осенью 1912 года мы были на киевском концерте Артура Рубинштейна, а после концерта пошли к нему в артистическую комнату купеческого клуба (ныне филармонии), и Нуля напомнила Артуру, что мы с ним знакомы, благо тем летом нам довелось повидаться в Тымошовке, на балу у Кароля Растишевского... Артур приехал тогда глубокой ночью на автомобиле (по тем-то временам!) с Натальей Давыдовой. Я один заметил подкативший автомобиль и первым отворил дверцы. Ничего удивительного, что шестьдесят лет спустя, войдя в гардеробную Рубинштейна после концерта в Риме, я сказал великому артисту: «Только не преклоняй предо мной колена, Артурек!»

На этом римском концерте я сидел рядом с каким-то молодым итальянцем, которого весьма заинтриговало то, что я знаю Рубинштейна с 1912 года. Но я не очень-то мог объяснить ему все обстоятельства этого знакомства. И как объяснишь итальянцу, что такое и Киев, и Тымошовка, и Нуля, расставляющая цветы в вазах, и все то, из чего складывалось настроение тех летних дней, и то, что и я был молод, и Рубинштейн был молод и помнил об этом сейчас, играя так дивно, с такой отрешенностью и таким пиететом концерт Брамса. Это была великая музыка, а содержание интерпретации Артура в римском зале знали только два человека: Неля Рубинштейн и я. Только мы понимали, в чем суть этой отрешенности, успокоения и захода солнца, которая так поразительно звучала в этом небывалом концерте.

Помнил я тогда и о минутах, проведенных на веранде тымошовского дома возле Нули, которая расставляла цветы в вазах.

Цветы были скромные, все больше астры самых разнообразных оттенков. Я хотел их смешать, однако Нуля предпочитала для каждой вазы подбирать астры одного цвета: темно-красные к темно-красным, светло-лиловые к светло-лиловым. В крайнем случае она допускала нарастание интенсивности оттенков одного и того же цвета. Например, от светло-красного до пурпурного. Целые груды срезанных астр лежали между нами на столике, а Нуля подбирала их почти машинально, не переставая болтать, не переставая посвящать меня в тайны собственные, а заодно и чужие. Мне нравились астры светлые, белые и махровые, как страусовые перья, и кремовые, словно крупные звезды. Попадались там и астры, которые мы называли ситцевыми: лиловые в белую полоску.

Садовники в Тымошовке были волшебниками, жрецами и чернокнижниками. Во времена моего детства таким был Грейбер. Потом я уже не признавал никого другого, мне претил ученый Шеленговский, который преобразил великолепный тымошовский сад и украшал террасы самыми необычайными цветами,— я не желал его знать! Для меня всегда существовал только Грейбер, высокий, грузный, с черной бородой и кучей дочерей, которые из года в год поочередно выходили замуж и которые подглядывали за мной, когда я водил всю нашу ребячью ораву к «господам грушинским» или «господам сливинским», поскольку «господа яблочинские» были еще несъедобны.

Крытый железом домик Грейбера, единственное, что сохранилось теперь от всей усадьбы, располагался в низинке, уже на границе между садом и деревней, и из его окон открывался вид на крестьянские хаты и овины, которых не было видно из дома. Павильоны, отпочковавшиеся от большого дома, зачастую оберегали нечто поважнее того, что хранил особняк. Подобно стенам холостяцкого фли-

геля, украшенным голыми нимфами Маруся Добровольского, и домик Грейбера не раз бывал cubiculum[1] любви. Он дышал теплом и ароматами, и под его низкими потолками ютились тайны не только сладостные — порой горькие, грустные, создававшие в жилище садовника тяжелую атмосферу. А может, лишь я один знал об этом? Тем больше я волнуюсь при виде высовывающегося из зеленых остатков сада железного хребта этой крыши, единственного, что сохранилось от тех времен.

Нуля пространно рассказывала о зиме, которую провела однажды в Тымошовке. В Елизаветграде были какие-то болезни, и пришлось с маленькими девочками, мадемуазель Дениз, Каролем и юным тогда Фелеком Збышевским провести зимние месяцы в пустом, холодном, почти неотапливаемом доме. Кароль ходил тогда по соседним хатам и приносил мелодии, которые обрабатывал, как позднее курпьивские песни. Нуля опрокинула керосиновую лампу и сильно обожглась, что продлило их пребывание в деревне. Под самыми окнами Нулиной комнаты росли высокие деревья, осенью и зимой они терлись ветвями о кровлю. Она рассказывала о длинных, страшных ночах... Кароль поставил фортепиано где-то по соседству и играл ночами. Нуля говорила, что с тех пор не выносит «Зигфрида» — там «шелест леса» и колоратура пташки, тут — действительно страшные деревья, и боль от ожогов, и лихорадка, и одиночество, и какая-то заброшенность...

Площадку перед верандой обрамляли высокие бальзамины, непригодные для букетов. Бальзамины были отменной красы, с крупными цветами, а потом появлялись на них семена, которые забавно скрючивались, если их сожмешь. Я говорил, что лишь под нажимом они обнаруживают свою подлинную сущность.

Но справа от крыльца, между домом и воротами, простирался особый, героический участок сада. Не было там заурядных деревьев, заполнявших тенистые террасы, а также фруктовых деревьев и ягодников, не было и цветов, самое большее — островки георгинов, тогда еще примитивной формы и не выделяющихся броскостью расцветки,— там зеленели лужайки, покрытые не слишком ухоженным газоном, смахивающие на горные полонины, а на них виднелись купы хвойных деревьев и вечнозеленые кустарники, крайне чуждые для украинского пейзажа и выглядевшие как-то искусственно.

Ели и туи грудились темными пятнами в скопища, которые напоминали декорации в Байрёйте, пустошь из второго акта «Валькирии».

В массивных дубовых сундуках на чердаке этого восхитительного дома, среди всевозможных нарядов, мишуры и прочего пестрого реквизита, хранились крылатый шлем и длиннющая пика, а также одеяние Брунгильды, в котором она является Зигмунду, когда приносит ему смертный приговор.

Это одно из самых волнующих мест в музыке Вагнера, что, впрочем, не о многом говорит, ибо музыка его по своему существу не волнует и редко обращается к нашему чувству.

Но эти доспехи: воздушное одеяние, развеянное вихрями «полета», копье в руке и крылатый шлем на голове — были излюбленными атрибутами Нули. Она облачалась в них и часто, наряженная дщерью Вотана, шла в ельник на лужайки и вставала на фоне неба, которое здесь, в этом единственном месте, вырастало прямо из пшеничного поля и вздымалось вверх позади шеренги ветряков.

---

[1] Здесь — приют *(лат.)*.

Кто-то сфотографировал Нулю в этом наряде. Я храню эту фотографию на память о Тымошовке, о тех беседах, и той дружбе, и о том странном саде, полутенистом, полуозаренном солнцем.

Таким образом, этот уголок украинской земли, этот таинственный сад приобщили меня к области, доселе мне совершенно чуждой, к музыке Вагнера. Впрочем, и разговоры в саду, и составление букетов, и прогулки под сенью старых дерев, чьи ветви двигались словно руки скрипачей, были насквозь музыкальны. Все здесь было музыкой, все играло и говорило об игре и как бы стремилось к тому, чтобы стать звуком, превратиться в полновесное, чарующее звучание, голоса скрипок, фортепиано, любви.

Пожалуй, наиболее примечательным во всем этом было то, что, находясь тут, рядом с великим польским композитором, я оставался безразличен к его творчеству и польской музыке вообще и начинал жить музыкой Вагнера, его искусством, складывающимся из самых различных компонентов — поэзии, драмы, музыки, движения, цвета. Прежде я не знал Вагнера, то есть знал о нем все из книг, но никогда не слышал. Здесь, в тенистых аллеях, сбегавших к пруду, и на странных лужайках, где темнели купы елей и сосен, являлись мне герои вагнеровских драм, и прежде всего та Брунгильда, образу которой было суждено остаться со мной уже навсегда.

Тогда я еще никого не видал в роли Брунгильды, видел только мою кузину в ее фантастическом наряде, видел тот крылатый шлем, то копье, те огромные глаза, которые смежил последний, смертный сон в отсветах колдовского огня.

Видел я потом много-много певиц в роли Брунгильды, видел много представлений «Валькирии». Сперва в Киеве, потом в Варшаве, где такой поразительной Брунгильдой была Збоинская-Рушковская, такой прекрасной Марго Кафталь. Как сейчас вижу красавицу Марго, которая выходит на сцену под молчание оркестра и, припав к белому коню, бросает Зигмунду эти страшные и значительные слова:

И только смертник
видом схож со мной,
меня узревшие
невзвидят свет живой...

А потом Брунгильда в Байрёйте, скандинавская дева, такая величественная, а потом в Палермо, в Teatro Massimo, где скользил еще за кулисами призрак короля Рожера, грядущую встречу с которым я, быть может, также предчувствовал уже тут, в Тымошовке,— на голой сцене, очищенной от старых декораций Виландом Вагнером (который ребенком сидел рядом с нами в ложе в Байрёйте в 1931 году), Брунгильда, засыпающая не под шорох пара, улетучивающегося из спрятанных труб, но под звуки немыслимых скрипичных пассажей, Брунгильда всегда, на любом месте, в любом театре воскрешающая в моей памяти образ того незабвенного сада.

Брунгильда, которая, как Валькирия Словацкого, говорила:

Что ж! Пускай отнят силой!
Он наш будет снова!
Наш! От дела до слова!
Как арфы плач унылый,
Как звезд блистанье в тверди!
Наш будет! Наш! До смерти!

В этом заколдованном саду подстерегала меня всюду, на любой скамье, под каждым деревом муза звуков, таинственная и властная Музыка. Она сопутствовала моим беседам о песнях, о любви, о цветах — обо всем, о чем бы я здесь ни разговаривал.

Сойдя по террасам в низину, к голубому зеркалу большого пруда, мы встречали там дерево райской яблони в ту пору, когда я навещал Тымошовку, густо усыпанное румяными плодами цвета нарядов моей кузины. А пруд был величиной с порядочное озеро, мы катались по нему и днем, и вечерами и порой простаивали у воды до тех пор, пока не показывался месяц, взмывающий над пологом лиловой дымки, как ноктюрн для флейты.

Впрочем, эта дымка появилась позднее, по вине театра, по вине фантазии. На Украине нет такой дымки, воздух чист. Он прикрывал хрустальным колпаком этот сказочно раскинувшийся простор, эти прозрачные воды пруда моей молодости.

Тут была банька, где мы все мылись, тут была привязана лодка, способная заменить все скамьи и превратиться в самое удобное место для разговоров о музыке, литературе, цветах.

Я не помню этого сада в дождь. Разве что в час свирепой грозы, в час мимолетного, но страшного единоборства вихря с тучами. Думая об этом саде, я всегда вижу непорочную голубизну пруда, вижу на этом фоне пурпур берета, который мне давала тогда поносить одна из женщин, и над сапфиром вод голубизну неба, пышущего ласковым зноем.

Итак, повторяю, у самого берега стояло небольшое, очаровательное деревце, «райская яблонька», хрупкое и изящное по своим контурам, чьи ветви, словно на итальянской фреске, покрывались к концу лета густой россыпью мелких плодов, этими дивными яблочками. Красные плоды на фоне темных дерев нижнего сада и на фоне голубой воды пруда были чем-то безгранично умиротворяющим. Может, потому, что деревце называется райской яблоней и что выглядит оно словно бы пришелец из иного, лучшего мира?

Но, вероятно, оно уже на этом месте не растет.

III

В ту эпоху, когда я «обосновался» в Бышевах, сада, в прямом смысле этого слова, там уже не было. Разумеется, не было его и позже, когда я посещал те места пятьдесят и шестьдесят лет спустя, но всеобщее запустенье, достигшее здесь апогея после первой мировой войны, уже лишило эту очаровательную усадьбу клумб и цветников. Еще в окно нашей комнаты в мезонине заглядывали ветки высокого куста сирени, которую я никогда не видел цветущей (кажется, она была белой), еще среди яблонь у пруда виднелись остатки жасмина. Жасмин держится очень долго даже в запущенных садах и возле разрушенных домов, как доказывает практика последних лет.

Однако сохранился общий контур планировки окружающего дом пространства, сохранился великолепный, могучий и одинокий дуб, который неведомо откуда взялся, ведь дубравы тут, пожалуй, никогда не было. Разве что было это место — издревле освященное обитанием человека и культурой, расположенное именно в низине, чтобы сад удался на славу, место, облюбованное какими-то давними предками,— благоприятным из-за множества своих древних седалищ для целей, в коих я им воспользовался: для раздумий и весьма принципиальных переживаний.

Контуры былой планировки угадывались в том, что возле дома виднелись остатки цветников, там, на задах, где был пологий спуск к двум прудам-сажалкам, все лето подернутым зеленой ряской.

Вот между этими-то сажалками и пролегала тропа, и у нее стоял дуб. Возле тропы похоронили какого-то партизана, но уже в эпоху

второй мировой войны, я там бывал, там предавался раздумьям, там я находил себя, каким был до первой мировой.

За сажалками начинался подъем, и здесь, на горе, рос густой сосновый бор. Посреди этого бора вздымался пригорок. Что это было, не знаю. То ли заброшенный ледник, то ли могила, то ли какой-то курган. Часто этот курган бывал целью прогулок и разминок, поэтому опоясывала его проторенная тропинка, а на склоне кургана рос одинокий куст лещины.

Неподалеку от кургана под тремя старыми соснами стояла скамья. Видимо, об этой скамье заботились, убирали на зиму в подвал или сарай, ибо она не ветшала много лет. Скамья эта не предназначалась для разговоров. Разговаривали, скорее, прохаживаясь по тропе, огибая лесок, перебираясь через канаву, которая некогда опоясывала весь сад, отделяя его от полей, а теперь поросла высокой лещиной, всегда усыпанной орехами, и забираясь все дальше в мелколесье, которое с годами превращалось в молодой, затем старый лес, а из леса — просекой, на удивительно светлую и благоухающую поляну, украшенную белым зеркалом пруда, который назывался Ключи. Таков был маршрут бесед.

На скамью я усаживался с книгой. Там читал целыми днями, свободными, светлыми днями, пронизанными запахом смолы, пением и посвистом: у иволг была здесь штаб-квартира.

Это здесь я прочел книгу «Многообразие религиозного опыта» Уильяма Джеймса, которая произвела на меня огромное впечатление, здесь читал очерки Кристиансена по истории искусств, из которых ничего не запомнилось, кроме принципиального отличия живописи от графики, того отличия, которое преследует меня всю жизнь.

Черные, взлохмаченные сосны и немолчный гомон птиц сопутствовали моему прозрению. Прозрение заключалось не в приобретении религиозного опыта, а опыта, как такового. Вот они — те важные вопросы, о которых следует думать, и так надо чувствовать, и не то важно, что продано или куплено то либо иное, а то, что так или иначе подумалось.

И тут, под этими соснами, я окончательно убедился, чего стоят человеческие взаимоотношения, что значит дружба, что значит любовь.

Хотя, собственно говоря, это была эпоха дружбы. И потому дружба неразрывно срослась в моих воспоминаниях с этим запущенным садом, с этим маленьким, непостижимым курганом, на котором торчал одинокий куст лещины.

Довольно длинный эпизод, связанный с заглохшим бышевским садом, который часто входит в мои описания, в мои книги, занимая там весьма заметное место, сливается в моей памяти с очень коротким, всего лишь однодневным событием — экскурсией всей нашей юной оравы в Лович и Аркадию, сказочный парк, расположенный под Ловичем.

Это была очень своеобычная экскурсия, завершившаяся огромным пешим переходом от станции Рогов по шоссе, существующему и поныне и до сих пор живописному, хотя и утратило оно свое украшение — вековые деревья, еще недавно видневшиеся на окраине фольварка Рогов, через Бжезины и Липины до Бышев. Ночь летняя, погожая, спокойствия которой ничто не смущает, запахи лета и летнее настроение — не драматической любви, а безмятежной дружбы — moderato ma cantabile [1] — так можно было бы определить это настроение сегодня.

Аркадия, после привычной пустоты и запустенья, казалась чем-то сверхъестественным. Эти домики и святыни, этот до половины заросший осокой пруд, с которым были связаны какие-то непонятные ле-

[1] Умеренно, но певуче *(итал.)*.

генды, так резко противоречили моей прежней жизни. Впрочем, противоречили они и грубоватой простоте сельского бытия, которое если и заключало в себе поэзию, то поэзию неосознанную, прикрытую какими-то наслоениями и зарослями, из которых она смогла высвободиться лишь через годы, но до того бойко, что высвобождается еще и по сей день и еще сегодня способна скрасить воспоминание, вздох и все то, что называют самым сокровенным. Неужто в ту пору я был еще столь ребячлив, что все эти впечатления оставляли такой неизгладимый след, пролагали такие глубокие русла для «Ключей» — так назывался любимый пруд,— что поныне питают они и мои воспоминания, и мою нежность, и мою внутреннюю жизнь?

Ночь была июльская, чудесная, когда мы брели гуськом между Роговом и Бжезинами,— сами эти названия и поныне звучат для меня словно какое-то сказочное заклятье. Шоссе между Роговом и Бжезинами — экзотический шлях, где разыгрываются все мои скитания Синдбада, все мои рассказы Шехерезады, все арабские сказки, композиции Римского-Корсакова, и Равеля, и Шимановского, и единственная моя композиция на эту тему, что была исполнена в главе о филармоническом концерте моего романа, где сочинены и несуществующий текст, и несуществующая музыка для несуществующих, а вернее, живущих лишь в моем воображении людей — для Эдгара и Эльжбеты, моих обожаемых друзей. Очень я их любил, может, именно потому, что они никогда не существовали.

Однако прежде, чем все это спустя много-много лет, после бесконечных колебаний, раздумий, страхов, сожалений, после двух пережитых войн, которые не щадили таинственных садов, вернулось ко мне, я записывал все это тут же, по горячим следам, вставлял фантастические размышления о дружбе в созданный сразу же по возвращении из Ловича роман, который носил ныне забытое мною название.

Чего бы я не дал за то, чтобы прочесть теперь двенадцать глав этого огромного романа, где были собраны описания взволновавших меня книг и садов и запечатлены бышевские и тымошовские скамьи, звездное небо — свидетель первых поцелуев, и образы тех, рассеянных по разным эпохам моей жизни женщин и мужчин, которых мне хотелось собрать в одном месте.

Тот «большой» роман о дружбе многие годы находился в руках моей тогдашней приятельницы, сопровождал ее в скитаниях по литовским пущам и брегам Вислы, пока, наконец, не сгорел в багровых отсветах первых дней последней войны. Тогда не было времени ни на романы, ни на воспоминания о дружбе, ни даже на любовь и на странствования по Аркадии.

Роман был, разумеется, незрелым, грешил подражательностью, причем второстепенным образцам, молодежи в нем приписывались ощущения взрослых, и все герои весьма наивным образом неожиданно стекались в Лович и Аркадию. Юра Миклухо-Маклай, названный в романе Уриилом в честь архангела, играл важную роль как любовник моей приятельницы. Она, конечно, была задета подобным расхождением с правдой и не давала читать рукопись своему мужу. Но муж не интересовался моей рукописью. Не интересовался всеми превращениями и не знал, под какими именами выступают в моих стихах и прозе он сам, его жена, я и все мои друзья. Не интересовался, в какой ипостаси изображается бышевский сад, парк в Аркадии или скромный сад тети Слюсарской в Бжезинах (но цветы у нее были отменной красы) и тот огромный пруд, по которому мы катались в пять часов утра, окунув в студеную воду ноги, покрывшиеся болезненно саднящими пузырями после перехода по шоссе из Рогова в Бжезины.

Дружба! Это поиск душевного отклика в другом человеке, всепо-

глощающий в эпоху ранней молодости и неминуемо чреватый разочарованиями. Это вечное стремление мерить себя на чужой аршин, и вечное ожидание какого-то таинственного совпадения, и вечная разочарованность, и невозможность какого-либо сходства мыслей, нарастание надежды и горечь очередного разочарования — типичные муки молодости, переживаемые в саду. В запущенном саду, где порой казалось, что обнаруживаешь нечто близкое в душе друга или подруги.

Но что я мог найти? Я очень быстро убедился, что узкое и догматическое понимание уроков социальных побед не сможет меня удовлетворить. Доктрины оставляли меня холодным и бесчувственным, словно сухие ветви сосен над «моим» курганом. Точно так же я вскоре увидел, что дружба с женщиной, заключающаяся в бесконечных излияниях и разговорах о «другом», в непомерно разбухшей переписке, в сотнях сиреневых страничек, которые еще пахнут старомодными нынешнему духами,— лишь повод для нее говорить о «нем», а может, только о себе, о своих туалетах, своих успехах?

А дружба с будущим военным, крупным военным — это какое-то поразительное наведение мостов вопреки всему, что нас разделяло, несмотря на все различия наших окружений, привязанностей, навыков, характеров, взглядов. Наперекор всему, пожалуй, ярче всех этих мечтаний в саду помнится мне этот высокий и великолепно сложенный блондин с мнимо-бездумными глазами, так похожими на какие-то цветы. Глаза его походили на цветы цикория, петровых батогов, что растут на межах и вокруг тех странных каменок, которых там было полно на полях.

Как раз неподалеку от моей садовой скамьи была такая каменка — следовало только перейти канаву, отделяющую сад от полей, пробраться сквозь особенно густой здесь орешник, а за ним, на поле, которое чаще всего пахло люпином, возвышалась каменка.

Эти каменки — груды, образовавшиеся на полях из валунов, собранных крестьянами, которые пахали эту землю сотни лет,— были для меня чем-то сказочным. И даже немного чуждым. Мне не нравилось сидеть среди камней, сваленных в кучу, хотя мой друг и заставлял меня вырубать в граните наши инициалы, дабы они запечатлелись на веки вечные. Единственной прелестью этих каменок были кусты (росшие на них ягоды двух сортов вечно вызывали споры за вечерним чаем: одни — синеватые, покрытые налетом, как сливы, пахнущие моим детством, Украиной, а другие черные, без сизого налета, похожие на плоды шелковицы, сухие и, по-моему, невкусные и несъедобные, с чем не соглашалось местное общество) и то, что, если посидишь среди камней подольше, от запаха люпина непременно малость одуреешь, закружится голова и снующие мимо перепела или куропатки начнут казаться какими-то экзотическими птицами; такое сидение среди камней превращалось в экзотическое путешествие.

На этой скамье в саду я читывал письма, приходящие издалека, письма от моих друзей, которых немедленно помещал в мой тягучий роман, и такие мудрые книги, как «Многообразие религиозного опыта» Джеймса.

Именно тут я мог уловить и заметить, записать и запомнить на будущее, то есть на всю жизнь, что явления, внешне обособленные, составляют однородную массу, амальгаму, спекаются друг с другом, и очень трудно увидеть их по отдельности и думать о них по отдельности.

Трудно мне думать о «Многообразии религиозного опыта» или о разнице между рисунком и живописью (по Кристиансену, смотреть надо от рамы в глубь картины либо от центра рисунка — к раме),

чтобы не подумалось о маленьком кургане в рощице за садом и о высоких соснах, которые тот курган окружали. В годы первой войны в стволе одной из тех сосен застрял артиллерийский снаряд, который там остается поныне, напоминая легкомысленным людям о том, что творилось в этом тихом краю. Скамья и запах люпина сливаются с памятью о моих друзьях, которым, впрочем, трудно сейчас прийти и сесть подле меня на скамье, ибо могилы их разбросаны очень далеко. Запах люпина, навязчивый и вызывающий головную боль, сливается с запахом тех сиреневых писем, старомодных, но так радовавших меня. Ибо письма эти находили меня при самых невероятных обстоятельствах и в самых невероятных местах. В одном из них, не утратившем тревожного запаха, описывалось взятие Кельце легионами и недолгий «час независимости», которая казалась чем-то совершенно фантастическим.

Все это вместе взятое не выстраивается в какой-либо хронологической последовательности, а смешивается в единое волнующее целое! И ко всем ароматам того сада добавляется еще запах, неповторимый, открытый вдруг запах человеческого тела в летнюю ночь, горячий запах увядших листьев и влажной земли на могиле того партизана, который там погребен и которого я навестил через пятьдесят лет после моего первого прихода в этот сад.

А может, мне только так казалось? Может, все эти картины и запахи порождали фантасмагорическую мешанину, которую я распутывал в моих рассказах?

IV

Моей жене нравится соседний парк La Grange, я же решительно за Eaux Vives. Тут нет капризных и очень непостоянных роз, которые порой восхитительны, а порой напоминают мокрых кур, ободранных и теряющих разноцветные перья. Случилось однажды — не помню, в каком году,— что розы вовсе не удались и большие полоски земли, засаженные розовыми кустами, чернели наготой, наводили на мысль о неурожае и запустении.

А Eaux Vives — это просто огромный газон, огороженный древними стволами: кедрами, елями и тюльпановыми деревьями, которые лет двести или триста назад какие-то старые женевские профессора посадили на берегу голубого озера. Особенно хороши кедры — как ливанские, добавляю я всякий раз, хотя ливанских кедров никогда не видел и, пожалуй, уже никогда не увижу,— до того ровны стремительно взлетающие вверх, словно струи фонтана, их стволы и до того необычайно темна зелень их крон. Такими я воображаю себе араукарии в далеких просторах южного Чили.

Они будто стихи Неруды, такие прямые и такие монументальные, но такие недоступные в своей красоте и застывшем совершенстве.

В глубине парка расположился переделанный под ресторан особнячок, и какая-то неуместность этой постройки, ее чопорность тоже приобретают здесь необыкновенное очарование. Когда сидишь на террасе ресторана и смотришь из-под зонтика, цветастого зонтика, на непорочную лазурь Лемана и кружащие в ней лодки и яхты, тобою овладевает что-то похожее на страх. Страх от того, что мы недостойны в таких количествах поглощать покой и красоту, от того, что мы не достойны пребывать здесь, среди природы отглаженной, умиротворенной и бесконечно прекрасной, пленительной, ласковой, не знающей бурь и непонятной для пришельца из диких сторон.

Невольно, когда сидишь так и видишь перед собой беспредельную лазурь водной глади, нежно оправленную кедровыми стволами и

листьями тюльпановых деревьев, на память приходят иные картины, ничего общего с этой идиллией не имеющие: либо такие дикие пропасти и обрывы, хотя они и совсем по соседству с жильем, как вся котловина вблизи Черного озера, перепаханные молниями, недавно еще битые вражескими бомбами Желтые Вершины, над которыми самолеты кружили — так это изобразил художник,— как летали над пашнею злые духи, засевая плевелом пшеничные поля; либо почти лунный пейзаж серных карьеров, таких чудовищных в их коварной открытости и откровенности, ничуть не претендующих на то, чтобы быть пейзажем, только чем-то вроде фона для мук человеческих, для смрада человеческого и для пóтом пропахших трудов человеческих; на таком фоне можно представить себе Христа Скорбящего, но никогда — этот темно-зеленый кедр, никогда — это тюльпановое дерево с его похожими на попугаев цветами, никогда — наполовину белый, наполовину голубой парус, подобно тем, что плывут по Леману.

Вот почему этот веселый вид, этот идиллический пейзаж вместо того, чтобы наполнять нас радостью и пропитывать светом и красками, становится, напоминая о муках и призраках, несносным, требует незамедлительной реакции и незамедлительной оговорки. Может, как раз потому лужайка эта и открывающийся отсюда вид бывали фоном, на котором происходили мои самые сокровенные разговоры о предназначении человека, самые сокровенные разговоры о моем разочаровании, о моих стараниях побороть понятное отчаяние человека. Сегодняшнего человека.

Это был парк философов, величайшие мыслители современного мира выходили мне навстречу из-под сводов ветвей и толковали о вопросах наипервейших, которые ни мне, ни им не казались наипервейшими.

Такое же большое тюльпановое дерево стояло и на площадке для гольфа в Бьюле, у Вакслера, в предместьях Льежа. Воспоминание для меня не из самых приятных, но в ту пору дерево это было символом изобилия, пышности и большого богатства. Тишины и покоя тоже, когда стояли мы в его тени со Стефаном Стажинским [1]. Есть такая фотография: стоим какие-то безразличные, но словно прислушиваемся к чему-то. Правда ли мы прислушивались? Правда ли отдавали себе отчет в том, что эта тень тюльпанового дерева, и аромат травы, и сладость сада и в Бьюле, и в Белёе у князя де Линя,— что это аромат земли, которая ждет иных, стократ более крепких и стократ более тревожных запахов? Для меня та моя фотография со Стажинским — словно захлопнутая книга пророчеств, и потому я не люблю, как уже говорил, этих огромных тюльпановых деревьев, у которых листья причудливой формы и цветы с кистями и помпонами, пестрые, словно попугаи.

Но тут, в саду философов, скорее кедры определяют саму суть сада. Кедры — деревья царя Соломона и царицы Савской, они, однако же, деревья не любви, а мудрости. Впрочем, уже сам вид их свидетельствует об этом.

Под их сенью в седьмой раз открывались мне книги мудрости. То не были уже книги Соломоновы, только книги сегодняшней мудрости, очень обширной и очень ученой, но одновременно как будто бы бессильной, не умеющей сладить с простейшими задачами. Мудрость Оппенгеймера не помогала жить, не учила тому, как нужно поступать, дабы избежать всего того, что сам он как раз и придумал.

---

[1] Стефан Стажинский (1893—1943) — политик и публицист, с 1934 г. — президент Варшавы, в сентябре 1939 г. был гражданским комиссаром обороны польской столицы, оставаясь на своем посту до конца борьбы; убит в концлагере Дахау.

Это здесь Оппенгеймер говорил мне: ученый обязан продолжать свои исследования и открывать новое, таков его святой долг. А как распорядятся теориями ученого техники, не его дело.

Техники и исполнители сбросили результат исследований Оппенгеймера на Хиросиму. Я понимаю, разумеется, насколько примитивен такой ход рассуждений, еще лучше я понимал это, когда видел перед собой безмятежное лицо Оппенгеймера, синие воды Лемана и паруса на озере, и, как ни бился, не мог все это связать воедино, во что-то гармонически завершенное, что помогало бы мне жить. Пожалуй, лишь высокие и стройные стволы, тянувшиеся несмотря ни на что вверх, успокаивали меня и смягчали боль и тревогу.

Это здесь же великий историк говорил мне, что строили пирамиды вовсе не рабы. Возводили их наемные и хорошо оплачивавшиеся рабочие, класс зажиточных египетских рабочих, подданных фараона Рамзеса Второго. Не было там никакой эксплуатации, только равная и справедливая оплата.

Значило это — по крайней мере, казалось мне, этот историк с очень громким именем думал так,— что и в нынешней Бельгии не было эксплуатации, и уголь в шахтах Боринажа добывали справедливо оплачиваемые и довольные рабочие. Как хорошо, что я встретился перед тем с ближайшим своим родственником, работавшим на шахтах Боринажа, и знал, что такое справедливость в оплате рабочих, шахтеров и металлургов, что такое работа в условиях, тяжесть которых ничем нельзя компенсировать.

Видел я и заброшенные шахты, откуда людей сдуло словно ветром и где на заросших травой дворах остались только арки старых заводов, возводившихся в согласии с канонами «прекрасного» строительства девятнадцатого века.

Парк тот был садом семи мудрецов, семи теорий, семи способов спасения человечества. Далее всего, наверное, от спасения человечества тут, на земле, был кардинал в красных носках, который без устали покачивал заложенной на ногу ногой. Как известно,— а, во всяком случае, так утверждают опытные православные мистики, те самые, из живописных монастырей на берегах Клязьмы и Нерли,— качая ногой, убаюкиваешь черта. Стало быть, кардинал убаюкивал сатану.

Я не убежден в этом. Он, пожалуй, укачивал гордыню, веру в спасение — не всего человечества, а в спасение собственной персоны — и презрение ко всем, кому веры этой обрести не удалось. А Грин[1] говорит, будто о том, кто проклят, известно уже со дня рождения человека, поскольку люди с колыбели предназначены либо к спасению, либо к проклятию: к водворению в ад. Может ли быть что страшнее?

Вопреки всему, каждый раз в таком вот благоустроенном мире человеку приходит в голову мысль об ином мире, неблагоустроенном, трагическом, собранном из лоскутков,— но о мире родном.

Не восхищают тут ни высокие деревья, ни небесные дали: к высоким деревьям мы привыкли дома — правда, их прилежно вырубают,— а дали небесные у нас, пожалуй, тоже есть, хотя, как говорит герой моего «Взлета», уляжется собака в одном городе, а кончик ее хвоста уже в соседнем.

Не раз поражало меня, что среди мудрецов, беседовавших со мною в том саду, не было мудрецов польских. Может, у нас вообще нет такого рода людей, которых называют мудрецами? Было что-то от мудреца в свое время у Тадеуша Зелинского[2], но он, в отличие от всех остальных

---

[1] Имеется в виду Жюльен Грин (род. в 1900 г.) — французский писатель.

[2] Тадеуш Зелинский (1859—1944) — историк и филолог, автор около 300 работ по античной культуре, литературе, религии.

ных, не был мечен трагичным и болезненным клеймом трагичных и болезненных людей.

Всегда он был «в шапке отца Вотана», если опять вернуться к символике Вагнера. Мудрец знает все и как Вотан заранее готов ко всему — к бунту дочери, к колдовской силе огня, к пожару Валгаллы.

А у наших мудрецов горело слишком много Валгалл. И об этих пожарищах бесполезно размышлять над швейцарским озером и над лазурью, в которой дробились лики и Адама и Юлиуша [1]. Не сумели они увидеть себя в этих чистых водах, ибо никто из нас не умеет увидеть себя в таких непонятных и непонятливых водах. Тут же польются у нас «слезы, лучистые, чистые»[2].

Не станем, однако, сетовать, возрадуемся тому, что есть на свете такой сад мудрости и покоя. Возрадуемся тому, что не ведает он ни трагических зовов, ни безнадежных рыданий.

И все же...

В этом столь мудром, благоустроенном мире кедров недостает мне иной грани садов, недостает мне зарослей виноградника и того ни с чем не сравнимого воздействия, которое на душу человека оказывает спутанный, бросившийся с осенним ветром взапуски, от первых заморозков взявший этот жженый цвет,— куст винограда. Серый лист вперемешку с желтыми пятнами и затаившимися тут и там черными ягодами.

Такие виноградники я встречал не только на юге. Самый, пожалуй, красивый пейзаж с виноградом окружал меня на острове Торчелло, где в дремавшем саду, укутанном в легкую дымку, открывался вид на башню старинейшего храма, на сиянье неба, просвечивавшего сквозь осенние облака, и на лоскутья неба, как на картинах Тинторетто. Моя жена попросила у старой почтенной островитянки разрешения срезать одну гроздь: еще ни разу в жизни не сорвала она грозди на винограднике. Важная итальянка протянула ножницы, и моя жена срезала продолговатую черную гроздь, склеенную из агатовых шариков. Первая виноградная гроздь, сорванная своими руками.

Но бахромчатые листья — особенно теперь, осенью,— всегда производят впечатление какого-то порыва, будто они танцуют и сами играют, будто с их обтрепанных краев сочится музыка, не скажу — дикая, но какая-то тревожная, зовущая и не умеющая совладать с собою, словно фавнова музыка Дебюсси.

И вот здесь-то, в этом мудром парке, не нашлось места винограднику. Вечным листьям, позолоченным осенью, покрытым ржавыми пятнышками, словно капельками засохшей крови. Здесь были лишь прямолинейные кедры, и высокие ели, и низкая зеленая трава, на которой то тут, то там лежали, напоминая мертвых бабочек, листья тюльпанового дерева.

Несомненно, это было недостатком сада. Но в то же время сад этот располагал к себе, был он добропорядочный, здесь в голову не приходила ни одна порочная мысль, и казалось, что в профессорских мудростях, которые я тут выслушивал, над которыми тут размышлял, содержались истинные лекарства, а по меньшей мере, правильные диагнозы.

А может, виноградник был самым лучшим лекарством и это он помогал поставить самый точный диагноз?

---

[1] Речь идет о выдающихся польских поэтах — Адаме Мицкевиче и Юлиуше Словацком.

[2] Слова из лирической миниатюры Адама Мицкевича «Полились мои слезы, лучистые, чистые...» (в переводе В. Звягинцевой).

V

Сад этот снится мне часто. Не таким, конечно, каков он сейчас, а таким, каким был сорок лет назад, когда я впервые приехал в Палермо. Тогда также входили в этот сад с площади — она малолюдна и сегодня,— которая называется Леони. Она напоминала о временах, когда здесь располагались зверинцы короля Рожера или императора Фридриха, когда и вправду под этими пальмами и оливковыми деревьями расхаживали львы. Но сам парк заложил король Фердинанд IV, изгнанный из Неаполя Мюратом. Прекрасно представляю себе его бродящим по саду. Его правнучка, Рузя Бжозовская, была так на него похожа! При короле Фердинанде ни львов, ни леопардов тут уже не было — король стрелял кроликов. Говорят, в цель он попадал редко, а когда мазал, очень радовался, ведь он любил кроликов, и ему было жаль их. Король Фердинанд был эдаким королем из сказки Андерсена. Это, наверное, при его дворе сыскались те двое ткачей и портных, которые сшили ему невидимое платье.

При его же дворе — но это уже чистая правда — нашелся архитектор, носивший звонкое имя Венанчио Марвульи. Архитектор тот построил в саду для короля маленький дворец, который и до сего дня не перестает нас изумлять. Дворец в «китайском» стиле!

Фердинанд, которому надоели Неаполь, Мюрат, все связанное с революцией и наполеоновской политикой, в чем он вовсе не разбирался, а больше всего, наверное, его властолюбивая супруга, обосновался здесь в самом конце XVIII столетия. Чудесная то была пора для этого короля: ему не нужно было заниматься делами в Неаполе, он лишь охотился и рыбачил на Сицилии. В завидные он жил времена.

Сейчас сад этот разорен, его обступают высотные дома, печальные плоды спекуляции землей, неумолимо уничтожающей красоту всех сицилийских городов. А когда я приехал сюда впервые, не было еще этих небоскребов, не снесли еще самых очаровательных дворцов на via della Libertá. Темной ночью над всей площадью Леони, надо всем садом висел аромат цветущих апельсиновых деревьев.

Парк пересекали когда-то две прогулочные дорожки — аллея Дианы и аллея Геркулеса. Сегодня это оживленные улицы, на которых неуютно чувствует себя забредший сюда прохожий. Палермские юноши гоняют тут свои машины, выжимая из моторов все что можно.

Но во времена оны разъезжали по этим аллеям экипажи, кареты. В кибитках этих таились влюбленные, а сами дорожки были полны, переполнены, затоплены запахом цветущих апельсиновых деревьев. Запах апельсинового цветка весьма своеобразен. В нем нет ничего от нежного аромата фиалок или воздушного запаха фрезии, он очень конкретен. Он пахнет свершением.

Идешь, бывало, под деревьями сада La Favorita — так называется этот сад из грез,— конкретный, густой запах апельсинового цветка душит, обволакивает, заливает легкие. Темной ночью, когда брели мы однажды аллеей Дианы, нам казалось, что мы этот запах просто вкушаем, что мы насыщаемся им, что он пропитывает нас, возбуждает и нашептывает бог весть что.

Словно был он воплощением всего того, что испытываешь на Сицилии. А Сицилия всегда была для меня землей воплощений.

То, что было сказкой, что было грёзой, что было невозможностью, как-то так буднично осуществлялось именно здесь, в этом саду, на этой земле.

В запахе этого цветка, в уханье во множестве гнездившихся в ночных ветвях сов, которым нравилось тут концертировать, казалось,

сплавляется все, о чем мечтал, чего страшился и чего втайне жаждал. Когда был немного Пенфеем [1].

Аллея Геркулеса приводит к небольшому китайскому дворцу, странному капризу, Веванчио Марвульи построил его для короля, которому, видно, чужд был холодный классицизм его кузена, Людовика XVI, а еще более отвратительны холодные формы наполеоновских сооружений.

Казалось бы, вычурная прелесть китайщины XVIII столетия должна раздражать, бесить, производить впечатление — тем более на этом фоне — чего-то претенциозного. Но нет. Лишь общим очертанием напоминает дворец пагоду, и надо признать, что его линии так изящны, легки и прозрачны, будто весь дворец отлит из фарфора. Он кажется маленьким, но места в нем достаточно. Еще сохранились шелковые обои времен короля Фердинанда, сохранились также превосходные английские и «китайские» гравюры XVIII века. Сохранилась и хитроумная машина в столовой, убиравшая ненужную посуду без помощи слуг. Думаю, королеве Каролине это было очень на руку, ведь именно здесь происходили ее беседы с английским послом, носившимся с планами даровать «конституцию» Сицилии и взять ее под покровительство британской короны,— а королева как могла отбивалась от этого своеобразного шага вперед, который был лишь шагом в ловушку.

Как это обыкновенно случается в истории, ни цели английского посла, ни цели королевы Каролины не осуществились. История пошла своей дорогой, даже не очень-то и воспользовавшись теми планами, которые каждый из этой пары политиков набросал для Сицилии. Больше всех выиграл от этого король Фердинанд, он выучился сицилийскому диалекту, стал ходить с сицилийскими парнями в море — а рыбы в те времена было несметное множество, и не отравленной (еще в 1932 году, когда в Сиракузах я писал «Барышень из Волчиков», ежедневно подававшаяся к столу сицилийская рыба была просто изумительна),— между делом он отыскал себе среди простых рыбачек заместительницу королеве Каролине, а ее через Константинополь, через Одессу, через Ланьцут, Львов отослал в Вену, где верная дщерь Марии Терезии рассталась с этим миром.

К дворцу примыкает устроенный в его флигелях великолепный— но, как правило, безлюдный — этнографический музей Дж. Питре. Это одно из самых восхитительных краеведческих собраний на свете, бесценное для исследователя своеобычности Сицилии.

Здесь, почти в сорока залах, содержатся все сокровища, которыми так богата фольклористическая Сицилия. Вышивки, деревенское платье, обрядовые одежды, мебель, куклы для праздничных балаганов, модели тележек, на которых возят во время шествий святую Розалию в Палермо и святую Агату в Катании, а прежде всего коллекция рисунков с древних, старых и новых сицилийских повозок, знаменитых carretto siciliano, украшенных резьбой и расписанных чудесными красками, несших на своих боках картины рыцарских битв Карла Великого и храброго Роланда, изображения героев различных драм, разыгрываемых куклами в прячущихся от глаз посторонних театрах Палермо и Сиракуз. Сицилийцы немного стыдятся этих «простонародных» и «детских» зрелищ и не торопятся показать их чужеземцам, сами же их обожают.

Музей в парке La Favorita пуст, там редко когда встретишь посетителя. Сторожа позевывают и переругиваются друг с другом.

---

[1] Пенфей (или Пентей) — царь Фив, который отказался признать бога Диониса. Сопровождавшие бога вакханки разорвали Пенфея на куски. Этот миф положен в основу трагедии Еврипида «Вакханки».

У забредшего в это удивительное собрание создается впечатление, что он мешает сторожам, что они взирают на него с недоумением и досадой. Для них нет ничего любопытного в этом свезенном сюда «хламе». Все это они, наверное, видят каждый день, когда навещают свои семьи в сицилийской глуши.

Ибо весь этот фольклор хотя и умирает, но не мертв. Еще на дорогах между Ксирби и Кальтанисеттой попадаются такие повозки с нарисованными по бокам рыцарями, еще в старых переулках Сиракуз и даже Палермо можно наткнуться на укрывшийся от глаз туриста театрик puppazetti, однако репертуар этих театриков уже обветшал, и далеко ему до тех блистательных представлений, какие я еще успел посмотреть сорок лет назад в Сиракузах. Хотя куклы сохранили итальянский язык для императора и папы, а для остальных персонажей — сицилийский диалект, действие драм ограничивается, кажется, одними только грубыми поединками.

И к чему мне разглядывать музыкальные инструменты в музее, если я могу выйти на площадь Сан-Доменико в Палермо и увидеть на повозке, в которую впряжен ослик, платформу, а на ней прекрасного тенора, исполняющего балладу о Роберто и Лючии.

«Роберто и Лючия!» Сколько же связано с этой балладой! То снится мне она ночью вместе со всей этой сицилийской мешаниной, вместе с автобусной станцией, откуда одетые в черное женщины отправляются в Агридженто, вместе с тем подчеркнуто элегантным рестораном при школе гостиничной службы, где сицилийские парни набираются опыта обхождения с клиентами. Ресторан этот в грязном и убогом районе города — который, кстати, и тут растет,— открытый лишь в определенные дни и часы, выбивается из всего окружения. Думаю, его устроили на манер какого-нибудь фильма или фильм сняли на манер этого ресторана. «Роберто и Лючия» — баллада, исполняемая звучным, с хрипотцой тенором, баллада захватывающая, захватывающая в музыкальном отношении, хотя поет ее рыбацкое, очевидно, семейство на этой таскаемой осликом эстраде перед большим холстом, изображающим всю историю влюбленной пары, а скорее троицы, ибо у Роберто, насколько я смог понять, есть брат-близнец. Партию Лючии поет мальчик, еще не прошедший мутации. В тот миг, когда он впервые вступает в этом мелодичном диалоге, сердце замирает, это волнует больше, чем музыка Пендерецкого[1]. И потом снится мне, снится весь парк La Favorita, китайский дворец, цветы апельсиновых деревьев, разрисованные carretto с героями песни о Роланде, оливковое дерево, и пальмы, и львы, бродившие тут когда-то.

Сон этот возвращается постоянно: неспешно брожу я среди деревьев La Favorita, словно по полям Елисейским, вместе с давно умершими: с Каролем Шимановским, с Рузей Бжозовской, с Юзем Райнфельдом, с Реной Еленьской. Они очень бледны и выстраиваются в мраморные группы. Это как в кино: черные деревья сада накладываются друг на друга и между деревьями белеют метопы из Селинунта, те, что здесь, в музее, и тот Зевс, берущий на ложе Геру, и та зловещая Артемида, придавившая ногой ногу Актеона, когда собаки вцепились ему в горло, и Фаэтон с четверкой коней en face в так неумело решенной перспективе, и та самая древняя, представляющая Эос и Кефалос, а между теми метопами «Метопы» Кароля, до пояса прикрытые тенью ветвей Навзикая и Сирены, и Калипсо, стоящие с закрытыми глазами в зарослях. А меж ветвей апельсиновых деревь-

[1] Кшиштоф Пендерецкий (род. в 1933 г.) — выдающийся современный польский композитор.

ев, кажется, чуть больше цветочного бутона, порхают ангелочки, эти озорные, расшалившиеся, заливающиеся смехом, резвящиеся и щебечущие как птички putti, заполняющие толпой голеньких тел окна, ниши, стены часовни святой Зиты. Ангелочки Джакомо Серпотты порхают меж черных веток и чирикают, чирикают.

Подхожу к королю Рожеру и говорю ему: видишь, король, написали мы тут про тебя то, что выдумали и что, как нам представлялось, не может осуществиться. И еще говорю Каролю: видишь, мы воплотили в реальность наши грезы, это величайшая милость богов. Мы молились им во всех святынях Сицилии. А у него лицо с пустыми глазами скульптуры, это уже не Кароль, это памятник. А я говорю: понюхай, как пахнет цветок апельсинового дерева. Вчера я был в Седжесте, где блестящим аккордом (в Cis-dur кажется?) подытожил ты свое повествование. Я шел дорогой, пустынным полем, крестьянин пахал свое поле, и из-за холма медленно поднимался фронтон храма. Помнишь, где ты мне о нем рассказывал? Где читал подробное его описание? Но он не отвечает, ибо он уже в мраморе.

И опять где-то я говорю Рузе: сколько я ни бывал тут, иду в Capella Palatina, там над входом есть мозаичный портрет твоего прадеда, он так похож на тебя. И я говорю ему: твоя правнучка первой приехала к нам после варшавского восстания, верить нам не хотелось, но она первая нарисовала нам ту схему, которую позже приходилось выслушивать ото всех, ото всех. Схему мук, и преступлений, и бессмысленности деяний человеческих. Рузя, хорошо, что ты спишь, не думаешь больше о своей Терени. Чувствуешь, как пахнет цветок апельсинового дерева?

А Юзя обрядился рыцарем Круглого стола, как те куколки в Сиракузах, и хотя он мертв и недвижим, но такой же красавец, как и сорок лет назад. Я касаюсь его руки и говорю: знаешь, после твоей смерти я стараюсь каждый год приезжать сюда, где мы были вместе. Знаешь, как загадили Агридженто? Знаешь, как переменились Сиракузы? Знаешь, уже нельзя выпить moscato прямо из бочки? Знаешь, нет уже каменной набережной в Палермо, где ты сиживал в полдень и ел мушмалу? Но он даже и не памятник, он кукольный рыцарь, о котором все позабыли, и когда сбросит шлем и султан, станет похож на того Актеона, которого Артемида ногой придавливает к земле. Он давно уже стал землею.

А потом я говорю Рене, которая бела как алебастр и напоминает бюст Лаураны [1]: все коты, о которых мы грезили, превратились в собак и носятся по моим рассказам? Или терзают Актеона, это ты натравила собак на Актеона? А она шепчет, едва шевеля гипсовыми губами: только ничего не говори мне про кота.

Вот такой снится мне сад. И очень часто.

А порой не снится, только вспоминается мне та поездка.

Над Сицилией была гроза. Мы пытались приземлиться то там, то тут. Сели в Катании, в полночь, когда началась пасхальная заутреня. Много народу было в самолете, но я никого не видел, только ее одну. Был ее муж, был муж ее сестры, последний сын диктатора. А она показалась мне Калипсо, неземная, стройная, в платиновом ожерелье. Красивая, неприступная — а тут только руку протяни. Спрашивает меня, что делать. Я уговорил ее сесть в автобус до Палермо.

И потом эта езда через весь остров, в пасхальную ночь, от Катании до Палермо. Горная прохлада после грозы и усталость, но я не уснул, смотрел, как она, забившись в угол автобуса, опустив голову на руки, спала, измученная, растрепанная, Калипсо без Одиссея, ге-

[1] Речь идет о хранящемся в Национальном музее в Палермо мраморном бюсте Элеоноры Арагонской работы скульптора XV в. Франческо Лаураны.

роиня без возлюбленного. И вот уже не спеша занималась над Сицилией заря. Примерно от Энны, от самого центра острова, начало светлеть, зеленеть, на дороге появились мулы и ослы, и люди возвращаются верхом из церкви, и стада пасутся уже на горных складках, словно на складках одеяла. И я увидел весь остров в весеннюю ночь из конца в конец. И видел я оливковые деревья, эвкалипты, апельсины и опунции, и видел я утомленное лицо Софи, которую знают все на свете, на фоне этого пейзажа, словно голову Сибиллы. И я не разбудил ее, когда мы приехали в город, не простился с нею, она осталась в моих глазах и в моей памяти — не во сне, а настоящая. В то пасхальное утро в Палермо.

И я тотчас же побежал в этот сад. Но сад был пуст — ни ангелочков, ни метоп, ни памятников. Не было никого: ни врагов, ни друзей. И я вспомнил, что ведь это первый день пасхи, а Кароль умер в первый день пасхи. И король Рожер умер в первый день пасхи.

Сад был покинутый, разоренный, запущенный, но цветущие апельсиновые и лимонные деревья пахли сильно.

VI

В Стависко, строго говоря, нет сада, нет парка. Дом стоит посреди несколько обшарпанного леса, который с каждым годом растет и редеет, пропуская все больше света между стволами,— признак наступления набирающих силу поселков.

В поле перед домом стоят одинокие сосны. Каждой за двести лет, они должны быть под охраной, но об этом никто не думает. Напротив, их бы охотно срубили: такое это удовольствие для поляка свести старое дерево. Сначала сосен этих было девять, назвали их Музами, но гибкая, как мачта, Урания оказалась прямо против дома, в пробиваемой липовой аллее, и должна была быть срублена. Должна ли?

Затем с Музами стали считаться, но было их уже только семь. Может, это и к лучшему, ведь «семь» число счастливее, чем «девять». Иногда я подхожу к этим соснам, глажу их по коре. Кора эта — будто слоновья шкура, шершавая, толстая и очень добрая на ощупь.

Когда выхожу с собаками на прогулку, я могу выбрать одну из двух дорог: либо с крыльца направо, а потом вокруг давнего черешневого сада, либо слева направо. Но сада уже нет, были когда-то такие великолепные деревья, которые начинали плодоносить в мае, а затем ягоды покрывали их весь июнь. Черешню сменила вишня. Сад дважды вымерзал, но подсаживали новые деревья, и опять зрели ягоды. Теперь уже не подсаживают. К тем нескольким деревьям, какие остались,— если и уродится на них немного ягод, соседи их обрывают. Да еще лень им утруждать себя каждой ягодкой, и они обламывают целые ветки, а чаще всего бросают их, ягода-то недозревшая. Ощетинились деревья культями веток, вот новых и не сажают.

А черешни было еще больше, когда здесь лакомились ею немцы. Они тогда застрелили Копчиньского. Копчиньский возглавлял пост синей полиции, но был подпольщиком. Мы как раз обсуждали какие-то дела, к сожалению, за самогонкой. Он рассердился на немцев, которые обрывали черешню, грозил им револьвером. Они его застрелили. Потом он лежал тут под елками. Я порой думаю о нем, когда прохожу мимо этого места. От него не осталось тут и следа.

От яблонь тоже немного осталось, но деревья они честные, они, по крайней мере, всегда полны надежд и весной покрываются цветами — пушистыми, белыми цветами, розовыми в бутонах. И цветы

никому не нужны, пока деревья цветут, их никто не трогает. Поэтому весной временами сад этот выглядит как сад, запущенный сад вдали от города, но сад, а лучше сказать, огрызок, обкусанный со всех сторон, с раскрадываемым забором, с поломанными столбами, словом, выглядит так, как и положено выглядеть саду старого человека. В совершенной гармонии со мной.

За липовой аллеей тянется еловая. Когда я пришел сюда впервые, пятьдесят лет назад, это была маленькая просека низеньких елочек в лесу. В просеке той косили траву, за просекой тянулась старая гребля для так никогда и не выкопанного пруда, а дальше уже был настоящий пруд, от которого осталось лишь высохшее дно, болото, густо заросшее камышом и аиром. Никогда не гнездились здесь утки, зато в пруду была рыба, которую каждый год покупал старый Грыц, вывезенный потом в Треблинку. А теперь есть утки и водяные курочки, и много их в этой траве и в мокром кустарнике. Даже браконьеры иногда на них выбираются и стреляют, хотя безлюдный прежде пруд окружен сегодня поселками.

Туда я обычно не хожу: недавно все мои владения пересекло шоссе, шоссе до Жирардова, и вопреки всем ожиданиям оно стало очень оживленным. Я не могу переходить шоссе с собаками, боюсь, они сразу же примутся гоняться за машинами, а известно, чем кончаются такие гонки. И я приговорен кружить по протоптанным стежкам. Всякий вечер, сухо ли, дождь ли, отбываем мы этот путь, я и мои две собаки.

Центральная садовая дорожка, которая теперь так заросла и вся изрыта колдобинами — нужно быть внимательным, чтобы ног не поломать, но я знаю тут каждую выбоину,— называлась когда-то «Маршалковской». Росли здесь черешня и сливы, росла смородина. От всего этого осталась лишь одна, похожая на зонтик яблонька, которая каждый год приносит какие-то плоды, но какие — не знаю, соседские дети обрывают их. Эта Маршалковская в свое время утопала в цветах. Был тогда садовник и был мальчик — помощник садовника, было тогда много баб в саду. Среди них придурковатая Матысиха, которая не умела хорошо говорить. Говорила: эта садовника. Ходила она бог весть в чем, но лохмотья ее были чисто выстираны и старательно залатаны большими разноцветными лоскутами. Была также Зентек, вдова с сыном, которому исполнилось четырнадцать лет, когда пришли советские войска.

Так вот, тогда эти бабы под присмотром садовника высаживали на Маршалковской цветы, много цветов. Рассаду приносили со двора, где парниковые окна закладывали уже двадцатого января. Между кустами смородины и вишнями сажали петуньи, летние колокольчики, желтые бархатцы, ноготки и рудбекию. До сего дня продержались в самом конце аллеи, позади засыпанного колодца, несколько кустов гайлардии, ежегодно покрывавшейся желто-красными цветами среди густой травы, которой зарастают и аллейки, и все вокруг.

На поле по соседству, где сейчас сажают картошку, еще и теперь в июне цветут несколько малиновых наперстянок. Остатки от целой плантации этих цветов, которыми я так гордился. Наперстянки были высокие, почти с меня ростом, с очень пышными цветами. Ни один цветочный магазин в Варшаве не брал их, хотя они и выглядели эффектно. Нетипичный был цветок. Я радовался, что растение это многолетнее и будет цвести каждый год. Но осенью, когда меня не было дома, Игнац запряг лошадь в плуг и перепахал все наперстянки. Случилось это за год до войны. Те цветки, которые появляются теперь, спустя столько лет, доказывают, что наперстянки и в самом деле были многолетние.

Были на этом сегодняшнем картофельном поле, уже в войну, настоящие цветочные нивы. Выращивали мы там, например, с несравненным Ежи Зажицким, кинорежиссером, целые грядки очень красивых львиных зевов. Одна серия была розово-золотая, с пышными огромными цветами, другая — красно-коричневая, чрезвычайно щедро цветущая, очень высокая. Когда-то вместе с Ежи я соорудил большой букет Рузе Бжозовской к именинам.

С Ежи Зажицким мы часто работали в небольшой теплице, стоявшей во дворе. От нее остались одни только пустые рамы. Он научил меня размножать георгины. Это так просто: ранней весной закапывают корневища георгина в песок и они выпускают маленькие зеленые ростки. Ростки эти собирают и сажают в крохотные горшочки, из этих горшочков их можно высаживать в почву, когда придет пора. Высевали мы в той теплице малюсенькие семена бегонии, но это трудно, так как эти едва видные растеньица нужно несколько раз пикировать, прежде чем пересаживать в грунт. Сейчас уже ни у кого в хозяйстве на это терпения не хватает.

Эренбург, когда он был у меня, вышел из дому и сказал: почему тут так мало цветов? Перед домом росла когда-то чудесная сирень, но хотя сирень и долговечна, она погибла, засохла, еще два-три куста цветут по весне, но это уже не то, что в прежние годы. Я всегда очень живо представляю себе, как Тадек Лемпицкий в солнечный июньский день устанавливает шезлонг, в котором собирается отдохнуть, поближе к большим кустам, сверху донизу усыпанным фиолетовыми цветами. А тут налетает первый теплый июньский дождичек и накрывает Тадека, и сирень, и соседние тополя густой сетью из теплых капелек.

Раньше, когда в мае и июне я, как обычно, выходил вечером с собаками на прогулку, отовсюду слышны были соловьи. Теперь — нет, только порой далеко, над самым прудом, защелкает один. А может, это я плохо слышу. Ведь вот, к примеру, кваканье лягушек — и не с нашего пруда долетавшее, а с более далекого, верно, с тех красивых брвиновских прудов, которые теперь уже засыпаны,— я всегда слышал. Оно напоминало мне об отце, отец очень любил это мелодичное кваканье. А теперь не слыхать. Возможно, это я уже не слышу. Слух мой сильно притупился.

Сейчас, однако, я больше всего люблю выходить на прогулку в сад осенью. Дождь ли хлещет, ветер ли сечет, звезды ли светят, как в октябре, если небо чистое,— и всем существом своим чувствуешь одиночество, уход, неспешное исчезновение всего вокруг. И всего в себе. Я останавливаюсь у того клина, где растет дуб, прозванный «Карчесей»[1]. Почему так его прозвали, не знаю. Имя это дала ему моя старшая дочка, когда была маленькая и еще забавлялась лазаньем по деревьям. Лазали они тогда по деревьям с двоюродной сестричкой, которую потом убили власовцы в парадном на улице Тополиной. Но и улицы Тополиной уже нет.

Клин тот под Карчесей завален большими камнями, камней много, они отмечают собачьи могилы. Весь клин называется «собачьим кладбищем», но закапывали здесь не одних собак. Тут лежит и симпатичнейший Микусь, персидский кот, который попал под поезд, схоронили здесь и необыкновенную Перси Звежонтковскую, кошку невероятной окраски, в которой действительно что-то было от героини Виткацы[2], покоится тут и Кокоша, попугай, которого птенцом зять

---

[1] От польского слова «karcz», что значит «пень».

[2] Виткацы — Станислав Игнацы Виткевич (1885—1939) — писатель, художник, философ.

мой получил из рук негритянского сорванца близ Найроби и которого в первые дни войны загрызла голодная собака. Не все наши верные собаки лежат здесь, например, желтого Перра поезд разодрал так, что нести было нечего, и его закопали возле полотна.

Сейчас на собачьем кладбище меньше камней. Стасик, как всегда без спроса, забрал самые крупные, которые лежали над могилой нашего любимца гиганта Докса, и уложил из них бордюры по краям газона. Но я помню, где могила Докса. А потом никто не будет интересоваться ни Доксом, ни тем местом, где он лежит, да и вообще собачьим кладбищем.

А впрочем, наверняка и следа их костей не осталось в земле. Хотя песок этот поразительно хорошо консервирует. Когда немцы застрелили пани Гаевскую и бросили ее тело тут неподалеку в канаву, она прекрасно сохранилась, и когда через пять лет ее эксгумировали, она выглядела так, будто ее убили вчера.

Сделавши привычную, проторенную петлю, дорогой, на которой не заплутает даже слепой Медорек, возвращаюсь по липовой аллее домой. Липы раньше сбрасывают листву, особенно у нас, и ветер так быстро сдувает ее. Видны только на поле тени склонившихся темных сосен, которые вечно гнет этот неизменный западный ветер.

Еще на мгновенье останавливаюсь я там, где еловая аллея переходит в липовую. Тут иногда поджидал меня Юрек, я это хорошо помню, хотя вот уже четырнадцать лет прошло с тех пор, как он умер. Место на крайней ели, отмеченное сучком, до которого он доставал головой, поднимается все выше. Если бы Юрек сегодня был такого роста, он был бы великаном. Так растут в воспоминаниях.

Отсюда бросаю взгляд на дом. Непременно вспоминаю минуту, когда я шел с пруда шестого сентября 1939 года, очень поздней ночью, и, глядя на дом, думал: сейчас я уеду, а вернусь ли?

Но я вернулся. И все вспоминаю ту минуту и мысль, мелькнувшую тогда вот здесь. Хорошо, что я вернулся.

Прежде во время ночной прогулки по саду я иногда встречал кого-нибудь. Натыкался на Глодковского, возвращавшегося домой. Но Глодковский недавно умер.

Глодковский был дворником в недостроенном доме Марка Эйгера. Но когда немцы убили Марка и заняли особняк под «юдентум», он остался без крыши над головой. Я разрешил ему построить из каких-то остатков хибару над прудом. Он жил там с женой и детьми. Старший его парнишка умер в войну. А он как-то перебивался — то лесничим, то ночным сторожем. Когда пришли советские войска, он в своей хибаре три дня прятал трех немецких солдат. Старых любителей баварского пива. «Что вы хотите,— говорил он,— они все же люди!» Уцелели они или нет, неизвестно. Их коллег перебили в Брвинове, и они, непохороненные, лежали в канавах.

Порой проходил со двора Марьянек, порой Стасик возвращался навеселе через Стависко. Но теперь уже никто не ходит по ночам. Боятся чего-то.

Но и сейчас еще порой выныривает из ночного мрака тень Сивека. Сивек — обыкновенный тощий конь, единственное, что осталось у меня из живого инвентаря. Он очень стар и уже не может работать. Но что ни вечер, удирает от кормушки и выходит на ночную прогулку, как и я. Беспокойно кружит по саду, старается выйти на шоссе, на обочинах которого трава получше, но во тьме преображается, как будто молодеет, светлеет и начинает походить на Пегаса. Когда собаки нападут на него, он или спокойно отойдет в сторону,

или отбежит галопом. И вот в ночном мраке его удаляющийся галоп напоминает чем-то осеннюю балладу. Тогда собаки — обе черные — возвращаются ко мне.

И, наконец, я вхожу в дом, прогулка по саду окончена. Зажигаю свет, спрашиваю, не звонил ли мне кто, хотя знаю, что никто мне не звонит. Раньше каждый день, как раз в эту самую пору, звонили друзья. Грыдзевский, Тувим, Борман, но теперь их нет, а у тех, новых, нет привычки звонить. Их не интересует, что я делал, гулял ли, написал ли что-нибудь новое, как себя чувствую, не одиноко ли мне. Знаю, что звонков не может быть, но по глупой привычке спрашиваю.

Потом укладываюсь спать в своей восхитительной спальне, на своем восхитительном ложе. Собаки устраиваются поближе к моей кровати и тотчас же засыпают каменным сном. А я долго не сплю и лежу в темноте с открытыми глазами. Видно, как за окном проносятся тучи и в порывах ветра ветки берез переплетаются с ветками сосен и елей. Дубы поблескивают остатками сухих, шуршащих листьев.

Я долго не сплю, и в моей памяти, перед моими глазами проходят сады, сады, сады...

■

МИЛАН РУФУС

Из книги «Стол бедных»

Со словацкого

Словацкому поэту Милану Руфусу сейчас сорок семь лет. Руфус — филолог, доцент Университета имени Яна Амоса Коменского в Братиславе. Стихи начал писать еще в те годы, когда он — сын деревенского каменщика — ходил пешком из родного села в городок Липтовски-Микулаш, где была ближайшая гимназия. Каждый день шесть километров туда и шесть — обратно. Возвращался домой такой голодный, что днем «видел звезды». И шел работать в поле. Родной край, «мир бедных» с тех пор стали постоянной основой восприятия реальности. Отрешенную тишину этого мира взорвала война. Она унесла жизнь старшего брата. Жители родного села участвовали в Словацком национальном восстании... «Расстрелянное мальчишество»... Руфусу запомнилось майское утро 1945 года, когда колокола по всей округе возвестили начало первого мирного дня. Этот звон застал его на полевой дороге, на пути в школу. Он сел на землю и заплакал... Потом студенчество. Работа добровольцем на стройке. Железнодорожную магистраль, которую руки молодых проложили через горы, назвали «дорогой молодежи». Вспоминая эту стройку 1949 года, Руфус говорит: «Она была для меня глубоким и неповторимым переживанием, позволила ощутить человеческое единство, атмосферу товарищества и радостное сознание, что ты нашел нечто такое, чему хотел бы служить». Именно здесь Руфус становится настоящим поэтом:

Ладони мои горят как святоянские костры.
Из них пышет тепло,
полыхает огнем.
Я зажгу ими костер...
Костер любви к человеку.

(«Вечер после работы»)

«Холодная война», кровопролития в Корее и Вьетнаме были для Руфуса глубоко личным потрясением, продиктовавшим такие стихи, как «Гробы из Вьетнама», «Монолог в лазарете», «Корейские коляды». В 1956 году вышла книга стихов «Когда созреем», явившаяся поэтическим дебютом Руфуса. Сборник стал литературным событием, был признан одной из самых значительных поэтических книг первого послевоенного десятилетия. Руфус — как он писал позднее — реализовал в нем «свое понимание социально ангажированной поэзии». Интимность, выстраданность, «субъективность» этих стихов была полемической: поверхностному оптимизму и трескучей патетике Руфус противопоставлял суровое жизнеутверждение, вырастающее из преодоления трагедийных конфликтов.

В незавершенном сборнике «На ничейной земле», над которым поэт работал в 1957—1963 годах, и книге «Колокола» (1968), отмеченной в 1970 году Государственной премией имени Клемента Готвальда, Руфус тяготеет к поэзии мысли, к внутренней сосредоточенности и максимальной концентрации образности и чувства. Поэт говорит лишь то, что по-настоящему вызрело в молчании. Слова как бы окружены многозначной тишиной. Юношеская исповедальность сменяется стремлением к объективному постижению мира. Поэтика Руфуса, некогда тяготевшего к песне, балладе, сближается с афоризмом, пословицей. Емкие и скупые на слова лирические миниатюры, несмотря на свою сложную ассоциативность, лишены какой бы то ни было произвольности. Это поэтическое познание, лаконично отлитое в слове.

Колокола поэзии Руфуса — колокола его родного липтовского края, впервые услышанные еще в детстве. Нет, он не возвращается в этот край сентиментальным горожанином, растроганным оживающими воспоминаниями. Он никогда его не покидал душой. Он свой за «столом бедных».

Сборник «Стол бедных» (1972) Руфус первоначально хотел назвать «Календарем». В этих поэтических «временах года» перед нами проходят весна, лето, осень и зима природы и человека. Но прежде всего это сельский календарь, календарь бедных. В 1969 году Руфус написал сопроводительный текст к фотоальбому Мартина Мартинчека «Люди в горах». Поэт и фотограф в слове и образе стремились запечатлеть ту Словакию, какой она сохранилась в далеких горных долинах. В «Столе бедных», так же как в фотоальбоме, Руфус прощается с историческим прошлым Словакии. Герой его сборника — словацкий крестьянин, вековой труженик, бедняк, который писал историю оралом, а не мечом, хранитель «наследственной мудрости» народа. Поэт видит и его религиозность, фатализм, но вместе с тем знает, что в решающую минуту он сумеет выпрямить опасно накренившийся воз.

Заняв место за «столом бедных», поэт учится и невзгоды воспринимать как дары земли («И это правда»). Он прислушивается к веселым бубенцам овса и к песенке света, перепрыгивающего со снопа на сноп, как девочка на одной ножке. Все чаще возвращается к нему «мудрость песни». Впрочем, раздумье никогда не изгоняло из его стиха мелодию, то и дело перестраивающую на традиционный размеренный лад свободную прозаическую интонацию, так же как никогда Руфус полностью не отказывался от рифмы, которая возникает у него как бы сама собой, а не по инерции канона.

Руфусу близка не только музыка поэзии — «музыка подо льдом», музыка молчания — но и «суверенная красота» живописи. Сама природа выступает в его стихах как живописец. «Точный как природа» — говорит Руфус о близком ему духовно и эстетически словацком художнике Людовите Фулло. Он учится у природы зримой точности. Но натуралистическая мелкопись ему чужда. Так же как у Фулло, мазок пейзажей Руфуса широк и размашист.

ОЛЕГ МАЛЕВИЧ

Стол бедных

Нас множество за этим столом.
Притулились боком,
правую руку тянем к миске.

Молчим за едой.
Лишь челюсти
работают, как ткацкие станки:
яростно сосем землю, ее буйные детеныши.

А ей, бедняжке, уже нечего дать.
Из хилых сосцов
вытекает
вода соленая, редко — капелька молока.
Стонет земля под плугом, жалуется облакам.

Но пахарь спокоен. Он знает:
если б не было жалоб,
струна не дрожала б
птичьей трелью.
От стона до песни —
ступенька.

Эх, бедняцкое поле!
В твоем пестром подоле
смех жаворонков.

Скирда

Воздушный замок.
В его подземелье
обитала мышка — домашний божок.

Помнишь ее вечный испуг,
когда последний сноп увозили
и она выбегала из-под развалин?

По мышиной дорожке,
узкой, как жилка,
летела опрометью.
Капелька крови, брызнувшая из хлеба.
Из снопа, которому досталось
вилами в бок.

Воздушный замок,
приюти на минутку
стих-малютку,
серую мышку,
испуганную,
вдруг лишившуюся крова.
Над головой только страшное небо.

Первый весенний день

Свершилось чудо.
В сенях на рогоже
мать отдыхает. Мучилась не зря.

Стоит на тонких ножках
агнец божий
и мочится дождем из янтаря.

Завороженно лицезреет лужу,
а хвостиком подергивает смех...

На крюк из серебра
последней стужи
подвешен за ребро последний снег.

Мужчина в поле

И каждый божий день он учит землю.
Пригнувшись низко, объясняет склону.

Что грань меж валуном и серой глиной
есть жизни линия. Та самая,
что врезалась в ладонь мужскую.
Та самая, которую он чертит плугом.

Межой он охраняет почву,
чтоб на нее не заплутал тот камень,
который в нас порой бросает смерть.

Ведь он не вертопрах
и не осока
и наугад семян не доверяет
воде, невзгоде, ветру и камням.

Известь

Осталось выбелить покои для покойников.
Так пудрится смерть,
торопясь доиграть трагедию.

Утро Духова дня пахнет известью.
Убитые живут лишь в нас
и светятся белым зайчиком
на многоцветном стеклышке памяти,
восходящей к истокам.

В покоях бело, как в яичке.

В белую стену нежным клювом
стучится праздник, хлопая крыльями.

Известь.
Скорлупка у наших ног.
Брошенная.
Как под гнездами птиц
что-то белое, хрупкое.

Перевод ОЛЕГА МАЛЕВИЧА

Отдых

В минуту отдыха пережевывают пережитое.
Волы — свое, пахарь — свое.

А меж ними ребенок.
Времени у него
меньше всех.
Он всегда занят игрой.

А игра —
дело серьезное.
Верно, поэтому
он отдыхает лишь во сне
и падает стремглав
в объятья ночи.
Сон раскрывается парашютом,
под которым малыш,
улыбаясь, что-то тихо бормочет.

Возы с сеном

Как грохочущий рок
въезжали они в ворота.
За собою тащили
чистый шлейф пыли,
будто невесты.

Въезжал за гробом
тяжкий и сладостный гроб.
Конские копыта
выбивали дробь
по доскам сарая.
Словно везли на кроткой кобылке
полковой барабан.

Гремели такты похоронного марша.

А трава,
и в предсмертный час не утратившая мудрости,
прощалась с жизнью тихой и нежной мелодией скрипки.
И благоухала, точно десять вселенных.

Октябрь

Брать из земли картофель надо ласково,
как тянут козленка
из материнского чрева.

В глубину темного гнезда
медленно проникает рука
и нащупывает клубень.

Раскрывает объятья пальцев,
которые под ногтями
понесут черный траур матери
по безвременно утраченному потомству.

И земле станет на земле сиротливо.

***Перевод** ВИКТОРИИ КАМЕНСКОЙ*

Музыка подо льдом

До всякого дойдет очередь.

Придет к нам и придет за вами.
Тяжкую голову в одиночестве
будешь взвешивать дланью.

Онемеют земля и леса.
Будут тихо тебя вспоминать.

И в тиши ты поймешь, что и сам —
глубина.

Простое и тяжкое, как пословицы

Чтобы есть досыта,
сеем боль сквозь сито.

Из раскрытой двери
голод зубы щерит.

Мы кладем закваску
на любовь и ласку.

Тили-тили-тесто,
жених и невеста.

На лесной полянке
выложим буханки.

Там под серым небом
допекутся хлебы.

Мякиш рыхлый, пухлый.
Земля станет пухом.

Сверху ляжет камень.
И навеки: Amen!

Есть дороги

Лацо Новомескому

Есть дороги, несущие следы
мужского гнева.
Повороты, где груз
грозит паденьем.

Тогда мужчина
всем своим весом
наваливается
на другой борт телеги.
Рискует всем
и отдаст последний червонный,
лишь бы выпрямить воз наклоненный.

Потом соступит и дальше идет пешком.
Равнодушный к хвале и наградам.

И только
глубина колеи скажет,
как много он выиграл.

Перевод ОЛЕГА МАЛЕВИЧА

Им на рассвете пел петух...

Проснись, очнись,
беда вокруг шныряет!

Вокруг шныряет ложь,
конечно,— во спасенье...

Молчи, молчи,
бесплодно лоно слов,

как лоно отслуживших
потаскушек...

Тс-с!.. Не зови, не кличь,—
окликнет петушок.

Окликнет, закричит,
очнувшись на рассвете.

Бабье лето

Косое солнце октября...
Безвременник, и тот отбрасывает тень
величиною с детскую ладошку.

Прожитое преобладает
над непрожитым — тем, что предстоит.
Последнюю строку всегда слагают
растерянно
и второпях.

Недаром старики
впадают в отрешенность
и забывают имена...

Безгласен голос. Песнь завершена.
И только эхо смеет и дерзает.

Осеннее стадо

Они уже не пасутся — так, по привычке
нюхают пажить,
чуют, какая она студеная...
Десны исколоты жухлой травой.

Они уже не пасутся — так, наблюдают
легкую поступь босой тишины...

Ждут своей участи, как и мы.

Перевод ИГОРЯ ИНОВА

И это правда

Сколько гостей за одну жизнь.
Приходили:
голод и сучка-смерть,
и нищета за оградой топталась,
притаясь, ожидала неверного шага,
когда кто-нибудь вновь хватит лишку,
отведав горькой настойки трагедии,
а ночью заботы
грызли пол
тихо, как мыши.

Но если спросишь:
— Кто к вам приходил?

То, хотя для ответа
уже не хватит дыханья,
каждый скажет, скрывая невзгоды:
— К нам приходила земля и приносила букеты.

И это правда.

Прощай, Словакия

Бог в котелке тебя варил
в горах под самым небом.

И, как пастух, бросал в костер
столетья и сушняк.

Вскипала пена — слезы, пот.
И быль была как небыль.

И камень в этом котелке
немножечко размяк.

Иным гостям не по зубам
твое воронье мясо.

Белеют кости, а растут
картошка да овес.

И нет бедней твоих святых,
подол их нищей рясы

за эти долгие века
изъеден молью звезд.

В пещере памяти — неугасимый свет,
там вечность оседает звездной пылью.

И волосы у смерти золотые, когда она выходит из глубин,
помолодевшая — почти девчонка,
почти красавица.

Мой край рокочет,
как орган вечерний.
Во тьме белеют клавиши полей.
И призрачный хорал,
хорал старинный
становится все тише, все светлей.

Добрый день, мои мертвые.

Перевод ОЛЕГА МАЛЕВИЧА

■

ИРВИН ШОУ

Вечер в Византии

РОМАН

Перевод с английского К. ЧУГУНОВА

10

Он понимал, что уже светло, понимал, что еще не проснулся, слышал рядом чье-то легкое дыхание и слышал, как звонит телефон.

Продолжая лежать с закрытыми глазами, чтобы не видеть наступившего дня, он нащупал на ночном столике трубку. Далекий голос, пробившись сквозь жужжащий механический фон, сказал:

— Доброе утро, милый.

— Кто это? — спросил он, все еще не открывая глаз.

— Сколько людей зовут тебя «милый»? — слабо отозвался далекий голос.

— Прости, Констанс. Тебя очень плохо слышно, как будто ты говоришь с другого конца света.— Крейг открыл глаза, повернул голову. Рядом на подушке он увидел длинные каштановые волосы. Гейл пристально смотрела на него, ее голубые глаза были серьезны. Простыня, под которой они оба спали, наполовину сползла с него, обнажив голое бедро. Он хотел было ухватиться за край и натянуть на себя простыню, чтобы не было видно, как он возбужден, но, поняв нелепость этого жеста, воздержался.

— Ты все еще в постели? — тем временем произнесла Констанс. Электронный голос, долетавший до него по еще весьма несовершенному шестисотмильному кабелю, звучал укоризненно.— А ведь уже одиннадцатый час.

— Разве? — глупо спросил он, чувствуя на себе взгляд соседки, видя краем глаза очертания ее тела под простыней и аккуратно застеленную и оставшуюся несмятой вторую постель. Он пожалел, что назвал Констанс по имени.— В этом городе поздно ложатся и поздно встают,— сказал он.— Как дела в Париже?

— Все хуже и хуже. Как у тебя?

Он помолчал.

— Ничего нового.

— Прежде всего...— Голос в трубке — механический, колышущийся — был почти неузнаваем.— Я хочу извиниться.

Окончание. Начало в № 9.

— Я тебя совсем не слышу.— Он сделал над собой отчаянное усилие, чтобы говорить спокойно.— Может, мы положим трубки, и еще раз попросим телефонистку, и...

— Теперь лучше? Теперь ты меня слышишь? — Голос вдруг стал ясным и громким, словно Констанс находилась в соседнем номере.

— Да,— неохотно ответил Крейг. Он пытался придумать какую-нибудь отговорку, чтобы заставить Констанс отложить разговор, дать ему время накинуть на себя халат, перейти в гостиную и там ждать ее повторного звонка. Но, боясь себя выдать, решил пока ограничиться односложными замечаниями.

— Я сказала, что хочу извиниться за то, что набросилась на тебя в тот раз. Ты же меня знаешь.

— Да.

— И поблагодарить за фотографию со львенком. Это ты хорошо придумал.

— Да,— сказал он.

— А у меня новость,— продолжала Констанс.— Хорошая. Надеюсь, во всяком случае, что она покажется тебе хорошей.

— Какая? — Осторожно, незаметно он потянул за край простыни и прикрыл себя ниже пояса.

— Завтра или послезавтра я, возможно, буду в твоих краях,— сообщила она.— В Марселе.

— В Марселе? — Он не сразу вспомнил, где находится Марсель.— Почему в Марселе?

— Это не для телефона.— Французская телефонная сеть по-прежнему не пользовалась у нее доверием.— В общем, если у меня здесь получится, то я буду там.

— Прекрасно,— сказал он, думая совсем о другом.

— Что «прекрасно»? — В голосе Констанс послышалось раздражение.

— Ну, может быть, мы увидимся...

— Что значит «может быть»? — Голос ее звучал уже зловеще.

Он почувствовал рядом с собой движение. Гейл встала и — голая, стройная, с округлыми бедрами, точеными загорелыми икрами — медленно, не оглядываясь, прошла в ванную.

— Есть тут одна загвоздка...

— Что-то, дружок, я опять тебя не пойму.

— Завтра приезжает моя дочь Энн.— Обрадовавшись, что Гейл вышла, он сразу же успокоился.— Я послал ей телеграмму и предложил приехать.

— Все мы во власти этой чертовой молодежи,— с досадой сказала Констанс.— Возьми ее с собой в Марсель. Все девственницы должны побывать в Марселе.

— Надо мне сначала с ней поговорить...— Он решил не реагировать на слово «девственница».— Позвони мне, когда твои планы окончательно выяснятся. Может, ты еще и в Канн завернешь? — неискренне добавил он.

В ванной зашумел душ. «Интересно,— подумал он,— слышит ли шум воды в Париже Констанс».

— Я ненавижу Канн,— сказала Констанс.— Там у меня произошла размолвка с моим первым мужем. Черт возьми, если тебе так уж трудно сесть в машину и потратить два часа на то, чтобы повидаться с женщиной, которую ты вроде бы любишь...

— Ну, опять ты начинаешь злиться, Констанс. Ты ведь даже не уверена, что будешь в Марселе, а уже...

— Я хочу, чтобы ты сгорал от нетерпения,— сказала она.— Ведь

уже неделя, как мы не виделись. Неужели у тебя нет желания встретиться со мной?

— Есть.

— Докажи.

— Я приеду к тебе, куда ты захочешь и когда захочешь! — прокричал он.

— Вот это другой разговор, дружок.— Она хмыкнула.— Черт возьми, говорить с тобой — все равно что зубы выдергивать. Ты пьян?

— С похмелья.

— Куролесил?

— Можно сказать, что да.— Пусть ему хоть одно слово правды зачтется.

— Никогда не любила трезвенников,— сказала она.— Ну, хорошо, я пришлю тебе телеграмму, как только буду знать окончательно. Сколько лет твоей дочери?

— Двадцать.

— Полагаю, у двадцатилетней девчонки найдется и более интересное занятие, чем околачиваться возле отца.

— У нас спаянная семья.

— То-то я вижу, какая она спаянная. Ну, развлекайся, дорогой. А мне тебя не хватает. И со львенком — это была чудесная мысль.— Она положила трубку.

«Постыдная ситуация,— с досадой подумал он.— Постыдно-комическая». Он вскочил с постели и стал торопливо одеваться. Он был уже в рубашке и брюках, когда из ванной вышла Гейл — все еще голая, стройная, грациозная; на смуглой коже поблескивали последние капли воды, которые она не позаботилась вытереть.

Она встала перед ним, широко расставив ноги, уперев руки в бедра — совсем как манекенщица,— и улыбнулась.

— Ох, и забот же у нашего милого мальчика, а? — Она подошла к нему, притянула к себе его голову и поцеловала в лоб. Он обнял ее за талию и тоже хотел поцеловать, но она резко отстранилась и сказала: — Умираю от голода. Какую кнопку тут нажать, чтоб принесли завтрак?

Он приехал в аэропорт Ниццы раньше времени. До прилета самолета из Женевы оставалось еще полчаса. Постоянная боязнь опоздать начала преследовать его еще в годы супружества. Его жена никогда никуда не успевала, и их совместная жизнь осталась у него в памяти как непрерывная цепь безобразных сцен: он кричал, подгоняя ее, а она разражалась слезами и, в отместку за его грубость, нервно хлопала дверьми. Потом приходилось выдерживать унизительные объяснения с друзьями, извиняться за то, что они опоздали к ужину, или на самолет, или на поезд, или в театр, или на свадьбу, или на похороны, или на футбольный матч. И теперь, избавившись от нее, он испытывал удовлетворение, приезжая всюду заблаговременно, чтобы не волноваться. «Расставшись с твоей матерью,— сказал он как-то Энн, которая могла его понять, ибо, не желая следовать дурному примеру матери, развила в себе чудовищную пунктуальность,— я сберег себе десять лет жизни».

Он поднялся на террасу аэропорта, откуда видны были взлетная дорожка и море, сел за железный столик и заказал виски с содовой. Хотя до вечера было еще далеко, в воздухе веяло прохладой, дул свежий ветер, голубая вода белела барашками.

Потягивая виски, он старался собраться с мыслями, подготовить себя к встрече с дочерью. Но рука, в которой он держал стакан, слегка дрожала. Он сидел совсем разбитый, напрягшись из последних сил: когда он попытался сосредоточить взгляд на самолете, шедшем на посадку, но все еще летевшем высоко в небе, примерно в миле от посадочной полосы, глаза его, несмотря на солнечные очки, мгновенно заслезились. Он ведь провел бессонную ночь. И отнюдь не по вполне понятной причине. Гейл Маккиннон пришла к нему в номер и легла с ним в постель, но ничего ему не позволила. И никак это не объяснила. Просто сказала «нет» и заснула в его объятиях — спокойная, шелковистая, благоухающая, порочная и уверенная в себе, неотразимая и дразнящая своей красотой и юностью.

И теперь, дожидаясь, пока дочь спустится с неба на землю, он вспомнил все это, и ему стало стыдно. Нелепая ночь! В его-то возрасте позволить, чтоб тебя втянули в эту глупую детскую игру! И кто? Девчонка, которая в дочери ему годится. Надо было зажечь свет, выставить ее из номера, принять снотворное и заснуть. Или хотя бы надеть пижаму и перебраться на соседнюю кровать, а утром, когда она проснется, сказать, чтоб больше к нему не приходила. А он вместо этого раскис: охваченный грустью и нежностью, он крепко обнял ее, целовал в затылок, вдыхая аромат ее волос, и, мучимый желанием и бессонницей, прислушиваясь к ее ровному, здоровому дыханию, смотрел, как утренняя заря обводит оконные ставни полосками света.

За завтраком, раздраженный плотоядными взглядами официанта — хотя, возможно, взгляды эти ему просто померещились,— он сказал ей, что они встретятся после обеда в баре. Из-за нее он обидел Констанс, лгал ей или почти лгал по телефону, поставив под угрозу то, что до вчерашней ночи считал настоящей любовью к зрелой, многоопытной женщине, которая не играет с ним в прятки, которая принесла ему радость,— красивой, умной, нужной ему женщине, равноправной партнерше, чья любовь (почему не назвать это чувство его настоящим именем?), чья страсть помогали ему последние два года переживать самые мрачные моменты в жизни. Он всегда гордился умением контролировать свои поступки, быть хозяином своей судьбы как в хорошие, так и в плохие времена. И вдруг, за какие-то несколько часов опьянения, показал, что способен сделать опрометчивый шаг, поддаться губительному увлечению, словно какой-нибудь слюнявый кретин.

Опьянения! Но ведь он же обманывает себя. Да, конечно, он выпил, но не так уж много. Он знал, что даже если бы не выпил за весь вечер и капли спиртного, все равно вел бы себя именно так.

«Всему виною Канн»,— сказал он себе в оправдание. Этот город создан для раскованности чувств — он весь свобода, щедрое солнце, возбуждающая нагота. А в темных зрительных залах на него воздействовала густо насыщенная сексом, будоражащая атмосфера фильмов, полных эмоций, восхитительного порока, безрассудства и молодого разгула, слишком буйного для стареющего бесприютного человека, странствующего без компаса по этому бурному году.

И в довершение всех бед — приезд дочери. Какой черт дернул его послать ей телеграмму! Он застонал и, спохватившись, осмотрелся вокруг — не заметил ли кто-нибудь? На всякий случай он приложил платок ко рту — пусть думают, что это приступ кашля. Потом заказал еще виски.

Он приехал в Канн в поисках ответов. Но за эти короткие дни у него лишь возникли новые вопросы. «А не лучше ли сейчас пойти в кассу,— подумал он,— и взять билет до Парижа, Нью-Йорка, Лондона или Вены?» Он же северянин, привык к суровому климату, белые

языческие города юга не для него. Будь он благоразумнее, он навсегда бежал бы от этих пагубных соблазнов Средиземноморья, которые лишь осложняют жизнь. Здравая мысль. Но он не сдвинулся с места. Нет, не пойдет он в кассу и не купит никакого билета. Пока не купит.

Во время завтрака из вестибюля позвонил Бойд, помощник Клейна, и Крейг с коридорным отослал ему вниз рукопись «Трех горизонтов». Если Клейну она не понравится, решил Крейг, он уедет из Канна. Это решение успокоило его. Теперь у него есть ориентир, есть чем руководствоваться механически, независимо от собственной воли. Ему стало легче. Поднимая стакан с виски, он заметил, что рука у него уже не дрожит.

Самолет вырулил на площадку и остановился. Из него потекли празднично разодетые пассажиры, платья женщин разлетались на морском ветру. Он отыскал глазами Энн — светлые белокурые волосы хлестали ее по лицу. Она шла быстрым, энергичным шагом и поглядывала вверх на террасу, высматривая его. Он помахал ей рукой. Она помахала в ответ и ускорила шаг. Она несла туго набитый брезентовый мешок цвета хаки, похожий на те, что продают в армейских магазинах. Он обратил внимание, что она по-прежнему сутулится, ходит неуклюжей походкой, точно боится показаться воплощением женственности и изящества. «Надо бы посоветовать ей заняться пластической гимнастикой»,— подумал он. На ней был мятый синий плащ и буро-коричневые штаны. В этой темной одежде вид у нее был невзрачный, смущенный, и только волосы не давали ей потеряться среди ярких летних нарядов, пестрых рубашек и полосатых легких пиджаков остальных пассажиров. Кем она теперь-то хочет казаться? Ее одежда невольно вызвала у него чувство досады. В прежние времена, когда Крейг хорошо зарабатывал, он положил в банк на ее имя и на имя ее сестры деньги. Доходы с них не ахти какие, но безусловно достаточные, чтобы прилично одеваться. Он деликатно объяснит ей это и затащит в магазин купить что-нибудь более подходящее. Но хорошо уже, что она не чумазая, не босая и не напоминает одурманенную гашишем индеанку из племени команчей. Ну, что ж, спасибо и на этом.

Он расплатился с официантом и пошел вниз встречать ее.

Когда она вышла в зал ожидания следом за носильщиком, который вез два ее чемодана, Крейг придал лицу приличествующее случаю выражение. Она по-детски бросилась к нему, обняла и поцеловала, но не совсем удачно — куда-то в шею.

— О, папа! — воскликнула она, уткнувшись лицом ему в грудь.

Он погладил плечо измятого синего плаща. Когда она прижалась к нему, он невольно вспомнил другое молодое тело, которое обнимал утром, другой поцелуй.

— Дай-ка взглянуть на тебя,— сказал он.

Она немного отстранилась, чтобы он мог получить о ней полное представление. Она не употребляла косметики да и не нуждалась в ней. Вид ее говорил о том, что она из Калифорнии: глаза светлые, лицо загорелое, цветущее, волосы выгорели от солнца, на крепкой прямой переносице — мелкая россыпь веснушек. Она хорошо учится, он знал это по оценкам, но, глядя на нее, трудно было поверить, что она хоть иногда берет в руки учебник и вообще проводит время не только на пляжах, водных лыжах и теннисных кортах. Будь он двадцатилетней девушкой с внешностью Энн, он не стал бы сутулиться.

Они не виделись полгода, и он заметил, что она налилась за это время, груди ее под темно-зеленым свитером, ничем не стесняемые, значительно потяжелели. Лицо похудело и заострилось книзу, стало почти треугольным, с чуть заметными впадинами под выпуклыми скулами. Она всегда была здоровым ребенком и теперь превращалась в здоровую, крепкую женщину.

— Нравится тебе то, что ты видишь? — с улыбкой спросила она. Этот вопрос уже давно вошел у них в обиход — Энн придумала его, еще когда была девочкой.

— Более или менее,— ответил он, поддразнивая ее. Он не смог бы выразить словами переполнявшую его радость и нежность, нелепое и такое приятное чувство самодовольства, которое доставила ему дочь — плоть от плоти его, подтверждение его жизнеспособности и родительской мудрости. Он взял ее руку и сжал, удивляясь, как всего несколько минут назад мог огорчаться из-за того, что она приезжает.

Они вышли рука об руку следом за носильщиком из аэровокзала. Он помог погрузить ее вещи в багажник. Брезентовая сумка оказалась очень тяжелой — там были книги. Когда Крейг взял ее, одна из книг выпала. Он ее поднял. «Воспитание чувств» на французском языке. Засовывая книгу в сумку, он невольно улыбнулся. Предусмотрительная путешественница его дочь: готовится увидеть здесь девятнадцатый век.

Они поехали в Канн. Из-за интенсивного движения машина шла медленно. Время от времени Энн наклонялась к нему и гладила по щеке, как бы желая убедиться с помощью легкого прикосновения пальцев, что она действительно здесь, рядом с отцом.

— Голубое Средиземное море,— сказала она.— Скажу тебе по правде, это было самое восхитительное приглашение в моей жизни.— Она засмеялась какой-то своей затаенной мысли.— Твоя жена говорит, что ты стремишься купить мое расположение.

— А ты как считаешь?

— Если это правда, продолжай в том же духе.

— Как съездила в Швейцарию?

— В целом — ужасно.

— Что она делает в Женеве?

— Консультируется с частными банками. С ней — ее дружок, помогает ей консультироваться.— В голосе Энн появилась жесткость.— С тех пор как ты стал давать ей все эти деньги, она просто помешалась на том, куда лучше вложить капитал. Считает, что американская экономика недостаточно устойчива, и собирается скупать акции западногерманских и японских компаний. Сказала, чтоб я посоветовала тебе делать то же самое. Глупо, говорит, получать с капитала всего пять процентов. У тебя, говорит, никогда не было коммерческой жилки, поэтому она и заботится о твоих интересах.— Энн скривила губы в усмешке.— Опять-таки в твоих же интересах, говорит она, порвать с этой твоей парижской знакомой.

— Так она и сказала? — Крейг постарался произнести это спокойно, чтобы Энн не заметила злости в голосе.

— Она много чего наговорила.

— Да что она вообще знает об этой моей парижской знакомой?

— Я не знаю, что она знает. Знаю лишь то, что она мне сказала. Сказала, что эта женщина слишком молода для тебя, что она похожа на маникюршу и ее интересуют только твои деньги.

Крейг рассмеялся:

— Похожа на маникюршу! Значит, она никогда ее не видела.

— Говорит, что видела. Даже скандал ей устроила.

— Где?

— В Париже.

— Так она и в Париже была? — недоверчиво спросил он.

— А то как же. Исключительно в твоих интересах. Она сказала этой даме, что она думает об авантюристках, которые обольщают старых дураков и разбивают счастливые браки.

Крейг недоуменно покачал головой:

— Констанс ни слова мне об этом не говорила.

— О таких вещах, я думаю, женщины не очень-то любят рассказывать. Ты познакомишь меня с Констанс?

— Конечно,— смущенно ответил Крейг. Когда он обнимал свою дочь при встрече в аэропорту, то никак не предполагал, что их разговор примет такой оборот.

— Ну, а что касается Женевы, то там была одна сплошная смехота. Пришлось даже отужинать в «Ричмонде» с мамулей, ее приятелем и прочими ханжами.

Крейг молча вел машину. Он не хотел говорить с дочерью о любовнике своей жены.

— Он устроил там целое представление,— продолжала Энн.— Тьфу! Расселся, заказывает икру, орет на официанта из-за вина, потом любезничает пять минут с мамулей и пять минут со мной. Я вдруг поняла, почему я с двенадцати лет ненавижу мамулю.

— Это неправда,— мягко возразил Крейг. Он готов был принять на себя вину за многое, но не хотел отторгать дочерей от их матери.

— Нет, правда: ненавижу,— сказала Энн.— Ненавижу, ненавижу. Как ты мог столько лет терпеть у себя в доме этого жалкого, нудного человека, который притворялся твоим другом, почему ты так долго мирился со всем этим?

— Прежде чем винить других, надо посмотреть на себя,— сказал Крейг.— Я ведь тоже был не ангел. Ты уже большая девочка, Энн, и, я полагаю, не сегодня поняла, что мы с твоей матерью давно живем каждый своей жизнью.

— Своей жизнью! — нетерпеливо воскликнула Энн.— Ну, пусть каждый своей. Это мне понятно. Непонятно другое: почему ты женился на этой стерве...

— Энн! — оборвал ее Крейг.— Ты не должна так говорить...

— Но еще непонятней мне, почему ты позволяешь ей угрожать тебе судом за адюльтер и вымогать у тебя деньги. И дом! Почему ты не наймешь сыщика, чтобы он дня два последил за ней и ты б увидел, как она себя ведет?

— Этого я не могу сделать.

— Почему не можешь? Она же наняла сыщика, который следил за тобой.

Крейг пожал плечами.

— Ты рассуждаешь, как юрист,— сказал он.— Просто не могу.

— Слишком ты старомоден. В этом твоя беда.

— Не будем об этом говорить, прошу тебя. Только помни: если бы я не женился на твоей матери, то не было бы сейчас ни тебя, ни твоей сестры, а раз вы у меня есть, все остальное, пожалуй, не так уж и важно. И что бы ваша мать ни делала и ни говорила, я по-прежнему благодарен ей за вас. Будешь это помнить?

— Постараюсь.— Голос у Энн задрожал, и Крейг испугался, что она сейчас расплачется, хотя она никогда не была плаксой, даже в детстве.— Скажу только одно,— с горечью добавила она.— Не хочу я больше видеть эту женщину. Ни в Швейцарии, ни в Нью-Йорке, ни в Калифорнии. Никогда. Нигде.

— Еще передумаешь,— тихо сказал он.

— Хочешь на спор?

«Черт бы их побрал, эти семейные дела»,— подумал он.

— Я хочу, чтобы и ты и Марша знали совершенно точно одно: Констанс не имеет к моему разрыву с вашей матерью никакого отношения. А оставил я ее потому, что мне все это надоело и я уже был на грани самоубийства. Потому, что брак наш потерял всякий смысл, а продолжать бессмысленную жизнь я не хотел. Я виню вашу мать не больше, чем самого себя. Но кто бы ни был тут виноват, продолжать не имело смысла. Констанс же просто случайно оказалась в это время на моем пути.

— Ладно,— сказала Энн.— Верю.

Несколько минут она молчала, и Крейг с благодарностью отметил это про себя, проезжая мимо каннского ипподрома. Скачки на юге... Ничего не значащие победы, незасчитанные поражения. Разбрызгиватели, расставленные на зеленом поле, изливали мириады дугообразных фонтанчиков. Наконец Энн, оживившись, спросила:

— Ну, а ты-то как? Развлекаешься?

— Можно сказать, что да.

— Я тревожилась за тебя.

— Тревожилась за меня? — Он не мог скрыть удивления.— Но, кажется, современная теория утверждает, что в наши дни ни один ребенок не тревожится за своих родителей.

— Я не настолько современна.

— Почему же ты за меня тревожилась?

— Из-за твоих писем.

— Что же ты в них нашла?

— Ничего такого, за что можно зацепиться. Ничего явного. Но между строк... не знаю... мне показалось, что ты недоволен собой, что ты не уверен в себе и в своих делах. Даже твой почерк...

— Почерк?

— Даже он изменился. Какой-то нетвердый стал. Словно ты уже не знаешь, как писать отдельные буквы.

— Придется мне, видно, печатать свои письма на машинке,— попытался отшутиться Крейг.

— Не так все просто,— серьезно сказала она.— У нас на кафедре психологии есть профессор, специалист по почеркам, и я показала ему два твоих письма. Одно я получила от тебя четыре года назад, а другое...

— Ты хранишь мои письма? — Необыкновенный ребенок. Сам он никогда писем от своих родителей не хранил.

— Конечно, храню. Так вот, однажды этот профессор сказал, что задолго до того, как что-нибудь случится, когда нет еще никаких симптомов и вообще ничего и сам человек еще ничего такого не чувствует, почерк его... ну, как бы предсказывает перемены — болезнь, даже смерть.

Он был потрясен тем, что она сказала, но старался не показать этого. Энн с детства отличалась прямотой и откровенностью и выпаливала все, что ей приходило в голову. Он гордился и немного забавлялся ее беспощадной правдивостью, которую считал признаком замечательной силы характера. Но сейчас ему было не так уж забавно, ибо беспощадная правда касалась его самого. Он попытался обратить все в шутку.

— Ну и что же сказал сей мудрец о письмах твоего папочки?— насмешливо спросил он.

— Ничего смешного тут нет. Он сказал, что ты переменился. И переменишься еще больше.

— Надеюсь, к лучшему?

— Нет,— сказала она.— Не к лучшему.

— О господи, посылаешь детей в солидный модный колледж, чтобы они получили там научное образование, а им забивают голову всякими средневековыми суевериями. А может, твой профессор еще и хиромантией занимается?

— Суеверия это или нет, а я дала себе слово сказать тебе и вот— сказала. Кстати, сегодня, увидев тебя, я была поражена.

— Чем?

— Ты плохо выглядишь. Очень плохо.

— Не говори глупостей, Энн,— сказал Крейг, хотя был уверен, что она права.— Две-три бурных ночи — только и всего.

— Дело не в этом,— настаивала Энн.— Не в том, что ты провел две-три бурных ночи. Здесь что-то более серьезное. Не знаю, замечал ли ты, но я наблюдаю за тобой с детства. И несмотря на твою скрытность, я всегда знала, когда ты сердишься, когда взволнован, когда болен или чего-то боишься...

— А сейчас?

— Сейчас...— Она нервно провела рукой по волосам.— У тебя странный вид. Какой-то ты... неприкаянный... да, лучше, пожалуй, не скажешь. Ты похож на человека, который всю жизнь переезжает из одного номера отеля в другой.

— Да, я живу все время в отелях. В лучших отелях мира.

— Ты же понимаешь, что я имею в виду.

Он понимал, что она имела в виду, но вслух не признался в этом. Только себе.

— Когда я получила твою телеграмму, то решила подготовить речь,— сказала Энн.— И вот я сейчас ее произнесу.

— Взгляни лучше, какой отсюда вид, Энн,— сказал он.— Для речей у тебя еще будет время.

Она не обратила на его слова внимания.

— Чего я хочу, это — жить с тобой,— сказала она.— Заботиться о тебе. В Париже, если ты хочешь жить там. Или в Нью-Йорке. Или в любом другом месте. Я не хочу, чтобы ты жил бирюком и из вечера в вечер ужинал один, как... как старый буйвол, которого вытеснили из стада.

Он невольно рассмеялся, услышав такое сравнение.

— Не хочу казаться хвастуном,— сказал он,— но в компании у меня нет недостатка, Энн. К тому же тебе еще год учиться в колледже и...

— С образованием я покончила,— сказала она.— И образование покончило со мной. Такое образование, во всяком случае, мне не нужно. В общем, я туда больше не поеду.

— Это мы еще обсудим,— сказал он. Честно говоря, после стольких лет бродяжничества, мысль об упорядоченной жизни с Энн неожиданно показалась ему привлекательной. Вдобавок, оказывается, он до сих пор держится того устарелого, недостойного, постыдно несовременного взгляда, что образование не столь уж важно для женщины.

— И еще: тебе надо работать,— сказала Энн.— Это же нелепо, чтобы такой человек, как ты, пять лет ничего не делал.

— Не так-то это просто,— сказал он.— Не думай, что люди наперебой предлагают мне работу.

— Это тебе-то! — недоверчиво воскликнула она.— Не верю.

— Но это так. Мэрфи тоже здесь. Поговори с ним о положении дел в кино.

— Но другие ведь продолжают делать фильмы.

— То другие. А твой отец — нет.

— Нет, это просто невыносимо. Ты говоришь, как неудачник. Лучше бы решился и попробовал, а не стоял в позе гордого одиночества. Я говорила недавно с Маршей, и она со мной согласна: это совершенно пустая, бессмысленная, позорная трата сил! — Она перешла почти на истерический тон, и Крейг успокаивающе погладил ее по руке.

— Вот об этом же и я думал. Я ведь работал весь последний год.

— Ага! — торжествующе воскликнула она.— Вот видишь. С кем?

— Ни с кем. Сам с собой. Я написал сценарий. Только что закончил. Сейчас его как раз читают.

— Что говорит мистер Мэрфи?

— Плохо говорит. Мистер Мэрфи советует его выбросить.

— Глупый старик,— сказала Энн.— Я бы и слушать его не стала.

— Он далеко не глуп.

— Но ты все-таки не послушал его, правда?

— Сценарий я пока не выбросил.

— Можно мне почитать?

— Если хочешь.

— Конечно, хочу. Могу я потом откровенно высказать свое мнение?

— Разумеется.

— Даже если мистер Мэрфи прав,— добавила Энн,— и сценарий действительно не получился, или не устраивает по коммерческим соображениям, или просто не то, что сейчас требуется, ты мог бы заняться чем-нибудь еще. Не сошелся же весь свет клином на кино, верно? Если хочешь знать правду, то, по-моему, ты был бы гораздо счастливее, если бы вообще забыл о кино. Тебе приходится иметь дело с ужасными людьми. И все это так жестоко и непостоянно: сейчас тебя превозносят, как героя, а через минуту ты уже забыт. А публика, которой ты должен угождать, эта Великая Американская Публика? Ты пойди в субботу вечером в кинотеатр, в любой кинотеатр, и посмотри, чему они смеются, над чем плачут... Я же помню, как ты работал, как изматывал себя до полусмерти к концу картины... А для кого? Для ста миллионов болванов.

В том, что говорила Энн, он узнал отзвук собственных мыслей, но это не доставило ему радости. Особенно его покоробило слово «угождать». Одно дело, когда так говорит человек его возраста, который, работая на трудном поприще, добивается успеха или терпит неудачи и поэтому имеет право в минуты депрессии сомневаться в значении своего труда. Другое дело — выслушивать огульные осуждения из уст неискушенной, избалованной девчонки.

— Энн,— остановил он ее,— не будь так строга к своим соотечественникам-американцам.

— Охотно уступлю своих соотечественников-американцев любому, кто захочет.

«Еще один вопрос на повестке дня,— подумал он.— Узнать, что случилось с моей дочерью на родине в последние полгода. Но это мы отложим до следующей встречи».

Он вернул разговор в прежнее русло.

— Раз уж ты так много размышляла о моей карьере,— сказал он с легкой иронией,— то, может быть, посоветуешь, чем мне заняться?

— Есть масса разных вещей. Можешь преподавать, можешь пойти редактором в какое-нибудь издательство. В сущности, ты тем и занимался всю жизнь, что редактировал чужие рукописи. Можешь

даже сам стать издателем. Или поселиться где-нибудь в тихом городке и открыть маленький театр. Или писать мемуары.

— Энн,— укоризненно сказал он,— я знаю, что я стар, но *не настолько же.*

— Есть масса разных вещей,— упрямо повторила она.— Ты самый умный из всех, кого я знаю, и было бы преступлением, если бы ты дал сбросить себя, как битую карту, только потому, что люди, занимающиеся кино или театром, беспросветно глупы. Ты ведь не женат на кино. Христом богом клянусь, что Моисей сошел с Синая не для того, чтобы сказать «развлекай».

Он засмеялся:

— Милая Энн, ты сделала винегрет из двух великих религий.

— Я знаю, что говорю.

— Может, и знаешь,— согласился он.— Может, в твоих словах есть доля правды. А может, ты и ошибаешься. В этом году я отчасти для того и приехал в Канн, чтобы принять какое-то решение, узнать, стоит ли мне оставаться в кино.

— Ну и что? — с вызовом спросила она.— Что же ты увидел, что узнал?

Что он увидел, что узнал? А увидел он много разных фильмов, хороших и плохих, в основном плохих. Его захватил этот карнавал, безумие кино. В залах, на террасах, на пляже, на званых вечерах киноискусство или кинопроизводство — называйте это как угодно — предстало перед ним за эти несколько дней во всей своей наготе. Тут были артисты и псевдоартисты, дельцы, аферисты, покупатели и продавцы, сплетники, проститутки, порнографы, критики, прихлебатели, герои года, неудачники года. И как квинтэссенция всего этого — фильм Бергмана и фильм Бунюэля, чистые и опустошающие.

— Ну, так что же ты узнал? — повторила свой вопрос Энн.

— Боюсь, что я на всю жизнь связан с кино,— вот что я узнал. Когда я был маленьким, отец брал меня с собой в театр — бродвейский театр. Я сидел, не шевелясь, в кресле и ждал, когда погрузится во мрак зал и зажгутся огни рампы: я всегда боялся, как бы что-нибудь не случилось и не помешало этому. Но вот великий момент наступал. В радостном волнении я крепко сжимал кулаки, заранее переживая за тех, кого увижу на сцене. Только однажды я был груб с отцом, и это произошло как раз в такой момент. Отец начал что-то говорить — не знаю что,— заставив меня таким образом выйти из состояния блаженства, и я сказал: «Пожалуйста, помолчи, папа». Кажется, он понял меня, потому что с тех пор больше не заговаривал, когда в зале гасли огни. Так вот теперь, сидя в бродвейском театре, я уже не испытываю такого чувства. Но оно появляется всякий раз, когда я покупаю билет и вхожу в полутемный кинозал. Не так уж плохо, если время от времени что-то заставляет сорокавосьмилетнего человека переживать те же чувства, какие он испытывал мальчишкой. Может, поэтому я и придумываю для кино всяческие оправдания, поэтому и пытаюсь не придавать значения его неприглядным сторонам и низкопробной продукции. Тысячи раз, посмотрев какой-нибудь скверный фильм, я утешал себя мыслью, что за одну хорошую картину можно простить сотню плохих. Что игра стоит свеч.

Он не добавил, хотя теперь это знал — да и всегда, в сущности, знал,— что хорошие фильмы делают не для той публики, которая заполняет кинотеатры в субботу вечером. Их делают, потому что их нельзя не делать, потому что они нужны тем, кто их делает, как и вообще любое произведение искусства. Он знал, что и муки отчаяния, и то, что Энн назвала «жестокостью и непостоянством мира кино», и необходимость лавировать, обхаживать, добывать деньги, и больно

ранящая критика, и несправедливость, и нервное истощение — все это неотделимо от безмерной радости, которую приносит процесс творчества. И пусть ты внес лишь скромную лепту, сыграл небольшую, второстепенную роль, все равно ты разделяешь эту радость. Теперь он понял, что сам наказывал себя, лишая в течение пяти лет этой радости.

Не доезжая до Антиба, он свернул на прибрежное шоссе.

— Я на всю жизнь связан с кино,— повторил он.— Таков диагноз. Ну, хватит обо мне. Признаюсь, я рад, что в нашей семье появился еще один взрослый человек.— Он взглянул на дочь и увидел, как она зарделась от этого комплимента.— Что ты о себе скажешь кроме того, что уже достаточно образованна и хотела бы заботиться обо мне? Какие у тебя планы?

Она пожала плечами.

— Стараюсь понять, как выжить, будучи взрослой. Это, кстати, твое определение. А в остальном мне ясно одно: замуж я не собираюсь.

— Ну, что ж,— сказал он.— Кажется, начало многообещающее.

— Не смейся надо мной,— резко сказала она.— Ты всегда меня дразнишь.

— Дразнят только тех, кого любят. Но если тебе это неприятно, я не буду.

— Да, неприятно,— сказала она.— Я не настолько защищена, чтобы относиться к шуткам спокойно.

Он понял, что это — упрек. Если двадцатилетняя девушка чувствует себя незащищенной, то кого в этом винить, как не отца? Пока они ехали от Ниццы до Антибского мыса, он многое узнал о своей дочери, но все это не слишком обнадеживало.

Они приближались к дому, который он снимал летом 1949 года,— дому, где была зачата Энн. Она никогда тут не бывала. «Интересно,— подумал он,— существуют ли воспоминания об утробной жизни и если да, то заставят ли они ее оглянуться и обратить внимание на белое здание, стоящее среди зелени на холме?»

Она не оглянулась.

«Надеюсь,— подумал он, проезжая мимо дома,— что хоть один раз у нее в жизни будут три таких месяца, какие были в то лето у меня с ее матерью».

11

Они подъехали к отелю в тот момент, когда Гейл Маккиннон выходила из подъезда, так что Крейгу ничего не оставалось, как познакомить ее с дочерью.

— Добро пожаловать в Канн.— Гейл отступила на шаг и беззастенчиво оглядела Энн. «Дерзко»,— подумал Крейг.— А семья-то ваша все хорошеет,— сказала она.

Не желая углубляться в разговор о том, как приближается к совершенству семья Крейгов, он сказал:

— Ну, как там Рейнолдс? Все в порядке?

— Жив, наверно,— небрежно бросила Гейл.

— Разве вы у него не были?

Она пожала плечами.

— Зачем? Если бы он нуждался в помощи, то нашелся бы кто-нибудь и без меня. До скорой встречи,— сказала она, обращаясь к Энн.— Вечером одна не ходите. Попробуйте уговорить папу пригласить нас как-нибудь поужинать.— И, едва удостоив Крейга взглядом, она пошла дальше, покачивая висевшей на плече сумкой.

— Какая странная, красивая девушка,— сказала Энн, когда они входили в отель.— Ты с ней хорошо знаком?

— Я встретил ее всего несколько дней назад,— ответил Крейг. Что правда, то правда.

— Она актриса?

— Что-то вроде журналистки. Дай мне твой паспорт. Его надо оставить у клерка.

Он зарегистрировал Энн и подошел к портье за ключом. Там его ждала телеграмма. От Констанс.

«БУДУ МАРСЕЛЕ ЗАВТРА УТРОМ. ОСТАНОВЛЮСЬ ОТЕЛЕ «СПЛЕНДИД». ПРИДУМАЙ ЧТО-НИБУДЬ НЕОБЫКНОВЕННОЕ. ЦЕЛУЮ. К.»

— Ничего не случилось? — спросила Энн.

— Нет.— Он сунул телеграмму в карман и пошел вслед за служащим, который должен был провести Энн в ее номер. Администратор не сумел освободить комнату, смежную с «люксом» Крейга, поэтому Энн поселили этажом выше. «Какая разница?» — подумал он, входя с ней в лифт.

Вместе с ними в кабину вошел толстячок, с которым Крейг уже встречался в лифте, и хорошенькая совсем молоденькая девушка. Сегодня толстячок был в ярко-зеленой рубашке. Когда лифт тронулся, он сказал, видимо продолжая разговор:

— В Испании это ни за что не пройдет.— Он оценивающе оглядел Энн, потом уголком рта заговорщически усмехнулся Крейгу. Будь это не «Карлтон», а что-нибудь попроще, Крейг дал бы ему по носу. Вместо этого он сказал служащему:

— Я сойду на своем этаже. А вы проводите, пожалуйста, мою дочь в номер. Как устроишься, Энн, спускайся вниз.

Человек в зеленой рубашке опустил глаза и отдернул руку, которой держал хорошенькую девушку за локоть. Крейг злорадно ухмыльнулся и вышел из кабины.

У себя в гостиной он взглянул на программу сегодняшних просмотров. В три часа будет итальянский фильм, который его как раз интересовал. Он снял трубку и попросил соединить его с номером Энн.

— Энн! Сегодня днем любопытный фильм. Хочешь пойти со мной?

— Ой, папа! А я купальный костюм надеваю. Очень уж заманчиво море...

— Хорошо. Желаю тебе приятного купанья. В начале шестого я вернусь.

Положив трубку, Крейг перечитал телеграмму Констанс и покачал головой. Не поехать к ней в Марсель нельзя. Взять с собой Энн тоже нельзя. Есть же границы и у общества вседозволенности. Но как оставить дочь в Канне одну, если она только что пролетела пять тысяч миль, чтобы побыть с ним? Вряд ли она почувствует себя после этого более защищенной. Придется изобрести для Констанс какое-то объяснение, чтобы вернуться не позже чем через день или два. «Придумай что-нибудь необыкновенное».

Недовольный собой, он подошел к камину, над которым висело зеркало, и внимательно всмотрелся в свое отражение. Энн сказала, что он плохо выглядит. Верно, под глазами — непривычно глубокие складки, лоб изрезан морщинами. Лицо бледное, даже изжелта-бледное, на верхней губе испарина. «Жаркий день сегодня,— подумал он.— Лето наступает, только и всего».

Психолог в Калифорнии сказал, что по тому, как ты выводишь

на бумаге слова, можно предсказать твое будущее. Перемены, болезнь, даже смерть...

Во рту пересохло: он вспомнил, что в последнее время, когда встает со стула, у него иногда кружится голова, что ему не хочется есть...

— К черту,— громко сказал он. Прежде он никогда сам с собой не разговаривал. Что бы это значило?

Он отвернулся от зеркала. «В нем есть какая-то суховатая элегантность»,— написала про него Гейл. Она не консультировалась с калифорнийским профессором.

Он прошел в спальню и уставился на постель, теперь уже аккуратно застеленную, которую он прошлой ночью делил, если можно так выразиться, с этой девушкой. Ляжет ли она с ним сегодня опять? Будет ли он настолько глуп, что снова откроет ей дверь? Он вспомнил ее шелковистую кожу, благоухание волос, четкую округлость бедра. Да, если она постучится, он откроет.

— Идиот,— сказал он вслух. Возможно, это — симптом скрытого психического вывиха, признак наступающего одряхления, но звук собственного голоса в пустой комнате принес ему какое-то облегчение.— Чертов идиот,— повторил он, глядя на постель.

Он умылся холодной водой, сменил мокрую от пота рубашку и отправился смотреть итальянский фильм.

Фильм — серьезный, растянутый, скучный — разочаровал его. В нем рассказывалось о группе анархистов, приехавших в начале столетия в Лондон во главе с сицилийским революционером. Судя по всему, сценарист и режиссер старались придать картине максимальную достоверность, и было ясно, что люди, делавшие фильм, испытывают похвальную ненависть к нищете и несправедливости, однако сцены насилия, стрельба, смерти — все это показалось Крейгу мелодраматичным и безвкусным. За время своего пребывания в Канне он видел уже немало фильмов, посвященных революции того или иного рода,— банкиры из числа наиболее ярых республиканцев тратят миллионы долларов на пропаганду насилия и ниспровержения существующего строя. Что же движет этими подтянутыми, процветающими людьми в белых рубашках и пиджаках в талию, сидящими за большими голыми столами? Неужели, раз есть возможность заработать на мятеже, взрывах бомб в залах суда, поджоге гетто, они, эти благородные накопители, считают, что обязаны ради своих акционеров раскрыть сейфы, не думая о последствиях? А может быть, их цинизм заходит еще дальше и эти мудрецы, держащие в руках рычаги власти, прекрасно знают, что еще ни один фильм не вызвал общественного переворота и что бы ни говорилось в зале, какие бы очереди ни стояли за билетами на самые подстрекательские фильмы, все останется по-прежнему и нигде не раздастся ни единого выстрела? И они смеются в своих клубах над взрослыми детьми, которые играют в «туманные картинки» на целлулоиде и которым они под конец дарят еще одну игрушку — деньги. Лично он, Крейг, ни разу еще не буйствовал, выйдя из кинотеатра на улицу. А разве он не такой, как все?

Он не поддался убеждению, он уверен, что эти безрассудные призывы к действию могут лишь стать причиной еще худшего зла, чем то, которое пытаются с их помощью искоренить,— не является ли все это признаком старости?

Будь он двадцатилетним, как Энн, или двадцатидвухлетним, как Гейл, стал бы он бунтарем, торжествующим, обрекая города на гибель?

Он вспомнил слова Слоуна о телегах с казненными, о Версале в ночь перед взятием Бастилии. На чьей стороне он будет в тот день, когда по его улице загрохочут телеги? И с кем пойдет Энн? А Констанс? А Гейл Маккиннон? А его жена?

Нет, этот итальянский фильм нельзя смотреть человеку, который только что объявил своей дочери, что на всю жизнь связал себя с кино. Мертворожденный, в художественном отношении ничего собой не представляющий, а вернее — просто дрянной и к тому же скучный. В нем нет даже подлинного трагизма, на фоне которого его собственные проблемы приобрели бы соответствующий масштаб, а его мелкие личные дела, запутанные отношения с женщинами, творческие блуждания показались бы ничтожными и успокоительно противоречивыми.

Он не досмотрел до конца, вышел из кинозала и, чтобы восстановить душевное равновесие, попробовал вспомнить кадр за кадром фильмы Бунюэля и Бергмана, которые видел на этой неделе.

Солнце припекало, и Крейг, полагая, что Энн еще купается, спустился в поисках ее на пляж у отеля «Карлтон». Широкоплечая, с прекрасно развитыми формами, в узеньком бикини, она сидела за столиком у бара. Как отец, он предпочел бы видеть ее в менее откровенном костюме. Рядом с ней сидел Йэн Уодли в плавках. Напротив расположилась Гейл Маккиннон; на ней был тот же розовый, из двух полосок, купальный костюм, в котором Крейг видел ее на пляже у Мэрфи. Крейгу стало стыдно, что он предоставил Энн самой себе, не подыскав ей компании.

Йэн Уодли явно не слишком утомлял себя хождением в кино: кожа у него была такая же загорелая, как и у обеих девушек. В своих мешковатых костюмах он выглядел полным, почти обрюзгшим, но сейчас, без одежды, тело его оказалось плотно сбитым, сильным, внушительным. Он чему-то смеялся и размахивал рукой, в которой держал стакан. В первую минуту никто из них Крейга не заметил, и он решил было повернуться и уйти. Слишком уж напоминала ему эта троица вечно улыбающегося итальянского актера и двух его подружек.

Но он пересилил себя: это было бы ребячеством, дурным тоном — и подошел к столику. Гейл возилась со своим магнитофоном, и Крейг с беспокойством подумал, не брала ли она интервью у его дочери. Он забыл сказать Энн, чтобы она никаких интервью не давала. Но тут он услышал:

— Спасибо, Йэн. Я уверена, что радиослушателям в Соединенных Штатах это понравится. Только не знаю, пустят ли вас после этого в Канн.

— А зачем лицемерить? — возразил Йэн.— К черту politesse [1]. Надо называть вещи своими именами — таков мой девиз.

«О, господи,— подумал Крейг.— Опять он на своем любимом коньке».

— Добрый вечер, люди.

— Привет, Джесс! — прогудел Йэн. Голос у него был такой же могучий, как и его бронзовый торс. В присутствии двух хорошеньких девушек он стал другим человеком.— А я как раз объяснял этим очаровательным юным дамам закулисную сторону кинофестивалей. Кто что продает, кто кого покупает, какими тайными и грязными путями получают «Золотые пальмовые ветви». Садись, отец. Что будешь пить? Официант! Garçon!

[1] Вежливость *(франц.)*.

— Ничего не надо, спасибо,— ответил Крейг. В слове «отец» таилась ирония. Он сел рядом с Гейл, напротив Энн.— Что ты пьешь? — спросил он дочь.

— Джин с тоником.

Он ни разу еще не видел, чтобы она пила спиртное. Прежде, когда за обедом он предлагал ей вино, Энн отказывалась, говоря, что оно невкусное. Видимо, джин больше подходит молодежи.

— Весьма любезно с твоей стороны, отец, ввозить поклонниц из-за морей и океанов, не жалея затрат,— сказал Уодли.

— Ты это о чем? — спросил Крейг.

— Я читала его романы,— сказала Энн.— Они включены в курс современной литературы.

— Видал? — сказал Уодли.— Я в списке обязательной современной литературы. Ученые девы целого континента жгут свечи по ночам, изучая Йэна Уодли. Представляешь? На унылой и бесплодной гальке Канна я встретил читательницу.

— Я тоже прочитала две ваши книжки,— вставила Гейл.

— Похвалите их, милая, похвалите,— сказал Уодли.

— В общем, ничего.

— Бедная девочка,— весело сказал Уодли.— Наверно, вы завалили этот курс на экзамене.

Уодли был отвратителен, и все же Крейга невольно покоробило такое пренебрежение Гейл к делу жизни этого человека.

— Вам следовало бы, пожалуй, перечитать его книги, Гейл,— сказал он.— Когда подрастете.— На этот раз он мог извлечь выгоду из разницы в годах.— Тогда, надо полагать, вы отнесетесь к ним благосклоннее.

— Вот спасибо,— сказал Уодли.— А то уж очень молодежь наседает.

Гейл улыбнулась.

— Я не знала, что вы такие близкие друзья. Извините, Джесс, я только задам маэстро еще два-три вопроса и потом предоставлю его в ваше полное распоряжение...

— Простите,— сказал Крейг, вставая.— Я не хотел вам мешать. Я искал Энн. Тебе пора в отель, Энн. Прохладно становится.

— Мне бы хотелось дослушать до конца,— ответила Энн.— Мне не холодно.

— Оставайся и ты, Джесс,— предложил Уодли.— В присутствии равных себе я красноречив, как никогда.

Крейгу почему-то не хотелось оставлять Энн с Гейл Маккиннон.

— Благодарю за приглашение,— сказал он, опускаясь снова на стул.— Ну, раз уж я здесь, закажу себе виски.

— Еще два,— сказал Уодли проходившему мимо официанту, подняв пустой стакан. Затем повернулся к Гейл и добавил: — Валяйте.

Гейл включила магнитофон.

— Мистер Уодли, в начале интервью вы сказали, что положение писателя, работающего в кино, становится все хуже и хуже. Не остановитесь ли вы на этом подробнее?

Крейг заметил, с каким вниманием и восхищением следит его дочь за работой Гейл. Он и сам вынужден был признать, что вопросы она задает как профессионал, а голос у нее звучит приятно и естественно.

— Видите ли,— начал Уодли,— сейчас писатель, работающий в кино, могуч, как никогда. Я говорю о сценаристе, который сам же и ставит и, следовательно, контролирует конечный результат. Он пользуется вниманием критики, ему же достается и финансовое вознаграждение. Однако если сценарист остается просто сценаристом,

то его уже никто не замечает.— Уодли говорил теперь серьезно, не дурачился и не изображал перед девушками великого человека.— Вот вам пример: на этом фестивале присуждаются премии актерам, режиссерам, композиторам, операторам и так далее, но нет ни одной для сценаристов. Это новая тенденция, возникшая главным образом в результате принятия критиками теории авторского кинематографа.

Крейгу стало ясно, что все это он написал заранее. Видимо, это была статья, которую он безуспешно предлагал десятку журналов.

Гейл выключила магнитофон.

— Не забывайте, Йэн, что передача предназначена для американских радиослушателей. Наверное, им надо кое-что объяснить, как вы думаете?

— Да, вы правы,— согласился Уодли и отхлебнул виски.

— Я сейчас задам вам вопрос.— Гейл снова включила магнитофон.— Не объясните ли вы нам, что это за теория, мистер Уодли?

— Теория авторского кинематографа,— сказал Уодли,— очень проста. Она основана на убеждении, что фильм делает один человек — режиссер. Что подлинный автор произведения — это, в конечном счете, человек, стоящий за камерой, что фильм, в сущности, создается при помощи кинокамеры.

— Вы согласны с этой теорией?

«Похоже на игру,— подумал Крейг.— Маленькая девочка в мамином платье или в данном случае — в мамином бикини пришла в папин кабинет, уселась за его стол и говорит в селектор».

— Нет,— ответил Уодли.— Конечно, есть такие режиссеры, которые являются в полном смысле слова авторами своих фильмов, но это значит, что они выступают сразу в двух ролях: и режиссера и сценариста. Если их работа заслуживает поощрения, то премий должно быть две: одна за сценарий, другая за режиссуру. Но в Америке, по правде говоря, таких наберется человек пять-шесть, не больше. Однако поскольку режиссер — животное, склонное к самообману, очень многие из них считают себя писателями и навязывают свою писанину публике.

«Старая песня»,— подумал Крейг.

— Нам повезло,— спокойно сказала Гейл в микрофон.— С нами вместе, на каннском пляже, находится сейчас известный продюсер Джесс Крейг. Разрешите спросить вас, мистер Крейг, вы согласны с мистером Уодли? И если не согласны, то почему?

Рука Крейга судорожно сжала стакан.

— Бросьте ваши шутки, Гейл.

— Ну, папа,— взмолилась Энн.— Скажи что-нибудь. В машинето ты целых полчаса говорил со мной о кино. Не упрямься.

— Выключите эту чертову машину, Гейл,— потребовал Крейг.

Гейл не шевельнулась.

— Ничего страшного. Потом склею то, что мне нужно, а остальное выброшу. А может быть,— добавила она с милой улыбкой,— я выпущу в эфир Энн, раз уж не могу записать вас. Признания дочери монарха, отрекшегося от престола. Жизнь и любовные приключения того, кто пришел на смену Последнему магнату[1], увиденные ясными глазами самого близкого и дорогого ему существа.

— Хоть сейчас,— сказала Энн.

— Уверен, что ваши слушатели в Пеории,— Крейг старался сдержать раздражение и в то же время говорить небрежным тоном,— ждут затаив дыхание именно этой программы.— «Ничего, моя милая,

---

[1] Имеется в виду герой одноименного незаконченного романа Ф. Скотта Фицджеральда о Голливуде.

я еще сотру с твоих губ эту улыбочку»,— подумал он. Теперь он понял — впервые в жизни — тех писателей, которые рассматривают мужскую силу как орудие возмездия.

— Будем иметь это в виду, Энн,— сказала Гейл.— Будем? Так вот, мистер Уодли...— Она снова заговорила профессиональным тоном.— Несколько дней назад мы беседовали на эту же тему с мистером Крейгом, и когда я спросила его, почему он не поставил ни одного фильма, а был лишь продюсером, он ответил, что не считал себя достаточно хорошим режиссером, что в Голливуде найдется как минимум человек пятьдесят, которые, по его мнению, справятся с этой работой лучше его. Можно ли сказать,— продолжала Гейл, дерзко глядя на Крейга, так что ему, если не всем остальным, было совершенно ясно, что она над ним издевается и, защищенная присутствием посторонних, рассчитывает на безнаказанность,— можно ли сказать, что та же похвальная скромность мешает и вам стать за камеру?

— Дерьмо это все,— сказал Крейг.— Дерьмо, дерьмо. Так и запишите и отправьте в Америку.

— Папа! — изумленно воскликнула Энн. — Что с тобой?

— Ничего. Просто я не люблю, когда мне ставят ловушки. Я даю интервью, когда мне хочется, а не когда хочется другим.— Он вспомнил, какой заголовок Гейл собиралась дать своей статье: «Человек с несостоявшимся будущим», но сказать об этом Энн не мог. Не мог он сказать ей и того, что спал с этой невозмутимо улыбающейся девушкой в розовом купальном костюме прошлой ночью и будет спать этой ночью, если представится возможность.

— Надеюсь, вы не забыли моего вопроса, мистер Уодли,— сказала Гейл.— Объясняется ли скромностью — как это было в случае с мистером Крейгом — то, что вы не поставили ни одного фильма по своему сценарию?

— Какая там к черту скромность,— ответил Уодли.— Если бы я не знал, что способен на большее, чем девяносто девять процентов этих тупиц, то застрелился бы. Просто эти мерзавцы в дирекциях киностудий не хотят меня брать.

— На этом мы заканчиваем нашу программу,— сказала Гейл в микрофон.— Благодарю вас, мистер Уодли, за откровенный и весьма содержательный рассказ о проблемах писателя, работающего в кино. Сожалею, что мистера Крейга неожиданно отвлекли, поэтому он не смог поделиться с нами своим богатым опытом в этой области. Надеюсь, в скором будущем нам посчастливится провести с мистером Крейгом — очень занятым человеком — побольше времени. Передачу с Каннского кинофестиваля вела Гейл Маккиннон.

Она выключила магнитофон и улыбнулась ясной, невинной улыбкой.

— Ну вот, еще немножко заработали.— Она принялась укладывать магнитофон в футляр.— *Странный* у вас папочка, правда? — сказала она, обращаясь к Энн.

— Я тебя не понимаю,— сказала Энн.— Я думала, вы с ней друзья.

«Друзья бывают разные»,— подумал Крейг.

— Ну какой был бы вред, если бы ты что-то сказал? — настаивала Энн.

— А от того, чего не сказал, вреда уж точно не будет,— заметил Крейг.— Когда-нибудь ты это поймешь. Слушай, Йэн, для чего тебе понадобилось, черт возьми, все это говорить? Сам-то ты знаешь ли, зачем ты это сделал?

— Конечно,— ответил Йэн.— Я тщеславный. А это штука серьезная. Ты, я знаю, выше таких человеческих слабостей.

— Ничего я не выше,— сказал Крейг. Разговор этот он затеял

не ради себя, а ради Энн, в воспитательных целях. Он не хотел, чтобы и ее захватила американская страсть к рекламе, самовосхвалению, лести, к бойкой легковесной болтовне по телевидению, истинное и неизменное назначение которого — рекламировать автомобили, деодоранты, моющие средства, политических деятелей, пилюли от несварения желудка и от бессонницы.— Знаешь, почему Гейл занимается этой ерундой, Йэн?

— Поосторожней, поосторожней,— насмешливо сказала Гейл.

— Потому что она зарабатывает себе этим на жизнь, и, быть может, ее способ зарабатывать не постыдней нашего с тобой...

— Благослови вас бог, папочка,— сказала Гейл.

«Нет, сегодня ночью я запру-таки дверь,— подумал Крейг.— И заткну уши ватой». Он заставил себя отвести взгляд от миловидного дразнящего лица девушки и обратился к Уодли:

— Чего ты рассчитывал добиться своей трепотней? Я серьезно спрашиваю. Мне хочется знать. Может быть, ты меня в чем-то убедишь.

— Ну, что ж,— сказал Йэн.— Прежде всего, пока тебя здесь не было, славная Гейл похвалила слушателям мои книги. Эта любезная маленькая обманщица сумела сказать доброе слово о каждой из них. А вдруг кто-нибудь, прослушав передачу, пойдет в книжный магазин, чтобы купить несколько штук, а то и все. А поскольку все книги распроданы, какой-нибудь издатель, глядишь, издаст собрание моих сочинений в мягкой обложке. Не разыгрывай из себя святого, Джесс. Когда ты выпускаешь фильм, то хочешь, чтобы люди посмотрели его, верно?

— Верно,— согласился Крейг.

— Тогда чем же мы тут друг от друга отличаемся?

— Включить машину, Джесс? — спросила Гейл.— Я мигом. Мы можем начать интервью сию же минуту.

— У меня нет сейчас фильмов, и реклама мне не нужна,— сказал Крейг.— Так что оставьте свою машину в покое.

— Или вдруг эту передачу услышит какой-нибудь продюсер или режиссер,— продолжал Уодли.— Услышит и скажет: «А я думал, что этот малый уже помер. Но раз он жив, может, он-то и должен писать сценарий для моего следующего фильма». Все мы в руках случая — ты, я, Гейл, даже вот эта прелестная девушка, оказавшаяся твоей дочерью. Одно движение стрелки по шкале радиоприемника может решить судьбу такого человека, как я.

— И ты действительно в это веришь? — спросил Крейг.

— А во что же, по-твоему, мне верить? — с горечью отозвался Уодли.— В то, что кто-то оценит меня по достоинству? Не смеши, пожалуйста.

— Я запоминаю все, что вы говорите,— сказала Гейл.— Потом мне это наверняка для чего-нибудь пригодится. Например, для того, что я пишу о вас, Джесс. Общественный деятель, уклоняющийся от общественной деятельности. Всерьез ли это, спрошу я своих читателей, или же тут хитрая игра, желание возбудить к себе интерес, заинтриговать, отталкивая все предложения? Не разоблачает ли этого человека вуаль таинственности больше, чем лицо, которое она прикрывает?

— Мистер Уодли прав,— вмешалась Энн.— Он написал замечательные книги, а им пренебрегают. Сейчас я внимательно слушала его интервью. Он сказал много такого, что людям нужно знать.

— Я говорила Энн, что из вас трудно что-нибудь вытянуть,— заметила Гейл.

— Я вижу, вы, девушки, за эти два часа о многом поговорили,— недовольно пробурчал Крейг.

— Мы сразу нашли общий язык,— сказала Гейл.— Разрыв между поколением двадцатилетних и двадцатидвухлетних был ликвидирован в одно мгновение.

— Люди твоего возраста, папа, вечно жалуются, что молодежь их не понимает,— вставила Энн.— А когда тебе предоставляют великолепную возможность сказать свое слово целым *ордам* людей всех возрастов, ты отказываешься.

— Для меня средство коммуникации — фильм,— сказал Крейг,— а не публичное самообнажение.

Лицо Гейл стало серьезным.

— Иногда мне кажется, мистер Крейг, что вы нелестно обо мне думаете.

Крейг встал.

— Иду к себе.— Он вынул из кармана бумажник.— Сколько ты выпила, Энн?

— Не беспокойся,— небрежно махнул рукой Уодли.— Я заплачу.

— Благодарю,— сказал Крейг, подумав: «Из тех трехсот долларов, что я дал ему на поездку в Испанию».— Пошли, Энн?

— Я еще раз искупаюсь напоследок.

— Я тоже,— сказала Гейл.— У меня сегодня горячий день.

— И я с вами, девочки,— сказал Уодли.— В случае чего, вы меня спасете. Да, вот что, Джесс.— Он допил виски и встал.— Я предложил поужинать сегодня всем вместе. Соберемся часов в восемь в баре?

Крейг взглянул на Энн: она смотрела на него умоляющими глазами. «Все, что угодно,— подумал он,— только не ужинать с папой наедине».

— Ты не собираешься писать о сегодняшнем фильме в своей статье? — спросил он Уодли.

— Я прочел краткое содержание. Что-то там о разведении соколов в Венгрии. Думаю, его можно не смотреть. Моих гомиков в Лондоне венгерские соколы не очень интересуют. Если вдруг окажется, что фильм стоящий, то позаимствую материал из «Монда». Так, значит, в восемь?

— Проверю, нет ли у меня других встреч,— сказал Крейг.

— Мы будем в баре,— сказала Энн.— А сейчас — купаться!

Крейг проводил девушек взглядом: одна высокая, другая маленькая, обе быстрые, юные — два силуэта на фоне вечернего неба,— они пробежали по пляжу и кинулись в море. Следом за ними Уодли — Крейг удивился, что он может так быстро бегать,— с шумным всплеском погрузился в воду.

Крейг медленно поднялся с пляжа на набережную. Когда он ступил на мостовую, вывернувшая из-за поворота машина чуть не сбила его. Завизжали тормоза, недовольно закричал полицейский. Крейг вежливо улыбнулся полицейскому, словно извиняясь за то, что его едва не задавили.

В холле он взял ключ и спросил, нет ли ему записки. Ничего не было. И Клейн не звонил. Ну, конечно, рано еще. В прежние времена, когда Джесс Крейг посылал кому-нибудь сценарий, ему звонили через три часа.

На пути к лифту он встретил Рейнолдса. На голове у Рейнолдса была свежая повязка, над глазом — огромная зеленовато-желтая

шишка, щека — со следами запекшейся крови, словно его волокли лицом по битому стеклу.

— Я Гейл ищу,— сказал, не здороваясь, Рейнолдс.— Вы ее не видели?

— Плывет в сторону Туниса,— сказал Крейг.— А как вы себя чувствуете?

— Приблизительно так же, как выгляжу,— ответил Рейнолдс.

— В мире кино осторожность никогда не вредит,— сказал Крейг и вошел в лифт.

12

В любой компании, даже маленькой, всегда находится человек, служащий центром притяжения, основой ее существования как единого целого — без него она была бы просто скоплением не связанных друг с другом людей. Именно таким центром, по мнению Крейга, была в тот вечер Гейл Маккиннон. Энн, явно очарованная Гейл, живо реагировала на каждое ее слово, обращалась к ней чаще, чем к остальным, и, даже говоря что-нибудь Крейгу или Уодли, поглядывала на Гейл, словно искала ее поддержки. Когда они шли из отеля в ресторан, Крейга позабавило и одновременно раздосадовало то, что Энн, сознательно или бессознательно, чуть-чуть подражала смелому, размашистому шагу Гейл. Но это все же лучше, чем ее обычная подчеркнуто скромная, по-детски неуклюжая походка.

Для Уодли Гейл была аудиторией. В последние годы люди не часто баловали его своим вниманием, и теперь он разговорился вовсю.

Что касается Крейга, то он пришел сюда только ради Гейл. Да, именно так. Наблюдая за ней через столик, он чувствовал, что накрепко привязан не только к кино. «А здесь я для того, чтоб развязаться»,— думал он.

Большей частью он молчал, давая говорить другим. Когда заговаривала Гейл, он искал в ее словах какой-нибудь намек, сигнал, осторожное обещание, решительный отказ. Но ничего не улавливал.

«Завтра я забуду ее в объятиях Констанс»,— сказал он себе.

Уодли старательно изображал хозяина стола: заказывал вина и советовал девушкам, какие выбирать блюда. Они ужинали в том самом ресторане старого порта, где Крейг как-то за ужином видел Пикассо. «Если Уодли собирается платить из своего кармана,— думал Крейг,— то денег у него останется после этого разве что на поездку в Тулон. О Мадриде нечего и думать».

Уодли пил сверх меры, но пока без видимых последствий. На этот раз на нем был хорошо скроенный серый костюм, темная рубашка и новый полосатый галстук.

Гейл была в розовых облегающих чесучовых брюках и кофточке из тонкого шелка. Волосы она зачесала кверху, что придавало ее лицу очаровательно взрослый, не вязавшийся со стройной юной шеей вид.

Энн, бедняжка, пришла в ужасном, чересчур коротком платье из желтого органди, которое колом торчало вокруг ее длинных ног. В нем она выглядела неуклюжей школьницей, нарядившейся на свой первый бал.

Крейг осмотрелся вокруг: посетителей в ресторане было еще немного, но, судя по табличкам на столиках, зал будет скоро забит. «Может быть, Энн повезло и один из столиков предназначен для Пикассо»,— подумал он.

В зал вошли двое молодых людей: у одного в руках был львенок, у другого — фотоаппарат «Полароид»; Крейг уже видел их на набе-

режной Круазетт и в прилегающих кафе. Когда они приблизились к столику, Крейг знаком велел им уйти.

— В ресторане с такими ценами следовало бы избавить нас от львов,— сказал он.

Однако Уодли взял у молодого человека львенка и посадил на стол между Гейл и Энн.

— Снимите их с царем зверей. Я всегда питал слабость к укротительницам львов. Мечтаю заниматься любовью с женщиной в трико, расшитом блестками,— прямо в клетке, но чтоб там был стул.

«Уодли непременно должен поставить человека в неловкое положение перед собственной дочерью»,— подумал Крейг.

Вспышки блица раздражали львенка, и он ворчал, пока фотограф не перестал щелкать затвором аппарата. Гейл рассмешило это проявление свирепости у младенца.

— Приходи к нам, когда вырастешь большой, сынок,— сказала она, гладя львенка.

— Где-то я слышал, что многие погибают уже на втором месяце,— сказал Крейг.— Не выносят они такого обращения.

— А кто его способен вынести? — спросил Уодли.

— Ну тебя, папа,— сказала Энн.— Не порти ты нам настроение.

— Я увлекаюсь экологией,— пошутил Крейг.— Хочу, чтобы львы не вымерли во Франции. И чтобы каждый год они съедали некоторое количество французов.

Фотограф достал из аппарата снимки. Они были цветные. Рядом с рыжевато-коричневым львенком, щерившимся среди бокалов, белокурая Энн и темноволосая Гейл выглядели весьма эффектно. Крейг с тревожным чувством заметил, что Энн на глянцевитой фотографии похожа на мать, только волосы у нее светлее.

Помощник фотографа взял со стола львенка, и Уодли щедро расплатился. Один снимок он подарил Гейл, другой — Энн.

— Когда я буду стар, сед и слаб и на меня нападет хандра, я позову кого-нибудь из вас к своему креслу-качалке и попрошу показать эту фотографию. Пусть она напомнит мне об одном счастливом вечере, когда я был молод. Отец, ты заказал вина?

Когда Уодли разливал вино, Крейг вдруг увидел Натали Сорель, только что вошедшую в ресторан в сопровождении высокого, изысканно одетого мужчины с серебристой проседью в волосах. «Лет пятьдесят пять — шестьдесят,— прикинул Крейг,— как бы там ни старались парикмахер, массажист и лучшие портные сделать его моложе». Рядом с ним Натали, в платье, выгодно подчеркивавшем ее тонкую талию и изящные бедра, выглядела хрупкой и беззащитной.

Хозяйка ресторана повела их в глубь зала, как раз мимо столика Крейга. Крейг заметил, что Натали быстро взглянула на него, отвела глаза, потом, должно быть, решила не останавливаясь пройти мимо, но в последний момент все же передумала.

— Джесс! — воскликнула она и, взяв своего спутника под руку, задержала его.— Какая приятная встреча! — Крейг встал, Уодли — тоже.— Это мой жених Филип Робинсон.— Крейг надеялся, что в том, как она произнесла слово «жених», только он один уловил предостерегающие нотки.— А это — Джесс Крейг.

Крейг пожал мужчине руку и представил ему всех остальных. Энн встала. Гейл продолжала сидеть. Крейг пожалел, что его дочь в таком платье. Ладонь у мужчины была сухая и гладкая. Лениво-добродушная техасская улыбка, здоровый цвет лица, как у человека, проводящего много времени на открытом воздухе. Натали говорила, что он фабрикант, но по его виду этого не скажешь.

— Кажется, в этом городе Натали всех знает,— заметил Робин-

сон, ласково дотрагиваясь до ее руки.— Мне трудно запомнить сразу, как кого зовут. Но ваши фильмы я, по-моему, видел, верно, мистер Крейг?

— Надеюсь, что да,— сказал Крейг.

— «Два шага до дома»,— поспешно подсказала Натали.— Это его последняя картина.— Ей хотелось всех оградить от неприятностей.

— О, да, конечно,— сказал Робинсон. У него был сочный, уверенный голос.— Она мне очень понравилась.

— Благодарю вас,— сказал Крейг.

— Я не ослышался? — обратился Робинсон к Уодли.— Вы писатель?

— Было дело,— ответил Уодли.

— Ваша книга вызвала у меня подлинное восхищение, сэр. Огромное.

— Это которая? — спросил Уодли.

Робинсон немного смутился.

— Ну, та, что про мальчика, выросшего на Среднем Западе и...

— Это моя первая книга.— Уодли сел.— Я написал ее в пятьдесят третьем году.

— Пожалуйста, садитесь,— поспешно сказала Натали.— Садитесь.

Энн села, но Крейг продолжал стоять.

— Нравится вам в Канне, мистер Робинсон? — спросил он, переводя разговор с опасной литературной темы на более спокойную, банальную тему туризма.

— Я уже бывал здесь, конечно,— сказал тот.— Но впервые, так сказать, заглянул за кулисы. Благодаря Натали. Совсем другое впечатление.— Он отечески потрепал ее по руке.

«Ты и не представляешь себе, братец, как глубоко за кулисы ты забрался»,— подумал Крейг, изображая на лице светскую улыбку.

— Надо сесть, милый,—сказала Натали.—А то хозяйка нас ждет.

— Надеюсь, любезнейшие, скоро снова вас увидеть,— сказал Робинсон.— Вас, мистер Крейг, и вашу прелестную дочку, и вас, мистер Уодли, и вашу...

— А я — не дочка,— заметила Гейл, жуя сельдерей.

— Она не поддается определению,— сказал Уодли. Тон у него был враждебный.

Робинсон был явно неглуп: лицо его стало жестким.

— Приятного аппетита,— сказал он и, пропустив Натали вперед, направился к столику, приготовленному для них хозяйкой.

Крейг смотрел, как Натали пробирается между рядами столиков своей легкой, слегка покачивающейся, танцующей походкой, которую он никогда не забудет. Хрупкая, изящная, созданная для того, чтобы радовать глаз мужчины, вызывать желание. Отважная и хитрая.

Когда оказываешься в таком месте, не удивительно, что в твоем сознании возникают обрывки прошлого, вызывая ностальгию, становясь, хотя бы на короткое время, частью настоящего. Глядя на Натали Сорель — прелестную, незабываемую, уходившую от него под руку с другим мужчиной в глубь зала,— он спросил себя: по какому капризу судьбы заявляет на него сегодня свои права та часть его прошлого, что воплощена в образе Йэна Уодли, а не та, что воплощена в образе Натали Сорель?

Он сел на место, чувствуя на себе насмешливый, понимающий взгляд Гейл.

— «Я не ослышался? Вы писатель?» — сказал Уодли, подражая техасской манере Робинсона слегка растягивать слова.

— Тише,— сказал Крейг.— Ресторан ведь маленький.

— «Ваша книга вызвала у меня подлинное восхищение, сэр»,— не унимался Уодли. И, помолчав, с горечью добавил: — Я пишу уже двадцать лет, у меня восемь книг, а ему, видите ли, понравилась моя *книга.*

— Успокойся, Йэн,— сказал Крейг.

Но вино уже начало действовать.

— И всегда люди вспоминают только про мою первую книгу. Ту самую, которую я написал, едва умея водить пером по бумаге. Эта книга мне до того осточертела, что в свой ближайший день рождения я сожгу ее на площади.— Он наполнил до краев бокал и даже пролил часть вина на скатерть.

— Если это поднимет вам настроение,— сказала Энн,— мой профессор английского языка и литературы сказал, что вторая ваша книга — самая лучшая.

— Дерьмо он, ваш профессор. Что он понимает?

— Очень даже понимает,— с вызовом сказала Энн. Крейга обрадовало, что его дочь обладает этим редким достоинством — умением не пасовать во время застольной беседы.— А еще он сказал...

— Ну, что, что? Я сгораю от любопытства,— сказал Уодли.

— Он сказал, что книги, которые вы написали с тех пор, как перебрались за границу, довольно неудачные.— При этих словах Энн упрямо выпятила подбородок. Крейг вспомнил, что так она делала еще в детстве, когда упорствовала и хотела настоять на своем.— Что вы губите свой талант и вам следовало бы вернуться в Америку...

— Так он и сказал?

— Так и сказал.

— И вы с ним согласны? — спросил Уодли намеренно спокойным, ледяным тоном.

— Да, согласна.

— Оба вы дерьмо.

— Если ты будешь так разговаривать,— сказал Крейг,— то мы с Энн уйдем.— Он понимал, что Уодли, захмелев, потерял управление, что он может пойти на любой скандал, лишь бы помучить себя, ибо ему разбередили самую больную рану; но Крейгу не хотелось делать Энн объектом слепой ярости Уодли.

— Прекратите, Йэн,— резко сказала Гейл.— Мы не можем рассчитывать на то, что весь мир будет вечно нас обожать. Будьте же взрослым мужчиной, черт побери. Будьте писателем, *профессиональным* писателем, или идите зарабатывать себе на жизнь чем-нибудь другим.

Крейг был уверен, что если бы эти слова сказал он, последовал бы взрыв. Но Уодли только поморгал глазами, потряс головой, точно вынырнул из воды, поглядел на Гейл и ухмыльнулся.

— Устами младенцев...— пробормотал он.— Извините меня, друзья. Надеюсь, вам нравится в Канне. Хочу еще рыбы. Официант...— Он вежливо помахал рукой официанту, спешившему мимо с дымящейся супницей на подносе.— Закажем на сладкое суфле? — сказал Уодли тоном гостеприимного хозяина.— Насколько я знаю, здесь отличное суфле. С «Гран Марнье» или с шоколадом?

Дверь ресторана открылась, и в зал стремительно влетел Мэрфи, как всегда с целеустремленностью вышибалы, ринувшегося разнимать дерущихся. Следом за ним вошли Соня Мэрфи, Люсьен Дюллен и Уолтер Клейн. «Ну, сошлись два клана,— подумал Крейг.— Встреча вождей на высшем уровне». Он слишком долго жил в Голливуде, чтобы удивляться, видя за дружеским обеденным столом

людей, которые в другое время поносят друг друга последними словами. В этом тесном мире соперничества каналы связи должны всегда оставаться открытыми. Крейг был уверен, что Мэрфи не скажет Клейну о том, что читал «Три горизонта», а Клейн не скажет Мэрфи, что рукопись у него на столе. Вожди осмотрительны и расставляют свои боевые порядки под покровом ночи. Тем не менее он облегченно вздохнул, увидев, что хозяйка ресторана посадила их поблизости от входа, на достаточном расстоянии от его столика.

Много лет назад, когда дела у Уодли шли хорошо, Мэрфи был его агентом-посредником. Но потом, с наступлением плохих времен, Мэрфи отказался от своего клиента, и Уодли, как и следовало ожидать, отнюдь не питал к нему теплых чувств. Окажись их столики рядом, атмосфера в ресторане сложилась бы далеко не дружественная, особенно если учесть, что Уодли к этому времени уже изрядно выпил.

Но Мэрфи, привыкший при входе в любое помещение обшаривать его глазами, как корабельными радарами, нащупал Крейга и, пока его компания усаживалась за столик, стремительно двинулся к нему по центральному проходу.

— Добрый вечер всем! — сказал он, улыбаясь девушкам и неуловимо давая понять, что его приветствие не относится к Уодли.— Я пять раз звонил тебе сегодня, Джесс. Хотел пригласить поужинать.

В переводе на обычный язык это означало, что Мэрфи позвонил один раз, услышал в трубке два длинных гудка и тут же положил ее, поскольку ничего важного сообщить не собирался. Он даже поленился еще раз набрать номер телефона и попросить телефонистку передать Крейгу, кто ему звонил. А может, и вообще не звонил.

— Я ездил в Ниццу,— сказал Крейг.— Встречал Энн.

— Господи, неужели это Энн? — воскликнул Мэрфи.— А я все гадаю, где ты отыскал такую красотку. Ведь, кажется, совсем недавно была костлявой веснушчатой девчонкой — и нате вам!

— Здравствуйте, мистер Мэрфи,— без улыбки сказала Энн.

— Соня была бы рада на тебя посмотреть, Энн. Знаешь что? Почему бы тебе с мисс Маккиннон и твоим отцом не приехать к нам завтра в Антиб на ужин?

— Завтра меня в Канне не будет,— объявил Крейг.— Я уезжаю.— И, почувствовав на себе вопросительный взгляд Энн, добавил: — Дня на два, не больше. Встретимся, когда вернусь.

— Зато я никуда не уезжаю, Мэрф,— сказал Уодли.— Так что завтра можешь мной располагать.

— Чрезвычайно интересно,— сухо произнес Мэрфи.— Ну, пока, Джесс.— Он отвернулся и пошел к своему столику.

— Милостивый благодетель богатых. Брайан Мэрфи, ходячий биографический справочник. Отлично, Джесс, я рад, что ты еще в нем числишься,— сказал Уодли деланно простодушным тоном. Он хотел было продолжать, но осекся, увидев, что Мэрфи идет обратно.

— Джесс,— сказал Мэрфи.— Забыл сказать тебе. Ты читал сегодняшнюю «Трибюн»?

— Нет,— ответил Крейг.— А что?

— Вчера Эдвард Бреннер умер. Пишут, что от сердечного приступа. Сообщение краткое, но вполне пристойное. Как обычно: «После первого успеха он исчез с театрального горизонта» и так далее. И тебя упомянули.

— А что обо мне сказано?

— Просто, что ты был продюсером его первой пьесы. Купи газету и почитай. У тебя есть его адрес? Хочу послать семье телеграмму.

— Есть старый. Утром дам.

— О'кей,— сказал Мэрфи и ушел.

— Это был твой друг, папа? — спросила Энн.— Эдвард Бреннер?

— В последнее время — нет.— Крейг чувствовал на себе испытующий взгляд Гейл.

— Вытрем наши слезы,— сказал Уодли.— Еще одного писателя не стало. Официант! Encore une bouteille [1]. Выпьем за несчастного выродка.

Старый друг или старый враг — одно лишь имя осталось в отслужившей свое адресной книжке — умер где-то за океаном, и теперь требовалось соблюсти ритуал, отметить скорбное происшествие, но Крейг лишь поднес к губам бокал с вином, когда Уодли провозгласил легкомысленный тост: «За мертвых писателей, где бы их ни настигла смерть».

Наблюдая за собой как бы со стороны, Крейг отметил, что не потерял аппетита и с удовольствием ест суфле, которое им подали. Наверное, если бы в газете появилось извещение о его, Крейга, смерти, Бреннер реагировал бы острее.

«Интересно,— подумал Крейг,— изменился ли у Эдварда Бреннера почерк за несколько месяцев до смерти?»

К концу ужина Уодли окончательно опьянел. Он расстегнул воротничок, жалуясь на жару, и медленно трижды проверил счет; расплачиваясь, долго разглаживал вынутые из кармана мятые стофранковые бумажки. Вставая из-за стола, он опрокинул стул.

— Выведите его поскорее на улицу, Гейл,— шепнул Крейг.— А нам с Энн надо подойти к Соне Мэрфи и поздороваться.

Но когда они подошли к столику Мэрфи и его компании, Уодли как вкопанный встал за стулом Мэрфи, хотя Гейл усиленно дергала его за рукав. Соня поздоровалась с Крейгом и Энн, а Клейн представил им мисс Дюллен, которая сказала с мелодичным французским акцентом, что давно хотела познакомиться с мосье Крейгом. Пока Соня Мэрфи уверяла Энн, что просто счастлива снова видеть ее после стольких лет разлуки, и настойчиво предлагала в любое время пользоваться их пляжным домиком при «Отеле на мысу», Уодли, плавно покачиваясь на каблуках за стулом Мэрфи, громко гудел:

— Шефу нашему слава!

Клейн дипломатично делал вид, что это его забавляет.

— Не знал я, что вы так музыкальны, Йэн.

— Один из многих моих талантов,— сказал Уодли.— Мистер Мэрфи собирается ангажировать меня на следующий сезон в «Ла Скалу», верно, мистер Мэрфи?

Мэрфи оставил его слова без внимания.

— Так позвони мне утром, Джесс,— сказал он и снова принялся за еду.

— Пошли, Йэн,— сказал Крейг.

Но Уодли не сдвинулся с места.

— Мистер Мэрфи — великий антрепренер, верно, мистер Мэрфи? Все, что вам требуется,— это лучший бестселлер года и фильм, собравший сорок миллионов долларов, и тогда мистер Мэрфи почти наверняка устроит вам контракт на сценарий про любовь или на рекламу аспирина для телевидения. А вам, мистер Клейн, тоже хотелось бы преуспеть в торговле живым товаром наравне с мистером Мэрфи?

— Конечно, хотелось бы, Йэн,— примирительно ответил Клейн.— Зовите меня просто Уолтер.

[1] Еще бутылку *(франц.)*.

— Перестань же, Йэн,— резко сказал Крейг.

Уодли говорил громко, так что люди за соседними столиками перестали есть и смотрели на него.

— Я скажу вам, как это делается, мистер Клейн,— сказал Уодли, продолжая плавно и угрожающе покачиваться за стулом Мэрфи.— Раскрою вам секрет большого успеха мистера Мэрфи. Вы тоже можете разбогатеть и прославиться и приглашать к себе в пляжный домик девушек, когда захотите. Тут дело не в том, кого вы как посредник представляете, а в том, кого вы бросаете. Вы должны уметь вовремя бросить ненужного человека, мистер Клейн; делать это надо быстро, пока никто еще и не подозревает о его ненужности. Появилась плохая рецензия — и бросайте. Только вряд ли, мистер Клейн, вы сможете достичь такого мастерства, какого достиг мистер Мэрфи, ибо это у него в крови. Он просто гений по части бросания людей, и ничто его не останавливает — ни дружба, ни преданность, ни талант. Он вроде библейского боевого коня — нюхом угадывает неудачника на расстоянии. Ему звонят по телефону, а его нет дома. В этом весь секрет, понимаете? Когда звонит телефон и вы знаете, что звоню я, то вас нет дома. Не важно, что вы заработали на мне много тысяч долларов. Вас нет дома — и все. Запомните этот нехитрый трюк, мистер Клейн, и вы далеко пойдете, очень далеко. Правда пойдет, мистер Мэрфи?

— Убери его, Джесс,— потребовал Мэрфи.

— Пошли, Йэн.— Крейг попробовал увести его.— Все поняли, что ты хотел сказать.

Уодли сбросил его руку со своего плеча.

— Раз я не могу поговорить с мистером Мэрфи по телефону, то буду говорить в ресторанах. Мне хочется говорить с мистером Мэрфи о его профессии — о том, сколько было дел, для которых он мог бы меня порекомендовать, но не порекомендовал...

Наконец, Мэрфи повернулся к нему.

— Не смеши меня, Уодли,— спокойно сказал он.— В последние десять лет ты докатился до того, что я не мог бы тебя даже на мясо для собак продать.

Уодли перестал раскачиваться. Рот его скривился. Весь ресторан замер. Соня Мэрфи сидела, нагнув голову, и смотрела в тарелку, Люсьен Дюллен слегка улыбалась — казалось, эта сцена забавляла ее. Видимо, она не поняла пьяную английскую речь Уодли и решила, что происходит обычный дружеский, хотя и чересчур громкий разговор. Клейн играл бокалом и ни на кого не смотрел. Тронулась с места только Энн. Она охнула и бросилась вон из ресторана. Уодли сделал было шаг, точно хотел догнать ее, но вместо этого вдруг повернулся и ударил Мэрфи. Удар был нацелен в голову, но кулак соскользнул и угодил Мэрфи в плечо. Мэрфи не шевельнулся, а Крейг обхватил Уодли и прижал его руки к бокам.

— Уберите отсюда этого болвана, Джесс,— сказал Мэрфи,— пока я не убил его.

— Я пошел к себе,— хрипло сказал Уодли. Крейг медленно разнял руки. Уодли пьяной походкой направился к выходу.

— Я найду такси и отвезу его в гостиницу,— сказала Гейл и поспешила следом за Уодли.

— Симпатичные у тебя друзья,— сказал Мэрфи.

— Он же пьяный,— зачем-то объяснил Крейг.

— Я так и понял,— сказал Мэрфи.

— Прошу прощения за случившееся,— обратился Крейг к остальным.

— Ты же не виноват,— возразила Соня.— До чего скверно все вышло. А ведь когда-то он был такой славный.

Выходя на улицу, Крейг слышал, как зал снова загудел: жизнь в ресторане потекла по привычному руслу.

13

Уодли согнулся пополам у причала и блевал в воду. Рядом стояла Гейл, готовая подхватить его, если он начнет падать. Энн держалась немного поодаль, стараясь не смотреть на Уодли. Крейг был уверен, что, как ни пьян Уодли, рвет его не из-за выпитого вина.

Глядя, как конвульсивно содрогаются плечи Уодли, Крейг почувствовал, что у него испаряется гнев. Он обнял дрожащую Энн, чтобы успокоить ее.

— Извини, Энн,— сказал он.— Я не должен был брать тебя в такую компанию. Думаю, это был наш последний ужин с мистером Уодли. На какое-то время.

— Бедный, бедный, отчаявшийся человек,— сказала Энн.— Все так жестоки к нему.

— Он же сам напрашивается.

— Я знаю. И все-таки.

Уодли выпрямился и обернулся, прижимая ко рту носовой платок. Он попробовал улыбнуться.

— Пропал мой стофранковый ужин,— сказал он.— Но все равно приятный был вечер. Стоил затраченных денег. А теперь, Джесс, выкладывай, что у тебя на уме.

— Нет у меня ничего на уме,— сказал Крейг.

Гейл окликнула шофера такси, который делал разворот у подъезда ресторана.

— Я отвезу вас в гостиницу, Йэн,— ласково сказала она.

Уодли покорно пошел за ней к машине. Дверца за ним захлопнулась, и Гейл и такси умчались прочь. Ни намека, ни тайного знака.

— Ну вот и все,— сказал Крейг.

Энн вдруг заплакала, тяжело, отчаянно всхлипывая.

— Ну, ну, полно,— беспомощно проговорил он.— Постарайся выбросить это из головы. Да он и сам до утра все забудет.

— Не забудет,— сказала она сквозь рыдания.— Всю жизнь будет помнить. Как могут люди так мерзко относиться друг к другу?

— Могут,— намеренно сухо сказал Крейг, боясь излишней мягкостью вновь вызвать у нее слезы.— Не принимай это так близко к сердцу, дорогая. Бывал Уодли и в худшем положении, чем сегодня.

— Подумать только, как ужасно может вести себя человек,— с удивлением сказала Энн, перестав всхлипывать.— Человек, который так чудесно пишет и, судя по его книгам, так уверен в себе...

— Книга — это одно, а человек, который ее пишет,— другое. Чаще всего книга — это маска, а не портрет автора.

— «Когда звонит телефон и вы знаете, что звоню я, то вас нет дома»,— сказала Энн. Она уже не плакала, а только вытирала слезы тыльной стороной ладони, как потерявшийся ребенок.—Как это ужасно — знать о себе такое. Я ненавижу мир кино, папа,— сказала она с силой.— Да, да, ненавижу!

Крейг снял руку с ее плеча.

— Он ничем не отличается от других видов бизнеса. Разве только в нем потеснее.

— Неужели никто не поможет ему? Мистер Мэрфи? Ты?

Крейг с удивлением посмотрел на нее и засмеялся.

— После сегодняшнего...— начал он.

— Из-за сегодняшнего,— упрямо сказала она.— Сегодня на пляже он рассказывал, как вы дружили, как интересно проводили время, каким замечательным человеком он тебя считает...

— Много воды утекло,— сказал Крейг,— с тех пор, как мы интересно проводили время. Люди отвыкают друг от друга. И если он считает меня замечательным человеком, то это для меня новость. По правде говоря, боюсь, что это заявление не совсем точно характеризует твоего отца.

— Уж хоть ты-то не занимайся самоуничижением,— сказала Энн.— Почему только мистер Мэрфи и ему подобные уверены в себе?

— Ладно.— Он взял ее под локоть, и они медленно зашагали по набережной.— Попробую сделать что-нибудь для него, если смогу.

— А знаешь, ты ведь тоже много пьешь, папа.

— Да, пожалуй.

— Почему люди старше тридцати так старательно губят себя?

— Потому что они старше тридцати.

— Брось эти шутки,— резко сказала она.

— Когда не знаешь, что ответить, то приходится шутить, Энн.

— Ну, хоть при мне не шути.

Некоторое время они шли молча: сделанный ею выговор не располагал к беседе.

— Господи,— сказала она,— а я-то думала, что чудесно проведу здесь время. Средиземное море, этот замечательный город, все эти знаменитости, таланты... И побуду с тобой.— Она печально покачала головой.— Наверно, ничего нельзя загадывать заранее.

— Это же только первый вечер, Энн. Будут и приятные дни.

— Завтра ты уезжаешь,— сказала она.— А меня даже не предупредил.

— Как-то неожиданно вышло.

— Можно мне поехать с тобой?

— Боюсь, что нет.

— Я не спрашиваю почему.

— Да я и уеду-то на день-два, не больше,— смущенно сказал он.

Они опять замолчали, слушая плеск воды у причала, где стояли лодки.

— Хорошо бы сейчас сесть в одну из этих лодок и уплыть куда глаза глядят.

— Тебе-то от чего бежать?

— От многого,— тихо сказала она.

— Не хочешь мне сказать?

— Когда вернешься.

«Все женщины,— подумал он,— независимо от возраста, умеют заставить человека почувствовать себя так, словно ты их бросил, даже если ты вышел на десять минут купить сигарет».

— Энн! У меня идея. Пока я буду в отъезде, почему бы тебе не перебраться на Антибский мыс? Там и купаться приятнее. Ты сможешь пользоваться пляжным домиком Мэрфи и...

— Я не нуждаюсь в наставниках,— отрезала Энн.

— Я не думал о наставниках,— возразил он, хотя и понял теперь, что подсознательно имел в виду именно это.— Я просто думал, что там тебе будет приятней, есть с кем поговорить...

— Я и здесь найду, с кем поговорить. Кроме того, я хочу посмотреть побольше фильмов. Странно, но я люблю смотреть кино. А ненавижу я только то, что делает кино с людьми, в нем работающими.

Автомобиль, проезжавший по набережной, замедлил ход. В нем сидели две женщины. Одна из них — та, что была ближе к тро-

туару,— зазывно улыбнулась. Крейг игнорировал ее, и машина пошла дальше.

— Это проститутки, да? — спросила Энн.

— Да.

— В храмах древней Греции женщины отдавались незнакомым мужчинам прямо перед алтарем.

— С тех пор алтари стали другие,— сказал Крейг. «Не ходите ночью одна»,— сказала Гейл, когда познакомилась с Энн у подъезда отеля. Не ходите и с отцом, надо было добавить. «Даже проститутки,— сердито подумал он,— должны придерживаться каких-то правил».

— Ты когда-нибудь бывал с проституткой?

— Нет,— солгал он.

— Будь я мужчиной, мне, наверно, захотелось бы попробовать.

— Зачем?

— Один только раз. Узнать, что это такое.

Крейг вспомнил книгу, которую читал в молодости,— «Юрген» Джеймса Бранча Кебелла. Читал потому, что она считалась непристойной. Ее герой говорил: «Меня зовут Юрген, и я вкушаю каждого вина только раз». Бедный Кебелл, опьяненный славой («Скажите этому сброду, что Кебелл я отроду»,— изрек он с высоты своего надменного величия, которое ему казалось непреходящим), бедный Кебелл, мертвый, сброшенный со счетов, забытый еще при жизни, он мог бы сейчас найти утешение в том, что много лет спустя целое поколение людей руководствуется губительным девизом его героя, вкушая каждого вина только раз, каждого наркотика, каждого политического убеждения, каждого мужчины и каждой женщины — только раз.

Энн кивнула на удалявшиеся огоньки машины.

— Может, это помогло бы кое в чем разобраться.

— В чем именно?

— В том, что такое любовь, например.

— Разве любовь нуждается в определении?

— Конечно. Ты так не считаешь?

— Да нет.

— Счастливый ты, если действительно так думаешь. Как, по-твоему, у них роман?

— У кого? — спросил Крейг, хотя и догадывался, кого она имеет в виду.

— У Гейл и Йэна Уодли.

— Почему ты спрашиваешь?

— Сама не понимаю. Они так держатся друг с другом... словно между ними что-то есть.

— Нет,— сказал он.— Не думаю.

«Сказать по правде, я просто отказываюсь так думать»,— решил он.

— Она холодная, эта Гейл, да? — спросила Энн.

— Я уж теперь не знаю, что люди понимают под холодностью.

— Она держится самостоятельно. Ни от кого не зависит. Красивая, но не пользуется своей красотой. Конечно, я познакомилась с ней только сегодня и могу ошибаться, но мне кажется, она умеет заставить других поступать так, как она хочет.

— По-твоему, она хотела, чтобы Уодли вел себя как дурак и кончил тем, что его вывернуло наизнанку?

— Возможно. Косвенным образом. Она за него беспокоится и потому хотела, чтобы он сам увидел, в каком оказался тупике.

— По-моему, ты ее ставишь выше, чем она есть.

— Возможно,— согласилась Энн.— И все же если бы я могла быть такой, как она,— холодной, гордой, знать, чего я хочу. И добиваться своего. Добиваться, не идя ни на какие сделки.— Энн помолчала немного, потом спросила: — У тебя с ней роман?

— Нет,— ответил он.— Почему ты спрашиваешь?

— Так просто,— небрежно бросила она и поежилась.— Холодно стало. Хорошо бы поскорее прийти в отель и лечь спать. День-то был долгий.

Но когда они вернулись в отель, она решила, что спать еще рано, и поднялась к нему в номер выпить немного на сон грядущий. Кроме того, она вспомнила, что должна взять у него рукопись.

«Если Гейл постучится сейчас в дверь при Энн,— с усмешкой подумал Крейг, наливая в стаканы виски с содовой,— получится неплохая семейная вечеринка». Он открыл бы ее такими словами: «Гейл, Энн хочет задать вам несколько интересных вопросов». И Гейл, наверно, ответила бы на них. Со всеми подробностями.

Когда он подал Энн виски, она все еще разглядывала титульный лист рукописи.

— Кто этот Малкольм Харт? — спросила она.

— Мой знакомый по армии. Он погиб.

— А мне казалось, ты говорил, что сам написал сценарий.

— Верно.— Он пожалел, что по пути из аэропорта проговорился. Теперь придется объяснять.

— Тогда почему здесь стоит фамилия другого человека?

— Считай, что это nom de plume [1].

— Зачем тебе nom de plume?

— Деловые соображения,— сказал он.

Она скорчила гримасу:

— Ты стыдишься своей работы?

— Не знаю. Пока не знаю.

— Не нравится мне это. Тут что-то не то.

— По-моему, ты слишком строга.— Ему было неприятно, что разговор принял такой оборот.— Это же давняя и почтенная традиция. Был такой писатель — и довольно хороший — Сэмюел Клеменс, который подписывал свои книги «Марк Твен».— Крейг видел по лицу Энн, что не убедил ее.— Скажу тебе откровенно: все это — от неуверенности. Или еще проще — от страха. Никогда раньше я не писал и не имею ни малейшего понятия, хорошо или плохо у меня получилось. Пока я не выясню мнение других, я чувствую себя в большей безопасности, скрываясь под чужим именем. Это ты можешь понять?

— Могу,— ответила она.— И все же считаю это неправильным.

— Предоставь мне самому судить о том, что правильно, а что неправильно, Энн,— сказал он нарочито решительным тоном. Не тот у него возраст, чтобы жить по законам незапятнанной совести собственной двадцатилетней дочери.

— Ладно,— с обидой сказала Энн.— Если не хочешь, чтобы я высказывала свое мнение, я буду молчать.— Она положила рукопись на стол.

— Милая Энн,— ласково сказал он.— Ну, конечно, я хочу, чтобы ты высказывала свое мнение. Но я хочу высказывать и свое. Справедливо?

Она улыбнулась.

— Ты считаешь меня ребенком, да?

[1] Псевдоним *(франц.)*.

— Иногда.

— Да я, наверно, и есть ребенок.— Она поцеловала его в щеку.— Иногда.— Она подняла стакан.— Будем здоровы.

— Будем здоровы,— сказал и он.

Энн сделала большой глоток виски.

— Мм! — промычала она от удовольствия. Он вспомнил, как она в детстве пила перед сном молоко. Она оглядела просторную гостиную.— Должно быть, ужасно дорогой номер, да?

— Ужасно,— согласился он.

— Мамуля говорит, что ты кончишь нищим.

— Думаю, мамуля права.

— Говорит, что ты дико расточителен.

— Кому же знать, как не ей,— сказал он.

— Она все спрашивает, употребляю ли я наркотики.— Энн явно ждала, что он задаст ей этот вопрос.

— После всего, что я видел и слышал,— сказал он,— я считаю само собою разумеющимся, что в Америке нет студента, который не попробовал бы марихуаны. Полагаю, что на тебя это тоже распространяется.

— Да, распространяется,— сказала Энн.

— И еще я полагаю, что ты достаточно умна, чтобы не баловаться чем-нибудь похуже. Вот так-то. А теперь наложим запрет на разговоры о мамуле, хорошо?

— Знаешь, о чем я думала, глядя на тебя во время ужина? — спросила Энн.— Я думала: какой ты интересный мужчина. Эта твоя шевелюра, и ты не толстый, и эти морщины на усталом лице. Как отставной гладиатор, ставший более осторожным, потому что старые раны дают себя знать.

Он засмеялся.

— Но у тебя *благородные* морщины,— поспешила добавить она.— Такие бывают, когда человек слишком много познал в жизни. Ты самый привлекательный из всех мужчин, которых я здесь видела...

— Ты еще мало кого видела за эти несколько часов,— сказал Крейг. Но он не мог скрыть удовольствия. «Глупое удовольствие»,— сказал он себе.— Подожди дня два.

— Не одна я так думаю,— сказала она.— Все женщины в ресторане очень выразительно на тебя поглядывали — и эта маленькая тупица мисс Сорель, и эта сказочно красивая французская актриса, и даже Соня Мэрфи, и даже Гейл Маккиннон.

— А я и не заметил,— признался он. Это была правда. Как на ужине, так и после голова у него была занята другими мыслями.

— Вот в этом-то твоя прелесть,— убежденно сказала Энн.— Ты не замечаешь. Обожаю входить с тобой в зал, когда все на тебя вот так смотрят, а ты и не замечаешь. Хочу тебе покаяться,— сказала она, с наслаждением погружаясь в мягкое кресло.— В жизни не думала, что когда вырасту, смогу разговаривать с тобой так, как сегодня днем и вечером. Ты рад, что я приехала?

Вместо ответа он подошел к ней и, нагнувшись, поцеловал в макушку.

Она улыбнулась, и вдруг лицо ее приняло мальчишеское выражение.

— Когда-нибудь из тебя выйдет неплохой отец одной девушки.

Зазвонил телефон. Он взглянул на часы. Почти полночь. Он не пошевелился. Телефон зазвонил опять.

— Ты не хочешь отвечать? — спросила Энн.

— Едва ли я стану счастливее, если отвечу.— Тем не менее он

встал и взял трубку. У телефона был портье. Он спросил, не у него ли мисс Крейг: ей звонят из Соединенных Штатов.

— Это тебя, Энн. Из Соединенных Штатов.— Крейг заметил, что Энн нахмурилась.— Хочешь говорить отсюда или из спальни?

Она помолчала в нерешительности, потом встала, осторожно поставила стакан на столик рядом с креслом.

— Из спальни, если можно.

— Переключите, пожалуйста, на другой телефон,— попросил Крейг.

Энн ушла в спальню и закрыла за собой дверь. Немного погодя там зазвонил телефон, и Крейг услышал ее приглушенный голос.

Он подошел со стаканом в руке к балконной двери, открыл ее и вышел на балкон, чтобы не слышать, о чем говорит дочь. На Круазетт было еще много людей и машин, но на террасе никто не сидел— слишком было прохладно. Море катило длинные валы и с силой обрушивалось на берег, белая пена в отраженных огнях города казалась призрачной. «Давным-давно Софокл услыхал про это на Эгейском море,— продекламировал он про себя,— и вспомнил мутные приливы и отливы страданий человеческих». О каких мутных приливах и отливах вспомнил бы Софокл сейчас, слушая море у Канна?.. Софокл — это настоящее его имя? Или и он пользовался nom de plume? «Эдип в Колоне» Малкольма Харта, ныне мертвого.

Интересно, прочла ли Пенелопа сегодняшнюю «Трибюн» и какое испытала чувство, если вообще что-нибудь испытала, когда наткнулась на имя Эдварда Бреннера — другого мертвого писателя?

Он услышал, как дверь из спальни открылась, и вернулся в гостиную. Энн вошла хмурая. Она молча взяла свой стакан и залпом его осушила. «Видимо,— подумал он,— в нашей семье не один я пью так много».

— Что-нибудь серьезное? — спросил он.

— Да нет, ничего особенного.— Но выражение ее лица не сочеталось с ответом.— Так, один парень из моей школы.— Энн налила себе еще виски. Крейг заметил, что содовой она добавила совсем немного.— О, господи, никак от них не избавишься.

— Хочешь поделиться со мной?

— Он думает, что влюблен в меня. Хочет на мне жениться.— Она мрачно плюхнулась в кресло и вытянула перед собой длинные загорелые ноги.— Жди гостей. Сказал, что летит сюда. Авиабилеты стали до абсурда дешевые; вот в чем беда. Кто угодно может гоняться за кем угодно. Это одна из причин, почему я и попросила твоего разрешения приехать сюда: хотела от него удрать. Ты не обиделся?

— Что ж, это тоже причина,— уклончиво ответил он.

— Я тоже думала, что люблю его,— сказала она.— В первый месяц. Мне нравилось с ним спать и, наверно, и сейчас понравилось бы. Но замуж — избави бог!

— Я, конечно, старомоден,— сказал Крейг,— но что страшного в том, что парень хочет жениться на девушке, которую любит?

— Все. Скажи мне, разве Гейл Маккиннон поторопилась бы выйти замуж за первого встречного работягу? Ты можешь себе представить, чтоб она сидела дома и подогревала в духовке ужин, дожидаясь, когда милый муженек приедет из конторы пятичасовым пригородным поездом?

— Нет.

— Сперва я хочу стать хозяйкой своей судьбы,— сказала Энн.— Как она. А потом, если захочу замуж, муж должен будет принять мои условия.

— Ты что ж, не сможешь быть хозяйкой своей судьбы, когда выйдешь замуж?

— С этим тупым трудягой — нет. Да он и трудяга-то не настоящий. Ему дали стипендию, чтоб он играл в футбол: в школе он числился то ли в сборной штата, то ли еще в какой-то кретинской сборной. А когда стал играть в студенческой команде, то в первую же неделю во время тренировки разбил себе вдребезги колено и теперь даже в футбол не может играть. Вот что он за человек. Может, я и пошла бы за него, будь он умный и честолюбивый: тогда я хоть знала бы, что из него выйдет толк. Его отец в Сан-Бернардино торгует зерном и фуражом, вот и он хочет заниматься тем же. И это все. Не хватало мне еще Сан-Бернардино, черт побери! Нет уж, я не стану закапывать себя где-то в прерии. Он говорит, что не против, если женщина работает. До тех пор, конечно, пока не заведутся дети. Это в наше-то время! Когда в мире происходит бог знает что — войны, революции, какие-то сумасшедшие создают водородные бомбы, расстреливают черных, и женщины, наконец, решили поднять свой голос и потребовать, чтобы к ним относились как к людям. Я понимаю, что рассуждаю точно наивный подросток, и не знаю, что предпринять, но мне ясно одно: я не хочу ехать в Сан-Бернардино и обучать там детей таблице умножения только потому, что какой-то болван из Калифорнии остановил свой выбор на мне. Папа, секс — это самая коварная ловушка, какая когда-либо была изобретена, но я в нее не попадусь. Хуже всего то, что когда я услышала по телефону его слова: «Энн, я этого не вынесу», мне показалось, что все мои внутренности расплавились и превратились в большой, вязкий, сладкий комок. Пусть бы он был без гроша и ходил босиком, лишь бы стремился к чему-то — решил бы вступить в коммуну и выпекать там хлеб или выдвинуть свою кандидатуру в конгресс, стать ядерным физиком или каким-нибудь исследователем. Я сама-то не настолько чокнутая, но я и не мещанка.— Она замолчала, пристально посмотрела на Крейга.— Или, может, мещанка? Ты не находишь?

— Нет, не нахожу,— сказал он.

— Просто я не хочу жить в девятнадцатом веке. Ну и денек! — с горечью воскликнула она.— И надо же было ему подсесть ко мне тогда в библиотеке! Он прихрамывает из-за этого проклятого колена. Длинные волосы, русая борода. В наше время уже нельзя судить о человеке по внешности. И вот теперь он приедет сюда — будет пялить на меня свои голубые, как у младенца, глазищи, играть своими чертовыми бицепсами и слоняться по пляжу с видом человека, место которому на мраморном пьедестале где-нибудь во Фракии. Что, по-твоему, я должна делать? Бежать?

— Это от тебя зависит,— сказал Крейг. Так вот, оказывается, что с ней случилось за эти полгода.

Она резким движением поставила стакан, выплеснув виски на столик, и вскочила на ноги.

— Не удивляйся, если меня не будет здесь, когда ты вернешься оттуда, куда едешь,— сказала она.

— Только оставь записку, где тебя искать.

— У тебя какие-нибудь таблетки есть? А то я очень взбудоражена. Ни за что не засну сегодня.

Современный отец, весь вечер поивший дочь крепкими напитками, а потом молча и безропотно выслушавший ее рассказ о том, что она живет с молодым человеком, за которого считает унизительным выйти замуж, Крейг сходил в ванную и принес две таблетки секонала, чтобы она могла уснуть. Он вспомнил, что в двадцать лет мог спать и без снотворного — даже во время бомбежки и артилле-

рийской пальбы. К тому же он был девственник. Бессонница пришла вместе со свободой.

— Вот,— сказал он, протягивая ей таблетки.— Спи крепко.

— Спасибо, папа.— Энн бросила таблетки в сумочку и взяла рукопись.— Утром перед отъездом разбуди меня. Я спущусь, и мы вместе позавтракаем.

— Это было бы чудесно.— Он не стал говорить, что завтракать с ними, возможно, будет еще кое-кто. И не стал предупреждать, что официант может странно взглянуть на нее. Он проводил дочь до двери, поцеловал на прощание и смотрел ей вслед, пока она шла по коридору к лифту, унося с собой таблетки и все свои проблемы. Даже сейчас она в походке немного подражала Гейл Маккиннон.

Спать ему не хотелось. Он налил себе еще виски с содовой и, прежде чем отхлебнуть, задумчиво посмотрел на стакан. Энн сказала, что он очень много пьет. Разве? Придирчива стала молодежь.

Он взял со стола «Три горизонта» и стал читать. Прочел тридцать страниц. Что-то ничего не поймешь. «Слишком часто я перечитывал текст,— подумал Крейг.— Я его уже не воспринимаю». Он не мог сказать, должен ли он стыдиться своего творения или гордиться им. Возможно, в эту самую минуту те же тридцать страниц читает Уолтер Клейн в своем замке и Энн — в своем одноместном номере наверху. Ему готовят приговор. От этой мысли ему стало не по себе. Он заметил, что, читая, прикончил свое виски. Посмотрел на часы: около часа ночи. Спать все еще не хотелось.

Он вышел на балкон. Море поднялось выше прежнего, шум прибоя стал громче. Движение на Круазетт утихло. Снизу донеслись американские голоса, женский смех. «Надо запретить женщинам смеяться после полуночи у тебя под окном, когда ты один»,— подумал он.

И тут он увидел Энн, выходившую из-под навеса. На ней был плащ поверх желтого платья из органди. Вот она перешла улицу. Двое или трое прохожих взглянули на нее, но прошли мимо. Энн спустилась по лестнице на пляж. Он видел у самого края воды ее силуэт, неясно выделявшийся на фоне фосфоресцирующих волнорезов. Она медленно удалялась и в конце концов исчезла во тьме.

Он поборол в себе побуждение спуститься и догнать ее: если бы она хотела быть с ним, то сказала бы. Наступает минута, когда уже бессмысленно пытаться уберечь свое чадо.

Молодые говорят о себе искренне, бесконечно, потрясающе откровенно, но в конечном счете ты узнаешь о них не больше, чем твой отец в свое время знал о тебе самом.

Он вернулся в гостиную, протянул руку к бутылке с виски, и в этот момент раздался стук в дверь.

Утром, когда он проснулся, на измятой постели никого, кроме него, уже не было. В гостиной на столе лежала записка, написанная рукой Гейл: «Ну, как, я лучше в постели, чем моя мать?»

Он позвонил в ее гостиницу, но телефонистка сказала, что мисс Маккиннон ушла.

«Нет,— подумал Крейг,— эти великие писатели, прославляющие мужскую силу, все врут: не мужчина мстит женщине, а женщина, пользуясь своей с ним близостью, мстит мужчине».

Он снова взял трубку, позвонил Энн и позвал ее завтракать. Когда она спустилась к нему в купальном халате, он не стал ей говорить, что видел, как она ночью выходила из отеля.

Когда пришел официант и принес два завтрака, он окинул Энн тем взглядом, какой и ожидал увидеть Крейг. На чай он официанту ничего не дал.

14

На повороте «пежо», набитый детьми и мчавшийся навстречу Крейгу со скоростью девяносто миль в час, чуть не налетел на него в лоб. Он резко свернул в сторону, едва не свалившись в кювет. После этого он поехал медленно и осторожно, остерегаясь водителей-французов, и уже не любовался ни видами виноградников и оливковых рощ, через которые пролегало шоссе, ни даже морем, синевшим слева от него.

В Марсель он не торопился. Он еще не знал, что скажет Констанс. Если вообще что-нибудь скажет. Не такой уж он хороший актер, чтобы притворяться, будто ничего не случилось. Да и надо ли притворяться?

Прошлая ночь потрясла его. На этот раз не было ни кокетства, ни отказа. Без единого слова, в ночной тишине, нарушаемой лишь шумом моря за окном, Гейл отдалась ему, нежная и сдержанная. Руки, медленно ласкавшие его, были мягки, губы — сладки как мед. Он уже забыл, какая кожа у молоденьких девушек. Он ожидал, что она жадно набросится на него, или будет груба, или разыграет оскорбленную добродетель. А вместо этого... Нет, лучшего слова не подберешь: она радостно приняла его. Где-то в глубине сознания мелькнула мысль: «Так хорошо мне еще никогда в жизни не было». Он сразу понял грозящую опасность. И все же среди ночи сказал: «Я люблю тебя». И почувствовал на ее щеке слезы.

А потом вдруг утром — эта грубая шутка, эта записка на столе. При чем тут ее мать? Кто она такая, черт побери?

Приближаясь к Марселю, он поехал еще медленней.

В отеле его ждала записка от Констанс. Она вернется после пяти вечера, заказала для него номер рядом со своим, целует его. А портье передал ему, что звонил мистер Клейн и ждет его звонка.

Он поднялся за коридорным в свой номер. Дверь, ведущая в номер Констанс, была оставлена открытой. Когда коридорный ушел, а швейцар принес чемодан, он зашел туда. Знакомые ему расческа и щетка для волос лежали на столике, платье из льняного полотна висело на дверце шкафа — так оно скорее разгладится. В комнатах, заставленных мебелью, было темно и душно. Несмотря на закрытые окна, с улицы проникал шум.

Он вернулся к себе и, присев на кровать, взялся за телефон. Снял трубку и дал было номер гостиницы Гейл, но тут же извинился и попросил соединить его с Клейном.

Клейн подошел к телефону сам. Он никогда не отходил от телефона дальше чем на пять шагов.

— Ну, как наш великий человек? — спросил Клейн.— И что он поделывает в Марселе?

— Здесь же всемирный центр героина,— сказал Крейг.— А вы не знали?

— Слушайте, Джесс, подождите минутку. Я перейду к другому аппарату. Тут у меня полно народа и...

— Хорошо,— сказал Крейг. У Клейна всегда полно народа.

Немного погодя он услышал щелчок—Клейн взял другую трубку.

— Ну, теперь можем разговаривать. Вы ведь вернетесь в Канн?

— Да.

— Когда?

— Дня через два.

— Надеюсь, еще до того, как все снимутся с якоря?

— Если это необходимо,— сказал Крейг.

— Думаю, это будет полезно. Ну, слушайте: я прочел рукопись Харта, которую вы мне прислали. Она мне понравилась. Мне кажется, я смогу кое-что предпринять. Здесь же. На этой неделе. Вы заинтересованы?

— Как сказать.

— То есть?

— Я еще не знаю, что вы подразумеваете под словом «предпринять».

— Мне, возможно, удастся заполучить режиссера,— сказал Клейн.— Имени его называть не стану, потому что он не дал окончательного ответа. Но сценарий он прочел. О деньгах пока никакого разговора не было. Да и много еще неясностей и тому подобного... Вы понимаете?

— Да,— сказал Крейг.— Понимаю.

— Вот что я хочу сказать... По-моему, вам стоило бы поторопиться с возвращением. Но — никаких обещаний. Это вы тоже понимаете?

— Да.

— И вот еще что,— продолжал Клейн.— По-моему, рукопись нуждается в доработке.

— Я еще не встречал рукописи, которая не нуждалась бы в доработке,— сказал Крейг.— Даже если бы Шекспир пришел с рукописью «Гамлета», то первый же человек, которому он дал бы ее прочесть, сказал бы: «По-моему, рукопись нуждается в доработке».

— Не знаю, кто такой этот Харт, только он не Шекспир,— сказал Клейн.— И мне думается, что он тут весь выложился. Я хочу сказать, что любой режиссер, который возьмется ставить картину, наверняка пожелает привлечь другого сценариста для подготовки нового варианта. Перед тем, как говорить об этом с режиссером, я должен знать ваше мнение.

Крейг ответил не сразу. «Возможно,— подумал он,— именно сейчас и следует объявить, что никакого Малкольма Харта в природе не существует». Вместо этого он сказал:

— Мне надо самому поговорить с тем человеком, который согласится ставить фильм. Выслушать его соображения.

— Желание законное,— сказал Клейн.— Еще вопрос: хотите вы, чтобы я сказал Мэрфи, что берусь за это дело, или вы сами скажете? Он ведь все равно узнает. И скоро.

— Я скажу ему сам.

— Хорошо,— сказал Клейн.— Нелегкий будет разговор.

— Это уж моя забота.

— Ладно. Заботьтесь. Смогу я связаться с вами в Марселе по телефону, если будет что-нибудь новое?

— Если я перееду куда-нибудь, то дам вам знать,— сказал Крейг.

— И что вы нашли в этом Марселе, черт побери? У нас тут бал.

— Разумеется.

— Ну, плюньте, чтоб не сглазить,— сказал Клейн и положил трубку.

Крейг задумчиво смотрел на телефон. «Кто телефоном живет, от телефона и погибнет»,— не к месту подумал он. Он считал, что должен радоваться отзыву Клейна о рукописи. Но радоваться не буйно,

а спокойно, осторожно. Даже если ничего не выйдет, все равно уже доказано, что время он потратил не совсем зря.

Он снова взял трубку и попросил отель «Карлтон». Энн к этому времени, наверно, уже прочла рукопись, так что полезно было бы услышать и ее мнение. Кроме того, поскольку он бросил ее там одну — хорош отец! — то мог хотя бы дать ей полезный совет относительно того, как быть с молодым человеком, который едет к ней из Калифорнии. Если, конечно, она попросит совета.

Пока телефонистка вызывала «Карлтон», он пошел побриться и принять душ. Он должен предстать перед Констанс в лучшем виде и хорошо пахнуть. Хотя бы это.

Когда зазвонил телефон, ему пришлось бежать прямо из-под душа. Дожидаясь, когда телефонистка соединит его с номером Энн, он взглянул на мокрые следы на истертом ковре и подумал: «По крайней мере я не страдаю плоскостопием». Человеку присуще тщеславие. Даже по самому идиотскому поводу.

Телефон в номере Энн не отвечал. Если ей и нужен совет, то она получает его у кого-то другого. Скорее всего у Гейл. Интересно, что Гейл расскажет его дочери и насколько подробно? А что, если расскажет все? Впрочем, теперь ему это безразлично.

Он пошел опять в ванную и постоял под холодным душем, чтобы смыть мыло. Потом быстро вытерся и оделся. «Не мешало бы выпить»,— подумал он. Бутылки с собой он не привез, так что придется идти в бар. «Это в известной мере и от малодушия»,— признался он себе. Ему не хотелось дожидаться Констанс в номере, а то она, вероятно, подумает, что он тут же потянет ее в постель. Он же на это сегодня не способен.

В баре горел мрачный кроваво-красный свет. Два японца в одинаковых темных костюмах склонились над толстой кипой бумаг с текстом, отпечатанным на мимеографе, и о чем-то оживленно вполголоса разговаривали по-японски. Собираются разбомбить марсельскую гавань? Удивительно, как он мог в молодости ненавидеть таких вот маленьких, аккуратных, вежливых людей. *Банзай!* [1]

Он взялся за вторую порцию виски, когда в бар вошла Констанс. Красный свет был явно ей не к лицу. Он встал и поцеловал ее. От жары волосы у нее немного взмокли. Он не должен был этого замечать.

— Ты чудесно выглядишь,— сказал он. Все остальное подождет.

— Добро пожаловать, добро пожаловать,— сказала она.

В этих словах звучало эхо, которое Крейг предпочел бы не слышать.

— Хочу «Том Коллинз»,— сказала она.— Он умеет его готовить.— Она кивнула на бармена. Значит, она здесь уже бывала. С кем? Ему показалось, что она недавно плакала.

Он заказал ей коктейль и еще виски — себе.

— Который по счету? — с улыбкой спросила она.

— Всего лишь третий.— Не одна Энн озабочена тем, что он слишком много пьет. В следующем месяце он завяжет с крепкими напитками. Будет пить только вино.

— Я знала, что найду тебя в баре,— сказала она.— Даже портье не стала спрашивать.

— Во мне никаких тайн для тебя больше нет,— заметил он.— Это плохой признак.

— Тайн у тебя еще много,— возразила она.— Так что не бойся.

Обоим было как-то не по себе. Она взяла в руки сумку, поставила на колени, пальцы ее нервно вертели замок.

[1] Ура! *(японск.)*

— Что же ты все-таки делаешь в Марселе? — спросил он. Тот же вопрос задал ему Клейн. В городе миллион жителей. Неужели и они каждое утро спрашивают друг друга, что они делают в Марселе?

— У одного из моих милых Юношей неприятность.— Слово «Юноша» она всегда произносила с большой буквы.— Его в Старом порту арестовала полиция: нашли в рюкзаке два фунта гашиша. Я пустила в ход кое-какие связи, и в Париже мне сказали, что если я приеду сама и очарую здешние власти, то, возможно, до конца нынешнего века смогу вызволить этого кретина из французской кутузки. Вот я весь день и расточала свои чары. Отец Юноши, кроме того, обещал перевести по телеграфу из Сент-Луиса небезынтересный набор банкнот в пользу французского управления по борьбе с наркотиками. Посмотрим, что из этого выйдет. Дня два еще, по крайней мере, проболтаюсь здесь. Ужасно хочется выпить. И ужасно рада видеть тебя.— Она протянула руку и крепко сжала его пальцы. Какие у нее сильные руки и гладкие ладони! Такая тоненькая, а сильная, гладкая. Не важно, что волосы взмокли от пота. Открытое умное лицо, пытливый взгляд ясных, смешливых, зеленых глаз, кажущихся сейчас темными в красном свете бара. Многие мужчины добиваются ее благосклонности. Так говорили ему друзья. Да она и сама не скрывает. Большая труженица. Тяжелый характер, солнечная улыбка; обидчивая, но в любую минуту готовая обидеть в ответ. С ней мужчине всегда есть над чем призадуматься. Не позволяет ничего принимать как должное. Скольких мужчин она бросила? Когда-нибудь он ее об этом спросит. Но не в Марселе.

Они чокнулись. Сделав большой глоток, она сказала:

— Вот теперь лучше. Ну, рассказывай все.

— Не могу,— сказал он.— Кругом японские шпионы.— Оттягивай любой ценой, в том числе и с помощью шутки.

Она улыбнулась.

— Доволен, что приехал?

— Всю жизнь мечтал о встрече с любимой в Марселе. И раз уж мечта сбылась, то давай теперь переберемся куда-нибудь в другое место. Один-два дня тебе все равно придется ждать — так какой же смысл сидеть здесь? Если из Сент-Луиса придут деньги, тебя известят.

— Возможно, ты и прав,— неуверенно сказала она.

— А в этой гостинице сдохнуть можно. Так шумно, что всю ночь не заснешь.

— Не думала я, что ты спать сюда ехал.

— Ты меня понимаешь.

Она снова улыбнулась.

— Куда же мы поедем? Только не в Канн.

— О Канне забудь. Есть одно местечко. В деревне под названием Мейраг. Кто-то рассказывал мне. Бывший замок на холме. Меньше двух часов езды отсюда.

— Ты там бывал уже с кем-нибудь?

— Нет,— честно ответил он.

— Ну, так в Мейраг.

Они поспешно сложили вещи — для любви времени не было. Пока они доберутся до Мейрага, уже стемнеет. Он боялся, что телефон зазвонит до того, как они выйдут из номера. Но телефон не зазвонил. Гостиничный кассир был недоволен, но роптать не стал. Он привык к неожиданным отъездам постояльцев.

— Учтите,— объяснил он по-французски,— я должен получить с вас за полные сутки.

— Учту,— сказал Крейг и оплатил оба счета. Это самое меньшее,

что он мог сделать для американского Юноши, попавшего в руки французской полиции.

На улицах было много транспорта, так что машину приходилось вести осторожно. Разговаривать не было возможности, пока они не выбрались из пределов города на шоссе, ведущее на север, в сторону Экс-ан-Прованса.

По пути Крейг приводил в порядок свои мысли. Верность, отцовские обязанности, карьера, его жена, его дочь, Клейн, Гейл Маккиннон. Мать Гейл Маккиннон. Можно и не в таком порядке.

Констанс сидела рядом, ее короткие волосы трепались на ветру, губы были приоткрыты в легкой улыбке, кончики пальцев лежали на его колене.

— Люблю я с тобой путешествовать,— сказала она. Они ездили вместе в долину Луары, в Нормандию, в Лондон. Короткие восхитительные поездки. Даже проще, чем эта. Он не мог сказать, доволен ли, что она не захотела ехать с ним в Канн, или недоволен.

— Разговаривал ты с Дэвидом Тейчменом?

— Да.

— Славный человек, правда?

— Очень.— Он решил не говорить ей, что́ ему сообщили про старика. На марсельском шоссе лучше молчать о смерти.— Я сказал, что мы еще увидимся. Планы у него пока неясные.— Он спешил закончить разговор о Дэвиде Тейчмене.— По правде говоря, есть и другие, кто может заинтересоваться сценарием. Я, видимо, все узнаю, когда вернусь в Канн.— Крейг подготавливал Констанс к мысли о том, что он скоро уедет. Констанс сняла руку с его колена.

— Понятно,— сказала она.— Какие еще новости? Как твоя дочь?

— О ней можно всю ночь рассказывать. Уговаривает меня бросить кино. Совсем. Говорит, что это — жестокий и непостоянный мир и что там ужасные люди.

— Убедила она тебя?

— Не совсем. Хотя в чем-то я с ней согласен. Это действительно жестокий и непостоянный мир, и люди в большинстве своем там действительно ужасные. Но дело в том, что в других сферах жизни — не лучше, а возможно, и хуже. В армии, например, за один день можно увидеть куда больше подхалимства и лицемерия, чем во всех студиях Голливуда за целый год. То же и в политике — грызня, подсиживание,— и в торговле мороженым мясом. Киностудиям до них далеко. А что касается конечного продукта, то он приносит не больше вреда, чем генералы, сенаторы и ужины по рецептам телевидения.

— Насколько я тебя поняла, ты сказал ей, что остаешься в кино.

— В общем, да. Если будет такая возможность.

— Удовлетворена она таким ответом?

— Люди ее возраста, мне кажется, считают, что быть удовлетворенным — значит предавать свое поколение.

Констанс невесело рассмеялась.

— Господи, мне с моими ребятишками все это еще предстоит.

— Да, это так. Потом дочь сказала мне, что была у своей матери.— Он заметил, что Констанс слегка напряглась.— И мать сказала ей, что была у тебя.

— О господи,— вздохнула Констанс.— У тебя тут нигде бутылки не припрятано?

— Нет.

— Может, мы остановимся где-нибудь и выпьем?

— Я бы предпочел не выпивать,— сказал он.

Констанс немного отодвинулась от него.

— Я не хотела тебе говорить.

— Почему?

— Боялась, что это расстроит тебя.

— Верно, расстроило.

— Красивая женщина твоя жена.

— Только очень некрасиво поступила.

— Пожалуй, да. Мои Юноши в конторе вдоволь наслушались.— Констанс поежилась.— Не знаю, как я повела бы себя, если бы прожила с мужем более двадцати лет, а он бросил бы меня из-за другой женщины.

— Я бросил ее не из-за другой женщины,— сказал он,— а из-за нее самой.

— Женщине трудно в это поверить,— сказала Констанс.— Когда достигнешь ее возраста и попадешь в аналогичное положение, то вряд ли будешь вести себя вполне разумно. Она хочет, чтобы ты вернулся, и сделает все, чтобы вернуть тебя.

— Она меня не вернет. Она тебя оскорбляла?

— Конечно. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Мы же на отдыхе.

— Мой адвокат говорит, что на бракоразводном процессе она угрожает назвать твое имя,— сказал Крейг.— Думаю, что она этого все-таки не сделает, поскольку я заплачу ей, чтобы молчала. И все же я решил, что лучше предупредить тебя.

— Из-за меня не траться,— сказала Констанс.— Моя репутация выдержит.

Он усмехнулся.

— Стыдно подумать — бедный французский детектив всю ночь простоял у меня под окном, пока мы с тобой, двое немолодых уже людей, предавались бурной страсти.— В тоне Констанс слышались насмешка и горечь. Крейг понял, что его жена, устроив ей скандал, частично достигла своей цели.

— Ты же еще молодая,— сказал он.

— Да, я чувствую себя молодой. Сегодня.— Они проезжали мимо дорожного указателя.— Экс-ан-Прованс. Менестрели поют под звуки лютен. Любовные турниры.

— Если будет что-то новое, я сообщу тебе,— сказал он.

— Да. Держи меня в курсе дела.

«Она напрасно винит во всем меня,— думал он.— Впрочем, нет. Не напрасно. Как-никак, Пенелопа — моя жена. За двадцать-то лет я должен был приучить ее к вежливому обращению с моими любовницами».

С боковой дороги выехала машина, и ему пришлось резко затормозить. Констанс качнулась вперед и уперлась рукой в ящичек для перчаток.

— Хочешь, я поведу? — спросила она.— Ты ведь весь день за рулем — устал, наверно.

— Я не устал,— ответил он коротко и нажал на акселератор, хотя видел, что и без того едет слишком быстро. Сейчас, сидя в машине, он не чувствовал себя на отдыхе.

Гостиница помещалась в бывшем замке, стоявшем на лесистом холме. Было тепло, и они расположились ужинать под открытым небом, со свечами, на выложенной камнем-плитняком террасе с видом на долину. Еда была превосходная, они выпили две бутылки вина и завершили ужин шампанским. В таком месте и после такого ужина начинаешь понимать, почему часть жизни надо непременно провести во Франции.

Потом они прошлись леском по испещренной лунными бликами дороге до деревни и посидели за чашкой кофе в маленьком кафе, владелец которого записывал на грифельной доске результаты футбольных матчей за неделю.

— Даже кофе отличный,— сказал Крейг.

— Даже все,— сказала Констанс. На ней было голубое полотняное платье: она знала, что он любит голубой цвет.— Доволен, что приехал сюда?

— Угу.

— Со мной?

— Видишь ли...— Он говорил медленно, делая вид, что тщательно обдумывает ее вопрос.— Раз уж решил ехать в такое место с женщиной, то ты ничуть не хуже любой другой.

— Прелестно. Ничего более приятного я не слышала за весь день.

Оба рассмеялись.

— Скажи «Мейраг» по буквам,— попросил он.

— Д-ж-е-с-с К-р-е-й-г.

Они опять рассмеялись. Она взглянула на грифельную доску.

— Команда Монако выиграла. Замечательно, правда?

— Главное событие в моей жизни за неделю,— сказал он.

— Мы слишком много выпили. Ты не находишь?

— Нахожу.— Крейг сделал знак хозяину, стоявшему за стойкой.— Deux cognacs, s'il vous plait[1].

— Кроме всего прочего,— сказала она,— здесь говорят по-французски.

— Среди многих других достоинств.

— Сегодня ты выглядишь двадцатилетним.

— В следующем году голосовать пойду.

— За кого?

— За Мохаммеда Али.

— Пью за это.

Они выпили за Мохаммеда Али.

— А ты за кого будешь голосовать?

— За Кассиуса Клея.

— Пью за это.

Они выпили за Кассиуса Клея. Она хихикнула.

— А мы стали глупенькие, да?

— Пью за это.— Он повернулся к стойке.— Encore deux cognacs, s'il vous plait.

— Очень выразительно,— сказала она.— На нескольких романских языках.

Он пристально посмотрел на нее. Лицо ее сделалось серьезным. Она протянула через стол руку и сжала его кисть, как бы подбадривая. Он готов был сказать: «Останемся здесь на неделю, на месяц. А потом целый год будем странствовать по солнечным дорогам Франции». Но он ничего не сказал. Только чуть сильнее сжал ее руку.

— Правильно я произнесла по буквам «Мейраг»?

— Как нельзя лучше,— ответил он.

Когда они стали подниматься на холм, он попросил:

— Иди впереди меня.

— Зачем?

— Хочу полюбоваться твоими прелестными ножками.

— Любуйся,— сказала она и пошла впереди.

---

[1] Два коньяка, пожалуйста *(франц.)*.

Кровать была огромная. Через открытые окна проникал лунный свет и доносился запах сосны. Он лежал в серебристой мгле и слушал, как Констанс возится в ванной. Она никогда не раздевалась у него на глазах. «Как хорошо,— думал он,— что Гейл, не в пример другим женщинам, не царапает мужчину во время любви». А некоторые, бывало, царапались. Он рассердился на себя за эту мысль. Коварная память, разрушающая радости плоти. Он старался внушить себе, что причин для чувства вины нет. Сегодняшняя встреча — это одно, а вчерашняя — другое. Каждая ночь единственна в своем роде. Он никогда не клялся Констанс в верности, как и она — ему.

Она скользнула бледной тенью по комнате и легла рядом с ним в постель. Ее тело дорого ему, оно щедрое и знакомое.

— Ну, вот я снова дома,— прошептал он, отгоняя от себя воспоминания.

Но потом, когда они спокойно лежали рядом, она сказала:

— Ты ведь не хотел, чтобы я приехала к тебе в Канн.

Он помедлил с ответом.

— Нет.

— И не только из-за дочери.

— Не только.— Стало быть, какой-то след все же остался.

— У тебя там кто-то есть.

— Да.

Она немного помолчала.

— Это что-то серьезное или случайное?

— Я думаю — случайное. Хотя не знаю. Но произошло это случайно. То есть я не из-за нее ехал в Канн. Несколько дней назад я даже не знал об ее существовании.— Теперь, когда Констанс сама затронула эту тему, он почувствовал облегчение от того, что может выговориться. Он слишком ценил ее, чтобы говорить ей неправду.— Не знаю, как это произошло,— сказал он.— Произошло — и все.

— С тех пор как ты уехал из Парижа, я тоже не каждую ночь была дома одна,— сказала Констанс.

— Не буду уточнять, что ты имеешь в виду.

— Я имею в виду то, что я имею в виду.

— О'кей.

— Мы ничем с тобой не связаны,— сказала она.— Лишь тем, что чувствуем друг к другу в тот или иной момент.

— Все верно.

— Ты не против, если я закурю?

— Я всегда против, когда кто-нибудь курит.

— Обещаю тебе сегодня не заболеть раком.— Она встала с кровати, надела халат и подошла к столику. Он видел, как вспыхнула спичка. Она вернулась и села на край кровати. Время от времени, когда она затягивалась, огонек сигареты освещал ее лицо.— У меня тоже новость,— сказала она.— Хотела отложить до другого раза, да вот такое уж болтливое настроение.

Он рассмеялся.

— Чего ты смеешься?

— Так. Смешно. Что у тебя за новость?

— Я покидаю Париж.

Как ни странно, ему показалось, что это направлено против него.

— Почему?

— Мы открываем филиал в Сан-Франциско. Много молодежи стало ездить к нам с Востока и от нас туда. Обмен стипендиями и так далее. Мы уже несколько месяцев ведем переговоры о создании филиала в Калифорнии, и вот, наконец, вопрос решен. Выбор пал на меня.

Буду теперь нашим неофициальным окном на Пробуждающийся Восток.

— Без тебя Париж будет не тот.

— Без Парижа и я буду не та.

— Как ты к этому относишься?

— К переезду в Сан-Франциско? С интересом. Красивый город. Говорят, в нем бурлит культурная жизнь.— В ее тоне звучала ирония.— И для моих детей, вероятно, будет неплохо. Подучат свой английский. Должна же мать иногда заботиться и о том, чтобы ее дети лучше знали английский.

— По-видимому,— сказал он.— Когда собираешься переезжать?

— Этим летом. Через месяц-другой.

— Ну, вот и еще один дом потерян,— сказал он.— Исключу теперь Париж из своих маршрутов.

— Вот что значит верный друг. А Сан-Франциско включишь? Говорят, там есть неплохие рестораны.

— Да, я слышал. Что ж, буду заезжать. Время от времени.

— Время от времени. Женщина не может требовать, чтоб все было, как она хочет, правда?

Он ответил не сразу.

— Многое в жизни меняется.

Они долго молчали. Наконец Констанс сказала:

— Не стану притворяться, будто я в диком восторге от того, что ты мне сейчас сказал. Но я не ребенок, и ты — тоже. Ты ведь не ждал, что я устрою тебе сцену или, например, выброшусь из окна, верно?

— Конечно, нет.

— Как я уже сказала, я не в диком восторге. Но я в восторге от многого другого в наших отношениях. Сделаешь мне одолжение?

— Конечно.

— Скажи: «Я люблю тебя».

— Я люблю тебя,— сказал он.

Она загасила сигарету, сбросила халат на пол и легла рядом с ним.

— Поговорили и довольно. Болтливое настроение прошло.— Она положила голову ему на грудь.

— Я люблю тебя,— прошептал он, касаясь губами ее спутанных волос.

Они спали долго, а когда проснулись, светило солнце и пели птицы. Констанс позвонила в Марсель: деньги из Сент-Луиса еще не поступили, а офицер, ведавший борьбой с наркотиками, будет только завтра. Они решили остаться в Мейраге еще на день, и Крейг не стал сообщать в Канн, где он находится. Пусть этот день безраздельно принадлежит им.

На следующее утро выяснилось, что деньги все еще не пришли. Им жаль было уезжать, и они остались еще на сутки.

На другое утро, расставаясь с ней в марсельском отеле, он сказал, что в понедельник поведет ее обедать в Париже. Она рассчитывала к вечеру вызволить Юношу из тюрьмы. Если же ей это не удастся, она все равно уедет обратно в Париж, предоставив парня своей судьбе. И так она достаточно времени провела на юге. Она же все-таки работает.

15

— Черт подери, Джесс! — кричал Клейн по телефону.— Я десять раз пытался до вас дозвониться. Где вы сейчас?

— В Кассисе,— сказал Крейг. Он остановился там перекусить на

обратном пути и звонил из ресторана у самой гавани. Гавань была голубая и словно игрушечная. Сезон еще не начался, у городка был сонный, пустынный вид, с лодок после зимы еще не сняли брезент. Был час обеда.

— В Кассисе,— повторил Клейн.— Именно тогда, когда тебе нужен человек, он оказывается в Кассисе. Где этот чертов Кассис?

— Между Марселем и Канном,— ответил Крейг.— А о чем вы хотели со мной говорить?

— Кажется, у меня будет для вас контракт. Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Когда вы приезжаете?

— Часа через три-четыре.

— Я буду ждать,— сказал Клейн.— Весь день никуда не выйду.

— Можете сделать мне одолжение? — спросил Крейг.

— Какое?

— Позвоните Мэрфи и попросите его зайти к вам в пять часов вечера.— Ему показалось, что Клейн на другом конце провода поперхнулся, даже закашлялся от замешательства.

— Зачем вам Мэрфи? — спросил он наконец.

— Хочется пощадить его самолюбие, насколько это возможно.

— Это — нечто новое: чтобы клиенту хотелось щадить самолюбие агента-посредника,— сказал Клейн.— Мне бы такого клиента.

— Я не агента щажу, а друга,— возразил Крейг.

— Мэрфи, конечно, читал рукопись,— сказал Клейн.

— Конечно.

— И не захотел за нее браться.

— Нет.

— Ну, что ж,— нехотя согласился Клейн.— Если вы настаиваете...

— Я думаю, так будет лучше во всех отношениях. Но если вы не хотите, чтобы кто-то заглядывал вам через плечо, когда вы работаете...

— К черту,— сказал Клейн.— Пусть хоть сам папа римский заглядывает мне через плечо. Ладно, позову Мэрфи.

— Вот умница.

— Конечно, умница. Что бы обо мне ни болтали.

— В пять часов я буду у вас,— сказал Крейг и положил трубку. Собственно говоря, он просил позвать Мэрфи не только из дружеского расположения к нему. Он хотел, чтобы тот присутствовал при начале переговоров о контракте. Себя он считал плохим защитником своих интересов, не любил и не умел торговаться, и Мэрфи при подписании контрактов всегда следил за тем, чтоб все было в порядке. Тем более, что нынешние переговоры обещали быть сложными. Правда, он написал сценарий не ради денег, которые мог на нем заработать, но по долголетнему опыту работы в кино знал, что чем больше тебе заплатят, тем легче потом отстаивать свою позицию в других вопросах. Хотя старая формула «деньги против искусства» и продолжает во многих случаях действовать, он нашел, что в кинематографе, применительно к нему лично, более точной была бы формула «деньги приумножают искусство».

Крейг вышел на улицу и сел за столик с видом на гавань. В ресторане он был единственным посетителем. Приятное одиночество, вид маленькой, залитой солнцем голубой гавани, мысль о предстоящем обеде и о Клейне, который будет ждать его до самого вечера,— все это действовало успокаивающе. Он попросил анисовой водки и не спеша принялся за изучение меню.

Он заказал дораду и бутылку белого сухого вина, а пока маленькими глоточками пил водку. Ее лакричный привкус заставлял сильнее чувствовать близость Средиземного моря, вызывал в памяти множество дней, проведенных в праздности. Общество Констанс сказа-

лось на нем благотворно. Он подумал о ней с нежностью. Он знал, что если бы употребил это слово в ее присутствии, то она пришла бы в ярость. Все равно. Неплохое слово. Люди относятся друг к другу недостаточно нежно. Они говорят, что любят друг друга, но в действительности стремятся лишь использовать друг друга, опекать друг друга, властвовать друг над другом, терзать друг друга, уничтожать друг друга, плакать друг о друге. А они с Констанс, если не всегда, то в большинстве случаев, наслаждаются друг другом, и слово «нежность» применимо к их отношениям так же, как любое другое. Мысль о Сан-Франциско он оттонял от себя.

Он сказал Констанс: «Я люблю тебя» и сказал Гейл: «Я люблю тебя» — и в обоих случаях говорил правду. Возможно, слова эти относились и к той и к другой одновременно. Здесь, в лучах солнца, за рюмкой молочно-белого холодного южного напитка это казалось ему вполне возможным.

Не мог он не признаться себе и в том, что ему доставляет удовольствие сидеть и смотреть на безлюдную гавань, зная, что такой занятой человек, как Уолтер Клейн, звонил ему вчера десять раз и даже сейчас с нетерпением ждет его приезда. Он полагал, что уже утратил способность наслаждаться властью, теперь же не без удовольствия понял, что это не так.

«Ну, что ж,— подумал он,— после всего случившегося ясно, что не такая уж это была плохая мысль — приехать в Канн». Он надеялся, что к вечеру, когда он туда прибудет, Гейл уже не окажется в городе.

Подъехав в начале шестого к дому Клейна, он увидел во дворе автомобиль с шофером: значит, Мэрфи уже здесь. Мэрфи не любил водить машину сам. Он побывал в трех авариях и, по его выражению, «получил повестку».

Мэрфи и Клейн сидели возле плавательного бассейна с подогревом. Мэрфи что-то пил. В последний раз — это было во время званого вечера — Крейг встретил здесь Сиднея Грина, безработного режиссера, которого хвалил журналист из «Кайе дю синема». Грин вышел к нему из кустов, помочившись на дорогую лужайку Уолтера Клейна. «Только для побежденных»,— вспомнил Крейг мелькнувшую у него тогда мысль. Хотя он и сегодня еще не чувствовал себя победителем, но к побежденным тоже себя не причислял.

— Привет, друзья,— сказал Крейг, подходя к бассейну.— Надеюсь, не заставил вас долго ждать.— Он быстро сел, чтобы освободить их от необходимости решать, как с ним здороваться — стоя или сидя.

— Я только что приехал,— сказал Мэрфи.— Успел сделать лишь глоток виски.

— Кое-что я уже объяснил Мэрфи по телефону,— сказал Клейн.

— Что ж,— грубовато сказал Мэрфи,— если нашелся дурак, готовый дать под этот сценарий миллион долларов при сегодняшнем положении дел на рынке, желаю ему удачи.

— Миллион? Откуда ты взял такую цифру? — спросил Крейг.

— Я просто прикинул, во сколько это обойдется,— сказал Мэрфи.— Миллион как минимум.

— Финансовую сторону я ни с кем еще не обсуждал,— сказал Клейн.— Все зависит от того, как вы его собираетесь делать и с кем.

— Вы говорили, что какой-то режиссер уже читал сценарий,— сказал Крейг.— Кто этот режиссер?

— Брюс Томас,— ответил Клейн. Он быстро взглянул сначала на одного собеседника, потом на другого, наслаждаясь произведенным впечатлением.

— Ну, если Брюс Томас хочет его ставить, тогда будут и деньги.— Мэрфи покачал головой.— Никогда бы не подумал, что Томас согласится. Почему вдруг? Он же сроду ничего такого не делал.

— Именно поэтому. Так он мне и сказал.— Клейн повернулся к Крейгу.— Теперь о сценарии. Томас, как и я, считает, что он нуждается в переработке. Как вы думаете, Мэрф?

— Еще в какой.

— И Томас хотел бы привлечь другого сценариста,— сказал Клейн.— Лучше было бы, чтобы он работал один, но если возникнут возражения, то совместно с этим Хартом. Как вы договаривались с Хартом, Джесс?

— Никак не договаривался,— помолчав, ответил Крейг.

Мэрфи встревоженно засопел.

— Что значит «никак не договаривались»? — спросил Клейн. — Сценарий принадлежит вам или нет?

— Да,— сказал Крейг,— у меня на него все права.

— Так в чем же дело? — спросил Клейн.

— Я сам его написал. Собственной старой авторучкой. Никакого Малкольма Харта в природе не существует. Я просто взял первое попавшееся имя и поставил на титульном листе.

— Зачем ты это сделал, черт подери? — сердито спросил Мэрфи.

— Долго объяснять,— сказал Крейг.— Но факт остается фактом, и давайте исходить из него.

— Для Томаса это явится неожиданностью,— сказал Клейн.

— Если ему понравился сценарий, подписанный Малкольмом Хартом,— сказал Мэрфи,— то понравится и в том случае, если на нем будет стоять имя Крейга.

— Я тоже так думаю,— неуверенно сказал Клейн.— Но на ход его мыслей это может повлиять.

— В каком плане? — спросил Мэрфи.

— Точно не знаю, но повлиять может.

— А где Томас? — спросил Крейг.— Почему бы не позвонить ему и не позвать сюда?

— Ему сегодня утром пришлось улететь в Нью-Йорк,— сказал Клейн.— Поэтому я так усиленно и разыскивал вас. Не люблю, черт побери, когда люди исчезают из виду.

— Вам еще повезло,— сказал Мэрфи.— Вы-то потеряли его всего на один день, а я, бывало, по три месяца не мог его найти.

— Что ж,— вздохнул Клейн.— Раз уж начал, то доскажу до конца. Итак, он хочет привлечь другого сценариста. А теперь не падайте, друзья. Этого сценариста зовут Йэн Уодли.

— Рехнуться можно! — сказал Мэрфи.

Крейг засмеялся.

— Смеешься,— сердито сказал Мэрфи.— А ты можешь себе представить, как ты будешь работать с Йэном Уодли?

— Пожалуй,— сказал Крейг.— А впрочем, нет. Но почему Томас выбрал именно Уодли, а не кого-нибудь еще?

— Я сам спрашивал его,— сказал Клейн.— Уодли случайно попался ему на глаза. Вы знаете, как это здесь бывает. Встретились раза два, поговорили, и Уодли дал ему свою последнюю книгу. Наверно, как-то ночью Томас не мог заснуть, взял книгу в руки, полистал ее, и чем-то она его заинтересовала.

— Ну уж и книга! — фыркнул Мэрфи.— Самые скверные рецензии со времен «Гайаваты».

— Вы же знаете Томаса,— сказал Клейн.— Он не читает рецензий. Даже на свои картины.

— Идеальный читатель,— пробормотал Крейг.

— Что вы сказали? — спросил Клейн.

— Нет, ничего.

— Так вот,— продолжал Клейн,— Томас считает, что именно Уодли способен выразить то, чего ему недостает в сценарии. Уж не знаю, что именно. Только не вините меня, Джесс. Я к этому совершенно не причастен. Самому мне никогда бы и в голову не пришло читать книгу Йэна Уодли. Поймите мое положение: клиент хочет Уодли — я стараюсь его заполучить. Откуда мне было знать, черт побери, что Малкольм Харт — это вы?

— Я понимаю,— сказал Крейг.— И не виню вас.

— Весь вопрос в том, что я скажу Томасу. Может, вы все-таки поговорили бы с Уодли? Дадите ему почитать сценарий и выслушаете его соображения.

— Конечно,— сказал Крейг.— Я готов поговорить с ним. — Слушая Клейна, он обдумывал идею сотрудничества с Уодли, и она начала привлекать его. Хотя Томас и одобрил сценарий, чувство неуверенности, побудившее его прибегнуть к псевдониму, еще оставалось. И мысль о том, чтобы поделить с кем-то ответственность, была для него не такой уж нежелательной. К тому же Уодли, несмотря на все свои неудачи, действительно талантлив. И наконец, Крейг по собственному опыту знал, что почти нет такого сценария, который делал бы с начала и до конца один человек.— Я ничего не обещаю, но поговорить — поговорю.

— И вот еще что.— Клейн смутился.— Лучше уж выложить все сразу. Видите ли, Томас сам был продюсером своих последних двух картин. Ему не нужен второй продюсер и...

— Если он хочет снимать эту картину,— отрезал Крейг,— то ему нужен и продюсер. И этим продюсером буду я.

— Мэрф...— Клейн бросил на Мэрфи умоляющий взгляд.

— Вы слышали, что он сказал,— ответил Мэрфи.

— О'кей,— сказал Клейн.— Так или иначе, сам я тут ничего не решаю. Лучшее, по-моему, что мы можем сделать,— это полететь в Нью-Йорк и поговорить с Томасом. Возьмем с собой Йэна Уодли и посмотрим, что у нас получится.

Мэрфи покачал головой.

— Мне на следующей неделе надо быть в Риме, а еще через неделю — в Лондоне. Скажите Томасу, чтобы подождал.

— Вы же знаете Томаса,— сказал Клейн.— Он ждать не станет. В январе у него другая работа, так что всем придется вкалывать сутками, чтоб до того времени закончить картину. Среди прочего ему в вашем сценарии, Джесс, нравится то, что он не сложен для постановки, и это не помешает его дальнейшим планам.

— Тогда, Джесс, придется тебе одному вести переговоры,— сказал Мэрфи.— А я могу подъехать позже.

— Не знаю, что и делать,— сказал Крейг.— Надо подумать.

— Вечером я буду звонить Томасу,— сказал Клейн.— Что ему передать?

— Передайте, что я думаю,— ответил Крейг.

— Вот уж он обрадуется,— кисло сказал Клейн, вставая.— Кто хочет выпить?

— Спасибо, не хочу.— Крейг тоже встал.— Мне надо в Канн. Весьма признателен за все, что вы сделали, Уолт.

— Не стоит. Я всего лишь стараюсь честно заработать лишний доллар для себя и своих друзей. Не понимаю, какого дьявола вы не воспользовались собственным именем.

— Как-нибудь я вам объясню,— сказал Крейг.— Мэрф, почему бы тебе не прокатиться до Канна со мной? Скажи своему шоферу, что пересядешь к нему у «Карлтона».

— Ладно.— Мэрфи был какой-то удивительно покорный.

Клейн вышел с ними во двор. Они церемонно пожали друг другу руки. В это время в доме раздался телефонный звонок, и Клейн поспешил обратно. Крейг и Мэрфи сели в машину и поехали, сопровождаемые «мерседесом» Мэрфи.

Мэрфи долго молчал, глядя на заросли зелени по краям дороги. Близился вечер, и от деревьев ложились длинные тени. Крейг тоже молчал. Он понимал, что Мэрфи расстроен и готовится к разговору.

— Джесс,— проговорил, наконец, Мэрфи сдавленным голосом.— Приношу свои извинения.

— Не за что извиняться.

— Я просто задница. Старая задница — и все.

— Да брось ты.

— Я потерял чутье. Не гожусь уже никуда.

— Да ладно тебе, Мэрф! Кто не делает ошибок? И у меня они были.— Он вспомнил Эдварда Бреннера в пустом театре после заключительного спектакля. То была его последняя и лучшая пьеса.

Мэрфи печально покачал головой.

— Я держал этот сценарий в руках и советовал тебе забыть про него, а этому пройдохе Клейну достаточно было одного телефонного звонка, чтобы заинтересовать им популярнейшего режиссера. Какая же тебе от меня теперь польза, черт побери?

— Ты мне нужен,— сказал Крейг.— Неужели тебе не ясно? Я обязан был сказать тебе, что сценарий этот мой.

— Какая разница? Хотя, конечно, ты поступил со мной не лучшим образом. После стольких лет совместной работы.

— У меня свои проблемы. Некоторые из них ты знаешь.

— Это верно,— сказал Мэрфи.— И есть одна большая, в которой я мог бы тебе помочь... должен был помочь... и давно... А я вот не помог.

— О чем это ты?

— Да о твоей проклятой жене.

— А что ты мог бы сделать?

— Мог бы предупредить. Я знал, что происходит.

— Да я и сам знал,— сказал Крейг.— В общих чертах. И с опозданием. Но все же знал.

— Ты не догадывался, почему она это делает? — спросил Мэрфи.— Она же не нимфоманка, нет. И она вполне может держать себя в руках. Она не из тех, что кидаются в постель с первым же посыльным из продуктовой лавки.

— Нет, не из тех.

— Ты не задумывался о том, кого она выбирала себе в партнеры?

— В общем — нет.

— Если тебе это неприятно, Джесс, то я замолчу.

— Да, неприятно. Но ты говори.

— Она всегда выбирала твоих друзей. Тех, кто восхищался тобой, тех, с кем ты работал, тех, кем *ты* восхищался.

— Нельзя сказать, чтобы я был без ума от ее последнего партнера.

— Он тоже появился не случайно,— настаивал Мэрфи.— Этот человек преуспевает, преуспевает в том, чего ты не умеешь, и тебе неприятно, что ты этого не умеешь. Ты обращался к нему за советом, доверял ему свои финансовые дела. Понимаешь?

— Некоторым образом — да,— сказал Крейг.

— И все эти люди всегда хотели видеть тебя, слушать тебя, ты был в центре внимания. А она всегда оставалась на заднем плане. У нее был только один способ показать себя — и она им воспользовалась.

— И она им воспользовалась,— кивнул Крейг.

— Я давно это заметил,— сказал Мэрфи.— И Соня тоже. И когда еще было время что-то предпринять, я молчал, я предоставил тебе самому решать эту проблему. А чем я искупил свою вину? — Он сокрушенно покачал головой.— Добавил тебе еще одну проблему.— У него был усталый вид, тело его на непрочном сиденье старого маленького автомобиля словно съежилось и казалось каким-то вялым, голос звучал устало, лицо, по которому проносились тени придорожных деревьев, было печальным.

— Никаких проблем ты мне не добавлял,— резко сказал Крейг.— Ты мой друг и партнер, в прошлом ты делал для меня чудеса и, я полагаю, будешь делать и дальше. Не знаю, что бы со мной сталось без тебя.

— Агент — это мишень для насмешек,— сказал Мэрфи.— А я — шестидесятилетняя мишень для насмешек.

— Никто так о тебе не думает,— сказал Крейг.— Я так не думаю, а те, кому приходилось иметь с тобой дело, и подавно. Так что не скули.— Ему было неприятно видеть в таком настроении Мэрфи, который никогда не терял присутствия духа, уверенности в своих силах, решительности в суждениях, считая это своим стилем, даже своим жизненным кредо.

— Если хочешь, Джесс, я отменю Рим и Лондон и полечу с тобой в Нью-Йорк.

— В этом нет необходимости,— сказал Крейг.— Наоборот, твои позиции упрочатся, когда они там узнают, что надо ждать тебя.

— Только не делай никаких уступок, пока я не приеду.— Голос Мэрфи окреп.— Держись твердо. Дай мне до утра все обдумать. Завтра скажи мне точно свои требования, и мы прикинем, чего и как тут можно добиться.

— Так-то лучше,— сказал Крейг.— Вот почему я и просил Клейна позвать тебя на нашу встречу.

— Господи! — громко вздохнул Мэрфи.— Знал бы ты, как мне противно будет делить с этим пройдохой комиссионные.

Крейг засмеялся. Засмеялся и Мэрфи, выпрямившись на своем сиденье.

Но когда они подъехали к «Карлтону», он сказал:

— Джесс, у тебя не найдется лишнего экземпляра сценария? Хочу перечитать его — просто чтобы понять, каким я оказался идиотом.

— Завтра дам. Привет Соне.

Когда Мэрфи вылез из «симки» и пошел к своей машине, вид у него был величественный, властный и угрожающий — вид человека, которому не каждый осмелится перебежать дорогу. Крейг невольно улыбнулся, глядя, как его друг вваливается в свой большой черный «мерседес».

В холле отеля было полно народу: мужчины в смокингах и дамы в вечерних платьях собирались на вечерний сеанс фестиваля. Проталкиваясь к стойке портье, Крейг машинально озирался, ища глазами Гейл. Много знакомых лиц и среди них — Джо Рейнолдс, но Гейл не было видно. Синяки у Рейнолдса начали желтеть, и внешность его от этого не стала привлекательней. Он оживленно разгова-

ривал с Элиотом Стейнхардтом. У лифта стоял высокий русобородый парень, и Крейг почувствовал на себе его пристальный взгляд. Когда он брал почту и ключ от номера, парень подошел к нему.

— Мистер Крейг?

— Да.

— Я Бейард Пэтти.

— Да?

— Я хочу сказать... я друг Энн. Из Калифорнии.

— А, здравствуйте.— Крейг протянул руку, и Пэтти пожал ее. У него была огромная и мощная, как камнедробилка, ладонь.

— Очень рад познакомиться, сэр,— сказал Пэтти скорбно.

— А где Энн? Давайте ее сюда и пойдем выпьем.

— Вот об этом я и хотел с вами поговорить, мистер Крейг. Энн здесь нет. Она уехала.

— То есть как уехала? — резко спросил Крейг.

— Уехала и все. Сегодня утром. Записку мне оставила.

Крейг повернулся к портье.

— Моя дочь съехала?

— Да, monsieur,— ответил портье.— Сегодня утром.

Крейг перебрал свою почту. Никакой записки от Энн не было.

— Она оставила свой новый адрес?

— Нет, monsieur.

— Пэтти! Она вам сказала, куда уехала?

— Нет, сэр. Зовите меня Бейард, пожалуйста. Она просто исчезла.

— Подожди меня здесь, Бейард,— сказал Крейг.— Может, она в моем номере оставила записку.

В номере тоже ничего не оказалось. Он снова спустился в холл. Пэтти ждал у стойки портье. Он был похож на громадного, верного, лохматого ньюфаундленда.

— Есть что-нибудь? — спросил Пэтти.

Крейг покачал головой.

— Странная девушка,— сказал Пэтти.— Я только вчера прибыл. Летел через полюс.

— Пожалуй, нам обоим не мешало бы выпить,— сказал Крейг. Он чувствовал себя карликом рядом с громадным молодым человеком, шагавшим с ним по коридору в направлении бара. На Пэтти были джинсы, трикотажная рубашка, а поверх нее — легкая коричневая куртка из непромокаемой ткани. Он слегка прихрамывал, и это еще больше выделяло его среди мужчин в вечерних костюмах и дам в драгоценностях.

— Я вижу, ты до сих пор хромаешь,— сказал Крейг.

— Так вы, стало быть, знаете,— с удивлением заметил Пэтти.

— Энн рассказывала.

— Что она еще обо мне говорила? — спросил Пэтти тоном обиженного ребенка, плохо сочетавшимся с его массивной фигурой.

— Ничего особенного,— дипломатично ответил Крейг. Он, конечно, не собирался повторять, что сказала Энн об этом бородатом юнце из Сан-Бернардино.

— Она вам говорила, что я хочу на ней жениться?

— Кажется, да.

— Вы, конечно, не находите ничего ужасного или порочного в том, что человек хочет жениться на девушке, которую любит?

— Нет.

— Полет через полюс стоил мне огромных денег,— сказал Пэтти,— а я видел ее всего несколько часов, она даже не позволила мне остановиться в том же отеле, и вдруг — бац! — записка: уезжаю, прощай. Как вы думаете, она сюда вернется?

— Понятия не имею.

Все столики оказались занятыми, так что им пришлось стоять в толпе у бара. Здесь тоже было много знакомых лиц. «Помяни мое слово,— говорил какой-то молодой человек,— английская кинематография подписала себе смертный приговор».

— Мне, наверно, следовало надеть костюм,— сказал Пэтти, неуверенно озираясь по сторонам.— Просто необходимо. В таком шикарном месте.

— Не обязательно,— сказал Крейг.— Теперь никто не обращает внимания на то, как люди одеты. В течение двух недель здесь — полная свобода нравов.

— Оно и видно,— угрюмо сказал Пэтти. Он заказал «Мартини».— С моей ногой одно хорошо: можно пить «Мартини».

— Не понял.

— Я хочу сказать, теперь мне не надо следить за спортивной формой и прочей ерундой. По правде говоря, мистер Крейг, когда я услышал, как хрустнуло у меня колено, я обрадовался, здорово обрадовался. Сказать, почему?

— Ну что ж, скажи.— Крейг, потягивая виски, заметил, что Пэтти выпил одним глотком половину своего «Мартини».

— Я понял, что мне уже не играть больше в футбол. Зверская игра. А бросить ее — при моей-то силе — не хватало духа. И потом, когда я услышал, как оно хрустнуло, я еще подумал: «Теперь Вьетнам без меня обойдется». Вы считаете, что это не патриотично?

— Да нет,— сказал Крейг.

— Когда я выписался из больницы,— продолжал Пэтти, вытирая мокрую от «Мартини» бороду тыльной стороной ладони,— то решил, наконец, сделать Энн предложение. Ничто нашей женитьбе уже не мешало. Только она...— В голосе Пэтти послышалась горечь.— Что она имеет против Сан-Бернардино, мистер Крейг? Она вам говорила?

— Насколько помню, нет.

— Доказательство своей любви она мне представила,— воинственным тоном сказал Пэтти.— Самое убедительное доказательство, на какое способна девушка. И всего лишь вчера.

— Да, что-то она мне на этот счет говорила,— сказал Крейг, хотя сообщение Пэтти насчет вчерашнего дня его удивило. Неприятно удивило. «Самое убедительное доказательство». А какое доказательство *он* представил вчера в Мейраге? Этот парень все еще пользуется лексиконом викторианской эпохи. Даже трогательно. А вот Энн, когда высказывалась на эту тему, не очень-то тщательно выбирала слова.

— Я *должен* вернуться в Сан-Бернардино,— сказал Пэтти.— Я ведь единственный сын в семье. У меня четыре сестры. *Младше* меня. Мой отец всю жизнь создавал свое дело. Он один из самых уважаемых людей в городе. А теперь я должен ему сказать: «Все, что ты делал,— ни к чему», так, что ли?

— Я считаю, что ты рассуждаешь здраво,— сказал Крейг.

— А вот Энн — нет,— печально сказал Пэтти. Он уже допил свой «Мартини», и Крейг заказал еще. Как избавиться от этого парня? Если верно, что музыка — пища для любви, то Пэтти — это школьный духовой оркестр, играющий школьный гимн в перерыве между первым и вторым таймом. При этой мысли Крейг невольно усмехнулся.— По-вашему, я дурачок, мистер Крейг? — сказал Пэтти, заметив его усмешку.

— Вовсе нет, Бейард. Все дело в том, что у тебя и у Энн разное представление о ценностях.

— А как, по-вашему, она переменится?

— Все люди меняются,— сказал Крейг.— Только не знаю, переменится ли она в твою сторону.

— Угу.— Пэтти понурил голову, борода коснулась его груди.— Вам, как отцу девушки, мне этого не хотелось бы говорить, но, видите ли, я застенчив и ни с кем не заигрываю. Ваша дочь сама этого захотела.

— Вполне возможно,— согласился Крейг.— Ты красивый молодой человек и, как видно, очень славный...

— Угу,— неуверенно сказал Пэтти.

Желая подбодрить его, Крейг сказал:

— Она даже говорила мне: когда ты идешь по пляжу, вид у тебя такой, что только во Фракии на мраморном пьедестале стоять.

— Что это могло бы значить? — недовольно спросил Пэтти.

— Это большой комплимент.— Крейг протянул ему второй стакан «Мартини».

— Мне этот комплимент не кажется очень лестным, черт побери! — Пэтти отпил глоток.— Я всегда считал, что дела красноречивей слов. А дела вашей дочери озадачивают, если не сказать большего. Впрочем, какого черта... Я же знаю, как она воспитана.

— Как же, по-твоему, она воспитана, Бейард? — с неподдельным интересом спросил Крейг.

— Модный пансион в Лозанне. Говорит по-французски. Знаменитый отец. Сколько угодно денег. Всю жизнь — среди людей высокого полета. Я для нее, наверно, большое Ничтожество. Видно, надо мне быть благоразумнее. Только вот беда: как вспомню о ней, так теряю всякое благоразумие. Имеете ли вы, мистер Крейг, хоть *какое-нибудь* представление о том, вернется она сюда или нет?

— В самом деле не знаю,— ответил Крейг.

— Через неделю мне обратно в Калифорнию. Опять будут оперировать колено. Обещают, что через три месяца буду ходить нормально. Так что замуж она не за калеку пойдет. Если б год назад кто сказал мне, что я, Бейард Пэтти, полечу за шесть тысяч миль через полюс во Францию, чтобы провести неделю с девушкой, я б такого человека назвал сумасшедшим. Знаете, мистер Крейг, я, наверно, не смогу без нее жить.— Его ясные голубые глаза повлажнели.— Я говорю театрально, да? — спросил он, вытирая огромным кулачищем слезу.

— Немного.

— Но все это правда. Она ведь даст вам о себе знать, да?

— Рано или поздно.

— Вы ей скажете, что она должна мне позвонить?

— Передам.

— Что вы обо мне думаете, мистер Крейг? По совести. Вы через многое в жизни прошли. Разных повидали людей. Неужели я так уж плох?

— Конечно, нет.

— Я не самый умный на свете. Но и не последний дурак. Нельзя сказать, что я тянул бы ее вниз. Я бы уважал ее вкусы. С радостью уважал бы ее вкусы. Вы были женаты, мистер Крейг, так что вы понимаете. Брак — это не тюрьма, черт подери. А Энн говорит, что тюрьма.

— Боюсь, что мой брак не кажется моим дочерям примером, достойным подражания.

— Я знаю, что вы разошлись с женой,— сказал Пэтти,— и знаю, что у вас с ней не очень хорошие отношения...

— Мягко выражаясь,— сказал Крейг.

— Но это не значит, что *всякий* брак должен обязательно развалиться,— упрямо продолжал Пэтти.— Мои родители тоже иногда ссо-

рились. И ссорятся до сих пор. Вы бы послушали, какой у нас иногда крик стоит в доме. Но это меня не испугало. Даже то не испугало, что у меня четыре сестры...

— Смелый ты человек, Бейард.

— Мне сейчас не до шуток,— обиделся Пэтти.

— Я вовсе не шучу,— успокоил его Крейг. Ему пришло в голову, что с Пэтти, если он рассвирепеет, лучше не связываться.

— Так или иначе,— уже дружелюбнее сказал Пэтти,— я вам буду благодарен, если вы замолвите Энн за меня словечко, когда она объявится.

— Словечко замолвлю,— пообещал Крейг.— Но что из этого выйдет, покажет время.

— Мне легче, когда я разговариваю с вами, мистер Крейг. Это... ну, как бы ниточка между мною и Энн. Не хочу быть навязчивым, но вы оказали бы мне честь, согласившись поужинать со мной сегодня.

— Спасибо, Бейард.— Крейг решил, что ему следует заплатить семейный долг вежливости.— С большим удовольствием.

Сзади кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел Гейл — в том же ситцевом платье, в котором она была на вечере у Клейна. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Дайте мне чего-нибудь выпить,— наконец сказала она.

— Вы знакомы с Бейардом Пэтти? — спросил Крейг.— Гейл Мак...

— Да, мы знакомы,— сказала Гейл. Мужчина, сидевший рядом с Крейгом, слез со своего высокого табурета, и Гейл, усевшись на освободившееся место, положила сумку на стойку бара.

— Добрый вечер, мисс Маккиннон,— сказал Пэтти.— Нас Энн познакомила,— объяснил он Крейгу.

— Понятно.— Присутствие Пэтти было ему совсем некстати.— Что вы будете пить? — спросил он Гейл.

— Шампанское, пожалуйста.— Она выглядела совсем юной, неиспорченной, словно никогда в жизни не пила шампанского и неспособна спросить мужчину, так ли она хороша в постели, как ее мать.

Крейг заказал шампанское.

— Бейард говорит, что Энн сегодня утром уехала. Вы ничего об этом не знаете?

Гейл странно посмотрела на него и ничего не ответила, лишь передвинула на стойке сумку.

— Нет,— выговорила она наконец.— Ничего. Хорошо вы провели время в Марселе?

— Откуда вы знаете, что я был в Марселе?

— Здесь наносятся на карту все ваши передвижения. Клейн из себя выходил — никак не мог вас разыскать.

— Марсель — очаровательный город. Вам тоже рекомендую там побывать,— сказал Крейг.— Да, время я провел хорошо.

Гейл медленно потягивала шампанское.

— Вы намерены задержаться в Канне, мистер Пэтти?

— Зовите меня Бейард, пожалуйста. Не уверен. Я ни в чем не уверен.

— Мы с Бейардом ужинаем сегодня,— сказал Крейг.— Хотите к нам присоединиться?

— Извините, не могу. Я поджидаю Ларри Хеннесси. Сегодня показывают его картину, он очень волнуется и вряд ли высидит до конца. Я обещала поужинать с ним и посочувствовать. Так что, пожалуй, отложим до другого раза? — Она говорила безразличным, нарочито нагловатым тоном.

— Пожалуй,— сказал Крейг.

— После просмотра он у себя в «люксе» собирает народ,— сообщила Гейл.— Я уверена, что ему будет приятно видеть там вас обоих, джентльмены.

— Посмотрим, какое у нас будет настроение,— сказал Крейг.

— Я готовлю о нем статью. Из другой статьи ничего, видимо, не получится. Он прелестный человек. И удивительно легок в общении.— Она отпила из бокала.— А с некоторыми работать — точно воз в гору везти! Ага, вот и он.— Она помахала рукой.— Боже, там его обступила какая-то скучная публика. Пойду к нему на выручку. Спасибо за шампанское.— Она соскользнула с табурета и пошла к двери, где стоял Хеннесси, оживленно беседуя с двумя женщинами и, кажется, отнюдь не скучая.

— Мне не хотелось говорить, мистер Крейг,— сказал Пэтти,— к тому же я познакомился с этой девушкой только вчера, но, по-моему, она оказывает на Энн дурное влияние.

— Да они едва знакомы,— отрезал Крейг.— Вот что: мне надо подняться к себе, принять душ и переодеться. Через полчаса встретимся в холле.

— Как вы считаете, мне следует надеть костюм? — спросил Пэтти.

— Да,— ответил Крейг. Пусть и он сегодня помучается, повяжет на свою бычью шею галстук. Крейг расплатился с барменом за всех троих и вышел через дверь, ведущую на террасу, а не через ту, где стоял Хеннесси, весело болтая и обняв за плечи Гейл Маккиннон.

Он спустился в холл только через час. Перед тем как переодеться, он взял в руки экземпляр «Трех горизонтов» и полистал его. Сознание того, что сценарий прочли другие люди, что он понравился им и теперь можно начинать сложный и изнурительный процесс воплощения его на экране, заставило Крейга посмотреть на свой труд как бы заново. Читая, он невольно испытал знакомое волнение. Сценарий уже не казался ему мертвым текстом. В голове роились мысли: кого пригласить из актеров, какие куски переделать, какие использовать операторские приемы, какое дать музыкальное сопровождение тем или иным сценам. Он с усилием оторвался от рукописи, побрился, принял душ и оделся. Не может же он заставить беднягу Бейарда Пэтти — всеми покинутого, жалкого в своем костюме — всю ночь прождать его в холле.

Поведение Энн вызвало у него чувство досады, но не более. В сущности, за нее он не беспокоился. Она уже взрослая и может о себе позаботиться. С Пэтти она обошлась жестоко, и Крейг, сам человек не жестокий, не мог этого одобрить. Он так ей и скажет, когда увидит ее. Конечно, это чудовищно — переспать с парнем, а на следующее утро исчезнуть, но ведь и до нее были девушки, которые поддавались влечению, а потом бежали от осложнений. С мужчинами это тоже случается. В том числе и с членами семейства Крейгов, если уж на то пошло.

Он позвонил Клейну и узнал адрес Брюса Томаса в Нью-Йорке. Довольный собственным нетерпением, он сказал Клейну, что вылетает на следующий день.

— Вот это дело,— сказал Клейн.— Начинайте действовать. Да и фестиваль все равно уже выдохся. Так что вы ничего не потеряете.— В трубке раздавался беспорядочный гул голосов. У Клейна — очередной коктейль. Оправдывает пять тысяч долларов, потраченные на аренду дома.

Крейг испытывал благожелательное, непривычно дружеское чувство к этому человеку. Мир полон полезных людей, и Клейн — один из них. Надо сказать Мэрфи, чтобы перестал обзывать его пройдохой.

Он составил телеграмму Томасу, в которой сообщал, что вылетает в Нью-Йорк и позвонит ему сразу же по прибытии. Хотел также телеграфировать Констанс и отменить назначенный на понедельник обед, но передумал. Лучше позвонить ей утром и все объяснить. Он был уверен, что она поймет. И одобрит. К тому же от Нью-Йорка до Сан-Франциско ближе.

Спустившись вниз, где его ждал Бейард Пэтти в темно-синем костюме и при галстуке, он отдал портье телеграмму для Брюса Томаса и попросил забронировать на следующий день одно место на самолет Ницца—Нью-Йорк.

Слушая разговор Крейга с портье, Пэтти понурил голову.

— Вы уже улетаете? А если Энн приедет?

— О ней придется тебе позаботиться.

— А, ну да.— В тоне Пэтти не было уверенности.

Они сели в машину, и Крейг повез его в Гольф-Жюан, где у самого моря на сваях стоял рыбный ресторан. Море было неспокойно, волны с ревом обрушивались на сваи. Пэтти выпил больше, чем следовало, и разболтался. К концу ужина Крейг уже знал все и о его семье, и о политических воззрениях, и о взглядах на любовь и на студенческие волнения. («Я хоть и трудяга, мистер Крейг, но не типичный. Можете мне поверить. И я заодно с ребятами: они, по большей части, правы. Но я против, когда они захватывают здания, бросают бомбы в банки и вытворяют всякие глупости. Тут мы с Энн, по крайней мере, не расходимся во мнениях. Отец считает меня красным экстремистом, только он ошибается. Зато в нем вот что есть: он уважает в тебе человека, всегда тебя выслушает и постарается понять твою точку зрения. Когда будете в Калифорнии, обязательно познакомьтесь с ним. Знаете, мистер Крейг, мне повезло, что у меня такой отец».) О том, что Энн тоже повезло с отцом, он ничего не сказал. Он видел два фильма Крейга и отозвался о них вежливо. Он вообще был вежливый молодой человек. К концу ужина Крейг убедился, что политика политикой, а женитьба Бейарда Пэтти на Энн была бы для парня гибелью, но говорить ему этого не стал.

Они уже выпили кофе, а к Хеннесси ехать было еще рано — там соберутся не раньше полуночи. К тому же Крейгу не очень-то и хотелось туда идти; что же до Пэтти, то вряд ли он будет чувствовать себя там непринужденно.

— Сколько тебе лет? — спросил он, когда они вышли из ресторана и направились к машине. (По счету после некоторого препирательства расплатился Пэтти.) — Больше двадцати одного?

— Ровно двадцать один,— ответил Пэтти.— А что?

— Паспорт у тебя с собой?

— Зачем? — вспыхнул Пэтти.— Хотите проверить?

Крейг засмеялся.

— Да нет же. Я подумал, не сходить ли нам в казино. Раз ты уж приехал, должен же ты познакомиться с местными достопримечательностями. А там при входе спрашивают паспорт.— По крайней мере, за игорным столом он будет избавлен часа на два от излияний удрученного парня.

— Ах, извините,— сказал Пэтти.— Конечно. Он у меня в кармане.

— Хочешь пойти?

— А что мне терять?

— Кроме денег, ничего,— сказал Крейг.

В казино Крейг коротко объяснил, что такое рулетка, и посадил Пэтти рядом с крупье, чтобы тот подсказывал новичку, что делать.

Сам же он сел за стол, где играли в chemin de fer. До этого он играл в Канне только однажды — в тот вечер, когда одолжил Уодли триста долларов и когда Мэрфи рекомендовал ему отказаться от мысли поставить «Три горизонта». Он усмехнулся про себя, вспомнив тогдашний разговор с Мэрфи по телефону. Садясь за игорный стол, он с удовольствием подумал: «Теперь, имея в запасе тридцать тысяч франков, можно и порезвиться».

Время от времени, перед новой раздачей, Крейг подходил к Пэтти. У того возбужденно блестели глаза — перед ним лежала солидная кучка фишек. «Я заразил его новым пороком,— подумал Крейг.— Зато хоть об Энн ныть перестанет».

За столом напротив Крейга освободилось место, и его заняла полная дама. Она была в белом шелковом платье, оставлявшем открытыми плечи и большую часть пышной груди. Замысловатая, тщательно уложенная прическа, сильно подведенные глаза. Несоразмерно тонкие губы на круглом, словно лакированном лице, утолщенные блестящей ярко-красной помадой. Очень смуглая кожа на плечах и груди блестела, точно смазанная жиром. Пальцы с длинными загнутыми малиновыми ногтями были отягощены бриллиантами, которые Крейг — он не был знатоком в этой области — принял за настоящие. Она перенесла с другого стола кучку крупных фишек и, разложив их в геометрическом порядке перед собой, постукивала по ним с хозяйским видом своими длинными накрашенными ногтями. Она взглянула на Крейга и улыбнулась — лукаво, но без всякого тепла.

Теперь он узнал ее. Это была та толстуха, что лежала на солнце, когда они с Мэрфи шли в бар «Отеля на мысу». Он вспомнил ее залитое потом, размалеванное лицо, вспомнил выражение неприкрытой развращенности, отметины, свидетельствующие о дурном характере, эгоизме, грубости и жадной похотливости. Оборотная сторона монеты, название которой чувственность. Неприятно, что она села за его стол.

Он был уверен, что она выиграет. Так оно и вышло. После нескольких партий он встал из-за стола, взяв с собой выигрыш. Кучка фишек перед Пэтти немного увеличилась, он сидел согнувшись и сосредоточенно смотрел на вращающийся круг.

— С меня хватит, Бейард,— сказал Крейг.— Иду получать наличные. А ты как?

Пэтти с удивлением обернулся на голос Крейга — словно вдруг перенесся откуда-то издалека.

— Да, да. Пожалуй, мне тоже лучше бросить, пока я еще в выигрыше.

Когда они подошли к кассе, Крейг увидел, что Пэтти выиграл более тысячи франков.

— Сколько это в долларах? — спросил Пэтти.

— Около двухсот пятидесяти.

— Скажи пожалуйста,— удивился Пэтти.— Вот легкий заработок. Как говорится, кому везет в любви...

— Да брось ты, Бейард.

— Во всяком случае, это возместит мне часть расходов.— Он аккуратно сложил деньги и сунул их в бумажник из страусовой кожи с золотыми уголками. Потом, печально посмотрев на бумажник, сказал:— Это мне Энн подарила. В лучшие времена. На нем и мои инициалы есть.

Они пошли обратно в отель. По дороге к ним несколько раз приставали проститутки.

— Возмутительно,— сказал Пэтти.— И так открыто!

Он сказал, что ему не хочется идти к Хеннесси.

— Вы, как и я, понимаете, мистер Крейг, что подобные вечера не для меня.— Он зашел вместе с Крейгом в холл, чтобы узнать, нет ли вестей от Энн. Никаких вестей не было.

— Если я до отъезда узнаю что-нибудь, то сообщу тебе,— обещал Крейг. Ему было совестно перед парнем, точно он собирался от него сбежать.

— Вы мне друг, мистер Крейг. Я считаю вас истинным другом.

Крейг смотрел вслед понурой громадной фигуре любовника своей дочери, пока тот, прихрамывая, не вышел на темную улицу, и, когда парень исчез из виду, подумал: «Ну, свой отцовский долг я исполнил. Или часть долга».

Дверь «люкса» Хеннесси была настежь открыта, и шум голосов заполнял весь коридор. Несомненный признак успеха. Должно быть, фильм Хеннесси приняли очень хорошо. Через открытую дверь проникал тоже не оставлявший сомнений запах марихуаны.

«В мое время,— подумал Крейг,— мы просто напивались. Это и есть то, что профессора социологии называют новыми моральными критериями?»

Гостиная была полна народа. У большого стола, уставленного бутылками, стоял Мэррей Слоун, критик из киногазеты. Он не курил марихуаны. Верный старой традиции, он накачивал себя даровым виски. У противоположной стены на большом диване рядом с героем вечера сидела Гейл. Хеннесси — сияющий, раскрасневшийся, потный — был без пиджака, в подтяжках. Он делил сигарету с Гейл, далекой, холодной, безразличной к шуму и веселью.

— Как приняли фильм, Мэррей? — спросил Крейг.

— Как видите.— Слоун повел стаканом в сторону шумящих гостей.— В телячьем восторге.

— В таком духе вы и собираетесь о нем писать?

— Нет. Напишу, что он полон веселого, соленого американского юмора и что реакция публики вполне оправдала надежды продюсера. Идет на высшую премию.— Слоун старался держаться прямо, однако слегка покачивался, из чего Крейг мог заключить, что пил он прилежно.— Умолчу я и о том, что на деньги, потраченные сегодня на гашиш, можно было бы снять недорогой порнографический фильм. И вот еще о чем я не напишу: если бы не даровая выпивка, я бы ни на один фестиваль в жизни не поехал. А как у вас дела, мой друг? Могу я что-нибудь передать про вас по телексу?

— Нет,— сказал Крейг.— Вы Йэна Уодли здесь не видели?

— Нет. Старый собутыльник. Сразу видно, когда его нет. Слыхал я про его стычку с Мэрфи в ресторане. Теперь уполз, наверно, в какую-нибудь нору и лаз за собой закрыл.

— Кто вам наболтал? — резко спросил Крейг.

— Ветром занесло,— покачиваясь и ухмыляясь, ответил Слоун.— Мистралем.

— Вы ничего об этом не писали? — спросил Крейг.

— Я для светской хроники не пишу,— с достоинством сказал Слоун.— Хотя есть и такие, что пишут.

— А в светской хронике ничего не появлялось?

— Насколько я знаю, нет. Только я ее не читаю.

— Спасибо, Мэррей.

Крейг отошел от критика. Не затем же он пришел, чтобы тратить время на Мэррея Слоуна. Он стал пробираться туда, где сидели Гейл и Хеннесси, и наткнулся на Корелли, итальянского актера, который

сидел, скаля зубы, прямо на полу вместе со своими непременными двумя спутницами. Крейг не мог вспомнить, те ли это девицы, которых он уже встречал, или не те. Корелли тоже курил сигарету и давал покурить поочередно своим подружкам. Одна из них затянулась и сказала:

— Настоящий марокканский рай!

Крейг споткнулся о вытянутую ногу Корелли, и тот, мило улыбнувшись, сказал:

— Присоединяйтесь к нам, мистер Крейг. Пожалуйста, присоединяйтесь. У вас лицо simpatico [1]. Правда, у мистера Крейга лицо simpatico, девушки?

— Molto simpatico [2],— подтвердила одна из девиц.

— Извините,— сказал Крейг, стараясь ни на кого не наступить по дороге к Хеннесси и Гейл.— Поздравляю, Хеннесси. Говорят, вы всех сегодня сразили.

Хеннесси приветливо улыбнулся, попробовал встать, но упал на диван.

— На сегодня я себя обессмертил. Становлюсь новым Сесилем Б. Де Миллем. Неплохой вечер, а? Выпивка, гашиш, слава и поздравления дирекции.

— Привет, Гейл,— сказал Крейг.

— А, Малкольм Харт собственной персоной,— сказала Гейл.

Крейг не мог сказать, пьяна она или одурманена.

— Что, что ты говоришь? — недовольно пробурчал Хеннесси.— Разве я приглашал еще кого-то?

— Это наша с Гейл сепаратная шутка.

— Молодчина девка,— сказал Хеннесси, похлопав Гейл по руке.— Поила меня весь вечер, пока на Лазурном берегу решалась моя судьба. Все спрашивала про мою прежнюю жизнь. Начиная со времен рабства. Боксер-любитель, шофер грузовика, дублер-акробат, вышибала в бильярдной, бармен, рекламный агент... Кем я еще был, дорогая?

— Автомехаником, рабочим на ферме...

— Вот, вот.— Хеннесси озарил ее улыбкой.— Всю мою подноготную знает. Законченная американская посредственность. Но я знаменит, и она собирается сделать меня еще знаменитее, верно, дорогая? — Он передал Гейл свою сигарету, и она, закрыв глаза, сделала большую затяжку.

«Нет, эта вечеринка не для меня»,— подумал Крейг.

— Доброй ночи,— сказал он. Гейл открыла глаза и медленно выпустила сладковатый дым.— Я только хотел сказать вам, что завтра улетаю в Нью-Йорк.

— Путешественник,— сказала Гейл, возвращая сигарету Хеннесси.— Доброй ночи, путешественник.

Его разбудил телефонный звонок. У него было такое ощущение, будто он и не спал вовсе, а видел один из тех снов, когда человек думает, что он бодрствует, на самом же деле он спит. Он пошарил рукой и взял трубку.

— Я стучала, стучала.— Это была Гейл.— И никакого результата.— Голос ее тоже звучал так, словно он слышал его во сне.

— Который час?

— Три часа утра. Все в порядке. Я поднимаюсь к тебе.

---

[1] Симпатичное *(итал.)*.

[2] Очень симпатичное *(итал.)*.

— Ни в коем случае.

— Я плыву, плыву. И хочу тебя. Мне не терпится коснуться губ моей верной любви.

— Ну и накурилась же ты,— сказал он.

Она хихикнула.

— Ага, так накурилась! И так хочу тебя! Отопри дверь.

— Иди к себе и ложись спать.

— У меня сигаретка есть. Чудесное марокканское курево. Оставь дверь открытой. Поплывем вместе в прекраснейший марокканский рай.

Он не знал, что делать. Сон окончательно прошел. Знакомый манящий нежный голос волновал, вкрадчиво пробирался по электрической цепи его нервов.

Гейл снова хихикнула.

— Ты поддаешься. Моя истинная любовь поддается. Еду наверх.— В трубке щелкнуло.

Он немного подумал, вспоминая их ласки. Молодая, девичья кожа. Мягкие беззастенчивые руки. В первый и в последний раз он узнает, что такое наркотики, хоть это и знают теперь почти все. Как бы Гейл себя сейчас ни чувствовала, счастлива она безусловно была. Что он потеряет, если познает эту тайну и на час-два впадет в блаженное состояние? Через двадцать часов он будет уже на другом континенте. Он никогда больше ее не увидит. Завтра у него начнется новая, упорядоченная жизнь. Осталась одна только ночь, чтобы вкусить наслаждений хаоса. Он знал, что если даже не откроет дверь, ночь для него все равно потеряна. Он встал с постели и отпер дверь. Потом лег поверх простынь и стал ждать.

Он слышал, как дверь открылась и снова закрылась, слышал, как она вошла в спальню.

— Шш... моя истинная любовь,— прошептала она.

Он лежал не шевелясь, слушая, как она раздевается в темноте, увидел на секунду ее лицо, когда в руке ее вспыхнула спичка. Она подошла к кровати и, не касаясь его, подложила под спину подушку и села рядом по-турецки. По мере того как она раздувала чудесное марокканское курево, светящаяся точка в ее руке становилась все больше. Она протянула ему сигарету.

— Задержи в себе дым подольше,— сказала она дремотным, отчужденным голосом.

Он уже более десяти лет назад в один день бросил курить, но затягиваться еще не разучился.

— Чудесно,— прошептала она.— Чудный мой мальчик.

— Как зовут твою мать? — спросил он. Надо было задать этот вопрос сразу, пока курево не подействовало. Но уже первая затяжка начинала сказываться.

Она хихикнула.

— На пяти саженях глубины моя мать[1].— Она потянулась за сигаретой, тронула его за руку. Ему показалось, будто тело его ненароком подхватил мягкий теплый ветерок. Слишком поздно задавать вопросы.

Так, передавая друг другу сигарету, они выкурили ее. Комната наполнилась дымом. За окнами шумело море, ритмично, успокаивающе, словно кафедральный орган. Она легла рядом с ним, коснулась его рукой. Они предались любви, забыв о времени, обо всем вокруг. Она олицетворяла собой всех девушек, всех женщин этого южного берега — и похотливую толстуху с раздвинутыми ногами, ничком лежав-

[1] Перефразированные слова Ариэля из «Бури» Шекспира, акт I, сц. 2-я.

шую на солнце, и молодую белокурую мать у плавательного бассейна, и всех девушек Корелли, золотистых и теплых, как только что выпеченный хлеб, и белогрудую Натали Сорель с ее танцующей походкой, и Констанс, произносящую по буквам слово «Мейраг».

Потом они не спали. И ни о чем не говорили. Лежали в каком-то бесконечном, прекрасном трансе. Но как только сквозь ставни проникли первые лучи рассвета, Гейл встрепенулась.

— Мне надо идти.— Голос ее звучал почти нормально. Если бы ему сейчас пришлось заговорить, то его голос донесся бы откуда-то издалека. Ему было все равно, уходит она или остается. Сквозь туман он видел ее платье. Ее вечернее платье.

Она наклонилась к нему и поцеловала.

— Спи. Спи, моя истинная любовь.

И она ушла. Он знал, что должен задать ей вопрос, но забыл какой.

16

Он почти уже кончил укладываться. Он путешествовал налегке, поэтому, куда бы он ни ехал, мог собраться за четверть часа. Он заказал разговор с Парижем, но телефонистка сказала, что все линии заняты. Он попросил ее все же попробовать пробиться.

Когда телефон зазвонил, он с неохотой взял трубку. Не очень-то приятно объяснять Констанс, что он не будет обедать с ней в понедельник. Но на проводе оказалась не Констанс. Это был Бейард Пэтти, он говорил таким голосом, словно кто-то держал его за горло:

— Я в холле, мистер Крейг. Мне надо вас видеть.

— Я укладываюсь, и к тому же...

— Говорю вам, мне надо вас видеть,— задыхался Пэтти.— У меня вести от Энн.

— Поднимайся ко мне,— сказал Крейг и назвал ему номер своего «люкса».

Когда Пэтти вошел в комнату, вид у него был дикий — волосы и борода всклокочены, глаза воспалены, точно он не спал несколько суток.

— Ваша дочь,— сказал он тоном обвинителя.— Знаете, что она сделала? Удрала с этим жирным старым пьяницей — писателем Йэном Уодли.

— Подожди,— сказал Крейг и сел. Это была автоматическая реакция в попытке собраться с мыслями, соблюсти хотя бы видимость приличий.— Не может быть. Это невозможно.

— Вы говорите «невозможно».— Пэтти стоял прямо перед ним и судорожно размахивал руками.— Вы же не разговаривали с ней.

— Откуда она звонила?

— Я спросил. Она не сказала. Только сказала, что она со мной порывает, что я должен забыть про нее — она теперь с другим. С этим жирным старым пьяницей.:.

— Минутку.— Крейг встал и подошел к телефону.

— Кому вы звоните?

Крейг попросил телефонистку набрать номер гостиницы Уодли.

— Успокойся, Бейард,— сказал он, дожидаясь, когда его соединят.

— Вы говорите «успокойся». Вы ее отец. Сами-то вы спокойны? — Пэтти подошел и встал рядом с Крейгом, словно не доверяя ему и желая собственными ушами услышать все, что ему скажут по телефону.

Когда телефонистка в гостинице Уодли ответила, Крейг сказал:

— Monsieur Wadleigh, s'il vous plait[1].

— Monsieur Wadleigh n'est pa là[2],— сказала телефонистка.

— Что она говорит? — громко спросил Пэтти.

Крейг жестом велел ему замолчать.

— Vous êtes sûre, madame?[3]

— Oui, oui,— нетерпеливо ответила телефонистка,— il est parti[4].

— Parti ou sorti, madame[5].

— Parti, parti! — Телефонистка повысила голос.— Il est parti hier matin[6].

— A-t-il laissé une adresse?[7]

— Non, monsieur, non! Rien! Rien![8] — Женщина уже кричала. Фестиваль начинал сказываться на нервах гостиничных телефонисток. Связь прервалась.

— Ну, что вы узнали? — требовательно спросил Пэтти.

Крейг тяжело вздохнул.

— Уодли вчера утром расплатился и съехал. Нового адреса не оставил. Вот тебе урок французского языка.

— Что же вы теперь собираетесь делать? — спросил Пэтти. Вид у него был такой, точно он сейчас кого-то ударит. «Наверно, меня»,— подумал Крейг.

— Собираюсь уложить вещи,— сказал он.— Уплатить по счету, поехать в аэропорт и улететь в Нью-Йорк.

— И не собираетесь искать ее? — с изумлением спросил Пэтти.

— Нет.

— Да что вы за отец!

— Отец как отец. Видимо, в наши дни таким и надо быть.

— Будь я ее отцом, я бы разыскал этого мерзавца и задушил бы собственными руками.

— Значит, у нас с тобой разные понятия о родительском долге, Бейард.

— Это же ваша вина, мистер Крейг,— с горечью сказал Пэтти.— Вы испортили ее. Своим образом жизни. Бросаетесь деньгами, словно они на деревьях растут. За девчонками бегаете, думаете, я не знаю об этой цыпочке — Гейл Маккиннон...

— Ну, хватит, Бейард. Конечно, сам я не могу тебя отсюда вышвырнуть, но это может сделать полиция. А даже маленький французский полицейский может причинить большому молодому американцу много неприятностей.

— Не надо мне угрожать, мистер Крейг, я ухожу. Об этом не беспокойтесь. Вы мне противны. И вы и ваша дочь.— Он двинулся было к выходу, но остановился.— Только один вопрос: вам приятно, что она ушла с этой старой развалиной?

— Нет,— ответил Крейг.— Неприятно. Очень неприятно.— Он счел излишним напоминать Пэтти, что Йэн Уодли значительно моложе Джесса Крейга.— И мне жаль тебя, Бейард. Честное слово. Я думаю, тебе лучше всего последовать совету Энн и забыть ее.

— Забыть ее! — Пэтти горестно покачал головой.— Легко сказать. Забыть ее. Нет, мистер Крейг, этого я не смогу. Я же себя знаю. Не смогу — и все тут. Не знаю, смогу ли жить без нее, не то что забыть.— Лицо его исказилось, из груди вырвалось громкое рыдание.— Как вам

---

[1] Будьте любезны, мосье Уодли *(франц.)*.
[2] Мосье Уодли нет *(франц.)*.
[3] Вы уверены, мадам? *(франц.)*
[4] Да, да. Он уехал *(франц.)*.
[5] Съехал или уехал, мадам? *(франц.)*
[6] Съехал, съехал! Съехал вчера утром *(франц.)*.
[7] Оставил он адрес? *(франц.)*.
[8] Нет, мосье, нет! Ничего! Ничего! *(франц.)*

это нравится,— пристыженно проговорил он,— я плачу.— Он резко повернулся и выбежал из комнаты, хлопнув дверью.

Крейг устало провел рукой по глазам. Во время бритья он присмотрелся к своему лицу и знал, что выглядит сегодня не лучше, чем Пэтти.

— Сукин сын,— громко сказал он.— Несчастный сукин сын.— Слова эти относились не к Бейарду Пэтти.

Он пошел в спальню и стал укладываться.

При регистрации в аэропорту служащий сказал ему, что его самолет вылетает с часовым опозданием. Сказал он это любезным тоном, словно подарок преподносил. Подарил лишних шестьдесят минут французской цивилизации. Крейг подошел к соседнему окошечку и послал Констанс телеграмму с извинениями. И только начал составлять телеграмму своей секретарше в Нью-Йорке, чтобы она встретила его в аэропорту Кеннеди и забронировала номер в гостинице, как услышал голос Гейл:

— Доброе утро.

Он обернулся. Она стояла рядом. На ней были голубая рубашка с короткими рукавами и белые, приспущенные на бедра джинсы. Лицо скрывали чрезмерно большие темно-зеленые солнечные очки — такие были на ней в первое утро, она их выбросила потом в окно машины, когда они возвращались из Антиба. Наверно, она закупила их целую партию.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он.

— Провожаю одного друга.— Она улыбнулась, сняла очки и стала небрежно вертеть их в руке. Лицо у нее было свежее, взгляд ясный. Словно только что выкупалась в море. Отличная реклама достоинств марихуаны.— Портье сказал мне, когда вылетает самолет. Времени у тебя осталось немного.

— Портье ошибся. Самолет опаздывает на час,— сказал Крейг.

— Драгоценный час.— В ее тоне звучала ирония.— Добрая старая «Эр-Франс». Всегда оставляет время для прощаний. Выпьем?

— Если хочешь,— сказал он. Отъезд оказался не таким легким, как он предполагал. Он поборол в себе желание пойти к столу регистрации пассажиров, попросить обратно багаж и сказать служащему, что раздумал лететь. Сдал телеграмму для отправки в Нью-Йорк, расплатился и, держа кожаную папку с «Тремя горизонтами» и перекинув через руку плащ, направился к лестнице, ведущей в бар. Появление Гейл его не радовало. После сцены с Пэтти встреча с ней только портила впечатление от ночи, проведенной вместе. Он шел быстро, но Гейл легко за ним поспевала.

— Ты странно выглядишь,— сказала Гейл.

— У меня была необычная ночь.

— Я не о том. Я еще ни разу не видела тебя в шляпе.

— Я надеваю ее, только когда путешествую,— сказал он.— Так уж получается, что всюду, где бы я ни выходил из самолета, идет дождь.

— Не нравится мне эта шляпа. Добавляет к твоему портрету другие штрихи. Обескураживающие. Делает тебя похожим на всех остальных.

Он остановился.

— Я думал, мы уже попрощались ночью. Сегодняшнее прощание вряд ли будет приятнее.

— Согласна,— спокойно сказала она.— Обычно я не люблю толкаться с отъезжающими в залах ожидания и на платформах. Все равно

что тянуть и без того растянутую старую резину. Но сейчас особый случай. Ты не находишь?

— Нахожу.— Они двинулись дальше.

Они поднялись на террасу с видом на летное поле и сели за столик. Он заказал бутылку шампанского. Всего несколько дней назад на этой же террасе он ждал прибытия дочери. И дождался. Вспомнил книгу «Воспитание чувств», выпавшую у нее из брезентовой сумки. Вспомнил, как его раздосадовала ее непривлекательная одежда. Он вздохнул. Гейл, сидевшая напротив него, не спросила, почему он вздохнул.

Когда официант принес шампанское, Гейл сказала:

— Это поможет нам скоротать час.

— Я думал, ты днем не пьешь,— сказал он.

— А мне кажется, что сейчас совсем темно.

Они молча пили, глядя на голубое море, простиравшееся за бетонированным полем. Двухмачтовая яхта, кренясь от ветра и разрезая носом встречную волну, неслась на всех парусах в сторону Италии.

— Страна курортов и развлечений,— сказала Гейл.— Уплывем куда-нибудь вместе?

— Как-нибудь в другой раз,— сказал он.

Она кивнула.

— В другой раз.

— Пока я не улетел...— Он налил себе еще шампанского.— Ты должна ответить мне на один вопрос. Что это за история с твоей матерью?

— Ах, с моей матерью? Что ж, ты имеешь право спросить. Моя мать — женщина разносторонних интересов.— Гейл рассеянно вертела в руке бокал и смотрела, не мигая, на белые паруса, видневшиеся за посадочной полосой.— Немного училась в художественной школе, увлекалась керамикой, была режиссером в одной маленькой труппе, год занималась русским языком, полгода жила с югославским танцовщиком. Чем она *совсем* не интересовалась — это моим отцом. Она говорила ему, что у него торгашеская душа. И еще, как потом выяснилось, она не интересовалась мной.

— Таких женщин я встречал сотни,— сказал Крейг.— Но ко мне-то какое она имела отношение? Я в югославском балете никогда не танцевал.

— Можно мне еще шампанского? — Гейл пододвинула ему бокал. Он его наполнил. Наблюдая, как она пьет, он почти не замечал на ее горле глотательных движений. Он вспомнил, как целовал ее шею.— Когда-то она у тебя работала. Давно это было. Насколько я знаю свою мать, ты с ней спал.

— Даже если и спал,— сердито сказал он,— нечего намекать на кровосмешение.

— О, ни о чем таком я и не думала,— спокойно сказала Гейл.— Для меня это была всего лишь шутка. Я пошутила сама с собой. Не бойся, милый, я не твоя дочь.

— Мне это никогда и в голову не приходило,— сказал он. Внизу группа механиков зловеще возилась с шасси самолета, на котором ему предстояло лететь в Нью-Йорк. Нет, он, наверно, никогда не покинет землю Франции. Он умрет на ней. Гейл сидела напротив него в ленивой, раздражающе непринужденной позе.— Ну хорошо. Как ее звали и когда она у меня работала?

— Звали ее Глория. Глория Талбот. Говорит это тебе что-нибудь?

Он напряг память и покачал головой.

— Нет.

— Не удивительно. Она работала у тебя не более двух месяцев.

Когда шел твой первый спектакль. В то время она только что кончила колледж, околачивалась возле театра, вот и поступила в твою контору наклеивать в альбомы газетные вырезки, подбирать рецензии и рекламные статьи о тебе и об участниках спектакля.

— Господи, Гейл! С тех пор я принял и уволил не меньше пятисот женщин.

— Ну, разумеется,— спокойно сказала она.— Но ты, очевидно, производил на дорогих мамуль особо сильное впечатление. Она продолжала заниматься этим благочестивым делом и после ухода от тебя. Не думаю, чтобы среди этих пятисот женщин была еще хоть одна, которая и после замужества продолжала собирать каждое слово, написанное о тебе, и каждую твою фотографию, напечатанную в период с сорок шестого по шестьдесят четвертый год. *«Джесс Крейг выпускает в этом сезоне новую пьесу Эдварда Бреннера... Джесс Крейг подписал контракт с «Метро Голдуин Майер» на выпуск одной картины... Джесс Крейг завтра женится... На снимке: Джесс Крейг с женой перед отъездом в Европу... Джесс Крейг...»*

— Довольно,— прервал ее Крейг.— Все ясно.— Он с удивлением покачал головой.— Зачем она это делала?

— Мне так и не довелось спросить ее. Возможно, она и сама не могла разобраться в своих привязанностях. А вырезки попались мне на глаза только после того, как она сбежала. Тогда мне было шестнадцать лет. Сбежала она с каким-то археологом. Я получала открытки из Турции, Мексики и других стран. Двадцать два альбома в кожаных переплетах. На чердаке. Она так торопилась, что успела упаковать только небольшой чемоданчик. Отец уехал всего на два дня, так что ей надо было действовать быстро. Я разбирала на чердаке всякий хлам — отец не захотел больше жить в том доме, и мы переезжали — и наткнулась на эти альбомы. Немало счастливых часов провела я, изучая историю Джесса Крейга.— Гейл криво усмехнулась.

— Вот откуда у тебя столько сведений обо мне.

— Да. Хочешь знать, как ты провел лето пятьдесят первого года? Хочешь знать, что написала о тебе «Нью-Йорк таймс» одиннадцатого декабря пятьдесят девятого года? Спроси у меня. Я тебе скажу.

— Лучше не надо. И после всего этого ты считала само собой разумеющимся, что у меня с твоей матерью был роман?

— Если бы ты знал мою мать, то не удивлялся бы, что я так считала. Особенно если учесть, что тогда я была шестнадцатилетней девочкой с романтическими наклонностями и сидела на чердаке, а моя мать только что сбежала с археологом в пустыню. Если хочешь вспомнить, какая она была, я пришлю тебе фотографию. Говорят, я очень похожа на нее — она была такой же в моем возрасте.

— Не надо мне никаких фотографий,— сказал Крейг.— Не знаю, каким тебе представляется мой образ жизни в молодые годы...

— Завидный образ жизни. На снимках я видела выражение твоего лица.

— Возможно. Но если чему и следовало тогда завидовать, так это моей любви к женщине, на которой я впоследствии женился, полагая, что и она меня любит. Ни на кого другого я в то время не смотрел. И какое бы мнение у тебя ни сложилось обо мне за эту неделю, я никогда не отличался неразборчивостью в связях и, уж конечно, помню имена всех женщин, с которыми когда-либо...

— А мое имя ты тоже будешь помнить через двадцать лет? — с улыбкой спросила Гейл.

— Обещаю.

— Отлично. Теперь ты знаешь, почему мне так захотелось встретиться с тобой, когда я узнала, что ты в Канне. Я ведь выросла вместе с тобой. В определенном смысле.

— В определенном смысле.

— Так что для меня это была волнующая встреча. Ты стал частью моей семьи. Тоже в определенном смысле.— Она взяла бутылку и налила себе шампанского.— Даже если ты и не прикоснулся ни разу к моей матери и не знал ее имени, все равно ты оказывал на нее какое-то странное влияние. Твоя жизнь явно восхищала ее. И так же явно не удовлетворяла собственная жизнь. Причем одно как-то глупо связано с другим. В сущности, ты не можешь винить меня за то, что я начала думать о тебе с неприязнью. И любопытством. В конце концов я поняла, что должна с тобой встретиться. Найти способ. Учти, что мне тогда было шестнадцать лет.

— Но сейчас-то уже не шестнадцать.

— Сейчас не шестнадцать. Скажу тебе правду: я чувствовала себя оскорбленной. Ты был слишком удачлив. Все у тебя слишком счастливо складывалось. Ты всегда оказывался там, где нужно. Тебя всегда окружали нужные люди. Ты купался в славе. Никогда не допускал неверных высказываний. Если судить по твоим фотографиям, с возрастом ты даже не полнел...

— Так это же — газетная реклама, черт побери! — Крейг нетерпеливо махнул рукой.— Какое это имеет отношение к реальности?

— Но ведь ничего другого я о тебе не знала, пока не вошла к тебе в номер. Все, что с тобою связано, было таким разительным контрастом моей глупой матери, ее керамике, ее югославу, моему отцу и его пропыленной филадельфийской конторе, где он с трудом зарабатывал на жалкую жизнь. Во-первых, мне хотелось посмотреть, какой ты на самом деле. Во-вторых, причинить тебе как можно больше зла. Кое в чем я преуспела, не правда ли?

— Да, преуспела. А теперь?..

В эту минуту раздался серебристый перезвон, призывающий к вниманию, и женский голос объявил по радио, что пассажиров, вылетающих рейсом Ницца — Нью-Йорк, просят немедленно пройти на посадку. Механики, хлопотавшие у самолета, таинственно исчезли. Гейл чуть-чуть коснулась пальцами его руки.

— А теперь, по-моему, тебе пора идти в зал и садиться в самолет.

Он расплатился, и они, пройдя мимо бара, спустились по лестнице в главный зал. Не доходя до паспортного контроля, он остановился и спросил:

— Увидимся мы еще когда-нибудь?

— Если приедешь в Лондон. Разумеется, это будет непросто.

Он кивнул.

— Разумеется.— Он попытался улыбнуться.— Когда будешь писать матери, передай от меня привет.

— Хорошо.— Она порылась в сумке и вынула толстый конверт. — Это тебе. Портье передал, когда я сказала, что еду тебя провожать. Пришло уже после твоего отъезда.

Он взял конверт и узнал почерк Энн. Проштемпелеван в Ницце. Засовывая письмо в карман, он посмотрел на Гейл.

— Ты знала про Энн?

— Да. Мы долго с ней беседовали.

— Пробовала отговорить ее?

— Нет.

— Почему же нет, черт побери?

— Вряд ли я была бы в состоянии разубедить ее.

— Вероятно, ты права.— Он взял ее за плечи, притянул к себе и быстро поцеловал.— Прощай.

— Прощай, моя истинная любовь,— сказала она.

Он посмотрел ей вслед. Она шла к выходу смелым, широким ша-

гом, сумка ее раскачивалась на плече, длинные волосы блестели — все мужчины, мимо которых она проходила, оборачивались и провожали ее взглядом. Она достала из сумки очки и, подойдя к двери, надела их. Он почувствовал себя разбитым и постаревшим. Когда он проходил через паспортный контроль, по радио объявили, что самолет готов к вылету. Он нащупал в кармане пиджака толстый конверт с письмом Энн. Будет что читать над Атлантикой.

В первом классе кроме него летели только колоритно одетый высокий африканец с обрядовыми шрамами на лице и его миловидная полногрудая жена в пестрых, ярких шелках. Крейгу всегда было совестно платить такие деньги за первый класс, но он всегда их платил. Африканец и его жена говорили на непонятном языке. Он надеялся, что они не владеют ни английским, ни французским. До приезда в Нью-Йорк ему не хотелось ни с кем разговаривать. Африканец вежливо ему улыбнулся. Крейг тоже скривил губы, изобразив подобие улыбки, и отвернулся к окну. Не так уж маловероятно, подумал он, что лет через двадцать они снова встретятся — возможно, в момент решающей конфронтации рас,— и этот человек (или его сын или дочь) скажет: «А я тебя помню. Ты — тот белый пассажир, который не ответил на дружескую улыбку в самолете, вылетавшем из Ниццы. Ты расист, колонизатор, и я приговариваю тебя к смерти».

Ты — беспомощная песчинка в случайных, непредвиденных поворотах своей истории. Сам того не замечая, ты оказывался в прошлом на пути многих людей. Необдуманно подшутил над человеком, с которым не был даже знаком: не считаясь с тем, что он существует, ты пригласил в ресторан его возлюбленную, и теперь этот человек делает все, что в его силах, чтобы навредить тебе. Глупая, помешавшаяся на театре девица забрела однажды к тебе в контору, твоя секретарша дала ей работу — в то время ты был еще молодым человеком,— и она месяца два скромно трудилась, никому не ведомая и никем не замечаемая. А спустя двадцать с лишним лет ты был наказан (или вознагражден?) за поступки, совершенные (или не совершенные) в молодости. Ничто не проходит даром, ничто не забывается. Человек, создавший первый компьютер с его неумолимой памятью, оперировал всего лишь системой проводов и электрических импульсов. Люди, не замеченные тобой, наблюдают за твоей деятельностью и фиксируют ее на своих собственных вечных перфокартах. Хорошо ли, плохо ли, но информация о тебе уже собрана и хранится для последующего использования. И никуда от этого не денешься. Процесс этот бесконечен. Что скажет о нем Сидней Грин в своей квартире с неоплаченной boiserie в XVI округе Парижа? Что Дэвид Тейчмен попросит перед смертью передать Джессу Крейгу? Как будет вспоминать о нем в техасских особняках Натали Сорель? Как отреагирует на его имя дочь Гейл Маккиннон, когда ей будет двадцать лет?

Он с надеждой взглянул на высокого африканца, сидевшего через проход, но тот смотрел в другую сторону. Заработали двигатели, их дьявольский рев надежно приглушала звуконепроницаемая обшивка. Еще до того, как самолет начал выруливать на взлетную полосу, Крейг принял две таблетки снотворного. Если он разобьется, то разобьется без волнений.

Он дождался обеда и лишь после этого принялся за письмо Энн. Он знал, что письмо это не прибавит ему аппетита.

Письмо было без даты и без обратного адреса. Начиналось оно словами: «Дорогой папа».

Дорогой папа надел очки. Почерк у Энн и вообще-то неразборчивый, а тут — просто невозможный. Можно было подумать, что она писала на ходу, сбегая с крутого холма:

«Дорогой папа! Я трусиха. Я знала, что ты не одобришь, станешь спорить, переубеждать меня, и я боялась, что в конце концов переубедишь, поэтому и пошла по пути трусов. Но ты прости меня. Ты люби и прости меня. Я с Йэном. Я долго об этом думала...»

«Как долго? — усмехнулся Крейг.— Три дня? Пять? Впрочем, когда тебе двадцать лет, то пять дней — срок, очевидно, достаточный, чтобы решить, как испортить себе жизнь. Не помню, как это было со мной».

«Не стану вдаваться в подробности,— продолжала она.— Скажу только, что в тот вечер в ресторане, когда м-р Мэрфи так ужасно обошелся с Йэном, я испытала такое чувство, какого еще не испытывала ни разу в жизни. Назови это любовью. Мне все равно, как это называется, но я это почувствовала. Не думай, что тут дело в поклонении писателю, книгами которого я восхищаюсь. Это не детское увлечение. Что бы ты ни думал, я из этого возраста уже вышла. И я не ищу себе другого отца, хотя уверена, что ты так и сказал бы, если бы я осталась поговорить с тобой. У меня уже есть отличный отец. К тому же Йэну всего сорок лет — посмотри на себя и на Гейл Маккиннон».

«И поделом мне,— подумал Крейг.— Получил сполна». Он попросил у стюардессы виски с содовой. Такие письма без спиртного читать нельзя. Он посмотрел в окно. Долина Роны была скрыта облаками. Облака такие плотные, что, кажется, можно выпрыгнуть из самолета и поплыть среди них. Стюардесса принесла виски, он отхлебнул и снова углубился в чтение:

«Не думай, что я против твоего романа с Гейл. Я целиком — за. После всего, что ты пережил с мамой, я не стала бы упрекать тебя, даже если бы ты сошелся с какой-нибудь бородатой леди из цирка. А Гейл — господи! — да это такой человек, лучше я в жизни не встречала. Более того, она мне сказала, что влюблена в тебя. Я ей, конечно, ответила, что в тебя все влюблены. И это — почти правда. Как ты поступишь с той дамой в Париже — дело твое. Так же, как Йэн — дело мое.

Я знаю, что ты скажешь, знаю, что ты скажешь. Он слишком стар для меня, он пьяница, он беден, вышел из моды, не самый красивый мужчина в мире и был трижды женат».

Крейг грустно улыбнулся. Точный портрет человека, в которого влюблена его дочь.

«Все это я приняла во внимание,— продолжала Энн.— У меня с ним был долгий, серьезный разговор».

«Когда?» — с удивлением подумал Крейг. В ту ночь, когда он увидел, как она выходила из отеля на пляж? После того, как встала с постели, представив «убедительное доказательство» Бейарду Пэтти? Он почувствовал боль в затылке. Надо принять аспирин.

«Перед тем, как согласиться уйти к нему,— читал он дальше, так и не приняв аспирина,— я поставила свои условия. Я молодая, но я не идиотка. Я взяла с него обещание, что он бросит пить. И взяла с него обещание вернуться в Америку. Оба обещания он намерен выполнить. Ему нужна такая, как я. Ему нужна я. Нужно, чтобы его уважали. Он гордый человек, и шагать по жизни, когда все над тобой насмехаются и ты сам на-

смехаешься над собой,— дальше нельзя. Сколько может выдержать человек за свою жизнь таких сцен, как та, что произошла в ресторане?»

«Бедная моя девочка,— подумал Крейг.— Сколько было до тебя женщин, которые погубили себя, вообразив вот так же, что они — и только они — могут спасти писателя, музыканта, художника. Вот оно, страшное воздействие искусства на воображение женщины».

«Ты — совсем другое дело,— писала Энн.— Ты не нуждаешься ни в чьем уважительном отношении. Ты в двадцать раз сильнее Йэна, и я прошу тебя быть к нему снисходительным. Зная тебя, я уверена, что в конце концов ты проявишь к нему снисхождение.

В сущности, секс — это большой спутанный клубок, ты знаешь это лучше кого бы то ни было».

Крейг, прочитав эти слова, кивнул. Но одно дело — изрекать подобные истины в сорок восемь лет и другое — в двадцать.

«Я знаю, что скверно обошлась с беднягой Бейардом. Должно быть, он уже разыскал тебя и рыдает у тебя на плече. Но там были чисто плотские отношения...»

Крейга покоробило от этих слов. Плотские отношения. Странно, что Энн так выразилась. Уж не помогал ли ей Уодли писать письмо?

«А одной плоти мало,— разбирал он торопливые каракули.— Если ты уже разговаривал с Бейардом, то, наверно, убедился, что он невозможный человек. Я же не звала его в Канн. Если бы я вышла за него замуж, как он упрашивал (он так настаивал, что я готова была взвыть), то в конце концов превратилась бы в его жертву. А я не хочу быть ничьей жертвой».

«Когда-нибудь,— подумал Крейг,— я составлю для нее перечень. Тысяча легких способов стать жертвой».

«Не сердись на бедного Йэна за то, что мы вот так скрылись. Он хотел дождаться тебя и сообщить о нашем решении, и мне стоило огромного труда уговорить его не делать этого. Не ради него, а ради меня. Сейчас он словно одурманенный. Говорит, что от счастья. Он считает меня какой-то особенной и говорит, что полюбил меня в первый же день на пляже. Говорит, что я абсолютно не такая, как другие женщины, которых он знал. И говорит, что даже не мечтал, что я когда-нибудь взгляну на него. Уже два дня, как он не притрагивается к спиртному. Даже когда мы еще были в Канне. Говорит, что для него это — мировой рекорд. Я прочла часть книги, которую он пишет, она замечательная, и если он не начнет пить, то это будет лучшее из всего, что он до сих пор написал. Я убеждена. О деньгах не беспокойся. Я поступлю работать, да еще ведь есть проценты с денег, которые лежат в банке, так что проживем, пока он не закончит книгу».

Крейг застонал. Африканец с обрядовыми шрамами вежливо взглянул на него. Крейг улыбнулся, давая понять, что нет причин для беспокойства.

«Извини, что огорчаю тебя,— продолжала Энн,— но я уверена, что потом ты и сам будешь рад за меня. Я за себя рада. А у тебя есть Гейл. Хотя с Гейл сложнее, чем ты думаешь».

«Не я, а *ты* думаешь». Крейг еле удержался, чтобы не ответить письму вслух.

«Она поведала мне длинную историю своей матери, но у меня нет времени рассказывать. Тем более, что она сама собирается все тебе объяснить. Как бы там ни было, я уверена, что

тут для тебя нет ничего компрометирующего. Я действительно уверена, папа.

Хотя Йэн со мной рядом, я до сих пор слишком трушу и не решаюсь сказать тебе, куда мы едем. Страшусь даже мысли о встрече с тобой и о том, что ты начнешь осуждать меня в своей обычной рассудочной и суровой манере. Но как только мы устроимся в Штатах, я дам тебе знать, и тогда ты сможешь навестить нас и своими глазами увидеть, что у нас все в порядке. Пожалуйста, папа, люби меня так же, как я люблю тебя. *Энн.*

P. S. Йэн шлет тебе сердечный привет».

Сердечный привет. Чтобы не тревожить африканскую чету, Крейг сдержал стон. Он аккуратно сложил письмо и сунул в карман. Пожалуй, стоит перечитать его.

Он представил себе Йэна Уодли в постели с Энн.

— Мисс,— обратился он к проходившей мимо стюардессе,— у вас есть аспирин?

17

Белинда Юэн, секретарша, ждала его у выхода из таможни. Он заметил, что за то время, пока они не виделись, она не утратила склонности к пестрой, кричащей одежде. Она прослужила у него двадцать три года, но ему казалось, что с годами она ничуть не меняется. Он поцеловал ее в щеку. По-видимому, она была довольна его приездом. Он чувствовал себя виноватым, потому что не ответил на два ее последних письма. Да и можно ли не чувствовать себя виноватым, встречаясь с женщиной, отдавшей работе у тебя двадцать три года своей жизни?

— Я машину вызвала, она нас там дожидается,— сказала Белинда. Ей было лучше, чем кому-либо, известно, что ее хозяин давно уже не получает тех доходов, какие получал когда-то, но она была бы поражена, если бы он сказал, что может доехать и в такси. Когда дело касалось их престижа, она становилась болезненно чувствительной. Она поднимала по телефону скандалы, если узнавала, что рукописи, присылаемые в контору агентами-посредниками, уже успели побывать в другом месте.

День был сырой и душный. Пока они ждали машину, заморосил дождь. Хмурясь, Крейг поправил на голове шляпу. Голоса пассажиров, заполнявших частные машины и такси, казались ему грубыми и раздраженными. Заплакал чей-то ребенок, и это действовало на нервы. Он чувствовал себя усталым, аспирин не принес ему облегчения.

Белинда тревожно и внимательно всмотрелась в его лицо.

— У вас нездоровый вид, Джесс.— Когда она поступала к нему на работу, он был еще молодым и не решился потребовать, чтобы она звала его «мистер Крейг».— Я думала, вы по крайней мере загорите там.

— Я же не на пляже валяться ездил в Канн,— сказал он. Подкатила машина, и Крейг с облегчением развалился на заднем сиденье. На ногах он еле стоял. Пот лил с него ручьями, и он вытер лицо носовым платком.— Здесь давно такая жара? — спросил он.

— Да не так уж и жарко,— сказала Белинда.— Скажите, ради бога, почему вы велели поместить вас в «Манхэттене»? Это же на Восьмой авеню.— Обычно он останавливался в тихой дорогой гостинице в Восточной части города и понимал, что в представлении Белинды перемена адреса означает унизительное стремление экономить деньги.

— Я полагал, что там будет удобнее,— сказал он.— Ближе к конторе.

— Вы не представляете, что теперь творится на Восьмой авеню,— сказала Белинда.— Того и гляди, ограбят у самого подъезда.

Она говорила резко, напористо. Она всегда так говорила, и одно время он хотел было намекнуть ей, что она могла бы сходить к преподавателю дикции, да так и не решился. А теперь, конечно, уже поздно. Он не сказал ей, что мысль остановиться в «Манхэттене» пришла ему в голову в последнюю минуту, когда он писал ей телеграмму в аэропорту Ниццы. «Манхэттен» — шумный, многолюдный отель, и при иных обстоятельствах Крейг предпочел бы в нем не останавливаться. Но он вспомнил, что жил в нем, когда готовил к постановке первую пьесу Эдварда Бреннера. С Эдвардом Бреннером. Теперь Бреннер пьес уже не пишет. Тогда этот отель назывался «Линкольн» — президентов везде не очень-то высоко ценят. Но в отеле «Линкольн» ему везло. Жаль, что он забыл, в каком номере жил тогда. Но Белинде ничего этого говорить нельзя, слишком она трезвая женщина, чтобы поощрять предрассудки своего хозяина.

— Очень уж поздно вы меня предупредили,— обиженно сказала она.— Вашу телеграмму я получила всего три часа назад.

— Случилось одно непредвиденное событие,— сказал он.— Извините.

— И тем не менее...— Она великодушно улыбнулась. У нее были острые, маленькие, как у щенка, зубки.— Тем не менее я рада, что вы вернулись. В конторе у нас как в морге. От скуки я просто с ума сходила. Даже пристрастилась к рому, постоянно держу на столе бутылку. Днем, чтобы совсем не спятить, пропускаю рюмочку. Уж не станете ли вы уверять меня, что наконец-то снова соизволили взяться за работу?

— В общем, да.

— Аллилуйя! Как это — «в общем»?

— Брюс Томас хочет ставить фильм по сценарию, которым я владею.

— Брюс Томас? — Она была явно удивлена.— О-ля-ля! — Крейг заметил, что в этом году имя Брюса Томаса все произносят с какой-то особой интонацией. Он почувствовал не то радость, не то ревность.— А что это за сценарий? — подозрительно спросила Белинда.— Ни одного сценария я вам за последние три месяца не высылала.

— В Европе отыскал. Короче говоря, я его сам написал.

— Давно бы так. Это лучше, чем возиться с той ерундой, что нам присылают. И вы ничего мне об этом не написали.— Белинда была задета.— Могли бы прислать мне экземпляр.

— Простите.— Крейг погладил ее руку.

— У вас ледяная рука,— сказала она.— Вы здоровы?

— Конечно,— коротко ответил он.

— Когда мы начнем?

— Это я выясню, когда встречусь с Томасом. Еще контракт не подписан.— Он посмотрел в окно машины на густые облака, нависавшие над плоской равниной.— Ах, да, я хотел вас спросить. Помните вы женщину по имени Глория Талбот? Кажется, она у нас работала.

— В самом начале, месяца два,— ответила Белинда. Она всегда все помнила.— Совершенно никчемная особа.

— Она была хорошенькая?

— Полагаю, мужчины считали ее хорошенькой. Господи, да с тех пор прошло уже почти двадцать пять лет! Почему вы про нее вспомнили?

— Она мне привет передала. Через общего знакомого.

— Наверное, она уже с пятым мужем живет.— Белинда поджала губы.— Я ее сразу же раскусила. Чего она от вас хочет?

— Понятия не имею. Может быть, просто хотела напомнить о себе.— Ему почему-то трудно стало говорить.— Если не возражаете, Белинда, я немного вздремну. Вконец измотался.

— Много путешествуете,— сказала она.— А вы ведь уже не мальчик.

— Пожалуй, вы правы.— Он закрыл глаза и откинул голову на подушки сиденья.

Номер ему дали на двадцать шестом этаже. На улице был туман, по стеклам барабанили капли дождя. За окном он увидел башни небоскребов—поблескивание стекла, ярусы тусклых огней в серой предвечерней мгле. Комната чистая, гигиеничная и безликая, обставленная не во вкусе русской аристократии. С Гудзона доносились гудки. В номере ничто не напоминало ему о счастливых временах, когда ставили пьесу Бреннера. Ему пришло в голову, что надо бы узнать, где похоронен Бреннер, и возложить на могилу цветы.

Распаковка чемоданов оказалась трудным делом. Летний костюм, в котором он прилетел из Канна, здесь, в дождливом городе, выглядел нелепо. Ему надо было позвонить многим людям, но он решил все звонки отложить на завтра. Все, кроме одного. Брюсу Томасу надо позвонить сейчас же, он ждет звонка.

Он назвал телефонистке номер. После усталых, визгливых голосов standartistes[1] Канна живой, бодрый голос американской телефонистки радовал слух. Томас, подошедший к телефону, был приветлив.

— Ну, знаете, это сюрприз,— сказал он.— Написать такой сценарий! Приятный сюрприз.— Значит, Клейн уже позвонил ему.— Не знаю точно, что у нас выйдет, но что-то выйдет непременно. Вы сейчас заняты? Хотите подъехать ко мне?

Томас жил на 70-й улице в Восточной части города. Уже одна мысль о том, что придется добираться туда через весь город, была мучительной.

— Лучше завтра, если не возражаете,— предложил Крейг.— Измотал меня этот реактивный самолет.

— Конечно,— согласился Томас.— Десять утра вас устроит?

— В десять буду у вас. Кстати, вы случайно не знаете телефона Уодли в Лондоне?

Крейг почувствовал, что Томас замялся.

— Видите ли, предлагая Уодли, я еще не знал, что это вы написали сценарий.

— Я знаю,— сказал Крейг.— Вы с ним еще не говорили?

— Нет. Как вы понимаете, мне хотелось выяснить ваше мнение на этот счет. Но когда Клейн сказал мне, что вы согласны обсудить это предложение, я попробовал связаться с ним. В Канне его нет, по лондонскому адресу тоже. Я послал ему телеграмму с просьбой позвонить мне. Минутку, я сейчас дам вам его номер.

Вернувшись к телефону и сообщив Крейгу номер Уодли, Томас сказал:

— Если разыщете его, скажите, что я пытался связаться с ним, хорошо? Я пошлю ему сценарий, не возражаете? Я сделал несколько ксерокопий. Ему нет смысла приезжать сюда, если он по той или иной причине не захочет работать над рукописью.

---

[1] Телефонисток *(франц.)*.

— Кажется, я где-то слышал, что он и так собирается вернуться на постоянное жительство в Штаты,— сказал Крейг.

Где-то. Когда летел над Францией в сторону Ла-Манша и прекрасного нового мира. *Дорогой папа.*

— Это интересно,— сказал Томас.— Ну, что ж, молодец. Значит, утром увидимся. Желаю вам спокойной ночи.— Симпатичный человек этот Томас. Вежливый, предупредительный, воспитанный.

Крейг заказал разговор с Лондоном и прилег на кровать в ожидании вызова. Когда он положил голову на подушку, у него закружилась голова, комната поплыла перед глазами. «Много путешествуете»,— сказала Белинда. Разумная женщина. Двадцать три года службы. Ужасно хотелось пить, но он не мог заставить себя встать и сходить в ванную за стаканом воды.

Зазвонил телефон, и он сел. Приходилось двигаться медленно, чтобы комната не поплыла опять. Телефонистка сказала, что номер в Лондоне не отвечает, и спросила, не желает ли он попробовать еще через час.

— Нет,— ответил он.— Отмените заказ.

Он посидел на краю кровати, пока не остановилась комната, потом пошел в ванную и выпил два стакана воды. Но жажда не проходила. Ему стало холодно — в отеле был кондиционированный воздух. Он попробовал открыть окно, но оно оказалось накрепко закрытым. Посмотрел на часы. Половина седьмого. В Канне уже половина первого — начало новых суток. Он долго пробыл в воздухе, покрыл большое расстояние. Кажется, никогда еще так не хотелось пить. Стакан бы пива сейчас — холодного, со льда. Сразу легче стало бы. Или два. Он решил, что в следующий раз поплывет через океан на пароходе. К Америке надо приближаться осторожно, шаг за шагом.

Он спустился вниз, в ресторан, украшенный театральными афишами. «Я на знакомой арене»,— подумал он. Он вспомнил рога, цвет песка в Сан-Себастьяне. Он сел у стойки и взял бутылку пива. Полстакана выпил залпом. Боль в затылке ослабла. Он знал, что должен поесть, но ничего, кроме пива, не хотел. Взял еще бутылку и стал пить медленно, стараясь растянуть наслаждение. Допивая вторую бутылку, ощутил приятную легкость в голове. Бар заполняли посетители, и он начал опасаться, как бы не встретить кого-нибудь из знакомых. Чего доброго, пристанут с разговорами и испортят ему удовольствие как раз в тот момент, когда он возьмет еще одну бутылку. Но он все же решил рискнуть и попросил третью бутылку.

Когда он вернулся к себе в номер, было около восьми часов. Разговаривать ему ни с кем не пришлось. В этом отеле ему везет. Он разделся, надел пижаму, улегся в постель и выключил свет. Он лежал, слушая доносившийся снизу приглушенный шум города. Где-то провыла сирена, напомнив ему, что он в своем родном городе. «Эх, никто уже не постучится ко мне сегодня в дверь»,— с сожалением подумал он, засыпая.

Проснулся он от боли. Живот у него спазматически сжимался. Постель намокла от пота. Боль — острая, режущая — то усиливалась, то утихала. «Господи,— подумал он,— наверно, такое чувствуют женщины, когда рожают». Ему захотелось в туалет. Он зажег свет, осторожно спустил ноги на пол, медленно прошел в ванную и сел на стульчак. Он почувствовал, что из него хлынул поток горячей жидкости. Боль стихла, но он боялся, что ему не хватит сил добраться до постели. Когда он, наконец, встал, то вынужден был ухватиться рукой за полку над раковиной. Жидкость в унитазе была черная. Он потянул за цепочку. По внутренним сторонам ног потекла теплая темно-

красная жидкость. Кровь. И нет возможности остановить ее. Он сморщился от отвращения. Он знал, что должен испугаться, но чувствовал только отвращение. Организм изменил ему. Он снял полотенце и зажал его между ног. Бросив окровавленные пижамные штаны на полу ванной, добрался кое-как до кровати и рухнул на нее. Чувствовал слабость, но боли не было. На какой-то миг ему показалось, что все это сон. Взглянул на часы. Половина пятого утра. «По нью-йоркскому времени»,— вспомнил он. Зона крови. В такой ранний час не стоит никого будить. Если до восьми часов кровотечение не прекратится, он вызовет врача. Тут он вспомнил, что в Нью-Йорке у него нет ни одного знакомого врача. Расплата за здоровье. Ладно, отложим до утра. Он выключил свет и закрыл глаза, стараясь заснуть. *Если же усну я сном смертным, то прими, господи, душу мою...* Заклинания детских лет.

Профессор психологии из колледжа Энн что-то увидел в его почерке. Видел ли он эту ночь в Нью-Йорке?

Потом он уснул. Он спал без сновидений.

Проснулся он совершенно обессиленным. Но кровь перестала течь. Часы показывали без нескольких минут девять. В окно светило бледное, затуманенное смогом солнце. Город мерцал в мглистом мареве.

Он разнял ноги и вытащил полотенце. Когда он спал, кровь, видимо, какое-то время еще шла — на полотенце остались высохшие сгустки. Застарелый непостижимый губительный недуг. Он осторожно встал, прошел в ванную и долго стоял под теплым душем — холодную воду пустить не решился. Одеваясь, чувствовал себя разбитым, словно после падения с большой высоты.

Он спустился вниз и позавтракал в кафе в компании туристов и коммивояжеров. Выпил ледяного апельсинового сока с каким-то искусственным привкусом. Не было за окном Средиземного моря, не было дочери, не сидела за столиком напротив него любовница, не было косых взглядов официанта. Кофе его родины напоминал помои. Чтобы хоть немного подкрепиться, он заставил себя съесть два тоста. Ни сдобных рогаликов, ни булочек. Может, он попал не в ту страну?

Он взял в руки «Нью-Йорк таймс». Потери во Вьетнаме уменьшились. Вице-президент произнес возмутительную двусмысленную речь. Упал самолет. Не он один так много путешествует. Критик, о котором он никогда не слышал, разнес романиста, которого он никогда не читал. Победы и поражения бейсбольных команд. В те годы, когда он ходил смотреть бейсбол, этих команд еще не существовало. Подающий, которому почти столько же лет, сколько ему, Крейгу, до сих пор зарабатывает себе на жизнь, бросая мячик. Извещения о смерти. Никого из этих людей, умерших накануне, он не знал. Ознакомившись с новостями, он приготовился начать свой день.

Выйдя из мира кондиционеров, он вдохнул воздух Нью-Йорка. Окинул взглядом тротуар. Помня, что говорила Белинда, он остерегался грабителей. Он подумал: «А если я объявлю сейчас, что ночью у меня было кровотечение, найдется ли бойскаут, который поможет мне поймать такси?» У него не было двадцати пяти центов, поэтому он дал швейцару целый доллар. А ведь было время, когда швейцары благодарили и за десятицентовую монетку.

Посадка в такси напоминала карабкание на отвесную скалу. Он назвал адрес на 70-й улице. Шофер такси был старый, с зеленоватым, мертвенно-бледным лицом. На удостоверении, прикрепленном

к спинке переднего сиденья, Крейг прочел русскую фамилию. Жалеет ли этот человек, что он или его отец покинул когда-то Одессу?

Пересекая город, такси поползло как черепаха, то делало внезапные рывки, то резко тормозило, едва не наехав на идущие впереди машины. Водителю, который и так скоро умрет, терять было нечего. 44-я улица в Восточной части Нью-Йорка — его родная стихия. Большие шансы на «Гран-при». Если он в этом сезоне выживет, то заработает себе состояние.

Брюс Томас жил в богатом особняке со свежевыкрашенными оконными рамами. У входа висела дощечка с надписью, гласящей, что дом этот находится под охраной частной караульной службы. Крейг бывал здесь несколько раз на больших званых вечерах. Приятные были вечера. Однажды он забрел в кабинет Брюса на втором этаже. Полки кабинета были уставлены статуэтками, фарфоровыми тарелками, грамотами, которыми Томаса награждали за его фильмы. Крейга тоже награждали статуэтками, грамотами, тарелками, только он не знал, куда они все подевались.

Он нажал кнопку звонка. Томас сам открыл ему дверь. На нем были вельветовые брюки и теннисная рубашка с открытым воротом. Опрятный, элегантный, худощавый, приветливо улыбающийся человек.

— Брюс,— сказал Крейг, войдя в переднюю,— мне, кажется, нужен доктор.

Не в силах идти дальше, он тут же опустился на стул.

18

Три дня спустя он был еще жив. Он лежал в светлой палате первоклассной больницы, Брюс Томас подыскал ему тихого пожилого доктора — спокойного и неразговорчивого. Часто заглядывал к нему и главный хирург больницы, веселый полный мужчина. Приходил он будто бы поболтать о кино и театре, но Крейг знал, что он внимательно за ним наблюдает, ожидая симптомов, означающих необходимость немедленной операции. Когда Крейг спросил, каковы шансы на выздоровление после такой операции, хирург ответил прямо, без колебания: «Пятьдесят на пятьдесят». Если бы у Крейга были родные, с которыми доктор мог поговорить, то он, доктор, вероятно, сказал бы им, а не больному. Но пока что Крейга навещали только Томас и Белинда.

Ему давали в небольших дозах наркотики, и он не чувствовал сильной боли. Болели только руки от игл после пяти переливаний крови и внутривенных вливаний глюкозы и соляного раствора. Почему-то засорялись трубки и выпадали из руки иглы. Вены на руках становилось все труднее нащупать, так что в конце концов пришлось призвать на помощь больничную специалистку, прелестную молодую скандинавку. Та потребовала очистить палату и даже выставила за дверь его дневную сиделку, крепкую пожилую даму — экс-капитана службы медицинских сестер, ветерана корейской войны. «Терпеть не могу зрителей»,— сказала специалистка. «Вот что значит талант,— подумал Крейг.— В больнице ли, где ли, с ним всегда считаются». Девушка, встряхивая своей маленькой белокурой головкой, долго ощупывала его руку, потом одним ударом ловко и безболезненно ввела иглу в вену и приладила бутыль с раствором. С тех пор он уже ни разу ее не видел. К сожалению. Она напоминала ему молодую датчанку-мать, которую он встретил у плавательного бассейна в Антибе. «Пятьдесят на пятьдесят,— поразился он,— а вот поди же, какие мысли человеку в голову лезут».

Больше всего докучали головные боли после переливаний крови. Ему сказали, что это нормально. Ну, конечно, тем, кто работает в больнице, боль должна казаться нормальной.

Томас был безупречен. Он навещал Крейга по два раза в день, не слишком, однако, подчеркивая свою озабоченность. «Вполне вероятно,— сказал он на третий день,— что меньше чем через две недели вас выпишут, и тогда мы приступим к работе». Но он не тратил время зря. Получил согласие кинокомпании «Юнайтед артистс» и вел с ней переговоры о бюджете в полтора миллиона долларов. Для натурных съемок он уже подыскал большой старый особняк в Сэндс-Пойнте. Томас считал само собой разумеющимся, что Крейг будет вторым продюсером. Если он и знал что-нибудь о сомнениях хирурга в возможном исходе операции, то ни намеком этого не показывал.

Когда он был у Крейга на третий день его болезни, дверь распахнулась и в палату шагнул Мэрфи.

— Какого дьявола ты тут валяешься? — громко спросил он.

— А ты какого дьявола тут делаешь? — в свою очередь спросил Крейг.— Я думал, ты в Риме.

— Да вот — не в Риме. Привет, Брюс. Вы что, ребята, уже ругаетесь?

— Да,— с улыбкой сказал Томас.— Искусство вечно, язвы быстротечны.

Крейг чувствовал себя настолько утомленным, что не стал интересоваться, откуда Мэрфи узнал, что он в больнице. Но он был рад, что тот приехал. Мэрфи все уладит. Стало быть, он может плыть в приятный мир дурмана и грез, в котором день сливается с ночью, а боль и наслаждение превращаются в безликие абстракции. Зная, что дела его теперь в надежных руках, он мог целиком сосредоточиться на усмирении своей взбунтовавшейся крови.

— Они пустили меня сюда только на пять минут,— сказал Мэрфи.— Я лишь хотел убедиться, что ты еще жив. Хочешь, я привезу сюда своего врача из Беверли-Хиллс? Его считают лучшим в стране.

Все, к чему имеет отношение Мэрфи,— лучшее в стране.

— Не надо,— сказал Крейг.— Здесь прекрасные специалисты.

— Ну, тогда поправляйся и ни о чем другом не думай. К тому времени, как ты отсюда выберешься, я приготовлю тебе на подпись такой контракт, что в «Юнайтед артистс» завопят от ужаса. Пошли, Брюс. Разговор наш — не для ушей больного.— Мэрфи грубовато похлопал Крейга по плечу и ласково добавил: — Не надо так пугать старых друзей, Джесс. Соня целует тебя. Ухожу, ухожу, сестра.— Экс-капитан службы медицинских сестер делала ему страшные глаза и выразительно поглядывала на часы.

Томас и Мэрфи вышли. Сиделка поправила подушку и проворчала:

— Всё дела. От них мрут больше, чем от пуль.

«Человеку, начавшему трудовую жизнь в театре, лучше всего закончить ее в больничной палате»,— думал Крейг. Здесь как на сцене. Герой — в центре, на него направлены все прожекторы. Врач — режиссер, но он выступает в двух качествах, исполняя также одну из ролей. Обычно он наблюдает из-за кулис, готовый вмешаться, когда необходимо, шепчет актерам, что им пора на выход, что выходить надо с улыбкой и не следует чрезмерно затягивать свои монологи и диалоги. Сестры, точно рабочие сцены, переносят с места на место

реквизит — градусники, тазы, судна, шприцы, инструменты для взятия и вливания крови.

У героя роль длинная — все вертится вокруг него, он не покидает сцены, он единственный исполнитель. Это обусловлено контрактом. Неблагодарный, он иногда ропщет на свое главенствующее положение, спешит критиковать игру других актеров и не прочь бы их заменить или сократить их роли.

Прежде всего он убрал бы, если б мог, Белинду Юэн. На четвертый день его пребывания в больнице она решила, что он непременно поправится и что процесс его выздоровления ускорится, если он перестанет хандрить, как она выразилась, и займется повседневными делами. Она доложила ему, что расплатилась за него с отелем и упаковала вещи. Экономии ради чемоданы его хранятся теперь в конторе. Почту она будет приносить. Все оповещены. В «Таймс» она позвонила. Он попробовал протестовать, но она, как убежденная сторонница порядка и светских приличий, сказала, что друзья, родные и общественность имеют право знать. Он не стал спрашивать, каких друзей и каких родных она нашла нужным оповестить. Телефон в конторе звонит весь день. Он удивится, когда узнает, какое множество людей проявляют к нему внимание. Надо полагать, что при ее деловитости скоро в его палату ринутся сотни доброжелателей. Он умолял врачей отпустить его и замышлял побег.

И все же к этому времени он достаточно окреп, чтобы принимать посетителей. Иглы из его израненных вен вытащили, переливаний крови больше не делали, он мог садиться и принимать жидкую пищу. Он даже побрился. То, что он увидел в зеркале, потрясло его. На лице была такая же зеленоватая мертвенность, как у того русского таксиста. Он принял решение: пока он в больнице, пусть мисс Бэлиссано, его военная дневная сиделка, бреет его. Она сама это предлагала.

В почте, которую принесла Белинда, лежал счет от адвоката его жены на пять тысяч долларов. В свое время, когда Крейг, наконец, решил разводиться, он вздохнул с облегчением и сгоряча, в припадке щедрости, согласился оплачивать ее адвокатов, понимая, что с помощью денег ему будет легче добиться развода.

Пришло также письмо от бухгалтера, который напоминал ему, что надо как-то решать вопрос о семидесяти тысячах долларов, затребованных департаментом налогов и сборов. Дело принимает опасный оборот, предупреждал бухгалтер.

Белинда обнаружила у него в номере экземпляр «Трех горизонтов» и прочла его. Сценарий произвел на нее благоприятное впечатление. Она принесла с собой большие альбомы фотографий голливудских и нью-йоркских актеров и рекомендовала ему посмотреть их и подумать о распределении ролей. Чтобы доставить Белинде удовольствие, он лениво полистал альбомы.

Принесла она и чековую книжку. Поступили счета, требующие оплаты. Он не был членом общества Голубого креста и не страховал себя на случай потери трудоспособности, поэтому больница в тактичной форме попросила ее внести аванс. Она выписала чек на тысячу долларов. Он покорно подписал. Потом подписал чеки в уплату за аренду конторского помещения, за телефон и телеграф, уплатил членские взносы в Клуб гастрономов и в Клуб авиапутешественников. Живой или мертвый, он должен доказывать свою платежеспособность. Он надеялся, что профессор психологии из колледжа Энн не увидит его подписи.

Поскольку теперь он снова занялся делами, сказала Белинда, она принесла рукописи двух пьес известных авторов, приходивших в

контору на прошлой неделе. Она прочла пьесы, они ей не очень понравились, но известные авторы хотели бы иметь его личный отзыв. Завтра она принесет с собой блокнот, чтобы записать то, что он продиктует. Крейг обещал прочитать пьесы этих известных авторов. Она была в восторге от цветов, которые прислали ему супруги Мэрфи, супруги Томас и Уолт Клейн,— великолепных букетов из самого дорогого цветочного магазина Пятой авеню,— и пришла в ужас, когда он сказал:

— Из-за них мне кажется, будто я присутствую на собственных похоронах. Отправьте их в детское отделение.

О мисс Бэлиссано она говорила со злобой. По ее словам, сиделка — бессердечная женщина и в то же время маниакально сверхбдительная. Ей каждый раз приходится применять чуть ли не физическую силу, чтобы прорваться к нему в палату. Фанатическая сверхбдительность опасна. Это — от негативного образа мыслей. Крейг обещал не поддаваться негативному образу мыслей и подумать о замене мисс Бэлиссано.

В эту минуту вошла мисс Бэлиссано, и Белинда встала.

— Как видно, мое время кончилось.— Она сказала это таким тоном, словно ее ударили по лицу. Она вышла, и Крейг — впервые за все время — обрадовался приходу мисс Бэлиссано.

Увидев на столике рукописи и кипу альбомов с фотографиями, мисс Бэлиссано взяла их и положила на пол, подальше от глаз. В Корее она кое-чему научилась.

Когда Энн вошла, он лежал с градусником во рту. День был пасмурный, время довольно позднее, почти вечер, и в палате было темно. Энн не сразу открыла дверь, она как будто готова была убежать при первом его слове. Он поднял в знак приветствия руку и молча показал на градусник. Она робко улыбнулась, подошла к кровати, наклонилась и боязливо коснулась губами его лба. Он взял ее руку.

— О, папа,— сказала она и тихо заплакала.

Вошла мисс Бэлиссано, включила свет, взяла градусник, сделала запись на температурном листке. Она никогда не говорила, какая у него температура.

— Это моя дочь, мисс Бэлиссано,— сказал Крейг.

— Мы уже знакомы,— угрюмо сказала мисс Бэлиссано. Впрочем, она всегда была угрюма. Слезы Энн не произвели на нее никакого впечатления. Повозившись немного с подушками, она добавила: — Спокойной ночи. Спите крепко. Не слишком задерживайтесь здесь, мисс.— С тем же суровым видом она повернулась и вышла. Скоро придет ночная сиделка. Ночной сиделкой был молодой пуэрториканец, студент городского колледжа. Он целыми ночами просиживал в углу палаты, читая учебники при свете тщательно затененной лампы. У него была только одна обязанность: вызвать из коридора дежурного врача, если ему покажется, что Крейг умирает. Пока что дежурного врача ему не приходилось вызывать.

— О, папа,— опять проговорила Энн дрожащим голосом.— Я не могу видеть тебя в таком положении.

Эгоизм юности, прозвучавший в ее первых словах, вызвал у него легкую усмешку. Я, я, я.

— Это не по моей вине, нет, папа?

— Конечно, не по твоей.

— Если тебе трудно говорить — не говори.

— Я могу говорить,— раздраженно сказал он. Раздражала его

болезнь, а не Энн, но он видел по ее глазам, что она приняла его тон на свой счет.

— Мы приехали, как только Йэн получил от мистера Томаса телеграмму,— сказала Энн.— Мы были в Лондоне.

«Интересно,— подумал Крейг,— у кого Уодли занял деньги на дорогу». Но он не спросил.

— Хорошо, что ты приехала,— только и сказал он.

— Ты ведь поправишься, да? — с волнением спросила Энн. Лицо у нее было бледное. Плохая путешественница. Крейг вспомнил, что когда она была девочкой, ему всегда приходилось останавливать машину, потому что ее укачивало.

— Конечно, поправлюсь,— сказал он.

— Я вчера разговаривала с доктором Гибсоном — я пошла в больницу сразу же, как мы приехали, и они сказали, что меня к тебе еще пускать нельзя, но доктор Гибсон не сказал мне ни «да», ни «нет», когда я спросила его о тебе. Он говорит: «Только время покажет». Ненавижу врачей.

— Он очень хороший врач,— возразил Крейг. Он питал глубокую симпатию к доктору Гибсону — спокойному, деловитому, скромному, надежному человеку.— Он просто не любит разыгрывать из себя пророка.

— Но мог же он хотя бы чуточку обнадежить! — по-детски воскликнула она.

— Видимо, он считает, что это не входит в его обязанности.

— Ты не должен стараться быть стоиком,— сказала Энн.— Йэн говорит, что ты стоик.— «Ну, вот, уже цитирует своего любовника»,— подумал Крейг.— Он говорит, что в наше время такое отношение к жизни не приносит пользы.

— Налей мне, родная, стакан воды,— попросил Крейг. С него достаточно было цитат из коллекции мудрых изречений Йэна Уодли. Пить ему, в сущности, не хотелось, но Энн была смущена и растеряна, и Крейг надеялся, что, попросив ее об этой маленькой услуге, он, быть может, сумеет пробить брешь в стене отчуждения, разделявшей их. Он заметил, что слово «родная» обрадовало ее. Он отпил немного из стакана.

— А у тебя будут еще посетители,— сказала она.— Завтра приезжает мама и...

— О, господи. Как она узнала?

— Я позвонила ей,— ответила Энн с виноватым видом.— Она ужасно расстроилась. Ты не сердишься, что я ей сказала?

— Нет,— солгал он.

— Обычная человечность.

— Согласен,— нетерпеливо сказал Крейг.— Согласен. Обычная человечность.

— И Гейл тоже едет,— сказала Энн.

— Ей тоже ты звонила?

— Да. Я делала лишь то, что считала правильным, папа. Ты на меня не сердишься?

— Нет.— Крейг поставил стакан на столик, обессиленно отвалился на подушки и закрыл глаза, показывая Энн, что устал и хочет быть один.

— Я должна перед тобой извиниться. Когда я писала тебе письмо, то так спешила, что ничего не сказала о твоем сценарии. Не знаю, имеет ли это для тебя какое-нибудь значение, но я от него в восторге и должна была тебе сказать...

— У тебя другое было на уме.

— Конечно, ты вправе иронизировать,— смиренно сказала она.—

Во всяком случае, я в восторге. И Йэн тоже. Он хотел, чтобы я тебе это сказала.

— Вот и славно.

— Он уже разговаривал с мистером Томасом. Их мнения о сценарии во многом схожи. Они оба уверены в успехе.

— Вот и славно,— повторил Крейг.

— Конечно, мистер Томас обо мне еще ничего не знает.— Она замялась.— Йэн боится, что из-за меня ты будешь против него. Я имею в виду, против того, чтобы он работал над рукописью.— Она хотела услышать, что Крейг на это скажет, но тот молчал.— Я сказала Йэну, что ты слишком благороден, чтобы становиться ему поперек дороги только из-за того, что...— Она не договорила.

— Я уже не тот благородный человек, что был на прошлой неделе,— сказал Крейг.

— Йэну страшно нужна работа,— сказала Энн.— Он говорит, что без нее он не чувствует почвы под ногами. Он был в ужасном положении... Ты ему не откажешь, папа, правда? — Она уже умоляла.

— Нет, не откажу,— сказал он.

— Я так и знала.— Она сказала это тоном маленькой девочки, которой папа обещал веселую загородную прогулку и для которой не существует ни больниц, ни боли, ни крови.— Йэн сейчас внизу. Он очень хотел бы прийти сюда и поздороваться. Он ужасно тревожится за тебя. Можно, я его позову? На минутку.

— А шел бы он в...— выругался Крейг.

Энн ахнула от неожиданности. Если ему не изменяет память, он еще ни разу при ней так не бранился.

— О, папа! Как можешь ты быть таким несправедливым? — Она резко повернулась и выбежала из комнаты.

«Ничего, она уже большая,— думал Крейг, погружаясь головой в подушки.— Знает все бранные слова. Я, пожалуй, переберусь в общую палату. Туда не пускают посетителей».

Вечером того же дня его оперировали. Анализы показали, что у него возобновилось внутреннее кровотечение, хотя оно и не было столь обильным, как в ту ночь в отеле. Медленное, опасное, истощающее кровотечение, источник которого невозможно определить.

Пока ему брили грудь и живот и еще не сделали предоперационную инъекцию морфия, он ясно сознавал, что не боится. «Пятьдесят на пятьдесят»,— сказал доктор. Более справедливых условий игры человек не может требовать.

Лица появлялись и исчезали, мимолетные, молчаливые, едва различимые, точно окутанные туманом,— Мэрфи, Томас, доктор Гибсон, уклончивые, не предостерегающие и не подбадривающие; его жена, его дочь Марша, неестественно полная и плачущая; Гейл Маккиннон, свежая, как после морского купания; Констанс, суровая до неузнаваемости; Эдвард Бреннер... Но Эдвард Бреннер умер. Уж не во сне ли он всех их видит? Заговорил он только однажды. «Марша,— сказал он,— до чего же ты располнела».

Он чувствовал острую боль, но сдерживал стоны. Африканцу со шрамами из первого класса это было бы непонятно. Бремя Белого Человека. Он держался стоически, ждал очередной — раз в четыре часа — порции морфия и не требовал больше. Кто сказал, что стоицизм бесполезен? Во всяком случае, не его друг.

Рабочие сцены, все в белом, вносят реквизит — шприцы, кровь. Осветительную аппаратуру передвинули на другое место. В ушах раз-

давался шум морского прибоя. Он просыпался. Засыпал. Лица появлялись и исчезали, каждое — со своими претензиями. Где Йэн Уодли, этот расхлябанный вероломный человек? Где Белинда Юэн в платье цвета электрик? Какие еще чеки она принесла ему подписать?

Еще врачи. Лучший специалист в стране. Тихие голоса медиков, шепот за сценой. А белокурая скандинавка с опытными руками так больше и не появилась. Увы.

Сколько дней прошло с тех пор, как он уехал из Мейрага? Какой напиток заказывал он на terrasse маленького ресторана с видом на гавань Кассиса? Что сказала та девушка о своей матери?

Он мог сидеть в постели и даже немного есть, но температура не спадала. Утром — около ста одного, вечером поднималась до ста трех с половиной [1]. Над головой его висел пластмассовый сосуд, день и ночь питавший организм антибиотиками. То ли от жара, то ли от антибиотиков (или от того и другого вместе) у него мутилось сознание. Он начал терять ощущение времени и уже не помнил, давно ли находится в больнице. Врачи молчали, но Крейг видел, что они обеспокоены: что, если это один из новых видов больничных бактерий, против которых медицина пока еще бессильна?

Доктор Гибсон запретил все посещения, и Крейг был ему благодарен. Доктор Гибсон сказал, что если нормальная температура продержится трое суток, то его выпишут. А пока что Крейг смотрел сонными глазами на экран телевизора, который вкатили ему в палату и поставили рядом с койкой. Преимущественно он смотрел бейсбольные матчи. Приятно смотреть на парней, быстро бегающих по залитой солнцем зеленой лужайке. Было хорошо видно, где они выигрывали, где теряли очки. Крейг читал как-то об одном убийце, осужденном в штате Массачусетс,— тот тоже смотрел по телевизору в своей камере бейсбольные матчи и жалел только о том, что так и не успеет узнать, выиграла ли вымпел его любимая команда «Доджеров».

«Интересно,— подумал он,— узнаю ли я, кто выиграет в этом году вымпел».

Все же Мэрфи сумел убедить доктора Гибсона, что ему непременно надо увидеть Крейга. У Крейга уже два дня было приличное самочувствие. Температура понизилась до девяноста девяти градусов утром и до ста двух — вечером. Мисс Бэлиссано по-прежнему отказывалась сообщать ему температуру, но доктор Гибсон был не так строг.

Лицо Мэрфи, когда они встретились, сказало Крейгу не меньше, чем зеркало: выглядит он ужасно. После операции он ни разу не взглянул на себя в зеркало.

— Я должен был с тобой увидеться, Джесс,— сказал Мэрфи.— Завтра мне придется вылететь на Западное побережье. Дела все накапливаются, так что мне надо быть там.

— Конечно, Мэрф.— Собственный голос показался Крейгу слабым, старческим.

— Три недели — это максимум. Больше я не мог посвятить Нью-Йорку,— сказал Мэрфи.

— Это я столько здесь пролежал? — спросил Крейг.

Мэрфи с удивлением посмотрел на него.

— Да.

— Долго.

— Да. И врачи не хотят говорить, когда ты отсюда выберешься.

[1] По Цельсию: 38°—39°.

— Они не знают.

— Гибсон говорит, что ты не сможешь работать по крайней мере полгода. Даже если завтра тебя выпустят.

— Знаю,— сказал Крейг.— Он и мне это говорил.

— Томас не может ждать,— сказал Мэрфи.— Через месяц он должен начать съемки — иначе в этом году не закончит. Из-за погоды.

— Из-за погоды.— Крейг кивнул.

— Они с Уодли работают по восемнадцать часов в сутки. Томас говорит, что у Уодли действительно здорово получается. Говорит, что ты просто ахнешь, когда увидишь окончательный вариант.

— Я в этом убежден.

— Хочешь знать, каких они подобрали актеров?

— Да нет, Мэрф.

Мэрфи снова взглянул на него с удивлением.

— О деньгах не беспокойся,— сказал он.— Большой кусок ты получишь сразу, а потом — пять процентов с прибыли.

— Здорово,— сказал Крейг.

— Томас оказался настоящим джентльменом.

— Разумеется.— Крейг закрыл глаза. Мэрфи казался далеко-далеко, в дальнем конце длинного зала, и это его беспокоило.

— Ты устал,— сказал Мэрфи.— Больше не буду тебе надоедать. Звони мне, если что нужно.

— Позвоню обязательно.— Крейг продолжал лежать с закрытыми глазами.

— Соня тебя целует.

— Спасибо, Мэрф.

— Будь здоров, малыш.— Мэрфи тихо вышел. В дверях появилась мисс Бэлиссано.

— Включите, пожалуйста, телевизор,— попросил он.

Услышав шум толпы, Крейг открыл глаза. В Сент-Луисе светило солнце.

В тот день, когда у него впервые установилась нормальная температура, доктор Гибсон разрешил прийти его жене. Насколько Крейгу было известно, доктору Гибсону не сказали, что он оформляет развод, поэтому приход жены казался ему вполне естественным. Доктор Гибсон не предупредил его, что к нему идет жена. Видимо, он полагал, что делает больному целительный сюрприз.

Войдя в палату, Пенелопа нервно улыбнулась. Волосы по-девичьи свисают на плечи. В синем платье. Как-то он сказал ей, что больше всего любит, когда она в синем. Давно сказал.

— Здравствуй, Джесс.— Она говорила тихо, голос ее дрожал, лицо исказилось. Последний раз они встречались в адвокатской конторе. Он забыл, сколько месяцев прошло с тех пор. Она наклонилась и поцеловала его в щеку. Десятитысячный поцелуй.

— Здравствуй, Пенни,— ответил он.— Ну, как твоя работа? — Это была их старая шутка [1].

— Что? — Пенелопа нахмурилась.— Какая работа?

— Это я так,— сказал он. Значит, забыла.

— Как ты себя чувствуешь?

---

[1] Гомеровская Пенелопа, супруга Одиссея, в течение двадцати лет разлуки оставалась верной ему, несмотря на домогательства женихов; она сказала, что откладывает новый брак до того дня, когда кончит ткать покрывало на гроб своего свекра, старца Лаэрта; целый день она ткала, а ночью все, что выткала за день, распускала и снова принималась за работу.

— Отлично. Разве не видишь? — Чтобы не думать о ней, он старался думать об ее адвокатах. Он видел, как она сжала губы, потом смягчилась, стараясь побороть раздражение.

— Доктор Гибсон говорит, что есть обнадеживающие симптомы. Очень обнадеживающие.

— Это меня весьма обнадеживает.

— А ты все такой же.— На мгновение гнев одержал в ней верх.

— Да, я верен себе.— Он боролся с ее жалостью, которую она, вероятно, считает своей любовью. Возможно, это и есть ее любовь.

— Доктор Гибсон говорит, что тебе придется долго отдыхать после того, как ты выйдешь отсюда. Кто-то должен присматривать за тобой. Хочешь вернуться домой?

Он представил себе просторный кирпичный дом на тихой зеленой улице Нью-Йорка, маленький садик, запыленную листву деревьев, письменный стол в своем кабинете, свои книги на полках. Они договорились поделить мебель, но еще не сделали этого. Некуда ему было взять свою часть. Не может же он таскать за собой письменный стол из одной гостиницы в другую. Она ждала его ответа, но он молчал.

— Хочешь отменить дело о разводе? Я хочу.

— Я подумаю.— У него не было сил спорить с ней сейчас.

— Что тебя заставило пойти на этот шаг? — спросила она.— Как гром среди ясного неба. Написал мне это ужасное письмо с требованием развода. В конце концов, уживались же мы друг с другом. Ты мог уходить и приходить когда угодно. Целыми месяцами я даже не знала, здесь ты или за границей. Никогда не спрашивала тебя о твоих... кто бы они ни были. Возможно, это не та пылкая любовь, о которой мечтают в юности, но мы все-таки уживались.

— Уживались,— усмехнулся он.— Да мы пять лет с тобой не спали.

— А по чьей вине? — Голос ее становился все резче.

— По твоей,— сказал он. У нее удобная память. Он ждал, что она будет доказывать обратное, причем с сознанием собственной правоты, и очень удивился, когда она заявила:

— А как ты думаешь? Сколько лет ты давал мне понять, что я тебе надоела. Готов был пригласить в дом кого угодно, лишь бы не обедать со мной одной.

— В том числе Берти Фолсома.

Она покраснела.

— В том числе Берти Фолсома. Надо полагать, что эта потаскушка, твоя дочь, доложила тебе о том, что видела в Женеве.

— Доложила.

— Но он, по крайней мере, уделял мне внимание.

— Ну, и молодец. Да и ты не хуже.

— Можешь внести в свой реестр еще одну жертву,— сказала она. Теперь ее уже не сдерживали ни больничная обстановка, ни вид пластмассового сосуда, источавшего в его вены бесполезную жидкость. Все было забыто.— Это ведь ты толкнул ее в объятия пьяницы.

— Он перестал пить.— Крейг тут же понял, что сказал глупость, но было уже поздно.

— Зато остальное не перестал. Был три раза женат и все ему мало. С этой девчонкой я теперь и разговаривать не буду. А твоя вторая дочь? Бедная Марша. Прилетела из самой Аризоны порадовать отца, а что ты ей сказал? Первое, что пришло в голову: «Марша, до чего же ты располнела». Она потом несколько дней плакала. Знаешь,что она говорит? Она говорит: «Он смеется надо мной, даже когда

истекает кровью. Он меня ненавидит». Я уговаривала ее пойти сюда со мной, но она не захотела.

— Я помирюсь с ней,— сказал он усталым голосом.— Потом, не сейчас. Неправда, что я ее ненавижу.

— Но меня ненавидишь.

— Никого я не ненавижу.

— Даже сейчас тебе понадобилось унижать меня.— Он хладнокровно отметил, что когда она принялась перечислять свои обиды, в ее голосе зазвучали хорошо знакомые ему фальшивые мелодраматические нотки.— Там внизу бесстыдно разгуливает эта женщина, собирается подняться сюда, как только ты вышвырнешь меня вон.

— Я не знаю, о какой «этой женщине» ты говоришь.

— О парижской шлюхе. Ты сам знаешь, о ком я говорю. Так же, как и я.— Пенелопа зашагала взад и вперед по комнате, нарочно показывая, что старается успокоить свои нервы. Крейг лежал с закрытыми глазами, голова его покоилась на подушке.— Я пришла сюда не ссориться, Джесс,— продолжала она, перейдя на спокойный, рассудительный тон.— Я пришла сказать тебе, что буду рада, если ты вернешься домой. Более чем рада.

— Я же сказал, что подумаю.

— Сделай одолжение, объясни мне раз и навсегда, почему ты решил со мной развестись?

«Ну, что ж,— подумал он,— она сама на это напрашивается». Он открыл глаза, чтобы проследить за ее реакцией.

— Однажды в Нью-Йорке я встретил Элис Пейн,— сказал он.

— При чем тут Элис Пейн?

— Она рассказала мне любопытную историю. Каждый год, пятого октября, она получает дюжину роз. Без визитной карточки. Анонимно.— По тому, как ожесточилось вдруг ее лицо, как напряглись ее плечи, он понял, что она знает, о чем идет речь.— Ни одна женщина,— продолжал Крейг,— если она имеет какое-то отношение к дюжине роз, которые присылают из года в год пятого октября, не вернет меня к себе — ни живым, ни мертвым.— Он снова закрыл глаза. Вот и все. Она на это напрашивалась, и она это получила. Он почувствовал громадное облегчение от того, что разговор, наконец, состоялся.

— Прощай, Джесс,— прошептала она.

— Прощай.

Он слышал, как она тихо закрыла за собой дверь. И тут, впервые за все время, заплакал. Не от гнева или сознания утраты, а оттого, что прожил с женщиной больше двадцати лет, завел с ней двух детей и не испытал при расставании никакого чувства, даже ярости.

Потом он вспомнил: Пенелопа говорила, что внизу ждет Констанс.

— Внизу ждет одна дама, она хочет повидать меня,— сказал он мисс Бэлиссано.— Не попросите ли вы ее подняться сюда? И дайте мне, пожалуйста, расческу, щетку и зеркало.

Он зачесал волосы назад. За три недели они сильно отросли. Жесткие, густые, они отвергали болезнь. Седины в них ничуть не прибавилось. Глаза на худом лице казались огромными и слишком блестящими. В больнице он сбавил вес и теперь выглядел помолодевшим. Только вряд ли Констанс оценит эту имитацию молодости.

Но когда дверь открылась, он увидел Белинду. Он постарался скрыть разочарование.

— Белинда,— сердечно сказал он.— Как я рад вас видеть.

Она поцеловала его в щеку. Ему показалось, что до прихода к нему она плакала, горе придало ее маленькому острому личику больше женственности. На ней было все то же платье цвета электрик — видимо, в таком наряде она считала самым уместным появляться у смертного одра.

— В этой больнице не люди, а чудовища,— сказала она. У нее и голос стал мягче. «Моя болезнь повлияла на нее благотворно»,— подумал он.— На этой неделе я прихожу сюда ежедневно, и все время они меня не пускают.

— Очень сожалею,— солгал он.

— Однако я не отставала от событий. И с мистером Мэрфи разговаривала. Вы не будете участвовать в работе над картиной.

— Боюсь, что так.

Она положила руки на колени. Маленькие и огрубелые от работы. Двадцать три года за пишущей машинкой. Ногти покрыты лаком кроваво-красного цвета. Она безошибочно выбирает неудачные цвета. Она подошла к окну, слегка спустила штору.

— Джесс,— сказала она.— Я хочу уйти от вас.

— Не верю,— сказал он.

— Поверьте.

— Вы подыскали себе другое место?

— Конечно, нет.— Она повернулась спиной к окну, лицо ее казалось обиженным.

— Тогда зачем уходить?

— Когда вы отсюда выйдете, то все равно не сможете работать.

— Какое-то время — да.

— Долгое время. Не будем обманывать себя, Джесс. Вам не нужны ни я, ни ваша контора. Вам еще пять лет назад надо было закрыть ее. Вы только из-за меня ее и держали.

— Какая чушь,— сказал он нарочито резким тоном. Она знала, что он говорит неправду, но ложь в данном случае была необходима.

— К тому же я и неприятностей натерпелась,— тихо сказала она.— С меня хватит. Уеду из Нью-Йорка. Больше здесь не могу. Сумасшедший дом какой-то. На днях ограбили двух моих знакомых. Средь бела дня. Племянника за пачку сигарет ударили в грудь ножом. Едва не умер. Вечером из квартиры боюсь выйти. Целый год не была ни в кино, ни даже в театре. В дверь четыре разных замка врезала. Всякий раз, когда на моем этаже открывается дверь лифта, я вся дрожу. Джесс, если им так уж нужен этот город, пусть они возьмут его.

— Куда вы поедете? — мягко спросил он.

— У моей мамы в Ньютауне есть дом. Она нездорова, и я буду ей помогать. Это прелестный тихий городок, по его улицам можно спокойно ходить.

— Может, и я туда перееду,— сказал он полушутя-полусерьезно.

— Это было бы совсем неплохо.

— А чем вы будете зарабатывать себе на жизнь? — Вечная проблема, от нее никуда не уйдешь.

— Мне много не надо,— сказала она.— Да и скопить удалось порядочно. Благодаря вам, Джесс. Вы замечательно щедрый человек, и я хочу, чтобы вы знали мое мнение о вас.

— Вы же работали.

— Я работала у вас с удовольствием. Мне повезло. Это было лучше всякого брака. А я достаточно на них насмотрелась.

Крейг засмеялся.

— Не так уж много этим сказано, правда?

— Для меня много,— сказала она.— Договор на аренду конторы истекает в этом месяце. Сказать им, что мы не будем его продлевать? — Она разглядывала свои кроваво-красные ногти и ждала ответа.

— Долгий и славный путь мы с вами прошли, а, Белинда? — ласково заметил Крейг.

— Да. Долгий и славный путь.

— Скажите им, что продлевать не будем.

— Они не удивятся.

— Белинда. Подойдите ближе и поцелуйте меня.

Она чинно поцеловала его в щеку. Обнять ее он не мог из-за трубки, подведенной к руке. Когда она выпрямилась снова, он спросил:

— Белинда, а кто же теперь будет готовить мне на подпись чеки?

— Сами готовьте. Вы же большой, взрослый мужчина. Только не выписывайте слишком много.

— Постараюсь.

— Если я останусь здесь еще хотя бы на минуту, то разревусь,— сказала она и выбежала из комнаты.

Он откинулся на подушку и устремил взгляд в потолок. «Итак, двадцать три года долой,— подумал он.— Прибавь к ним двадцать один год, прожитый с женой. Отбыл сразу два срока.

Поработал я сегодня на славу».

Когда Констанс вошла в палату, он спал. Ему приснилось, будто его целует женщина, которую он никак не может узнать. Открыв глаза, он увидел, что рядом стоит Констанс и без улыбки смотрит на него сверху вниз.

— Здравствуй,— сказал он.

— Если ты хочешь спать, то спи. Я просто посижу здесь и посмотрю на тебя.

— Я не хочу спать.— Она стояла с той стороны кровати, где не было трубки для вливания, так что он мог взять ее руку в свою. Ладонь у нее была холодная и жесткая. Она улыбнулась ему.

— Ты не стригись. Длинные волосы очень тебе идут.

— Еще неделя,— сказал он,— и я смогу выступать на Вудстокском фестивале.— Он решил выдержать разговор с ней в шутливом тоне. Констанс — не жена и не Белинда Юэн. Им не стоит обижать друг друга и не стоит напоминать друг другу о лучших временах, когда они были вместе.

Она пододвинула стул к самой койке и села. На ней было черное платье, не придававшее, впрочем, ей траурного вида. Красивое, кажущееся безмятежным лицо. Волосы, зачесанные назад, открывали широкий прекрасный лоб.

— Скажи по буквам «Мейраг».— Эти слова вырвались у него как-то сами собой, и он тут же пожалел о них.

Но она засмеялась, и все обошлось благополучно.

— А ты явно поправляешься.

— Быстро,— сказал он.

— Быстро. Я уж боялась, что так и не смогу тебя повидать. Завтра мне возвращаться в Париж.

— Вот как.

Наступило молчание. Потом она спросила:

— Что ты собираешься делать, когда тебя выпишут?

— Придется какое-то время побыть без дела.

— Я знаю. Жаль, что с картиной так получилось.

— Не так уж плохо. Она свою роль выполнила. Или почти выполнила.

— Обратно в Париж не поедешь?

— А ты оттуда уезжаешь?

— Думаю, недели через две.

— Сомневаюсь, что я поеду в Париж.

Она немного помолчала.

— Они арендовали для меня дом в Сан-Франциско. Говорят, с видом на залив. Там наверху есть большая комната, где человек может спокойно работать. И не слышно, как шумят дети. Или почти не слышно.

Он улыбнулся.

— Похоже на подкуп, да? — спросила она и сама же ответила:— Наверно, да.— Она засмеялась, потом лицо ее сделалось серьезным.— Думал ли ты о том, куда подашься после того, как выберешься отсюда? Где будешь жить?

— Да нет еще.

— Не в Сан-Франциско?

— Староват я для Сан-Франциско,— мягко сказал он. Он, конечно, имел в виду не город, и она это понимала.— Но я наведаюсь туда.

— Я буду ждать,— сказала она.— Какое-то время, во всяком случае.— Слова эти прозвучали как недвусмысленное предупреждение, но что тут можно было поделать?

— Бери этот город штурмом,— сказал он.

— Попробую воспользоваться твоим советом.— Лицо ее стало опять серьезным.— Как жаль, что время наше, в сущности, не совпадает. Ну, да все равно, когда тебе надоест скитаться по гостиницам, вспомни, что есть на свете Констанс.— Она протянула руку и погладила ему лоб. Ее прикосновение было приятным, но не возбуждало желания. Больное тело без остатка отдавалось своему недугу. Болезнь есть высшее проявление эгоизма.

— В последние дни я занималась отвратительным делом,— сказала она, отнимая руку.— Все подсчитывала, кто кого больше любит. Результат получился ошеломляющий: я люблю тебя больше, чем ты меня. Это — первый случай в моей жизни. Хотя, конечно, раз-то в жизни это должно случиться.

— Еще неизвестно...— начал было он.

— Известно,— резко перебила она.— Известно.

— Я-то еще не занимался подсчетом.

— И не надо. Кстати, вспомнила: виделась я с твоей хорошенькой юной приятельницей из Канна. Нас доктор Гибсон познакомил. Мы очень подружились и несколько раз встречались в ресторане. Очень умная. И очень волевая. Завидно волевая.

— Я не настолько хорошо ее знаю,— сказал он. Удивительно, но это правда. Он действительно не знал, волевая Гейл или нет.

— Обо мне она, разумеется, все знала.

— Не от меня,— сказал он.

— Нет. Уверена, что не от тебя.— Констанс улыбнулась.— Она улетает в Лондон. Ты это знал?

— Нет. Я ее не видел.

— Бедный Джесс,— насмешливо сказала Констанс.— Все трудящиеся дамы покидают его. На будущее рекомендую тебе держаться одного какого-нибудь города и выбирать женщин праздных.

— Я не люблю праздных женщин.

— Я тоже. Да! — Она порылась в сумочке и достала листок бу-

маги. Он узнал почерк Гейл.— Я обещала, если увижу тебя раньше ее, передать тебе ее номер телефона. Она живет в Филадельфии, у отца. Ради экономии. Говорит, что разорилась вчистую.

Он взял у нее листок. На нем были адрес и номер телефона. И больше ничего. Он положил бумажку на столик.

Констанс встала.

— Сиделка не велела утомлять тебя.

— Увидимся ли мы опять?

— Не в Нью-Йорке,— ответила она, натягивая перчатки.— В этом городе чистых перчаток хватает только на час.— Она раздраженно смахнула сажу с тыльной стороны перчатки.— Не скажу, чтобы эта поездка в Нью-Йорк доставила мне удовольствие. Прощальный поцелуй.— Она нагнулась, поцеловала его в губы и прошептала: — Ты ведь не умрешь, милый, а?

— Нет,— сказал он.— Не думаю.

— Я бы не вынесла твоей смерти.— Она выпрямилась и улыбнулась.— Пришлю тебе открытку с видом Золотых Ворот,— сказала она и вышла.

Вот она и ушла. Лучшая из женщин, каких он когда-либо знал.

Он позвонил по филадельфийскому номеру только на следующее утро. Мужчина, ответивший ему и сказавший, что он — отец мисс Маккиннон, спросил, кто звонит. Когда Крейг назвал свое имя, мистер Маккиннон заговорил ледяным тоном. Казалось, он радовался возможности объявить Крейгу, что мисс Маккиннон накануне уехала в Лондон.

«Ну, что ж, справедливо»,— подумал Крейг. Позвони ему сейчас Йэн Уодли, вряд ли он обошелся бы с ним любезнее.

Через неделю его выписали. Три дня подряд температура была нормальной. Вечером накануне выписки доктор Гибсон имел с ним долгий разговор. То есть долгий в представлении обычно неразговорчивого доктора Гибсона.

— Вы счастливчик, мистер Крейг,— сказал доктор Гибсон. Худощавый, аскетического склада старик, занимавшийся каждое утро по полчаса гимнастикой, принимавший ежедневно по десять дрожжевых таблеток, он говорил тоном, не терпящим возражений.— Многие на вашем месте не выжили бы. Теперь вы должны быть осторожны. Очень, очень осторожны. Строго придерживайтесь диеты. И ни капли спиртного. В течение года — ни глотка вина. А лучше совсем бросить пить.— Доктор Гибсон был убежденный трезвенник, и Крейгу показалось, что в голосе Гибсона прозвучало злорадство.— О работе забудьте на полгода. У меня сложилось впечатление, что вы усложнили свою жизнь, я бы даже сказал: слишком усложнили. — Впервые доктор Гибсон дал понять, что список лиц, посещавших его пациента, привел его к каким-то выводам.— Если бы мне предложили установить главную причину вашего заболевания, мистер Крейг, то я осмелился бы предположить, что она не в функциональном расстройстве, не в пороке развития и не в наследственной слабости. Вы, несомненно, понимаете, что я имею в виду, мистер Крейг.

— Понимаю.

— Упростите вашу жизнь, мистер Крейг. Упростите. И ешьте дрожжи.

«Ешьте дрожжи»,— повторил про себя Крейг, глядя вслед удалявшемуся доктору Гибсону. Есть дрожжи — это легко.

У выхода из больницы он пожал мисс Бэлиссано руку и шагнул за дверь. Вещи он оставил, сказав мисс Бэлиссано, что кого-нибудь за ними пришлет. Он шел медленно, щурясь от солнца, пиджак болтался на нем, как на вешалке. День был ясный, теплый. Он никого не предупредил, что выписывается сегодня, даже Белинду. Чтобы не сглазить. Уже выходя из больницы, боялся, как бы мисс Бэлиссано не догнала его и не объявила, что произошла ужасная ошибка и что его должны срочно вернуть на койку и снова вогнать в руку шприц.

Но никто за ним не гнался. Он шагал безо всякой цели по солнечной стороне улицы. Прохожие казались ему прекрасными. Девушки, стройные, гибкие, шли, высоко подняв головы, слегка улыбаясь, точно вспоминая невинные, но бурные радости прошедшей ночи. Молодые люди, бородатые и безбородые, шли уверенным шагом, смело заглядывая в глаза встречным. Маленькие дети, чистенькие и веселые, в костюмчиках анемонового цвета, стремительно проносились мимо него. Старики были опрятно одеты, выглядели бодро и при свете солнца, казалось, забывали о бренности всего земного.

Номера в гостинице он не заказывал. Теперь он один, он жив, он идет, с каждым шагом ступая все тверже, один, без адреса, идет по улице родного города, и никто на свете не знает, где он сейчас: ни друг, ни враг, ни возлюбленная, ни дочь, ни коллега, ни адвокат, ни банкир, ни бухгалтер-ревизор не знают, куда он идет, никто ничего от него не требует, никто не может до него добраться. В эту минуту, по крайней мере, он был свободным.

Проходя мимо магазина пишущих машинок, он остановился у витрины. Машинки чистенькие, привлекательные на вид, такие необходимые. Он вошел внутрь. Вежливый продавец показал ему различные модели. Вспомнился приятель-матадор: тот, наверно, вот так же выбирает себе в мадридском магазине шпаги. Он сказал продавцу, что вернется позже и оставит заказ.

Он вышел из магазина. Ему уже чудился успокаивающий стук машинки, которую он в конце концов купит.

Он оказался на Третьей авеню. Вот и салун, в котором он частенько бывал. Он взглянул на часы: половина двенадцатого. Самое время выпить. Он вошел. Салун был почти пуст. В дальнем конце бара разговаривали двое каких-то людей. Голоса мужские.

Подошел бармен — краснолицый, толстый, могучего сложения человек в фартуке. Бывший боксер: переносица перебита, на бровях шрамы. Красавец бармен.

— Виски с содовой,— сказал Крейг и стал наблюдать с большим интересом, как тот наливает в мерный стаканчик виски, выплескивает его в стакан со льдом и откупоривает бутылочку содовой. Крейг взял бутылочку и, чувствуя, как она приятно холодит руку, осторожно подлил содовой в стакан. Он целую минуту стоял в раздумье, глядя на приготовленную выпивку, и с наслаждением школьника, удравшего с уроков, сделал первый глоток.

Мужской голос на другом конце бара громко произнес:

— Тогда я ей говорю: «Катись-ка ты отсюда знаешь куда...»

Крейг улыбнулся. Все еще живой, он снова отпил из стакана. Никогда еще виски не казалось ему таким вкусным.

■

АТ-ТАЙИБ САЛИХ

Сезон паломничества на Север

ПОВЕСТЬ

Перевод с арабского В. ШАГАЛЯ

Глава шестая

Днем, часов около четырех, я отправился в дом Мустафы Саида. Открыв большую калитку, я вошел во двор и посмотрел налево в сторону длинной комнаты из обожженного кирпича. Окутанная тишиной, она походила... нет, не на склеп, а скорее на корабль, бросивший якорь на рейде. Ее черед еще не наступил. Хозяйка усадила меня в кресло на террасе перед входом в гостиную, на том же самом, памятном для меня, месте, и налила мне стакан лимонного сока. Скоро пришли мальчики и поздоровались со мной. Старшего нарекли Махмудом, в честь деда, отца матери, младшего звали Саидом, как отца. Самые обычные мальчики, одному — восемь лет, другому — семь. Каждое утро они отправлялись верхом на осле в школу за шесть миль от дома. Мне они, так сказать, оставлены в наследство, и, пожалуй, именно необходимость узнать, как у них дела, и приводит меня ежегодно сюда, в эту деревню. На этот раз я решил, что пора сделать им обрезание. Мы устроим по этому поводу праздник, пригласим певцов, глашатаев, сказителей — пусть это событие останется в их памяти светлым воспоминанием детства. Я помнил просьбу Мустафы: «Оберегай их от трудностей, которые их ждут». Но я знал, что не исполню ее. Им надо подрасти, и если тогда они захотят куда-нибудь ехать, то пусть едут. Каждый должен пройти свой путь с самого начала, хотя мир в детстве и бесконечен.

Мальчики давно ушли, а их мать все еще продолжала стоять передо мной. Высокий, стройный, хотя и несколько полноватый стан, гибкий, как стебель сахарного тростника. Она не красит хной ни руки, ни ноги, но от нее исходит легкий приятный аромат. Довольно тонкие губы, белые, крепкие, ровные зубы, лицо, которое было бы довольно заурядным, если бы не огромные черные глаза, смотрящие на мир с робкой грустью. Здороваясь с ней, я ощутил в своей руке нежность и теплоту ее пальцев. Изящество манер и благородство жестов делали ее совсем не похожей на обычных деревенских красавиц. Было в ней что-то необычное, и чудилось, что все на террасе озарено ее особой, присущей только ей красотой. Но может, все это было лишь плодом моей фантазии? Кто знает!

Окончание. Начало в № 9.

При каждой встрече с ней я ощущал какую-то неловкость, томительное беспокойство и торопился уйти, поскорее уйти. И вот теперь Вад ар-Раис хочет принести эту женщину в жертву своему старческому страху перед неминуемым концом. Стоя одной ногой в могиле, он хочет откупиться от смерти, выторговать себе еще год или два. Но почему? Почему он выбрал именно ее?

Сколько я ни просил, она упрямо продолжала стоять, и только когда я сказал ей: «Если не сядешь, я уйду», она села. Трудный разговор начинался медленно и тянулся долго. А солнце, свершая свой обычный круг, опускалось к закату, воздух становился прохладнее. Мало-помалу стеснение рассеивалось. Она улыбнулась на какую-то мою шутку, словно чуть-чуть ожила. А когда она засмеялась, у меня дрогнуло сердце, таким ее смех был тихим и журчащим. Кровь заката растекалась все шире и шире, охватывая весь западный горизонт, словно кровь миллионов погибших в сражениях была внезапно выплеснута в пространство между небом и землей. Потом на землю разом опустился мрак, необоримо спокойный в своем величии, и окутал все вокруг непроницаемой пеленой, которая скрыла от меня робкую грусть в ее глазах. Остался только голос, нежный и чарующий, как благоухание цветка,— родник, который может вот-вот иссякнуть.

Внезапно я спросил:

— Ты любила Мустафу Саида?

Она молчала. Я ждал, а сам думал, что еще немного — и благоухающая тьма собьет меня с предназначенной мне роли. А потом мне пришло в голову, что было глупо задавать ей этот вопрос здесь, в подобный час. И тут вдруг словно окно распахнулось во мраке, и голос, ее голос, сказал:

— Он был отцом моих детей.

Мне почудилось, что в голосе не было грусти, а только любовь и нежность. Потом опять наступило молчание. Оно словно что-то нашептывало ей, потому что вскоре она вновь заговорила:

— Он был безупречным мужем, заботливым отцом. Как нам его сейчас не хватает, знает один аллах.

Я наклонился к ней в непроглядной тьме и спросил:

— Ты знала, откуда он был родом?

— Конечно. Из Хартума.

— А чем он там занимался?

— Торговлей,— ответила она.

— Как ты думаешь, зачем он приехал сюда?

— Это одному аллаху ведомо.

Я испытывал что-то вроде отчаяния. Оказалось, что все далеко не так просто. Откуда-то повеяло живительным ветерком, он принес с собой облака легкого аромата. Я дышал глубоко-глубоко, упиваясь этим ароматом, а отчаяние все больше и больше овладевало мною. И вновь словно окно раскрылось во тьме, широкое, огромное, и я услышал ее голос, на этот раз исполненный печали и грусти, приглушенный, точно он поднимался со дна реки:

— Мне кажется, он от меня что-то скрывал.

— Почему ты так думаешь? — торопливо спросил я.

— По ночам он часами сидел один в той комнате,— сказала она.

И я бросился в наступление:

— Но что там, в этой комнате?

— Не знаю,— ответила она.— Я туда никогда не входила. Но ведь ключ у вас. Так почему бы вам самому не посмотреть?

И действительно, почему бы и нет? Вот мы встанем — она и я — и пойдем туда. Возьмем фонарь и откроем дверь. А что, если мы там

найдем его? Вдруг он висит под самым потолком в веревочной петле? А может быть, сидит на корточках на полу?

Я спросил:

— Ты полагаешь, что он что-то от тебя скрывал? Но почему?

— Иногда ночью, во сне, он что-то говорил... на каком-то чужом языке,— нежность и грусть исчезли из ее голоса, теперь он был жестким, с острыми краями, как кукурузный лист.

— А на каком, ты не знаешь?

— Нет. Откуда мне знать?

Я наклонился к ней, полный жгучего нетерпения.

— Он повторял во сне какое-то слово... джина... джини... что-то в этом роде... а может быть, я и путаю.

На этом самом месте, в такой же час, в таком же мраке я слушал его голос, и отзвуки держались в воздухе, не исчезая, точно мертвые киты, которые остаются на поверхности моря, а не уходят на дно.

«О, я преследовал ее неотступно, преследовал целых три года. С каждым днем тетива лука натягивалась все сильнее и сильнее. Караваны мои стонут, изнывая от жажды, в пустыне страсти и тоски, далеко впереди возникают миражи и манят к себе. Да... В тот вечер, когда Джейн шептала мне: «Уйдем со мной, уйдем», жизнь моя была исчерпана до дна и иссякла, а просто влачить давно надоевшее существование было бессмысленно».

Где-то неподалеку раздался плач ребенка.

— Он как будто предчувствовал свой конец,— продолжала Хасана.— Совсем незадолго до смерти, не больше чем за неделю, привел в порядок свои дела. Целый день этим занимался. Заплатил долги, доделал то, что не было завершено. А накануне позвал меня и сообщил обо всем, что касалось его имущественных дел, и еще много говорил со мной о детях, точно завещал их. А потом отдал мне письмо, запечатанное сургучом, и сказал: на всякий случай. Мало ли что бывает. Вдруг его не станет. Так опекуном над детьми он назначает вас. И советовал всегда обращаться к вам даже по мелочам. Я тогда заплакала и сказала: «Бог даст, как-нибудь обойдемся». А он мне и говорит: «Ну что ты! Просто я хочу принять некоторые меры предосторожности. Ведь в жизни всякое случается!» В тот день я так умоляла его не ходить в поле: вокруг все затоплено, можно и утонуть. Я очень боялась. Но мне он сказал, что беспокоиться нечего, да и вообще он хорошо плавает. Но я все равно весь день места себе не находила, точно предчувствовала недоброе. Когда он не вернулся и к ночи, я точно с ума сошла... И не знала, что мне делать, куда бежать за помощью. Так я его и не дождалась. Произошло то, что произошло.

Я скорее почувствовал, чем услышал, что она плачет, плачет молча, стараясь не всхлипывать, но потом у нее недостало сил сдерживаться и она разрыдалась, разрывая мрак, который разделял нас. Вокруг не осталось больше ни благоухания, ни тишины — только рыдания женщины, потерявшей мужа, которого она так и не сумела узнать. А тот убрал паруса на своем корабле, предался воле бушующего моря и носится по волнам, преследуя неведомый мираж.

А у себя дома старый Вад ар-Раис в плену своих иллюзий мечтает о ночах блаженства. А я? Что могу сейчас сделать я? Подойти к ней, прижать к груди, вытереть платком слезы, сказать что-нибудь, вселить спокойствие в ее сердце? Я приподнялся в кресле, опираясь на подлокотники, но вдруг почувствовал, что меня что-то не пускает, словно держит — что-то знакомое, хотя никак не пойму что. И я замер в этом положении. Но тут же на меня навалилась неимоверная тяжесть и я, не в силах сопротивляться, упал в кресло. Мрак, плотный и густой, как деготь, непроницаемый, совсем не тот, что возникает, когда на

время выключишь свет, а другой, вечный, первозданный, словно света в природе вообще не существует, а звезды на небе — это всего лишь прорехи в старой, ветхой одежде. Благоухание едва угадывалось, а голос был совсем не слышен, точно топот лапок муравьев на бархане. Из самого чрева мрака, из неизмеримой пустоты исходил голос — но он принадлежал не ей. В нем не слышалось ни гнева, ни печали, ни страха, ни удивления. Это был просто голос.

«А адвокаты рьяно спорили, борясь за мое тело,— говорил этот голос.— Я, как личность, для них не существовал вовсе, их интересовало только само тело. А какую они находили поддержку! Вот, скажем, профессор Максвелл Фостер Кин, один из оксфордских организаторов и идейных вождей движения за обновление церкви, масон, член руководящего комитета ассоциаций распространения протестантизма в Африке. Прежде и не думал скрывать свою ненависть ко мне. Когда я учился у него в Оксфорде, он не раз повторял мне брюзгливо: «Вы, мистер Саид,— лучшее доказательство того, насколько бесполезна наша цивилизаторская миссия в Африке. После всего, что мы сделали для вас, после всех тех поистине огромных, титанических усилий, которые мы приложили, чтобы дать вам образование, превратить вас в культурного, всесторонне развитого человека, вы, в сущности, ничуть не изменились, и можно подумать, будто вы лишь вчера спустились с дерева и покинули джунгли». И вот этот человек, несмотря на свое отношение ко мне, выступая как свидетель, красноречиво убеждал судью и присяжных, что меня следует спасти от виселицы. А сэр Артур Хокинс? Он был дважды женат и дважды разводился. Его любовные похождения стали притчей во языцех, а он бравировал своими связями с левыми кругами и с богемой. У него в доме я праздновал рождество в 1925 году. Однажды он сказал мне: «Вы, конечно, глупы и достаточно подлы. Но я ничего против вас не имею. Что поделаешь? Я и сам такой!» Так вот на суде он пускал в ход все свои знания и богатый опыт, чтобы накинуть мне на шею петлю и потуже ее затянуть. А присяжные? Кого только среди них не было! Рабочий, врач, фермер, учитель, торговец и даже гробовщик — с ними у меня не было никакого контакта, да и не могло быть! Попытайся я в свое время снять у кого-нибудь из них комнату, то наверняка получил бы отказ. А если бы к одному из них пришла его дочь и заявила, что выходит замуж за африканца, то любящий папаша решил бы, что земля разверзлась у него под ногами. Но тут в суде каждый из них впервые в жизни попытался встать выше себя, подавить все предрассудки и ощутить величие своего духа. Но на самом деле это я ощущал свое превосходство над ними. Как бы это объяснить? Ведь эта торжественная церемония была устроена в мою честь — в честь пришельца, чужака. И весь сложный ритуал пущен в ход из-за меня, чтобы решить мою судьбу. Вспомните, как к генералу Китченеру привели Махмуда Вад Ахмада в оковах после того, как он потерпел поражение в битве при Анбаре. И генерал спросил у него: «Зачем ты пришел в мою страну — разрушать и грабить?» Это сказал пришелец, чужак — сказал хозяину земли, а тот стоял, смиренно опустив голову, и молчал. Так пусть же теперь я заставлю смутиться их.

В зале суда мне слышался звон римских мечей в Карфагене, стук копыт лошадей пророка на улицах Иерусалима. Впервые пароходы поплыли по Нилу, везя на своих палубах не хлеб, а пушки. А железные дороги? Их ведь проводили через пустыню для переброски солдат. Школы строились для того, чтобы учить нас, как говорить «да» на их языке. Они занесли к нам заразу насилия особого сорта, европейского,— ничего подобного мир прежде не видел. С ними пришла эпидемия той губительной болезни, которая самих европейцев поразила

не одну тысячу лет назад. Да, господа, да! Я пришел к вам сюда как покоритель, как захватчик, я проник внутрь вашей цитадели, в самое ее сердце. Я — капля того яда, который вы своей собственной рукой впрыснули в кровеносные сосуды истории. Нет, не думайте, я не Отелло. Кто он такой, Отелло? Миф, не более того, легенда, выдумка!»

Я сидел и старался понять — что же, собственно, сказал мне Мустафа Саид, вот здесь, на этом самом месте в такую же темную ночь, как эта? А рядом рыдала женщина, но ее плач доносился словно откуда-то издалека и смешивался в моем сознании с разрозненными звуками и голосами, которые я когда-то уже слышал, которые навсегда запечатлелись в моей памяти, ворвавшись в нее как звон церковных колоколов,— детский крик где-то неподалеку от нашего дома, пенье петуха, рев осла, шум свадьбы на том берегу Нила. Но затем их всех заслонил и заглушил ее плач, вызывая в моей душе боль и сострадание. Но я так ничего и не сделал, а сидел не шевелясь и не мешая ей плакать. Наконец, она, обессилев, сама успокоилась и утихла. И только тогда я пробормотал несколько слов утешения.

— Думать о прошлом бесполезно,— сказал я ей.— У тебя двое детей, ты еще молода и красива. Пора подумать о будущем. Быть может, следовало бы принять предложение кого-нибудь из многочисленных женихов, которые так тебя домогаются.

— После Мустафы Саида мне не нужен никто,— возразила она с резкостью, которой я от нее никак не ждал, и так быстро, точно заранее подготовила этот ответ.

— Видишь ли,— сказал я, сам не понимая, зачем, собственно, я это говорю,— на тебе хочет жениться Вад ар-Раис. Твой отец и другие родственники не против. Вот он и попросил меня быть, так сказать, сватом.

Она долго ничего не говорила. Молчал и я. Мне уже начинало казаться, что она так ничего и не скажет, и я решил встать и тихонько уйти. Но тут во мраке раздался ее голос, острый, как лезвие бритвы. Мне даже почудилось, что я не слышу его, а ощущаю всей кожей.

— Если они меня принудят к этому, я убью его и себя.

Я задумался, подыскивая подходящий ответ, как вдруг раздался призыв муэдзина «Аллах акбар! Аллах акбар!», собирающий верующих на молитву. Она встала, встал и я и ушел, не сказав больше ни слова.

Когда я пил утренний кофе, ко мне пришел Вад ар-Раис и сказал, что просто хочет напомнить мне о своем вчерашнем приглашении. Однако я прекрасно понял, что у него просто не хватило терпения дождаться моего прихода и он поспешил ко мне сам в надежде узнать результаты моих усилий. Не успел он усесться, как я опередил его расспросы:

— Ничего не получится. Она не хочет выходить замуж, и ее решение твердо. На твоем месте я бы выбросил эту мысль из головы и ничего больше не предпринимал бы. Толку все равно не будет.

Я никак не ожидал, что мои слова могут произвести впечатление разорвавшейся бомбы. Ведь Вад ар-Раис за свою долгую жизнь менял женщин, как ослов, и трудно было себе представить, что неожиданный отказ способен привести его в настоящее исступление. Однако едва он понял, что̀ я говорю, как глаза его остекленели, а лицо стало землистым. Веки задергались, и он закусил губу с таким ожесточением, что я испугался, как бы он ее и вовсе не отгрыз. Его трясло как в лихорадке, и он злобно стучал по полу палкой. Потом скинул туфлю с правой ноги, несколько раз безуспешно попытался ее надеть, а когда это ему, наконец, удалось, тотчас снова ее сбросил, и так несколько раз. При этом он разевал рот как рыба, будто намереваясь что-то ска-

зать. Его трудно было узнать. Вад ар-Раис влюблен? Удивительно! Даже трудно себе представить!

— Неужели нет другой женщины,— спросил я,— на которой бы ты мог жениться?

— Другой мне не нужно,— ответил он.

Его умные, проницательные глаза были сейчас как два стеклянных шарика. Они неподвижно и сосредоточенно смотрели прямо перед собой и точно светились изнутри.

— Все равно она выйдет за меня, смирится. Кем она себя вообразила? Королевой? Принцессой? Да у нас в деревне вдов хоть отбавляй. Пусть лучше бога благодарит, что такой человек, как я, хочет на ней жениться.

— Если она ничем не лучше всех остальных, так стоит ли добиваться ее с таким упорством? — спросил я.— И ведь ты не хуже меня знаешь, что она отказала не только тебе — ведь к ней сватались многие другие, куда моложе! Или ты жаждешь посвятить остаток жизни воспитанию ее детей? Так кто же тебе мешает? Иди и предложи свои услуги.

Но тут Вад ар-Раис пришел в неистовый гнев. Он словно лишился рассудка. Я никак не ожидал, что он вообще способен на подобное. Боже, как он бушевал! Ярость клокотала в нем, точно лава в кратере вулкана. А что он говорил! Он просто захлебывался бранью. Я был ошеломлен.

— Это тебя надо спросить, почему Бинт Махмуд не хочет замуж! Уж ты, наверно, постарался! Вы стакнулись между собой. Ты-то чего вмешиваешься? Какое твое дело? Ты ей что, отец? Брат? Опекун ее детей, не велика птица! Нет, она выйдет за меня, хочешь ты или нет, хочет она или нет! Ее отец согласен? Согласен. И братья тоже. Так о чем еще говорить? А все эти ваши разговоры — одна пустая болтовня. Мало ли чему вас в школе учат! А мы уж как-нибудь по-своему обойдемся. Здесь — деревня, и женщины слушаются мужчин, а не наоборот, вот так-то!

Я не верил своим ушам — чтобы все это наговорил Вад ар-Раис! Не знаю, что произошло бы дальше, но тут в комнату вошел мой отец, и я поторопился уйти.

Я направился в поле, к Махджубу. Мы с ним ровесники, вместе играли в детстве, а в начальной школе сидели на одной скамье. Он всегда казался способнее меня. Когда мы окончили начальную школу, помню, Махджуб заявил: «Хватит учиться. Мы уже знаем все, что нам требуется. Даже с лихвой. Читать умеем? Умеем. И еще пишем, считаем. Чего же больше? Мы — крестьяне, как наши деды и отцы. А что требуется крестьянину? Написать письмо, прочитать газету да знать молитвы. Будут трудности, так уж мы как-нибудь сумеем договориться с властями». Я пошел по своему пути, а Махджуб остался в деревне и теперь всем тут верховодит. У него в руках вся власть. Судите сами: он и председатель комитета по сельскохозяйственному планированию, и руководитель сельскохозяйственного кооператива, и член всех комитетов, какие только есть, а когда в столицу провинции отправляется делегация, чтобы подать жалобу, кто ее возглавляет? Все он же! Когда пришла независимость, Махджуб стал руководителем местной организации народно-демократической партии. Порой мы вспоминали наши детские годы, и он обязательно говорил: «Ну вот посмотри, кто ты сейчас и кто я? Ты крупный государственный чиновник, а я по-прежнему крестьянин и сижу в этой безвестной, забытой богом деревушке».

«Ну что ты! Неужели ты не понимаешь, что настоящего успеха в жизни добился именно ты,— возражаю я ему с искренним восхище-

нием.— Ведь ты крепко связан с жизнью страны и непосредственно воздействуешь на нее. А кто я? Чиновник. Мы только и умеем, что болтать, хорошо еще, если при этом никому не мешаем. А такие люди, как ты,— законные наследники власти, вы — нервы жизни, соль земли».

В ответ Махджуб всегда громко, от души смеялся:

«Если мы действительно соль земли, как ты говоришь, то она давно перестала быть соленой и утратила всякий вкус»,

Я подробно рассказал Махджубу о том, что у меня произошло с Вад ар-Раисом. Когда я кончил, Махджуб расхохотался:

— Нашел на кого обижаться! Вад ар-Раис давно уже впал в детство и сам не знает, что мелет.

— Тебе ведь известно,— сказал я,— что мой интерес к ней диктуется долгом, и только. Ничего другого между нами нет.

— Брось ты! Не обращай внимания на все эти выдумки и сплетни. Занимайся своим делом. В деревне у нас все тебя хорошо знают и ничему худому о тебе не поверят. Да если на то пошло, так у нас тебя особенно уважают именно потому, что ты по совести заботишься о детях Мустафы Саида, да будет милостив к нему аллах. Кто же не помнит, что он был тебе совсем чужим и ничто тебя не обязывало брать на себя такую заботу.

Он помолчал немного, а затем добавил:

— Впрочем, если ее отец и братья настаивают, так что тут сделаешь?

— Но ведь она не хочет, совсем не хочет выходить замуж! — вскричал я.

— Ну и что? — перебил он.— Ты же прекрасно знаешь, какие здесь порядки. Чему ты удивляешься? Женщина — для мужчины. И все. Мужчина остается мужчиной, что бы о нем ни говорили.

— Ну а если она не хочет, понимаешь, не хочет, и в наше время...— пытался я продолжить свою мысль, но Махджуб снова перебил меня:

— Видишь ли, мир изменился, это верно. Но не настолько. Изменились лишь некоторые вещи, не больше. Вместо сакий — насосы, вместо деревянных плугов — железные. Мы отдаем своих дочерей в школы... Радио... Автомобили... Мы научились пить виски и пиво вместо арака и марисы. Ну, а все прочее, к сожалению, осталось таким, как было.— Он засмеялся и добавил:— Но я глубоко убежден, что все переменится, как только ты и тебе подобные станут министрами! Правда, пока это всего лишь мечты,— заключил он с улыбкой.

Я несколько опомнился и спросил:

— Неужели ты думаешь, что Вад ар-Раис на самом деле так влюблен в Хасану Бинт Махмуд, что не может без нее жить?

— А что тут невероятного? Вад ар-Раис умеет любить и терять голову от страсти. Вот уже года два, как он только и говорит что о ней. Можешь мне поверить. Ее имя не сходит у него с языка. Он уже давно просил ее руки, и ее отец согласился, но она отказала наотрез. Все думали: пройдет время, она одумается и даст согласие. А видишь, что получается.

— Но объясни мне, откуда такая настойчивость, такая одержимость? Просто уму непостижимо. Ведь Вад ар-Раис знал Хасану Бинт Махмуд еще маленькой девочкой. Ты-то ведь помнишь, какая она была своенравная и бойкая. Взбиралась на деревья не хуже мальчишек и дралась с ними, ни в чем не уступая. Неужели он мог забыть? Она даже купалась и плавала вместе с мальчишками. Так что же произошло? Такое упрямство. Стоит на своем и слышать ничего не хочет.

— Как бы все это объяснить? Вад ар-Раис из тех людей, которые,

стоит им увлечься, забывают обо всем. Скажем, идет такой человек покупать осла. Ему все заранее известно, и его ничем не удивишь. Все-то он знает. И тут видит осла, который не продается, и обязательно захочет купить именно этого. Другие ослы ему не нужны. Хозяин ему говорит, что осел не продается, а он стоит на своем. Дескать, этот — самый красивый и сильный. И уж тут он готов заплатить втридорога, лишь бы все вышло, как ему хочется.— Махджуб помолчал, а потом добавил задумчиво:— И ведь что ни говори, а Бинт Махмуд, став женой Мустафы Саида, очень изменилась.

— Конечно, все женщины после замужества меняются, но Бинт Махмуд просто стала совсем другим человеком. Даже мы, ее сверстники, которые росли с ней на одной улице, играли с нею в одни и те же игры, сегодня смотрим на нее и не узнаем. Как будто видим ее в первый раз. Знаешь, она теперь точно городская!

Я спросил Махджуба о Мустафе Саиде, и он мне сказал:

— Да смилостивится над ним аллах! Он уважал меня, да и я относился к нему с почтением. Правда, поначалу отношения между нами были не особенно близкими. Но мы заседали вместе в комитете по планированию и постепенно сошлись. Его смерть была для нас невосполнимой утратой. Ведь он очень помогал нам, особенно с планом. Взял на себя все расчеты и отлично со всем справился. И его опыт в торговых делах был нам чрезвычайно полезен. Он посоветовал нам, как с наибольшей выгодой расходовать прибыли. Это он придумал поставить мельницу. А какой она приносит доход! Откуда только не приезжают люди молотить зерно! А кооперативная лавка? Тоже его мысль. Цены у нас не выше хартумских. Я думаю, ты помнишь, как прежде пароход привозил товары раз или два в месяц. Что делали торговцы? Выжидали, пока тот или иной товар полностью не исчезал с рынка, а затем продавали его, но как? Втридорога. Но он, Мустафа Саид, положил этому конец. У нашего хозяйства есть теперь десяток грузовиков, и они ежедневно доставляют грузы прямо из Хартума или Омдурмана. Я не раз уговаривал его взять на себя руководство кооперативом, но он всякий раз отказывался — говорил, что лучше меня никто не справится. И омда [1] и торговцы ненавидели его лютой ненавистью. Ведь он подорвал им всю коммерцию, открыл глаза людям, показал всем, чего стоят на самом деле эти копеечные души. Недаром после его гибели ходили слухи, что его убили. Правда, я думаю, что все это болтовня. Нет, он просто утонул. В тот год во время наводнения погиб не один он, а десятки, сотни людей. А жаль. Он был человек умный, развитой, широкообразованный. На мой взгляд, он мог бы стать по меньшей мере министром. Но где, я спрашиваю, где в нашем обществе справедливость?

— Э, да я смотрю, политика завладела тобой целиком и развратила,— заметил я.— Ты ни о чем больше не можешь думать, кроме как о власти. Но довольно пока всех этих министров и правительств, расскажи лучше, что он был за человек?

— Что, собственно, ты имеешь в виду? — На лице Махджуба появилось удивление.— Я ведь тебе уже все сказал.

По правде говоря, мне было трудно объяснить Махджубу, что я хотел бы узнать, а он тем временем продолжал:

— Кстати, я что-то не пойму, почему ты так интересуешься Мустафой Саидом? Ведь ты меня уже расспрашивал о нем. И еще я никак не возьму в толк, почему именно тебя он выбрал опекуном своих детей. Слов нет, ты достоин всяческого уважения и на тебя можно по-

---

[1] Омда — деревенский староста, старшина.

ложиться. И доверие его ты оправдал в полной мере. Но он-то как мог это предвидеть? Ведь вы были знакомы совсем немного. Мы жили с ним бок о бок в деревне не один год, а ты появлялся здесь на короткое время и то довольно редко. Я бы скорее предположил, что он сделает опекуном меня или на худой конец твоего деда. Но тебя? Твой дед был его ближайшим другом. Мустафа очень любил слушать, когда дед что-нибудь рассказывал. И он не раз говорил мне: «Знаешь, Махджуб, хаджа Ахмад — очень интересный человек и редкий в своем роде». Когда же я ему отвечал, что хаджа Ахмад давно выжил из ума, он очень сердился и выговаривал мне: «Ну что ты! Не говори так. Хаджа Ахмад — это живая частичка нашей истории».

Тут я перебил Махджуба:

— Во всяком случае, опекун я только на бумаге. А все заботы по опеке ложатся на твои плечи. Ведь я все время в Хартуме, а оба мальчика тут, под твоим присмотром.

— Умные мальчишки и воспитанные! В отца пошли. Учатся оба хорошо, лучше и желать нельзя.

— Скажи, а что будет с ними,— спросил я,— если этот по меньшей мере смехотворный брак, иначе не скажешь, на котором так настаивает Вад ар-Раис, все-таки состоится?

— Да успокойся! Вад ар-Раис все-таки, наверно, приглядит себе другую невесту и утешится с ней. Но если случится самое худшее и Бинт Махмуд придется дать согласие, то вряд ли он протянет больше года или двух. И тогда у нее будет право на его землю, на его орошаемые поля, а их у него немало. Что тут плохого?

Махджуб помолчал и внезапно ошеломил меня новым вопросом:

— Кстати, а почему бы тебе самому не жениться на ней?

Мое сердце дрогнуло и бешено заколотилось.

— Ты, наверно, шутишь? — растерянно сказал я, пытаясь скрыть дрожь в голосе.

— Ну, а если серьезно? Почему бы тебе и правда не жениться на ней? Я уверен, что она охотно согласится. Ты ведь уже опекун ее детей. Так и вовсе замени им отца, что тут такого?

Еще вчера ночью я вдыхал ее аромат и в голове у меня проносились всякие мысли. И правда, кто знает!.. Я услышал, как Махджуб засмеялся и сказал:

— И не ссылайся, пожалуйста, на то, что ты уже женат и у тебя дети. Мужчины женятся не один раз, дело обычное. Не ты первый, не ты последний.

— Нет, ты и в самом деле сошел с ума! — С этими словами я простился и ушел.

Тем не менее мне вдруг многое стало ясно. Я понял, что должен взглянуть правде в глаза. Да, я люблю Хасану Бинт Махмуд, вдову Мустафы Саида, люблю ее. И меня, как и Вад ар-Раиса, и Мустафу Саида, и миллионы других, не миновал микроб болезни, которая снедает всю вселенную.

Глава седьмая

Наконец был совершен освященный столетиями обряд обрезания. Мы шумно отпраздновали этот день. Теперь я мог со спокойной совестью возвратиться в Хартум. Оставив жену и дочь в деревне, я мчался под знойным солнцем через пески на принадлежащей кооперативу машине — одной из тех, о которых с таким жаром рассказывал любезный Махджуб. Обычно я ехал по реке до порта Карейма, а там садился на хартумский поезд, следовавший через Абу

Хамед и Атбару. Но на этот раз я торопился — сам не знаю почему— и, решив елико возможно сократить путь, отправился напрямик через пустыню. Мы тронулись в путь на рассвете. Часа два дорога вилась по берегу Нила, а затем повернула на юг под прямым углом, и мы постучали в дверь пустыни. Ничто не укрывало нас от солнца, которое медленно, словно нехотя, поднималось вверх, ступенька за ступенькой, по небесной лестнице и обрушивало на землю свои палящие лучи, будто мстя людям за давние обиды и унижения. Надо всем властвовал зной, от которого не было спасения. Казалось, всюду только одно огромное солнце. Нигде ни клочка тени. Кузов грузовика накалился, и от него веяло жаром.

Унылая, однообразная дорога то поднималась вверх по пологому склону, то уходила вниз, и казалось, будто жизнь отодвинулась в неизмеримую даль и само время остановилось. Ничто не радовало глаз. Чахлые кустики, там и сям разбросанные по бескрайней, рыжей равнине, щетинились голыми ветками, усаженными острыми колючками. Кое-где торчали сухие деревья, словно безжалостная рука выжала из них влагу до последней капли, и трудно было понять, живы они еще или давно мертвы. Могучий грузовик мчался по пустыне спокойно и уверенно среди полного безлюдья. Нигде ни души, и даже звери и птицы попрятались от солнца. Лишь изредка мелькнут вдалеке два-три худых, истощенных верблюда. А в пылающем небе— ни облачка, и нет надежды на облегчение. Небо — будто крышка адского котла. Здесь, в пустыне, свет дня не сулит ничего, кроме страданий. Все живое мучается, торопя приближение ночи. Лишь с ней приходит на землю прохлада.

Мной овладело странное горячечное состояние, я словно бредил. В голове проносились обрывки мыслей, разрозненные слова, лица, смутно знакомые. Мне чудились голоса, сухие и колючие, как песок, крутящийся маленькими смерчами над заброшенным полем.

Куда торопиться? Да-да, она спросила, куда торопиться. Потом добавила мягко: «Почему бы тебе не остаться еще на неделю?» «Черная ослица! — сказала она.— Бедуин-то обманул твоего дядю, продал ему ослицу, черную как смоль».

«Да разве стоит принимать близко к сердцу такие вещи?» — спокойно спросил мой отец. Да, человеческий мозг не спрячешь в холодильник — и пробовать нечего.

Солнце пекло невыносимо, и мозг отказывался думать нормально. Внезапно я словно наяву увидел перед собой Мустафу Саида — совсем так, как тогда, в день своего возвращения из Европы. Он появился и тут же исчез в натруженном гуле мотора и дробных ударах камешков о кузов. И сколько после этого я ни старался вызвать в памяти его лицо, все было тщетно.

В день совершения обряда обрезания Хасана сбросила покрывало с головы и принялась плясать, как требует обычай от матери.

Какая женщина! Почему бы тебе не жениться на ней? Почему? Да, кстати, что шептала ему на ухо Изабелла Сеймур?

«Убей меня, африканский сфинкс, убей. Сожги меня в огне твоего капища, черное божество. Прошу тебя, позволь мне совершить непонятные, но волнующие душу обряды твоей религии».

Вот источник этого огня! Вот это капище! И ничего больше. Солнце, пустыня, иссушенные, сожженные растения, изможденные, тощие верблюды. Мимо нас уносилась назад бурая равнина. Машина внезапно вся задрожала, заскрипел кузов, и мы перевалили через край неглубокого вади [1]. Под колесами хрустели кости верблюдов, погибших

[1] Вади — пересохшее русло, долина.

от жажды на этом старинном караванном пути. И опять в моем сознании непрошено возник Мустафа Саид — только не он сам, а его сын, точная копия своего отца.

В день совершения обряда мы с Махджубом выпили больше, чем следовало. Уж так повелось в нашей округе — по любому, даже самому незначительному поводу устраивается шумный праздник, лишь бы скрасить скуку, разорвать паутину однообразных будней. Хмель долго не выветривался из головы. Всю ночь я водил Махджуба за руку точно малыша. Вокруг звучали песни, в центре двора мужчины дружно и гулко хлопали в ладоши. Чем ближе мы подходили к кабинету Мустафы Саида, тем сильнее разыгрывалось наше воображение. Мы долго в нерешительности стояли перед дверью, пока я наконец не сказал Махджубу:

— Ключ есть только у меня, понимаешь? У одного меня. А дверь железная, сам видишь.

— Ты знаешь, что там внутри? — спросил Махджуб заплетающимся языком.

— Знаю.

— Так что же?

— Там ничего нет,— ответил я и залился смехом. Потом, задыхаясь, я добавил: — Ровным счетом ничего.

Комната — это просто забавная шутка. Только и всего. Как жизнь. Думаешь, она полна всяких тайн, а там на самом деле — фью, пусто... Ничего.

— Да ты, я вижу, пьян,— вдруг рассердился Махджуб.— Комната доверху набита сокровищами, а ты говоришь — ничего. Золото, жемчуг, драгоценные камни. Знаешь, кем был Мустафа Саид?

Я ответил, что Мустафу Саида придумали, сочинили от начала и до конца. Меня снова разобрал смех, и я долго не мог успокоиться.

— Хочешь знать правду о Мустафе Саиде, все как есть?

— Э, да ты не только пьян,— возмутился Махджуб,— а еще и спятил. Кто же не знает Мустафу Саида? Это — пророк, посланец самого аллаха. Явился неизвестно откуда и зачем, а потом так же загадочно исчез. И сокровища в его комнате непростые: ими владел сам царь Сулейман[1]. Доставил их сюда на спине могучий джинн. Подумать только! Ключ от этих богатств у тебя. Открой же нам дверь, прошу тебя! — Посерьезнев, он добавил: — Давай разделим золото и драгоценности между людьми.

Махджуб все больше утрачивал связность речи. Он теперь выкрикивал отдельные слова. Если бы я не закрыл ему рот ладонью, вокруг нас давно бы собралась толпа.

На следующее утро каждый из нас проснулся в собственной постели, смутно представляя себе, как ему удалось попасть домой.

Дороге, казалось, не было конца, немилосердно палило солнце. Неудивительно, что Мустафа Саид бежал на Север, к прохладе и морозам.

«Христиане,— говорила ему Изабелла Сеймур,— утверждают, что их бог достаточно терпелив и могуч, чтобы взять на себя всю тяжесть их греховных дел и проступков. И вот он погиб буквально ни за что. Ведь то, что они с таким мудрым видом величают грехом, всего лишь вздох счастья после твоих объятий, мой бог, мой идол. Ты — мое божество. Нет бога, кроме тебя».

Пожалуй, именно это было подлинной причиной ее самоубийства, а вовсе не рак. К тому времени, когда она встретила Мустафу Саида, она уже была готова уверовать. Без грусти и сожаления она

[1] Сулейман — иудейский царь Соломон, названный в Коране пророком.

рассталась со своей прежней религией и стала исступленно, слепо, как сыны Израиля тельцу, поклоняться другому богу. Какая нелепость! Не правда ли? Только из-за того, что человек родился вблизи от экватора, одни сумасшедшие глупцы считают, что он должен быть рабом и только рабом, а другие — богом! Где же золотая середина? Где истина?

А дед мой, с его слабым, тихим голосом, его глухим смешком,— найдется ли ему местечко на огромном мусульманском ковре, когда он окажется на смертном одре? Но действительно ли мой дед такой, каким я его себе представляю? Каков он на самом деле? Выше ли он этой суеты сует? Не знаю. Но как бы то ни было, он сумел выстоять и выжить вопреки всем эпидемиям и войнам, самоуправству властей, суровости самой природы. Когда смерть все же выберет время и явится за ним, я глубоко убежден, что он спокойно, безмятежно улыбнется ей своей обезоруживающей улыбкой прямо в лицо. Разве этого мало? Можно ли от обыкновенного человека требовать большего?

Из-за бархана вдруг выскочил бедуин и решительно загородил дорогу грузовику. Мы остановились. Его одежда и тело были одного цвета — цвета пыли. Шофер спросил, что ему нужно.

— Ради аллаха,— ответил он,— дайте сигарету или немножко табаку. Умираю. Вот уже два дня, как я забыл, какой у них вкус.

Табака у нас не оказалось ни щепотки, а сигарету я ему дал. Мы решили передохнуть тут, выйти из машины и немного размяться. За всю свою жизнь мне еще не приходилось видеть, чтобы человек затягивался с такой жадностью. Бедуин сел, поджал под себя ноги и принялся глотать дым, буквально захлебываясь, точно путник, который после долгой дороги приник к роднику. Минуты через две он снова протянул руку, и я вложил в нее еще одну сигарету. Ее постигла участь первой. А потом он повалился на землю, извиваясь точно в припадке. Но вскоре затих, вытянулся струной и, обхватив голову руками, застыл как мертвый. Так он лежал все время, пока мы отдыхали,— минут двадцать. Когда же мотор снова заработал, бедуин вскочил на ноги, словно воскреснув, и бросился ко мне, расточая слова благодарности, взывая к аллаху, моля его о милостях и покровительстве для меня до конца моих дней. Я бросил ему пачку с оставшимися сигаретами. И вновь за нами заклубилась пыль. Я оглянулся назад. Бедуин неторопливо шел к дырявым шатрам, которые торчали среди кустов к югу от дороги. У шатров мирно паслись овцы, возились голые ребятишки.

О аллах, где же, наконец, долгожданная тень? Что может родить такая испепеленная земля?.. Только пророков?! Ни капельки влаги. Всюду сушь и зной. Только самому небу под силу справиться с подобным бедствием. А пути все еще нет конца. Беспощадное солнце неистовствует. Машина с воем мчалась по плоской, как стол, каменистой пустыне. «Я человек без роду и племени. Поведайте нам какую-нибудь легенду, которая облагородит нас». Чьи это слова? И еще: «Очаг, если нет под ним земли, угасает, не оставляя после себя ничего».

Шофер всю дорогу ни с кем не сказал ни слова. Он словно слился с машиной в одно целое и упорно гонит ее все вперед и вперед, лишь изредка разражаясь проклятьями по ее адресу. Пустыня медленно поворачивалась вокруг нас, утопая в мареве.

И поднимет нас тень — мираж.
И опустит нас тень — мираж,
И выплеснет из одной пустыни в другую!

Мухаммед Саид Аббаси — вот это настоящий поэт! А Абу Нувас?[1] «Мы пили с жаждой людей, не пивших со времен ада» [2].

Вокруг нас земля отчаяния и поэзии, но никто не воспевает ее. Впереди мы увидели стоящую полицейскую машину. Вокруг нее суетились увешанные оружием пятеро военных в форме и полицейский сержант. Она, по-видимому, сломалась. Остановились и мы. Напоили их и накормили из своих запасов, дали бензина. Они рассказали, что в племени марисаб одна женщина убила своего мужа и вот они, представители власти, едут ее арестовать, но не знают ни ее имени, ни имени убитого. Известно только, что убийца — женщина из племени марисаб и что убитый — ее муж. Впрочем, на месте — если аллах позволит им доехать — они непременно все расследуют и узнают. Племена марисаб, хававир, кабабиш, судьи, инспектора к северу от Кордофана, к югу от Шималии, к востоку от Хартума, пастухи у водопадов, старики и молодые, бедуины в войлочных шатрах над сплетениями вади — все они скоро узнают имя этой женщины. Конечно, так. Ведь не каждый день женщина убивает мужчину, тем более своего мужа, да еще в краю, где солнце испокон века не позволяет человеку, одержимому жаждой убийства, найти себе жертву — оно само с ним расправляется. Тут мне в голову пришла одна мысль, и я, обдумав ее со всех сторон, решил, наконец, сообщить мой вывод остальным и посмотреть, что будет дальше. Я попытался убедить их, что эта женщина не убивала мужа, что он умер естественной смертью, от солнечного удара. Умерли же Изабелла Сеймур и Шейла Гринвуд, Энн Химменд и Джейн Моррис. И тут тоже не было совершено никакого преступления. Никакого убийства. Ответил сержант:

— Все это мы знаем. Был у нас один такой начальник, майор Кук его звали, да будет проклято это имя.— И умолк.

Что толку? Их ничем не удивишь. Они уехали, а затем продолжили наш путь и мы. Солнце — наш смертельный враг. Оно захватило весь небосвод, застыло в зените — в самой печенке небес, как говорят арабы,— и взирало оттуда на бескрайние, опустошенные земли.

Оно способно неподвижно висеть там часами... или это только мне чудится? Кто знает. Стонали расколотые камни, рыдали навзрыд испепеленные деревья, расплавленное железо жалобно молило о пощаде. Ничего не ощущаешь — ни запаха, ни вкуса. Ничего. Ни хорошего, ни плохого.

Колеса машины с ненавистью и злобным ожесточением разбрызгивали камешки во все стороны.

Извилистый путь довольно скоро привел Мустафу Саида к катастрофе. Вероятно, она постоянно маячила перед ним, манила, заглядывала в глаза, нависала над ним так же явственно, как и солнце... и остается только удивляться, как мог образованный, наделенный недюжинным умом человек совершать такие глупости. Видимо, бог все-таки обделил его. Не дал ему истинной мудрости! Умный глупец! Метко же определил его сущность судья в Олд-Бейли перед тем, как вынести ему приговор. Очень метко!

А дорога... нет ей конца. Раскаленное солнце льет на землю жар, сияя так ослепительно, как может сиять только оно одно. Только оно. Пожалуй, я напишу миссис Робинсон в Лондон. Ее адрес хранится в моей памяти с той ночи, когда я слушал рассказ Мустафы Саида. Ее муж умер и похоронен в Каире, в гробнице имама Шафии. Тут нет ничего странного. Он ведь принял ислам. Мустафа Саид тог-

[1] Абу Нувас (или Абу Новас, 762—813) — знаменитый поэт эпохи Аббасидов. Слава Абу Нуваса связана с его застольной лирикой.

[2] Племя ад — мифическое племя великанов, упоминающееся в Коране.

да упомянул, что миссис Робинсон присутствовала на суде с самого начала и до конца. На протяжении всего процесса он хранил невозмутимое спокойствие, но после оглашения приговора вдруг заплакал. Он плакал у нее на груди, а она гладила его по голове, целовала в лоб и говорила: «Не плачь. Не надо плакать, милый мой мальчик». Джейн Моррис ей не нравилась. Она предостерегала его, отговаривала жениться на ней. Да, нужно написать миссис Робинсон. Вдруг она приоткроет завесу, вспомнит то, что Мустафа Саид забыл или не захотел вспомнить.

Война внезапно закончилась, завершилась победой. Огромное, раскаленное солнце утонуло в вечернем сумраке, смутном, тусклом, как хна на женских ступнях. Из долины Нила повеял легкий ветерок, неся с собой аромат, который волнует даже в воспоминаниях.

Мы остановились на привал, как некогда останавливались караваны. Оставалась еще добрая треть пути. Утолив жажду и немного подкрепившись, все дружно совершили вечернюю молитву. Шофер, у которого тотчас нашлись добровольные помощники, извлек из кузова бутыли с вином. А я отошел в сторону, растянулся на земле, закурил и весь погрузился в созерцание раскинувшегося надо мной огромного небесного шатра необыкновенной красоты. Получил свою порцию воды, бензина и масла и наш грузовик. Он был тих и задумчив, умиротворен, словно конь, добравшийся до родной конюшни. Война окончилась нашей общей победой.

Камни, песок, деревья, кустарник, верблюды, машина... и я — под этим великолепным, благодатным небом. Мне казалось, что все мы объединились в некое мимолетное и непрочное братство. И кто пьянствует, и кто совершает молитву, и кто обкрадывает своего ближнего, и кто прелюбодействует, и кто сражается, и кто совершает убийство — источник у всех один. Никому не дано знать помыслы аллаха. И возможно, что его ничто не трогает, что он ко всему равнодушен и ему равно чужды и гнев, и все прочие страсти.

В такую ночь человек ощущает необыкновенный прилив сил и энергии и, кажется, готов взобраться на небо по веревочной лестнице. Вокруг — земля поэзии. Кто знает, может быть, именно поэтому мою дочь зовут Амаль (надежда). Мы будем ломать, разрушать все старое, возводить новое, мы подчиним своей воле его величество солнце, уничтожим бедность, чего бы нам это ни стоило.

Шофер, молчавший весь день, вдруг запел. Не верилось, что этот удивительно приятный и звонкий голос принадлежит ему. Он пел песню своей машине, как пели своим верблюдам поэты-караванщики в древние времена:

> Руль твой выточен из стали.
> А шесть цилиндров работают, не зная сна, даже ночью.

Ему ответил другой голос:

> Мы хотим ехать из Даркала в Кампу
> и весело покачивать головой от радости, что мы едем.

Завидев наш привал, шоферы, ехавшие на юг и на север, тоже останавливались, и вскоре мы оказались в центре довольно большого импровизированного лагеря. Десятки людей ужинали, пили воду или вино, молились — каждый был занят своим делом. Затем все встали в один большой круг, на середину которого вышли несколько юношей и начали танцевать. Мы дружно хлопали в ладоши, притопывали, громко кричали. В самом сердце пустыни шло веселье — как и почему оно зародилось, ведомо лишь аллаху. Кто-то принес транзистор. Его бережно поставили прямо на землю посредине круга. Из приемника

лилась музыка. Теперь мы уже хлопали и плясали в такт ей. Неожиданно шоферы разошлись по своим машинам, завели их и, ловко маневрируя, расположили их кольцом вокруг танцующих и разом включили фары. Вспыхнул яркий, ослепительный свет — вряд ли здесь когда-нибудь видели что-либо подобное. Мужчины ахали, кричали пронзительно, как женщины, шоферы ритмично сигналили — симфония света и звуков в ночной пустыне! На шум и яркий свет из вади и с вершин окружающих холмов явились бедуины — мужчины и женщины. И вошли в круг. Днем они не привлекли бы ничьего внимания. Но здесь, ночью, они казались необыкновенно красивыми. Один бедуин зарезал барана и зажарил над костром, чтобы угостить всех. Кто-то принес два ящика пива и стал раздавать банки, приговаривая: «За здоровье Судана! За здоровье Судана!» Из рук в руки передавались пачки сигарет, коробки со сладостями. Бедуины пели танцуя. Веселье было в разгаре. Казалось, племя джиннов празднует свадьбу. Ночь и пустыня отзывались эхом на наш праздник, яркий, как фейерверк, и такой же недолговечный. Вот так в пустыне возникает смерч — покружит-покружит и исчезнет.

На рассвете мы расстались. Бедуины отправились к себе в вади. «До свидания,— кричали люди друг другу,— до свидания, счастливого пути». Все разошлись по своим машинам, взревели моторы. Фары давно погасли. И там, где совсем недавно царили радость и веселье, вновь вступила в свои права голая, безлюдная пустыня. Машины разъезжались в разные стороны — на юг, к Нилу, и на север — тоже к Нилу. Клубились облака пыли и исчезали, чтобы затем снова подняться к небу и снова исчезнуть. Из-за вершины горы Карари внезапно выскользнул диск солнца, вставшего над Омдурманом.

Глава восьмая

Пароходик повернулся по течению, с которым его машины не сумели справиться вовремя. Каждый раз повторялось одно и то же. Сиплый гудок, лодки, спешащие от противоположного берега, шум на пристани. Но сегодня все казалось иным.

Я сошел с парохода. Махджуб — на этот раз меня встречал он один — поздоровался со мной, избегая смотреть мне в глаза. Он был смущен, точно чувствовал себя виноватым. А может быть, он, наоборот, считал, что ответственность за все, что случилось, лежит на мне. Пожав ему руку, я торопливо спросил:

— Как же ты допустил это?

Он повернулся ко мне спиной и неторопливо, поправляя седло на знаменитой черной ослице, которая принадлежала моему дяде Абдель Кериму, пробормотал:

— Так уж получилось... А мальчики здоровы. Они у меня.

Всю дорогу я ни разу даже не вспомнил о мальчиках. Мои мысли занимала одна она.

— Что, собственно, произошло? — упрямо повторял я.

Махджуб, все так же пряча глаза, молча расправил мех на седле и затянул подпругу. Потом он вдруг схватил поводья и вскочил в седло. Я продолжал стоять, ожидая ответа, но не дождался и сел на свою ослицу. Только тогда Махджуб, наконец, сказал:

— Я ведь все сообщил тебе в телеграмме. Что толку снова копаться в этом? Только себя расстраивать. Мы не думали, что ты приедешь.

Пытаясь заставить его разговориться, я воскликнул:

— Если бы я тогда послушался твоего совета и женился на ней!

Но и это не помогло. Махджуб упорно молчал. Не трудно было заметить, что настроение у него самое скверное. Он сердито ударил ослицу каблуком, но она и ухом не повела.

— С той минуты как я получил телеграмму,— сказал я, пристально наблюдая за ним,— я не мог ни есть, ни спать, ни разговаривать. Трое суток в вагоне и на пароходе я спрашивал себя, как это могло случиться, но не находил ответа.

Словно сжалившись надо мной, он прервал молчание:

— На этот раз ты вернулся скорее, чем обычно.

— Да. Прошло всего тридцать два дня.

— Ты был в Хартуме?

— Да, на конференции.

Он оживился. Его всегда интересовали хартумские новости, особенно всякие сплетни: скандалы в министерствах, истории о подкупах, взяточничестве и коррупции.

— Так что же вы обсуждали на этот раз? — спросил он с любопытством.

Его вопрос меня покоробил — как можно так быстро забыть все, что здесь произошло.

Я нехотя ответил:

— Проводило конференцию министерство просвещения. На ней присутствовали представители двадцати стран, конечно африканских. Обсуждали, как добиться единства методов обучения на всем континенте. Я работал в секретариате. Вот, пожалуй, и все.

— А что толку? Сначала школы надо построить, а уж потом спорить о единстве методов и тому подобном. О чем только думают эти господа? Наши дети ходят в школу пешком за несколько миль, а они там тратят время на всякие конференции и пустую болтовню! Как будто мы не люди! Или мы не платим налоги? Неужели у нас нет никаких прав? Как поглядишь — все для них, для хартумских! Весь государственный бюджет только туда идет, в прорву эту. А у нас? Одна больница на весь округ, да и та в Мерве. За трое суток не доберешься! Женщины умирают от родов. На всю деревню ни одной акушерки. Что проку от того, что наш земляк служит в столице? Нет, ты скажи, что ты там делаешь для нас?

Моя ослица обогнала его осла, и я натянул поводья, чтобы держаться с ним рядом, но не стал ввязываться в спор. Потом в подходящее время я скажу ему все что нужно. Вот так у нас бывало и в детстве: один кричал на другого или лез драться, а через минуту мы мирились и все забывалось.

Но я был голоден, страшно устал и на душе точно кошки скребли. В другое время я бы отделался шуткой или нарочно довел Махджуба до белого каления, рассказав ему парочку-другую историй про конференцию. Но сегодня нам обоим было не до того. Как бы он возмутился, услышав, что у новых африканских господ самодовольные, сытые лица и волчьи пасти. На руках у них сверкают драгоценные перстни. Они благоухают дорогими духами. Их белые, синие, черные и зеленые одежды сделаны из великолепного мохера и дорогих шелков. На плечи небрежно накинуты леопардовые шкуры, обувь отражает огни свечей не хуже мраморного пола. Махджуб вряд ли отнесся бы спокойно к рассказу о том, как они девять дней изучали вопрос о судьбах просвещения в Африке, заседая в Зале независимости, который был построен специально для этой цели по проекту, сделанному в Лондоне, и обошелся в кругленькую сумму — более миллиона фунтов. Это здание из камня, бетона, мрамора и стекла имеет форму ротонды. Внутри оно отделано белым итальянским мрамором, украшено витражами и решетками из тика, мозаичный

пол устлан дорогими персидскими коврами, сводчатый потолок сверкает позолотой, а у стен высятся гигантские канделябры высотой с верблюда. Трибуна, на которой министры просвещения стран Африки сменяли друг друга в течение девяти дней,— из такого же красного мрамора, каким облицована гробница Наполеона в Доме инвалидов. Верхняя часть трибуны отделана черным полированным деревом. На стенах — картины, написанные маслом, а напротив входа красуется огромная карта Африки из разноцветного мрамора, на которой каждая страна обозначена своим цветом. Я должен буду рассказать Махджубу про аплодисменты, которыми были встречены следующие слова пространной речи одного оратора: «Необходимо устранить противоречия между тем, чему учат ученика в школе, и реальным положением народа. Каждый, кто учится сегодня, мечтает о мягком кресле под вентилятором, о доме с кондиционированным воздухом среди пышных садов, мечтает раскатывать в американской машине последней марки по широким проспектам. Если мы сейчас же не уничтожим с корнем опухоль в самом ее зародыше, у нас родится новый класс, класс буржуазии, не имеющий никакого отношения к нашей действительности, а это куда более опасно для Африки, для ее будущего, чем даже сам колониализм». И с какими же глазами я затем скажу Махджубу, что этот самый оратор покидает Африку на все лето и отдыхает на принадлежащей ему швейцарской вилле под Локарно, а его жена покупает вещи в Лондоне, отправляя их домой специальным самолетом. Как я могу сказать ему, что даже члены делегации, которую возглавляет этот человек, открыто и во всеуслышание называют его взяточником и продажной душой? Что, промотав отцовское наследство, он занялся торговлей, брал строительные подряды и нажил огромное состояние, жестоко эксплуатируя тех изможденных, полуголодных людей, которые в поте лица трудятся днем и ночью в джунглях?

Подобных субъектов не волнуют никакие проблемы, и они ничем не интересуются, кроме собственного желудка и женщин.

Да, в нашем мире нет ни справедливости, ни равенства. Мустафа Саид сказал: «Я не ищу славы, да и другие, такие, как я, ее не жаждут». Если бы он вернулся домой во всеоружии своего европейского образования, то, конечно, присоединился бы к этой волчьей стае. Все они с их красивыми, холеными лицами похожи на него. На приеме, устроенном в честь завершения конференции, кто-то из министров с гордостью упомянул, что Мустафа Саид был его учителем:

«Благодарю вас, вы напомнили мне о моем добром друге, с которым я был особенно близок в Лондоне. Доктор Мустафа Саид. Да, он был моим учителем еще в тысяча девятьсот двадцать восьмом году. В то время он возглавлял Ассоциацию борьбы за освобождение Африки, а я был членом исполкома. Что это был за человек! Один из самых замечательных африканцев, каких я когда-либо знал. Связи у него были поистине огромные. О боже, что это был за человек! Женщины липли к нему как мухи. И он не раз говорил в шутку: «Я освобожу Африку с помощью моего...». И министр засмеялся так, что у него задергался кадык. Я хотел было расспросить его поподробней, но он скрылся в толпе высокопоставленных гостей...

Но теперь Мустафа Саид больше не занимал мои мысли — телеграмма Махджуба все перевернула. Когда я прочитал ответ миссис Робинсон на мое письмо, я ощутил большую радость. Но в поезде, пытаясь отвлечься, я перечитал его вторично, и оказалось, что мой интерес к нему угас.

Наши ослы неторопливо трусили по дороге. Из-под их копыт взлетали камешки.

— Почему ты молчишь? Все-таки ты домой приехал! Или ты онемел? Ну скажи хоть что-нибудь.

— Видишь ли, от чиновников моего ранга ничего не зависит. Если начальство отдает распоряжение, мы его выполняем, как же иначе? Кстати, ты ведь председатель местного комитета народно-демократической партии. Это — правящая партия. Почему бы тебе самому не излить на этих господ свой гнев?

— Если бы не...— начал Махджуб виноватым тоном.— Видишь ли, не будь этой истории, так оно, наверно, и вышло бы. В тот самый день наша делегация должна была поехать в столицу провинции с просьбой о постройке большой больницы, средней школы для мальчиков, начальной — для девочек и сельскохозяйственной школы, но...— Тут он неожиданно умолк с расстроенным видом.

Я взглянул влево, на реку. Звуки, которые доносились оттуда, как всегда, таили в себе опасность. Затем впереди замаячили куполообразные усыпальницы. Значит, скоро мы поравняемся с кладбищем. И вновь на меня нахлынули воспоминания.

— Мы похоронили ее на рассвете без лишнего шума,— продолжал Махджуб.— Женщинам приказали не причитать. Поминок не устраивали и никого посторонних не извещали. Потом приехали полицейские. Началось следствие. Очень неприятная история.

— Какое следствие? — растерянно спросил я.

Махджуб устремил на меня немигающий взгляд и заговорил только после долгой паузы:

— Через неделю, а точнее через десять дней после твоего отъезда, ее отец во всеуслышание заявил, что он дал обещание Вад ар-Раису и намерен его исполнить. Короче говоря, ее с ним обручили. Отец ругал ее, бил и кричал: «Ты выйдешь за него, выйдешь! Мало ли что тебе не хочется». Я не присутствовал на церемонии. Да и вообще там почти никого не было. Разве Бакри, твой дед да Бинт Махджуб — ну, его друзья, как ты знаешь. По правде сказать, я пытался отговорить Вад ар-Раиса от этой женитьбы, но ничего не вышло. Он как обезумел. Потолковал я и с ее отцом, но тот слушать ничего не хотел. И только твердил, что не желает быть посмешищем. И без того всюду сплетничают, будто дочь не слушается его. Я посоветовал Вад ар-Раису не спешить после свадьбы, а дать ей время свыкнуться, не торопить ее. Она прожила в его доме две недели и ни с кем не сказала ни слова. Молчала как немая. А он стал совсем не в себе. Даже трудно себе представить. Сумасшедший и только. Представляешь, кричал направо и налево, что в доме живет женщина, на которой он женат по закону аллаха и его пророка, а между тем она ему и не жена вовсе. Мы его убеждали: «Погоди, все образуется. Успокойся. Все будет хорошо».

Внезапно наши ослы заревели, и я от неожиданности чуть не свалился с седла.

Первые два дня я расспрашивал соседей, но никто мне ничего вразумительного не сказал. Стоило хотя бы намекнуть на случившееся, как все сразу отводили взгляд, точно были соучастниками преступления.

— Почему ты бросил все свои дела и приехал? — спросила меня мать.

— А как же мальчики? — ответил я ей.

Она посмотрела на меня испытующим, проницательным взглядом и сказала:

— Мальчики? Или их мать? Что было между вами? Ведь она приходила к твоему отцу и просила: «Скажите своему сыну, пусть он на мне женится». Какая наглость, какое бесстыдство! Вот они — нынешние женщины! Не поймешь что. Но и ты тоже очень виноват.

Мой дед тоже мне ничем не помог. Когда я пришел к нему, он лежал на тахте, точно мертвый, таким я его еще никогда не видел. Будто источник его жизни внезапно иссяк. Я сидел с ним рядом, а он лежал и молчал. Только глубоко вздыхал время от времени, переворачивался с боку на бок и шептал: «Боже, спаси меня, спаси от проклятого шайтана». И каждый раз мое сердце болезненно сжималось, словно между мной и шайтаном была какая-то связь. Потом много времени спустя он пробормотал, глядя в потолок:

— Покарай их боже, покарай. Женщины — сестры шайтана. Вад ар-Раис. Вад ар-Раис.

Он разразился рыданиями. Никогда в жизни я не видел, чтобы дед плакал. А теперь он плакал. Потом утер слезы рукавом и затих. Я даже подумал, не заснул ли он. Однако несколько секунд спустя я услышал, что он бормочет:

— Да смилуется над тобой аллах, Вад ар-Раис. Да дарует он тебе прощение и будет к тебе милостив! — Помолчав, он добавил: — А какой был человек! Удивительный! А уж веселый... Всегда смеялся, а в трудные минуты не терял головы. И на просьбу никогда не отвечал отказом. Доброе у него было сердце. Пусть аллах даст ему услышать мои слова. Всему наступает конец. Такова воля божья. Да. И ведь в нашей деревне ничего подобного не случалось с той поры, как создал ее аллах. Ну и времена пошли.

Я не удержался и спросил:

— Но что же случилось?

Дед словно не слышал. Он долго перебирал четки, а потом добавил, точно говорил сам с собой:

— Одни несчастья принесло это племя. Говорил же я ему: эта женщина — проклятье божье. Оставь ее. Откажись. Не послушал. Вад ар-Раис... Вад ар-Раис...

На третий день утром я сунул в карман бутылку виски и пошел к Бинт Махджуб. Если уж Бинт Махджуб мне ничего не скажет, то никто не скажет. Бинт Махджуб отлила половину виски в пестрый кувшин и сказала:

— Видно, тебе что-то нужно. Такого зелья мы тут и не пробовали. Ну-ка, в чем дело? Говори же...

— Я хочу знать, что, собственно, произошло, но ни от кого путного слова добиться не могу... все точно в рот воды набрали.

Она отпила из кувшина большой глоток, нахмурилась и сказала:

— Просто язык не поворачивается рассказать тебе, что сделала Бинт Махмуд. Такого здесь прежде не случалось и, наверно, никогда больше не случится.

Сдерживая нетерпение, я покорно ждал, пока содержимое кувшина не убавилось на треть. Виски не сразу подействовало на нее, но она заметно повеселела. Наконец Бинт Махджуб отодвинула кувшин и произнесла решительно:

— Ну вот и хватит. Уж очень крепкая водка у христиан, не то что наша финиковая!

Я умоляюще посмотрел на нее.

— То, что я тебе расскажу сейчас, ты ни от кого не услышишь. Все это зарыли в землю, похоронили вместе с Бинт Махмуд и бедным Вад ар-Раисом. От печальных слов во рту остается горечь.

Затем она испытующе посмотрела на меня своими смелыми глазами и сказала:

— Но, пожалуй, эти слова не очень удивят тебя. Особенно, если...

Она замолчала и отвела взгляд, но я не хотел, чтобы на этом все кончилось, и поспешил сказать:

— Мне нужно узнать, что же здесь произошло. Ведь это известно в деревне всем. Да, всем, кроме меня, и я не понимаю, почему так, в чем тут дело?

Я протянул ей сигарету, и, глубоко затянувшись, она продолжала:

— Ну так вот. После вечерней молитвы, когда я уже спала, меня вдруг разбудил какой-то шум. Слышу крик. И показалось мне, что это Бинт Махмуд кричит в доме Вад ар-Раиса. А вокруг все было тихо, точно деревня вымерла. Клянусь аллахом, я еще подумала: наконец-то! Значит, Вад ар-Раис сумел ее образумить. Ведь он, бедняга, чуть было не помешался. Каково это — две недели жить в одном доме с женщиной, которая ни слова не говорит и не дает пальцем до себя дотронуться. Прислушалась и слышу какой-то вой, иначе не скажешь. Боже милостивый, прости меня. Мне ведь смешно стало. Ну, говорю себе, все мужчины на одну колодку, и Вад ар-Раис не лучше и не хуже всех прочих. А кричат все громче. Тут слышу в доме Бакри, рядом с домом Вад ар-Раиса, словно бы всполошились и забегали. А потом сам Бакри увещевает кого-то: «Постыдились бы! Так вопят только те, кто творит всякие скверные дела». И сразу заговорила Саида, жена Бакри: «Дочка, побереги свою честь, не срамись! Ты ведь не молоденькая невеста». А Бинт Махмуд знай кричит все громче. И вдруг все заглушил вопль Вад ар-Раиса: «Бакри! Хаджа Ахмад! Убили, убили. Люди! Спасите! Бинт Махмуд меня убила!» Тут я вскочила, набросила на себя одежду и кинулась бежать что есть мочи. Бегу мимо дома Бакри, затем Махджуба. Подбегаю я к дому Вад ар-Раиса и вижу — калитка заперта. Кричу во всю мочь. Я туда, сюда. Никто не открывает. Тут прибежал Махджуб, за ним Бакри, а потом я и считать перестала. Чувствуют все: что-то случилось, а что — не знают. Навалились разом и вышибли калитку, и вдруг раздается душераздирающий крик, да такой, что он, казалось, мог обрушить горы. Кричал Вад ар-Раис. И сразу же словно в ответ закричала Бинт Махмуд. Так же пронзительно. Мы вошли, то есть я, Махджуб и Бакри. Я сказала Махджубу: «В дом никого не пускай. Особенно женщин!» Махджуб вышел и распорядился, чтобы в дом никто не входил. А сам вернулся с твоим дядей Абдель Керимом, Саидом и Ат-Тахир ар-Раваси. Твой дед тоже дома не усидел и пришел с ними.— По лицу Бинт Махджуб текли струйки пота. У нее пересохло в горле, и она пальцем показала мне на кувшин. Я принес ей воды. Она выпила, вытерла пот с лица и продолжала: — О великий аллах, прости его и будь к нему милостив! Мы нашли их обоих в маленькой комнатке, выходящей на улицу. Там горела лампа. Вад ар-Раис лежал совсем нагой, а одежда на Бинт Махмуд была вся разорвана. На циновке лужа крови. Я взяла лампу и подошла ближе. Лицо и тело Бинт Махмуд было все в ссадинах и царапинах. И живот, и бедра, и шея. Грудь прокушена насквозь. Нижняя губа разбита. На все воля божья! А Вад ар-Раис весь в ранах. Я больше десяти насчитала на животе, на груди...

Бинт Махджуб замолчала, тяжело дыша. Потом, собравшись с силами, она продолжала:

— От судьбы, видно, не уйдешь. Она лежала на спине с ножом в сердце. Рот открыт, а глаза... глаза совсем как у живой. Язык Вад ар-Раиса был высунут, а руки раскинуты.

Бинт Махджуб опять замолчала и закрыла лицо рукой. По ее пальцам стекали капли пота, а грудь тяжело вздымалась.

— О великий боже! — хрипло произнесла она.— Оба были мертвы. Пришел их час. Из сердца Бинт Махмуд еще струилась теплая кровь. Она стекала и по ногам Вад ар-Раиса. Кровь была всюду — на циновке, на кровати и на полу. Только один Махджуб, да продлит аллах ему жизнь, сохранил присутствие духа. Когда во дворе раздался голос Мах-

муда, Махджуб велел своему отцу впустить его в дом, а сам с другими мужчинами перенес тело Вад ар-Раиса в другую комнату. Мы с женой Бакри и еще двумя женщинами постарше обмыли тело Бинт Махмуд. В ту же ночь мы завернули их в саваны и отнесли на кладбище, чтобы похоронить до восхода солнца. Ее мы положили рядом с ее матерью, а Вад ар-Раиса — рядом с его первой женой, Бинт Раджаб. Некоторые женщины начали было причитать, но Махджуб, да благословит его аллах, разогнал их и пригрозил: «Той, кто хоть раз раскроет рот, не сносить головы». Подумай сам, сынок, как тут было их оплакивать. Такое несчастье для всей нашей деревни. Аллах всегда оберегал нас. А тут, наверно, отступился от нас. О боже милостивый, прости нас и прими наше покаяние.

И она заплакала — горько, как мой дед. Плакала она долго, потом вдруг улыбнулась сквозь слезы и сказала:

— А знаешь, что удивительно? Мабрука, старшая жена Вад ар-Раиса, все это время спокойно спала в своей комнате, хотя на крики прибежали люди даже с другого конца деревни. Я к ней пошла, растолкала, а она приподнимает голову и спокойно спрашивает: «Что ты тут делаешь, Бинт Махджуб? Чего это ты ходишь по гостям в такой поздний час?» Вставай, говорю я ей, ты тут спишь, а у вас в доме произошло убийство! Она даже бровью не повела и без всякого интереса спрашивает: «Убийство? Кого же это убили?» Бинт Махмуд, говорю, убила Вад ар-Раиса и себя. «Вот беда-то! Мне же еще только шестьдесят лет!» — пробормотала она и опять заснула. Мы обряжали Бинт Махмуд, а она храпела на весь дом. А потом, представляешь, вернулись мы с похорон, глядим — сидит она себе спокойно за столом и попивает кофе. Ну, женщин сошлось немало, и кое-кто начал было оплакивать покойных, а она как закричит: «Что вы, женщины! Всякий человек живет, сколько ему судьбой назначено. Вад ар-Раис вырыл себе могилу собственными руками. Бинт Махмуд, благослови ее аллах, освободила от него и молодых и старых». Сказала и только что не засмеялась. Клянусь аллахом, сынок, так оно и было. В этот скорбный час она не скрывала радости. О великий боже, прости нас и сохрани! А Махмуд, ее отец, в ту ночь чуть было не задохнулся от рыданий. Никак не мог успокоиться. В голос плакал твой дед, и ругался, и стучал палкой, и кричал, и плакал. А твой дядя Абдель Керим даже подрался с Бакри. И непонятно из-за чего. Он сказал Бакри: «Рядом с тобой режут и убивают, а ты спишь как младенец». Все в деревне в ту ночь прямо как ополоумели. Только Махджуб не терял головы. Он все устроил и уладил. Где-то раздобыл саваны, успокоил детей Вад ар-Раиса, когда они было подняли шум. Поверь мне, сынок, такого и аллах не видел. От этого разрывается сердце и седеют новорожденные. И почему все так вышло? Один аллах знает. Ведь жила же она с пришлым человеком, а вот на Вад ар-Раиса и смотреть не хотела. Ну почему?

На полях горят костры. К небу тянется дым. Настало время готовиться к севу пшеницы. Расчищают землю, собирают стебли кукурузы, листья — все, что напоминает о прошлом урожае. Сгребают в кучи и сжигают. Черная земля готова для вспашки. Мужчины приводят в порядок мотыги и плуги. Верхушки финиковых пальм покачиваются под легким дуновением ветра и замирают. Над полями клевера, опаленными жгучим африканским солнцем, в полдень колеблется горячее марево. Ветер напоен ароматом цветущих лимонных, апельсиновых и мандариновых деревьев. Как всегда, мычат быки, ревут ослы, стучит топор, рубящий дрова. И тем не менее перемены есть. Махджуб с ног до головы был выпачкан землей. По его обнаженной груди и спине градом катился пот. Он с ожесточенным упорством пытался отде-

лить от пальмы молодые побеги. Я не поздоровался с ним, чтобы не мешать, а он все окапывал побег и даже не оглянулся на меня. Я молча наблюдал за ним, а потом закурил сигарету и протянул ему пачку, но Махджуб только мотнул головой. Ну что же! Я прислонился к стволу пальмы и, запрокинув голову, принялся разглядывать ее вершину. Да, я здесь лишний. Почему я не упаковываю чемодан и не уезжаю? Почему? Разве можно хоть чем-нибудь пронять этих людей? Нет. У них свои твердые представления. И на все есть готовый ответ. Родился ребенок — не радуются. умер кто-нибудь — не печалятся. Если смеются, то говорят: «О боже милостивый, прости!», а плачут, так тоже говорят: «О боже милостивый, прости!» Нет, от них не услышишь: «Чему я, собственно, научился? Что я знаю?» Они так не говорят. А чему они действительно научились, так это молчанию. Молчанию и терпению. Их этому научили река и деревня.

Ну а я, чему я научился? Я заметил, что Махджуб покусывает нижнюю губу, как делал всегда, обдумывая какое-нибудь решение. Когда мы в детстве боролись или бегали наперегонки, верх, как правило, одерживал я, но зато плавал он лучше меня и на пальмы взбирался быстрее. В деревне не было пальмы, на которую он не мог бы вскарабкаться за считанные секунды. Любили мы друг друга, как родные братья...

Когда, наконец, Махджуб отделил побег — это очень не простое дело,— он аккуратно замазал глиной рану на стволе, а побег очистил от налипшей на него земли и положил сушиться на солнце. Тут я сказал себе, что, пожалуй, лучшего времени для разговора по душам найти трудно. Он отошел в тень пальмы, где стоял я, сел и вытянул ноги. Немного помолчал, потом, тяжело вздохнув, пробормотал: «О боже милостивый, прости!» — и протянул руку за сигаретой.

Я давно заметил, что он курит, только когда я приезжаю в деревню, и при этом неизменно приговаривает: «Мы сжигаем, превращаем в пепел, в дым деньги правительства».

Не докурив, он бросил сигарету и сказал:

— У тебя скверный вид. Ты, конечно, устал после поездки. И совсем необязательно было приезжать... Когда я давал тебе телеграмму, так совсем не думал, что ты сразу примчишься.

— Она убила его и убила себя,— сказал я словно про себя.— Нанесла ему больше десяти ран... Ужасно!

Он резко повернулся ко мне и смерил меня удивленным взглядом.

— Кто тебе это сказал?

А я продолжал, точно его здесь не было и он не ждал моего ответа:

— Он прокусил ей грудь, все ее тело было в синяках и царапинах. Как все это отвратительно!

Махджуб сердито крикнул:

— Ну, конечно, это Бинт Махджуб тебе все выложила. Будь она проклята! Кто ее просил? Не могла промолчать. Зачем, зачем, спрашивается, она все это наболтала?

— Ну и что? — сказал я.— Говори не говори, это ведь случилось. Прямо у вас у всех на глазах. А вы? Что вы сделали? Да ничего, ровным счетом ничего... Вот, ты... ты же здесь самый первый человек! И ты тоже ничего не сделал.

— А что нам было делать? Ты сам что-нибудь сделал? Почему ты не женился на ней? Только и умеешь болтать языком. А этой женщине храбрости было не занимать. Она даже сказала: «Да разве не бывало женщин, которые сами сватали себе мужей?»

— Что, что? Что она сказала? — воскликнул я.

— Это дело прошлое. Что толку сейчас говорить? Я благодарю аллаха, что ты на ней не женился. Того, что она натворила, человек сделать не мог. Нет, это не дело рук человеческих, а деяние шайтана.

— Так что она сказала? — повторил я медленно, подчеркивая каждое слово.

Махджуб недовольно взглянул на меня:

— После того как ее отец зашел к ней и выбранил, она явилась ко мне на следующее утро, только солнце взошло, и умоляла, чтобы ты спас ее от Вад ар-Раиса и брака поневоле. Пусть ты только заключишь брачный контракт, а больше ей ничего не нужно. Она будет жить с детьми. Как жила. Только этого она и хочет. Но я ей сказал, чтобы она не впутывала тебя в это дело, и посоветовал смириться. Жизнь есть жизнь. Отец за нее отвечает и волен поступать как считает нужным. А Вад ар-Раис не вечен, сказал я ей. Он долго не протянет. В общем, оба они совсем свихнулись. Так в чем же мы виноваты? Что можно было сделать? Вот ее отца жаль. Он с того злополучного дня не встает с постели. Не выходит из дома и к себе никого не пускает. Чего ты хочешь от меня, если весь мир лишился рассудка? Да ты хоть понимаешь, что Бинт Махмуд такое сделала, о чем никогда прежде и не слыхал никто!

С трудом удерживая слезы, я сказал:

— Нет, не может быть! Нет, Хасана не была сумасшедшей. Во всей деревне не нашлось бы женщины разумней. Это вы все лишились рассудка. А она была самой умной и самой красивой. Нет, нет, сумасшедшей она не была.

А Махджуб смотрел на меня и вдруг захохотал. Он просто задыхался от смеха.

— Нет, вы только подумайте! И он туда же. Возьми себя в руки. Значит, ты тоже влюбился. Свихнулся, как Вад ар-Раис! Заучился до того, что утратил мужественность. Готов расплакаться как женщина. Это уму непостижимо. О боже! Тут тебе и любовь, и болезнь, и слезы. Ну, куда это годится? Да она гроша ломаного не стоила. Мы бы и хоронить ее не стали, если бы не позор. Бросили бы в реку или оставили бы на съедение стервятникам, и дело с концом! А ты?..

Я плохо помню, что было дальше, мои руки сжались на шее Махджуба. Помню его вытаращенные глаза и сильный удар, который я получил в живот, помню, как Махджуб навалился мне на грудь. Как я повалил его на землю и пинал ногами. Помню, как он кричал: «Сумасшедший. Сумасшедший».

Помню шум, и крики, и горло Махджуба под моими пальцами. И бульканье, хрип. Меня куда-то тащили, а потом тяжелая дубинка обрушилась на мою голову.

Глава девятая

Неожиданно мир перевернулся вверх дном. Любовь? Нет, любовь на это не способна. Это — ненависть. Ей все под силу. Я ненавижу, я жажду мщения, а мой соперник там, внутри, но я непременно должен встретиться с ним лицом к лицу. Правда, что-то в моем сознании настойчиво шепчет, что это нелепость.

Я начну с того, чем кончил Мустафа Саид, хотя он в отличие от меня, по крайней мере, сам сделал свой выбор, а я как был, так и остался на полпути — не выбрал ничего. Солнечный диск на западе какое-то время неподвижно висел над самым горизонтом, а потом вдруг исчез, точно растворился во мраке. И сразу в нападение ринулось притаившееся в засаде войско тьмы и тотчас овладело всем миром.

Скажи я ей всю правду, она, возможно, не сделала бы того, что она сделала. Я же проиграл сражение, потому что не знал, как поступить, и не принял никакого решения.

Я долго стоял перед железной дверью.

Теперь я совсем один-одинешенек, мне негде приклонить голову, негде укрыться, меня никто не защитит. До этого мгновения мой мир там, вне этих стен, был огромен, а теперь он сузился, и к тому же все перевернулось вверх дном. Я остался один в мире, и весь мир — это я, а больше ничего не существует. Так где же корни, уходящие в прошлое? Куда ушли размышления о жизни и смерти? Что произошло с караванами и племенами? Куда делись счастливые возгласы юных невест, разливы Нила, южные и северные ветры летом и зимой? Любовь? Любовь на это не способна. Это — ненависть. И вот я стою в доме Мустафы Саида перед железной дверью, дверью в длинную комнату со сводчатым потолком и зелеными окнами. Ключ у меня в кармане, а мой соперник там, внутри, за дверью, и на его лице несомненно выражение дьявольской радости. Я — его наследник. Мы оба влюблены в одну и ту же женщину, и я — его соперник.

Ключ без труда повернулся в замке, и дверь отворилась. На меня пахнуло сыростью и ароматом старых воспоминаний. Мне знаком этот запах. Это запах сандала и жженого алоэ. Я вошел в темноту, находя дорогу на ощупь, касаясь пальцами стены. Вот окно. Я открыл его настежь и распахнул ставни. Потом второе и третье. Но с улицы в комнату вливалась лишь темнота. Я зажег спичку, и свет ударил меня по глазам, как взрывная волна. Из темноты выплыло мрачное лицо с плотно сжатыми губами. Оно было мне знакомо, но я давно его забыл.

И я сделал еще шаг, шаг по тропе ненависти. Вот он мой соперник, мой враг — Мустафа Саид. Вслед за лицом появилась шея, за ней — плечи и грудь, затем туловище и ноги. И тут я увидел, что стою лицом к лицу с самим собою. Разве это Мустафа Саид? Нет. Это я сам. В зеркале отражалось мрачное, нахмуренное лицо. Но тут отражение исчезло, вокруг вновь сомкнулась мгла. Я долго сидел в темноте, не знаю, как долго, и прислушивался. Но так ничего и не услышал. Я зажег вторую спичку, и мне улыбнулась какая-то женщина горькой улыбкой. Я сидел в оазисе света, окруженный видениями тьмы. Поглядев по сторонам, я вдруг увидел на столе возле своей руки старую лампу. Я встряхнул ее и услышал всплеск керосина. О чудо! Я зажег лампу, и тьма отступила, раздвинулись стены, а потолок поднялся вверх. Я вывернул фитиль, и свет стал ярче. Затем я закрыл окна. Пусть сохранится этот запах, запах кирпича, дерева, жженого алоэ и сандала... и книг. О боже! Все четыре стены заставлены ими от пола до потолка. Полки, полки, книги, книги, книги. Я закурил сигарету, и мои легкие наполнились чуждым запахом. Глупец! Разве так поступает человек, когда он хочет открыть новую страницу своей жизни? Я помешаю ему. Я сожгу ее. И я поджег тонкий ковер у своих ног и стал следить, как пламя пожирало персидского шаха, скачущего с копьем в руках за газелью. Я поднял повыше лампу и увидел, что весь пол устлан персидскими коврами. В стене напротив двери зияла темная дыра. Держа лампу в руке, я направился туда и увидел... камин. Да, представьте себе, типичный английский камин с медной решеткой, спереди облицованный синим мрамором. Пол перед ним был тоже выложен мрамором, а по сторонам стояли два викторианских кресла, обитых пестрым шелком, и круглый столик с книгами и тетрадями. И вдруг я увидел лицо той женщины, которая улыбнулась мне несколько минут назад. На каминной полке стоял довольно большой, написанный маслом портрет в золоченой раме. В правом углу виднелась подпись «М. Саид». Огонь в середине комнаты не только не угас, но грозил превратиться в

пожар. Чтобы погасить его, мне пришлось сделать восемнадцать шагов. Я вытаптывал огонь и считал шаги. Я жаждал мщения, искал способа отомстить, но не мог справиться с собственным любопытством. Нет, сначала я все посмотрю, всю узнаю, а уж потом подожгу, чтобы все это исчезло без следа.

Книги... При свете лампы я увидел, в каком порядке они расставлены. Книги по экономике, исторические труды, художественная литература. Зоология. Геология. Математика. Астрономия. Британская энциклопедия. Гиббон... Макколей... Тойнби. Собрание сочинений Бернарда Шоу. Кейнс. Смит. Робинсон, «Краткий курс экономики конкуренции», Гибсон, «Империализм». Робинсон, статья «О марксистской политэкономии». Социология. Сексология. Психология. Томас Гарди. Томас Манн. Томас Мор. Вирджиния Вулф. Витгенштейн. Эйнштейн. Брейерли. Намийир.

Книги, которые мне были известны, и книги, о которых я даже ничего не слышал. Сборники стихов поэтов, о существовании которых я даже не подозревал. Дневник Гордона. «Путешествия Гулливера». «История французской революции» Томаса Карлейля. «Лекции о французской революции» лорда Эктона. Книги в переплетах. Книги в мягких обложках. Старинные книги в сафьяновых переплетах. Совсем новые книги, будто только что из типографии. Фолианты, огромные, как надгробия. Маленькие, величиной не больше игральной карты, томики с позолоченными корешками. Автографы. Посвящения. Книги в ящиках. Книги на стульях. Книги на полу, книги повсюду. Что это? Что за спектакль? Для чего все это? Оуэн. Форд. Стефан Цвейг. А. Г. Браун. Ласки...

Коран на английском языке. Библия на английском языке. Гилберт Меррей. Платон. Мустафа Саид, «Экономика империализма». Мустафа Саид, «Империализм и монополии». Мустафа Саид, «Крест и порох». Мустафа Саид, «Ограбление Африки». Просперо Викельбан. «Тотем и табу». И ни одной арабской книги! Какое-то кладбище. Склеп. Безумие. Тюрьма. Насмешка. Сокровищница. Сезам, откройся и отдай людям свои богатства.

Потолок — из дуба, в центре комната делится пополам аркой, которая опирается на две колонны из желтого мрамора с красноватыми прожилками. Арка облицована керамической плиткой с ярким бордюром. Я стою перед круглым темным полированным столом и никак не могу определить, из какого он дерева. Вокруг стола стоят пять кожаных стульев с высокими резными спинками. Справа софа с обивкой из синего бархата. Подушки на ней из... я потрогал их рукой. Да, верно — они из страусовых перьев. Справа и слева от камина я теперь увидел вещи, которые сразу не заметил. Справа длинный стол, а на нем — серебряный канделябр с десятью свечами, которых еще ни разу не касался огонь. Слева — такой же стол с канделябрами. Я зажег свечи одну за другой, и они озарили портрет на каминной полке. Продолговатое женское лицо с огромными глазами, глядящими из-под гордых бровей. Нос немножко крупноватый, чуть улыбающийся рот. Тут я заметил, что застекленные книжные полки у этой стены упираются в белые шкафы, обрамляющие камин и выступающие вперед фута на два. Я начал рассматривать фотографии за стеклянными дверцами полок. Мустафа Саид смеется, Мустафа Саид пишет, Мустафа Саид купается, Мустафа Саид за городом, Мустафа Саид в университетской мантии, Мустафа Саид гребет, Мустафа Саид на рождестве с короной на голове, в костюме одного из трех царей, которые принесли Христу благовония и мирру. Мустафа Саид между мужчиной и женщиной. Да, ничего не скажешь, Мустафа Саид запечатлел каждый момент своей жизни — то ли на память, то ли для истории. Я взял женскую

фотографию, внимательно рассмотрел ее и прочитал надпись: «От Шейлы со всей любовью».

Конечно, это — Шейла Гринвуд. Дочь фермера, которую он соблазнил подарками и вкрадчивыми речами, очаровал всевидящим и властным взглядом. Он одурманил ее запахом жженого алоэ и сандала. На фотографии мило улыбающееся лицо. На шее ожерелье — наверно, то, из слоновой кости... Обнаженные руки, высокая грудь. Днем она работала официанткой в кафе, а вечером училась в политехническом институте. Умная девушка, она верила, что будущее принадлежит рабочему классу, что придет наконец день, когда исчезнут все привилегии, все, что разделяет людей, и они станут братьями. Она говорила ему: «Моя мать сойдет с ума, а отец убьет меня, если они узнают, что я люблю темнокожего мужчину, но мне все равно». Он рассказывал: «В моих объятиях она напевала мне песни Мэри Ллой. Я проводил вечера по четвергам в ее комнате в Камден-Тауне, а иногда она ночевала у меня. Она целовала мое лицо и говорила: «Язык у тебя алый, как закат в тропиках». Я не мог насытиться ею, а она — мной. Каждый раз она разглядывала меня, словно в первый раз, и говорила: «Как прекрасен, как очарователен темный оттенок твоей кожи, цвет колдовства, таинств и страсти». Она покончила с собой. Почему Шейла Гринвуд кончила жизнь самоубийством, господин Мустафа Саид? Почему? Я знаю, ты прячешься где-то здесь, в этой усыпальнице фараона, но не сомневайся, я сожгу ее, сожгу непременно, у тебя на глазах.

Почему Хасана, дочь Махмуда, убила шейха Вад ар-Раиса и себя, убила в деревне, где никто и никогда не убивал?

Я взял другую фотографию и прочитал слова, написанные твердым косым почерком: «Твоя навсегда. Изабелла». Несчастная Изабелла Сеймур. К ней я не чувствовал особой симпатии. Круглолицая, чуть полноватая, в короткой юбке по моде тех лет. Отнюдь не бронзовая статуя, как он ее описывал. Открытое, доброе и жизнерадостное лицо. Она улыбается. Да. Она тоже улыбается. Он говорил мне, что Изабелла Сеймур была женой преуспевающего модного хирурга, матерью трех детей — двух девочек и мальчика. Одиннадцать лет ее жизнь шла размеренно и счастливо. По воскресеньям она аккуратно посещала церковь, состояла в благотворительных обществах. Потом встретила его и обнаружила в тайниках своей души неведомое, прежде запертое на замок. И чем бы это ни было, она оставила ему записку: «Если на небе есть бог, он, я уверена, не осудит безрассудства женщины, которая не нашла в себе силы бороться со счастьем, ворвавшимся в ее сердце, хотя ее поведение не только больно оскорбило самолюбие ее мужа, но и противоречило всем нормам морали, принятым в ее среде. Да простит меня бог и пошлет тебе такое же счастье, какое он даровал мне».

У меня в ушах звучит чуть глуховатый голос Мустафы Саида, то громкий, совершенно отчетливый, то тихий, замирающий. В ту ночь в нем не слышалось ни грусти, ни сожаления. Если что-то и можно было уловить, так скорее радость. «Я слышал, как она умоляла меня, говорила мне кротко: «Я люблю тебя». И ее голос находил отзвук в глубинах моего сознания — оно призывало меня остановиться. Но ведь до вершины оставался лишь шаг, а там мне можно будет отдохнуть и собраться с силами. И вот наконец мы достигли вершины страдания, апогея муки. У моих ног клубятся облака воспоминаний, далеких и старых. Они окутывают меня подобно испарениям, которые поднимаются над соленым озером в сердце пустыни. Когда на суде ее муж шел к скамье свидетелей, я не спускал с него глаз. Это был человек с благородной внешностью и мужественной походкой, он гордо нес свою

седую голову и держался с несомненным достоинством. Если бы нас обоих поставили на весы жизни, он бы, наверно, меня перевесил.

Представь себе, он был свидетелем не обвинения, а защиты. В воцарившейся в зале суда тишине отчетливо прозвучал его голос: «Справедливость требует, чтобы я сказал здесь, сейчас, что моя жена Изабелла знала, что больна раком. В последнее время у нее бывали острые приступы депрессии. За несколько дней до смерти она призналась мне, что у нее была любовная связь с подсудимым. Она сказала, что любила его и ничего не могла с собой поделать. Бороться с собой было выше ее сил. Всю нашу совместную жизнь она была безупречной женой. И несмотря ни на что, я не чувствую в душе никакой горечи ни по отношению к ней, ни по отношению к обвиняемому. Я ощущаю лишь глубокую скорбь, потому что потерял ее».

На свете нет ни справедливости, ни гармонии. И я чувствую горечь, ощущаю ненависть. Ведь ко всем этим жертвам он, расставаясь с жизнью, добавил еще одну. Хасана, дочь Махмуда, единственная женщина, которую я любил, убила злополучного Вад ар-Раиса и себя, убила из-за Мустафы Саида. Ну довольно, хватит... О боже, какая низость!

Я увидел фотографию в кожаной рамке. Ну конечно, это — Энн Химменд, конечно она, хотя на ней арабская аба и укаль[1]. В нижнем правом углу фотографии написано по-арабски неуверенным почерком: «От твоей рабыни Сусанны». Лицо живое, дышащее таким здоровьем, что фотография не способна его передать. Две ямочки на каждой щеке, пухлые губы, полураскрытые глаза светятся любознательностью. Хотя этой фотографии уже много лет, она совсем не выцвела и не потускнела.

«В противоположность мне она страстно мечтала о тропиках, палящем солнце и горизонтах, затянутых лиловой дымкой. Я был для нее живым олицетворением ее мечты. А я — южанин, рвался на север, к холоду и морозам. У нее была квартира в Лондоне, в Хемпстеде. Она приезжала туда из Оксфорда вечером в пятницу. В субботу мы ночевали у меня, а в воскресенье — у нее. Но потом она все чаще начала оставаться в Лондоне на всю неделю, пропуская занятия в университете. Месяц, два месяца, и наконец ее исключили. Она прятала лицо у меня под мышкой и вдыхала мой запах, вдыхала как наркотик. Лицо ее морщилось от удовольствия. Она говорила, точно произнося слова торжественной молитвы: «Я люблю твой пот. Обожаю твой запах. Запах прелых листьев африканских лесов. Запах манго, папайи и тропических пряностей. Запах дождей в арабской пустыне». Она была легкой добычей. Я познакомился с ней после лекции, которую прочитал в Оксфорде об Абу Нувасе. Я говорил им, что Омар Хайям по сравнению с Абу Нувасом не стоит ничего. Я читал им стихи Абу Нуваса из цикла «О вине», читал заунывно-нараспев, как проповедник, утверждая, что именно так читали арабские стихи в эпоху Аббасидов. В лекции я особо подчеркнул, что Абу Нувас по своим взглядам был суфием[2], что вино для него — лишь символ, воплощающий душевные страсти поэта, и что его стремление писать стихи о вине неслучайно, по сути дела оно отражало стремление уйти в небытие, забыться. На самом деле все это крайне надуманно, от начала до конца гроша ломаного не стоит, но в тот вечер на меня, что называется, снизошло вдохновение и я чувствовал, как эта ложь, срываясь с моего языка, пропитывает все вокруг сладким ядом. Я чувствовал, как мое опьянение передается слушателям, кружит им головы. И продолжал самозабвенно лгать. По-

[1] Аба — верхняя шерстяная одежда в виде длинной рубахи. Укаль — часть головного убора, шнур, которым скрепляется куфия — головной платок.

[2] Суфий — мусульманский монах, проповедник мистического учения — суфизма

сле лекции меня окружили плотным кольцом. Это были чиновники, служившие на Востоке, пожилые женщины, чьи мужья умерли в Египте, Ираке, Судане, люди, воевавшие под командой Китченера, Алленби, востоковеды, чиновники министерства по делам колоний, чиновники ближневосточного отдела министерства иностранных дел.

И неожиданно в этой толпе я заметил молоденькую девушку, упрямо пробиравшуюся ко мне сквозь плотную толпу. Она обняла меня, поцеловала и сказала по-арабски: «Ты так красив, что нет слов, чтобы это описать. Я так люблю тебя, что нет слов, чтобы это выразить». Я ответил ей с восторгом, испугавшим меня самого: «Наконец-то, наконец-то я нашел тебя, моя Сусанна. Где я только не искал тебя! Я так боялся, что никогда больше тебя не встречу. Ты помнишь?» Она ответила словно в забытьи: «Как я могу забыть наш дом в Кархе, в Багдаде на берегу Тигра, во времена аль-Мамуна? Я следовала за тобой через века и всегда знала, что мы встретимся, встретимся непременно. И вот ты, мой дорогой Мустафа, передо мной. С тех пор как мы расстались, ты ничуть не изменился».

Я и она были словно на сцене театра, а вокруг толпились статисты. Я — герой, она — героиня. Погас свет, и все окутала тьма. На сцене в луче прожектора мы остались одни, я и она. Вопреки доводам рассудка я продолжал лгать. И вместе с тем меня не оставляло ощущение, что я верю собственным словам, да и она тоже, несмотря на свою ложь, была совершенно искренна. Это были минуты редкого опьянения, экстаза, мгновения, за которые можно отдать жизнь. В такой миг ложь и небылицы становятся явью и шут преображается в султана. Во власти этих грез мы уехали на машине в Лондон. Она гнала машину на предельной скорости и время от времени бросала руль, обнимала меня и кричала: «Как я счастлива, что наконец нашла тебя! Я так счастлива, что, доведись мне сейчас умереть, я покину этот мир без ропота!» Мы останавливались у придорожных кафе и баров и пили кальвадос, пиво, красное вино, белое вино, а иногда виски. И перед каждым глотком я читал ей стихи Абу Нуваса.

Вот эти, например:

Если радует тебя, что земля цветет
И вино бывает поседевшее и молодое,
Зачем отказываться от вина выдержанного —
Разве ночь бывает зеленая?
Спеши, крылья жизни — легки.
Не поймаешь их левой рукой, как ни старайся.

Или эти:

О чаша, ты, что светильник неба, я выпил
тебя до дна
Вместо поцелуя или часа свидания,
С собой ты принесла еще счастливые дни,
Которые точно высыпали светом из прогалин
неба.

Разве я мог удержаться, чтобы не продекламировать ей следующий стих:

Если воин подготовит коня к сраженью,
И знамя смерти полетит впереди шейха развернутое,
И вспыхнет война, разгорится, полыхая огнем,
Мы превратим лук в свои руки, а стрелы
лука — в лилии.
И станет наша война радостью, а мы — беззаботными.
Не загремит барабан — мы сами устроим
праздник.
Для юношей, тех, кто считает убийство жертвой
наслаждения ради,
Причина нашей войны — виночерпий.

Он налил вина и напоил нас.
Он чувствует нежность бокала
И спешит за первым наполнить другой,
И увидишь ты там поверженного, красного, как
свекла, пьяницу.
Такая война — не война, что печалит людей
ненавистью,
На такой войне мы убиваем людей
И множим число нами убитых.

Да, да, все было именно так. Она светилась радостью, опьяненная стихами, а я пил сладостную, волшебную ложь и сплетал для нее тончайшие, удивительные нити грез.

Она шептала мне, что в моих глазах видит мираж жаркой пустыни, в моем голосе слышит крики хищных зверей в первобытных лесах, а я говорил ей в ответ, что в голубизне ее глаз вижу далекие северные безбрежные моря. В Лондоне я привел ее к себе в дом, в гнездо ужасающей лжи, которое создавал преднамеренно, ложь за ложью.

Сандал, алоэ, страусовые перья, фигурки из слоновой кости и черного дерева, фотографии и рисунки — рощи и финиковые пальмы на берегах Нила, яхты, скользящие по водной глади, развернув паруса, как голуби — крылья, закат солнца в горах у Красного моря, караваны верблюдов среди песчаных барханов у границ Йемена, деревья табальди в Кордофане, нагие девушки из племен занде, нуэр и шеллук, плантации бананов и кофейных деревьев, древние храмы Нубии, арабские книги в пестрых обложках с куфическим замысловатым письмом, персидские ковры, розовые занавески и ширмы, огромные зеркала на стенах, разноцветные фонари по углам. Она опустилась на колени и, поцеловав ступни моих ног, сказала: «Ты, Мустафа, мой повелитель и господин, а я твоя рабыня Сусанна». Так каждый из нас безмолвно выбрал себе роль, она — рабыни, а я — ее господина. Она приготовила мне ванну и искупала меня, добавив в воду розового масла.

Потом я зажег палочку алоэ и сандала в медной марокканской курильнице у входа. Я надел абу и укаль и улегся на кровать. Она растерла мне грудь, ноги, шею, плечи. «Подойди сюда»,— приказал я ей. «Слушаю и повинуюсь, мой повелитель»,— ответила она тихо. В вихре иллюзий, опьянения и безумия я взял ее, и между нами свершилось то, что происходило с людьми на протяжении всех веков. Ее нашли у нее в квартире в Хемпстеде мертвой. Она покончила с собой, открыв газ. Она оставила записку: «Да проклянет вас бог, мистер Саид».

Я поставил фотографию Энн Химменд на место, слева от фотографии Мустафы Саида, на которой он запечатлен между миссис Робинсон и ее мужем. Внизу фотографии надпись: «Дорогому Мози. Каир, 17.4.1913».

Очевидно, миссис Робинсон привыкла называть его этим ласкательным именем. Так она называла его в своем письме ко мне.

Мустафа Саид выглядит совсем мальчиком, только лицо у него хмурое. Миссис Робинсон стоит слева от Мустафы Саида, положив руку ему на плечо, а ее муж обнимает их обоих. На лицах Робинсонов застыла улыбка. Они кажутся совсем молодыми: на вид им не больше тридцати. Несмотря ни на что, миссис Робинсон осталась верна своей любви. Она присутствовала на процессе от начала и до конца, выслушала все и все узнала. И все-таки в своем письме ко мне она писала:

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы написали мне о милом Мози. Он был самым дорогим человеком и для меня и для моего мужа.

Бедняжка Мози! Мальчик много страдал. Но мне и моему мужу он дал безграничное счастье. После тех трагических событий я уехала из Лондона и всякая связь между нами оборвалась. Я не раз пыталась найти его, но безуспешно. Бедный Мози! Но боль утраты смягчается

для меня мыслью о том, что последние годы своей жизни он провел счастливо, рядом с хорошей женщиной, которая родила ему двух сыновей. Передайте миссис Саид мой самый теплый привет. Она может считать меня матерью. Я готова сделать для нее и для дорогих детей все, что в моих силах. Скажите ей об этом. Пусть не стесняется и напишет мне. Я была бы счастлива, если бы они приехали ко мне погостить на все лето. Здесь на острове Уайт я живу совсем одна. В январе я ездила в Каир на могилу мужа. Рокки очень любил Каир и завещал, чтобы его похоронили в этом городе, который стал для него самым родным городом в мире.

Я пишу воспоминания о нашей жизни там, о Рокки, Мози и о себе. Они оба были незаурядными людьми, каждый по-своему. Достоинство Рокки заключалось в умении приносить счастье другим. Он был по-настоящему счастлив, счастлив настолько, что каждый, кто соприкасался с ним, уже испытывал счастье.

У Мози был необыкновенный ум, но ему была свойственна необузданность, опрометчивость. Он не умел ни испытывать счастье, ни давать его другим, кроме, пожалуй, тех, кого он любил и кто по-настоящему любил его, как я и Рокки. Вот почему любовь и долг обязывают меня рассказать миру историю этих двух замечательных людей. В сущности, это будет книга только о Рокки и Мози, так как сама я не совершила ничего, что было бы достойно хотя бы упоминания. Я напишу о тех огромных услугах, которые оказал Рокки арабской культуре,— он обнаружил, изучил и опубликовал большое количество рукописей. Я напишу о той выдающейся роли, которую сыграл Мози, обратив внимание здесь, в Англии, на нищету, с которой был обручен его народ под нашей колониальной опекой. Я подробно напишу о суде и очищу его имя от грязи. Я была бы вам очень благодарна, если бы вы прислали мне что-нибудь, что осталось после Мози и что хоть в какой-то степени может помочь мне в работе над этой книгой. Возможно, вам известно, что Мози оставил мне доверенность на ведение его дел в Лондоне. Там накопились кое-какие суммы за издания его книг и за переводы. Как только вы сообщите мне адрес вашего банка, я немедленно переведу эти деньги. И разрешите выразить вам свою глубокую признательность за ваши заботы о семье дорогого Мози. Убедительно прошу вас писать мне регулярно и сообщать подробно все новости; пожалуйста, пришлите мне в следующем письме их фотографию.

Искренне ваша Элизабет».

Я сунул письмо в карман и сел в кресло справа от камина. На спинке кресла лежала газета, я взял ее и развернул. «Таймс» от 26.9.1927 г., понедельник. Рождения, бракосочетания, извещения о смерти. Подписание брачного контракта преподобного Самсена, магистра искусств. Панихида состоится в церкви Санти в два часа дня, в среду. Колонка частных объявлений. «Любимая, люблю тебя вечно. До каких пор будет продолжаться наша разлука? Любящий». «Колония Кения — Мистер... государственный инспектор возвращается в Найроби 5 октября, до этого срока всю переписку, касающуюся отчетов и документов о недвижимом имуществе в колонии, следует посылать через посредство...» Объявления об уроках верховой езды. Продаются голубые сиамские коты. Образованная, воспитанная девушка (17 лет) из хорошей семьи ищет работу. Титулованная дама тридцати лет ищет место за границей. Спортивные новости. «Вестхолл» наносит поражение «Бэр-холлу». Джин Тунней нокаутирует Джека Демпси. Письмо Зафаруллы Хана, опровергающее мнение сэра Шиманлала Сталифарда относительно конфликта между мусульманами и индуистами в Пенджабе. Письмо читателя, утверждающего:

«Джаз — это веселая музыка в мрачном мире». Два слона прибыли вчера из Рангуна и были отведены из порта в зоопарк через город. На фермера напал его собственный бык и распорол ему живот. Мужчина украл четыре банана и получил за это три года тюрьмы. Имперские и международные новости. Новое предложение Москвы о выплате Франции русского долга. Наводнения в Швейцарии. «Дискавери» вернулся из южных морей. Герр Штреземан произнес в прошлую субботу в Женеве речь по поводу разоружения. Герр Штреземан в данном газете «Матэн» интервью поддержал заявление президента фон Гинденбурга о том, что Германия не несет никакой ответственности за возникновение первой мировой войны. Передовая статья посвящена соглашению, заключенному в Джидде между сэром Гилбертом Клейтоном от имени Великобритании и эмиром Фейсалом Абдель Азизом Ас-Саудом от имени его отца короля Хиджаза, Неджда и эмиратов. Погода в Англии и Уэльсе. Ветры, преимущественно западные и северо-западные, на равнинах временами сильные, длительные периоды затишья, перемежающиеся грозами и сильными, порывистыми ветрами. Местами возможен небольшой дождь.

Но вот что интересно — это одна-единственная газета в комнате. Случайность? Или нет? Кто знает!

Я раскрыл наугад блокнот и прочитал на первой странице: Мустафа Саид, «История моей жизни». На следующей странице — посвящение: «Единомышленникам, тем, кто говорит только на одном языке и видит вещи либо черными или белыми, либо восточными или западными». Полистал страницы дальше, но ничего больше не нашел. Ни одной строчки, ни одного слова. Что это? Случайность? Или тоже нет? Я открыл папку и увидел множество бумаг, набросков, рисунков. Э, так он, оказывается, не только писал, но и рисовал. Рисунки говорят о несомненном таланте. Акварели. Неплохо выполненный пейзаж английской деревни с дубами, прудами и гусями на переднем плане. Беглые наброски карандашом пейзажей и людей нашей деревни. Ничего не скажешь — талант, большой талант. Бакри, Махджуб, мой дед, Вад ар-Раис, Хасана, мой дядя Абдель Керим и другие. Их лица пристально глядели на меня, храня выражение, исполненное глубокого смысла. Только подумать, что впервые я заметил это только теперь, на бумаге. Мустафа Саид нарисовал их выразительно, с проникновением в суть характера, но и с симпатией, с любовью. Чаще других встречалось лицо Вад ар-Раиса. Восемь рисунков — разные выражения и позы. И все Вад ар-Раис. Почему, собственно, Вад ар-Раис так заинтересовал Мустафу Саида?

Я начал перебирать бумаги и прочитал: «Мы обучаем людей, чтобы их ум развился и получила выход сдерживаемая в них энергия. Но предсказать, каков будет конечный результат, мы не можем. Мы освобождаем умы от предрассудков. Мы даем народу ключи к будущему, а дальнейшее зависит от него самого». «В то время, когда я уехал из Лондона навсегда, Европа уже начала в очередной раз собирать свои армии для еще более грубого насилия».

«Нет, это не была ненависть. Это была любовь, которая не находит выражения. Я любил ее удивительной любовью, и она меня тоже». «Крыши домов, мокрые от дождя. Коровы и овцы в поле, как черно-белая галька. Мелкий июньский дождик. О, госпожа моя, разреши мне. Эти поездки на поезде утомительны. Как твои дела? Из Бирмингема. В Лондон. Как тебе нравятся пейзажи? Деревья и травы. Скирды сухой соломы в полях. Повсюду одни деревья и травы. Книга Нгайо Марш. Ты колебалась и не сказала ни «нет», ни «да».

Интересно, описывал ли он то, что было на самом деле, или сочинял какой-то рассказ? «Ваша честь, я вынужден заявить протест

в связи с тем, что обвинение прибегает, в нарушение всех процессуальных норм, к разного рода уловкам, возлагая на обвиняемого ответственность за события, за которые он отвечать не может. При этом обвинение исходит лишь из того, что данный факт действительно имел место. Более того, в своих догадках относительно происшедшего обвинение опирается на свои же предположения, ранее высказанные и ничем не подтвержденные. Если обвиняемый и признался в убийстве жены, из этого вовсе не следует, что вина за все случаи убийства или самоубийства женщин, которые имели место на Британских островах в течение последних десяти лет, ложится на него». «Кто породил добро, тот породил птиц, несущих радость. Кто породил зло, тот вырастил дерево с острыми шипами и ядовитыми плодами. Будь милосердным, боже, закрой глаза на ошибки и довольствуйся явным».

Я нашел касыду, написанную его рукой. Оказывается, он и стихами не пренебрегал. Множество слов было зачеркнуто и заменено, показывая, с каким трепетным страхом и волнением относился он к творчеству.

Вот эти строки:

Наполнили грудь мою звуки печали.
И слезы переполнили сердце страданиями прожитых лет.
И подули ветры былой любви и ненависти.
А остатки молитв поглотило глубокое молчание.
Тихий шепот, мольба, оплакиванье и вопль;
Пыль и дым закрыли дорогу путнику.
И умиротворенные души, и растревоженные,
И лбы покорных и бунтующих...

Да, несомненно, Мустафа Саид потратил немало часов на поиски точного, веского слова. На меня это произвело большое впечатление, так как я ставлю поэтический труд очень высоко. Но вскоре я ощутил разочарование. Стихи вовсе не были такими уж хорошими. Просто набор слов и сравнений. Ни искренности чувства, ни подлинного поэтического жара. Зачеркнув последний стих, я написал вместо него:

И щеки покорных, и лбы смиренных.

Я продолжал перебирать бумаги, но видел лишь столбцы цифр и отрывочные записи вроде: «три бочки бензина», «комиссия обсуждает вопрос об укреплении базиса», «лишний цемент можно продать немедленно». Вдруг я наткнулся на следующие строки: «Свыше было предначертано, чтобы наши судьбы, моя и ее, пересеклись, и я провел долгие годы в тюрьме, чтобы блуждать по свету в погоне за ее призраком, в то время как он в свою очередь преследовал меня. Мне кажется, будто я на какой-то миг оказался вне времени и, лежа в постели с богиней смерти, сквозь ее зрачки заглянул в ад. Не всякий человек способен представить, что это за ощущение. Привкус той ночи остался у меня во рту навсегда, полностью заглушив другие ощущения».

Мне надоело копаться в бумагах. Да, в этой комнате немало разных бумаг, они — как разрозненные частицы мозаики, которую мне следует собрать заново. Мустафа Саид хочет, чтобы я разыскал эти частицы, а затем сложил их в единую картину, которая представила бы его в самом розовом свете. По-видимому, ему очень хотелось, чтобы его архив стал предметом научных изысканий, точно ценный исторический памятник. Это несомненно. О, теперь я знаю, почему он выбрал для этой роли именно меня. Нет, не случайно он разжег во мне любопытство, рассказав лишь несколько фрагментов из истории своей жизни. Конечно, он лелеял надежду, что я не пожалею

труда, восполню недостающее и опубликую результаты своих усилий. Нет, он не случайно оставил мне запечатанное сургучом письмо. Ему хотелось подогреть мой интерес, дать пищу моему воображению. Ну и хитрец! И в довершение всего он сделал меня опекуном своих детей. Конечно, для того, чтобы связать меня по рукам и ногам: ведь от подобных обязательств избавиться невозможно, и мне он оставил ключ от этого музея восковых фигур. Наконец-то я все понял!

Его эгоизм и тщеславие беспредельны. Он во что бы то ни стало хочет увековечить себя для истории. Так нет же, нет! Я не желаю участвовать в этом фарсе. Я должен, непременно должен покончить с этой комедией до рассвета, а сейчас уже третий час ночи! Ведь на заре пламя пожрет всю эту ложь.

Я постоял в нерешительности, потом поднес свечу к портрету на камине. Все в этой комнате тщательно продумано и расположено в соответствии с общим замыслом. Кроме портрета Джейн Моррис — Мустафа Саид как будто не знал, что с ним делать. Все другие женщины запечатлены на фотографиях, а вот Джейн Моррис здесь такая, какой видел ее он сам, а не фотоаппарат. Я смотрел на портрет с восхищением. Огромные глаза глядели на меня из-под строгих бровей. Нос чуть крупноват, а рот вот-вот раскроется в улыбке. Выражение ее лица трудно передать словами. Глубокая внутренняя неуверенность? Кто знает! Тонкие губы плотно сжаты, будто она стиснула зубы, подбородок надменно вздернут. В глазах гнев или улыбка? И во всех чертах лица — чувственность. Неужели это та самая птица феникс, которая сожрала чудовище? Помню, в ту ночь его голос, полный печали и раскаяния, звучал как голос тяжело раненного человека. Уж не потому ли, что он лишился ее? Или потому, что она упивалась его унижением?

«Стоило мне пойти на вечеринку, и я обязательно встречал ее, как будто она намеренно бывала там, где я, чтобы унизить меня. Когда я пригласил ее танцевать, она сказала: «Я не стала бы танцевать с вами, будь вы единственным мужчиной в мире». Я дал ей пощечину, а она ударила меня ногой и вцепилась зубами в мою руку, как львица. Она нигде не работала, и я не знаю, на какие средства она жила. Ее родные жили в Лидсе, и я не видел никого из них, даже когда женился на ней. Ее отец был торговцем, но я не знаю, чем именно он торговал.

У нее, по ее словам, было пять братьев, а она была единственной девочкой в семье. Она лгала даже по пустякам. Возвращаясь домой, она рассказывала по меньшей мере странные истории о том, что с ней случилось в этот день, и о людях, с которыми она встречалась. Нельзя было верить ни одному ее слову. Меня нисколько не удивляло, что у нее не было близких друзей. Она была как Шахразада в лохмотьях. Стоило ей захотеть, она могла обворожить кого угодно. Когда она бывала в подобном настроении, вокруг нее собиралось кольцо восторженных поклонников.

Внутреннее чутье подсказывало мне, что она вовсе не испытывает ко мне того брезгливого отвращения, которое всячески выставляет напоказ. Когда мы оказывались в одной компании, она украдкой следила за каждым моим шагом, за каждым моим словом, и стоило мне подойти к какой-нибудь девушке, как она тут же завязывала с ней ссору и не скупилась на оскорбления. Она вела себя цинично и на словах и на деле — лгала, воровала, заводила все новых и новых любовников. Но случилось непредвиденное — вопреки своей воле я полюбил ее. Никакие доводы рассудка не помогали, и я решил: пусть будет, что будет. Если я сторонился ее, она всячески искала моего внимания, а когда я начинал ее искать, бежала от меня. Однажды я

взял себя в руки и две недели старательно избегал ее, обходил стороной все те места, где она обычно бывала, и, если меня приглашали на вечеринку, принимал приглашение лишь тогда, когда твердо знал, что не встречусь там с ней. Тогда она явилась ко мне сама. Поздно вечером в субботу, когда у меня была Энн Химменд, она буквально ворвалась в мою квартиру. Как она буйствовала! Ругала и оскорбляла Энн Химменд, бросалась на нее с кулаками. Но и этим дело не ограничилось. Энн Химменд ушла вся в слезах, а она встала передо мной, как злой дух из преисподней, и в глазах ее был дразнящий вызов, пробудивший в моем сердце жгучую страсть. Я молчал. Молчала и она. И так же молча сбросила с себя одежду. Меня пожирало палящее пламя. Я шагнул к ней, дрожа всем телом, но она указала на дорогую вазу, стоящую на полке, и сказала: «Отдай мне ее и получишь меня». Если бы в тот миг она попросила взамен мою жизнь, я бы не раздумывая согласился. И я утвердительно кивнул. Она взяла вазу и с силой бросила ее на пол, а потом начала каблуками топтать осколки, пока они не превратились в порошок. Затем она указала на редкую арабскую рукопись, лежащую на столе: «Отдай мне». В горле у меня пересохло. Я умирал от жажды. Мне был необходим хотя бы глоток ледяной воды. Я снова кивнул. Она схватила древнюю рукопись, рвала ее, совала клочки себе в рот, жевала их и выплевывала. Словно она рвала на части и грызла мою печень, но для меня это не имело ровно никакого значения, из моей груди не вырвалось даже вздоха. Затем она указала на персидский молитвенный коврик. Мне его подарила миссис Робинсон, когда я уезжал из Каира. И я очень им дорожил. Она сказала: «Отдай мне его и получишь меня». Я заколебался и взглянул на нее. Она стояла передо мной выпрямившись, напряженная как струна, ее глаза сверкали лихорадочным блеском, а губы манили, как запретный плод. И я снова кивнул. Она взяла коврик, бросила его в пылающий камин и с наслаждением смотрела, как он горит, а на ее лице играли отблески пламени.

Она завладела всем моим существом, и я готов был следовать за ней до самых врат ада. Я обнял ее и наклонился, чтобы поцеловать, и вдруг она резко ударила меня коленом в пах. В глазах у меня потемнело от боли, а когда я пришел в себя, она исчезла.

Я преследовал ее три года, мои жаждущие караваны блуждали по пустыне страсти, устремляясь к манящим зыбким миражам. И вот пришел день, когда она сказала: «Ты упрям, как дикий буйвол. Я больше не могу, я устала от твоих преследований, мне надоело бегать от тебя. Женись на мне, и дело с концом». И я женился на ней. Мы зарегистрировали наш брак в гражданском порядке. На церемонии бракосочетания присутствовали только свидетели — ее подруга и один мой приятель. Во время регистрации она вдруг с чувством произнесла: «Я, Джейн Уинфрид Моррис, беру этого человека, Мустафу Саида Османа, в мужья и клянусь, что буду верна ему в бедности и в богатстве, в здоровье и в болезни»,— и вдруг неожиданно разрыдалась и долго не могла успокоиться. Я был не просто удивлен, а поражен таким взрывом чувств. Чиновник даже перестал писать и сказал ей мягко: «Ну что вы, не надо так волноваться. Я вас понимаю. Но потерпите еще немножко, сейчас все будет кончено». Она продолжала всхлипывать, а когда регистрация закончилась, вновь разразилась рыданиями. Чиновник встал, ласково погладил ее по плечу, а потом пожал мне руку и сказал: «Ваша жена плачет от полноты счастья. Можете мне поверить, уж я-то знаю. Невесты нередко плачут, хотя мне еще не приходилось видеть, чтобы плакали так сильно. Видимо, она вас любит по-настоящему. Берегите ее, заботьтесь о ней. Я уверен, вы будете счастливы!»

Слезы то и дело навертывались ей на глаза, пока мы не вышли на улицу. И тут она разом преобразилась — слез как не бывало. Теперь она принялась хохотать. И, захлебываясь от смеха, сказала: «Ну и комедия».

Потом до вечера мы пили вдвоем. Свадьбы мы не устраивали и никого не приглашали. Только я, она и вино. А когда поздно ночью мы, наконец, легли, она повернулась ко мне спиной и сказала твердо: «Не теперь. Я устала». Так продолжалось два месяца. «Я устала»,— говорила она каждую ночь. Или: «Я больна». Я сходил с ума. Как-то ночью я наклонился к ней с ножом в руке и сказал: «Я тебя убью». Она посмотрела на нож, как мне показалось, с жадностью и нетерпением и сказала: «Вот моя грудь. Чего ты ждешь? Вонзи же нож! Ударь, прошу тебя, и не промахнись».

Я посмотрел на ее обнаженное тело под моей рукой... и не смог. Я опустился на край кровати и смиренно склонил голову. Она погладила меня по щеке и с презрительной нежностью сказала: «Ты, мой милый, мой сладкий, не из тех мужчин, кто убивает». Я почувствовал, что меня оскорбили, унизили, обрекли на полноту одиночества.

Я ощутил всю горечь утраты. И в этот миг я вспомнил маму, мою маму. Словно наяву я увидел ее лицо и услышал ее голос: «Это ведь твоя жизнь, и ты волен ею распоряжаться!» Я вспомнил, как девять месяцев назад получил известие о смерти матери. Пьяный, я лежал в объятиях какой-то женщины. Теперь я даже вспомнить не мог, кто была эта женщина. Но зато я помню совершенно отчетливо, что не почувствовал ни печали, ни горя, как будто речь шла о постороннем человеке. И вот теперь, вспоминая это, я заплакал... Я плакал долго, и мне казалось, что у меня нет сил остановиться. Потом я почувствовал, что Джейн обняла меня. Она шептала мне на ухо какие-то слова, но я не понимал, что она говорит, а ее голос неприятно резал слух. По телу у меня прошла дрожь, и, оттолкнув ее, я закричал: «Я тебя ненавижу, ненавижу всеми фибрами души и когда-нибудь убью, клянусь тебе!»

Но и в тумане печали я уловил выражение ее глаз. Они вспыхнули ярким светом. Она смотрела на меня неподвижным, изучающим взглядом, словно вещая птица. С изумлением? Или это был страх? А может быть, страсть? «Я тоже тебя ненавижу и буду ненавидеть до самой смерти»,— сказала она кротким голосом.

У меня не было никакого выхода. Я был охотником, а стал добычей. Я страдал и не понимал, почему я страдаю, почему сам себя мучаю. Одиннадцать дней спустя — все врезалось в мою память потому, что я тогда испил чашу своей горечи до дна,— мы на закате прогуливались по Ричмондскому парку. Парк был далеко не безлюден. Слышались голоса, и в сумерках там и сям мелькали влюбленные пары. Мы изредка обменивались двумя-тремя словами без нежности, без намека на любовь. И вдруг она обвила мою шею руками и поцеловала меня долгим поцелуем. Я почувствовал прикосновение ее груди, обняв, я привлек ее к себе, забыв обо всем, кроме ощущения ее близости. Я ничего не видел и не слышал, ничего не сознавал, кроме страшного проклятия, наложенного на меня судьбой. Эта женщина — мой рок, моя погибель, но весь мир по сравнению с нею для меня ничто. Я — завоеватель, пришедший с юга, и здесь — ледяное поле битвы, откуда я не вернусь живым. Я — корсар, а Джейн — берег, где меня ожидает смерть. Ну и что? Что это для меня? Ничтожный пустяк, не стоящий внимания.

Там под открытым небом она стала моей, и мне было все равно, что могли нас увидеть и услышать посторонние люди. Этот миг экстаза стоил всей моей жизни.

Но в нашей жизни такие мгновения выпадали редко, а все остальное время мы вели жестокую войну — войну беспощадную и безжалостную. И эта война всегда кончалась моим поражением. Я бил ее по щекам — она отвечала пощечиной, впиваясь ногтями мне в лицо и царапаясь, а все ее существо при этом наполнялось такой злобной яростью, что становилось страшно. Чуть что — и она разбивала вдребезги все, что попадалось ей под руку, рвала в клочья книги, рукописи. Пожалуй, это было самое страшное, самое могучее ее оружие. Каждое сражение заканчивалось тем, что она уничтожала какую-нибудь ценную книгу или сжигала результаты исследований, на которые я потратил не одну неделю. Иногда меня охватывал такой гнев, что я полностью утрачивал власть над собой, терял рассудок и пытался ее убить.

Но когда я сжимал пальцами ее шею, она вдруг успокаивалась, стихала и смотрела на меня странным, загадочным взглядом, в котором было все — и удивление, и страх, и желание. Сожми я пальцы чуть сильнее — конец нашей войне! Война эта не стихала ни на минуту, мы вели ее и вне стен нашего дома. Как-то в пивной она вдруг закричала: «Вот этот сукин сын пристает ко мне». Я вскочил и, не владея собой, бросился на того человека, начал его душить, он тоже вцепился мне в горло. Вокруг нас собралась толпа, и тут я услышал ее голос — она смеялась. Один из мужчин, разнимавший нас, сказал: «Простите, но если эта женщина — ваша жена, то вы женаты на шлюхе». А ведь он с ней и слова не сказал. По-видимому, женщины такого типа любят наблюдать сцены насилия. Моя злоба обратилась против нее — я подошел к ней (она все еще заливалась смехом) и ударил ее по лицу. Она бросилась на меня, как пантера, вцепилась ногтями в мое лицо.

Просто трудно себе представить, какого труда, каких стараний мне стоило увести ее домой.

Когда мы вместе бывали на людях, она заигрывала со всеми подряд — с официантами в ресторанах, с шоферами автобусов, с прохожими. Некоторые попадались было на ее удочку, но потом спохватывались и торопились уйти, а она кричала им вслед непристойности. Я ввязывался в ссоры, не помня себя от гнева, бил ее. Она отвечала мне тем же. Не раз я задумывался над тем, что нас связывает. Я понимал, что мне надо бросить ее, и тогда я обрету спасение. Но я чувствовал, я знал, что у меня нет выхода — я обречен, и конец может быть только трагическим. Я не сомневался, что она изменяет мне. Весь дом дышал изменой. Как-то я нашел чужой мужской платок. Я спросил ее, чей он. «Твой»,— ответила она. «Нет, этот платок не мой». А она в ответ: «Ну и что? Нашел о чем говорить!» Потом я нашел пачку чужих сигарет, а потом — авторучку. Я сказал ей: «Ты мне изменяешь». А она ответила: «Так уж мне положено — изменять тебе». Я закричал: «Клянусь, я тебя убью!» Она язвительно улыбнулась и сказала: «Ты только говоришь это. Попробуй. Что тебе мешает? Ну чего ты ждешь? Убивай... Ах, да! Ты ведь выжидаешь, все караулишь, рассчитывая поймать меня с мужчиной, но ведь и тогда у тебя, конечно, недостанет духа. Сядешь на краешек кровати и примешься хныкать».

Темный февральский вечер. Мороз градусов десять ниже нуля. Вечер неотличим от утра, а утро — от темной пасмурной ночи. Двадцать два дня тучи закрывают солнце. Город обледенел. Повсюду снег — на улицах, в парках, у подъездов. Вода замерзает в трубах, изо рта идет пар. Ветви деревьев клонятся под тяжестью снега, мне приходила в голову мысль, что вновь наступил ледниковый период. А в жилах моих кипит кровь, в голове стучат тысячи молоточков, ме-

ня лихорадит. В подобные долгие ночи происходят знаменательные события. Ночь сведения счетов!

Я шел домой пешком, перекинув пальто через руку. Мое тело пылало, пот градом лил со лба. Под ногами у меня с хрустом ломался лед. Я пытался прийти в себя, остыть и искал прохлады.

Она лежала в постели, ее белые ноги были обнажены. Она улыбалась, точно в предвкушении радости, а на лице у нее лежала тень грусти, которая порождается стремлением брать и дарить. Мое сердце устремилось к ней, едва я ее увидел, но внутри словно забушевало адское пламя. И я понял, что теперь я — хозяин положения, что все нити игры в моих руках. Где было это пламя все прошедшие годы? Где оно пряталось? И теперь, когда я почти разучился говорить уверенно и твердо, я спросил властно: «С тобой кто-нибудь был?» И она ответила: «Нет! — По ее голосу чувствовалось, что мой тон подействовал на нее.— Эта ночь принадлежит только тебе и никому другому. Я жду тебя очень давно».

Я почувствовал, что она впервые сказала мне правду. Эта ночь была ночью откровения и ночью трагедии. Я обнажил кинжал и присел на край кровати. Некоторое время я пристально смотрел на нее. Я любовался ее прекрасными руками и живыми, лучезарными глазами. Потом наши взгляды скрестились — как два прожектора в темном военном небе. Не выдержав, она отвернулась, отодвинулась несколько вправо, затем влево, приподнялась на локте, затихла и бессильно раскинула руки, вновь следя за моим взглядом. Я смотрел на ее грудь. Она безвольно, как механическая кукла, следила за мной. Я перевел взгляд на ее живот, и она покорно стала смотреть туда же, но у нее на лице появилось страдание. Медлил я — и она медлила, я торопился — и она торопилась. Я посмотрел на ее ноги — ослепительно белые на темно-желтом фоне покрывала, я гладил их глазами. И видел, как покраснело ее лицо и тяжело сомкнулись веки, словно уже ее не слушаясь.

Я медленно поднимал кинжал, и она следовала взглядом за его острием. Ее зрачки вдруг странно расширились и затуманились, а лицо озарилось, точно от вспышки молнии. Она продолжала в упор смотреть на острие кинжала, и в ее глазах изумление и страх мешались с вожделением. Вдруг она приподнялась и с жаром поцеловала кинжал. Потом зажмурилась, вся выгнулась, но тотчас снова спокойно легла. Потом глубоко вздохнула и сказала: «Теперь я готова, мой милый. Ударь же!» Я не исполнил ее просьбы, и она вновь вздохнула, уже горестно. Я ждал, а она плакала. Ее голос перешел на еле слышный шепот: «Прошу тебя, мой любимый, умоляю».

Вот наши корабли, моя любимая, и приплыли к берегам гибели. Я наклонился и поцеловал ее. Потом приставил острие кинжала к ее груди и медленно нажал. Медленно-медленно. Ее глаза широко раскрылись. Какой восторг, какая радость были в них! Я знал, что на свете не может быть ничего прекраснее. «Любимый мой,— сказала она с дрожью в голосе.— Я думала, ты никогда этого не сделаешь. Я почти потеряла надежду». И тогда я всей тяжестью своего тела упал на кинжал. Он вошел в ее грудь по самую рукоятку, и на меня брызнула горячая кровь. Я припал к ней, а она шептала с мольбой: «Уйди со мной. Уйдем вместе. Не дай мне уйти одной».

Потом она сказала: «Я люблю тебя». И я поверил ей. И я ответил: «Я люблю тебя». Я говорил правду. Мы — пылающий факел, языки адского огня. Я ощущал запах дыма. Она повторяла: «Я люблю тебя, мой любимый». И я отвечал: «Я люблю тебя, моя любимая». И весь мир, вся вселенная с ее прошлым, настоящим и будущим сосредоточились в одной точке, и не было ничего ни до нее, ни после».

Я разделся донага и вошел в воду. Она была прохладной, и у меня по телу побежали мурашки. Однако вскоре озноб прошел и сменился ощущением бодрости. Река была не такой полноводной, как в период разлива, но еще не обмелела по-летнему.

Потушив свечи, я запер железную дверь на замок. Запер и калитку, так ничего и не предприняв. Ну, да неважно! Сжечь эту комнату я успею всегда. Я вышел, пока он еще говорил. Я не дал ему закончить рассказ.

Сначала у меня было намерение сходить к ней на могилу и побыть там немного. Выбросить ключ? Спрятать так, чтобы его никто не нашел? Бессмысленно! И все же необходимо что-то сделать. Сам не заметив как, я очутился на берегу. На востоке занималась заря. Я решил искупаться, надеясь обрести спокойствие и ясность мысли. В предрассветном сумраке очертания предметов на обоих берегах казались расплывчатыми и неясными. Плеск воды умиротворял своей привычностью.

На берегу стояла глубокая тишина, нарушаемая только плеском воды и стуком насоса ниже по течению. Я бросился в воду и поплыл к другому берегу. Я плыл и плыл, пока движения моего тела не слились воедино с движением воды. Думать ни о чем не хотелось. Вот плыть бы и плыть так без конца по реке, все вперед и вперед. Журчание воды у моих плеч, звук моего дыхания, далекий стук насосов — и больше ни единого звука. А я все плыву и плыву, упрямо стремясь переплыть реку, достичь противоположного берега. Наконец-то и у меня есть цель. Желанный берег маячил где-то впереди, то поднимаясь вверх, то уходя вниз. И чуть слышные звуки то внезапно исчезали, то так же внезапно возникали вновь, но плеск воды я слышал все время. А мне показалось, что я сижу в пустой огромной комнате, где гулко отдается эхо. А берег то появлялся высоко надо мной, то соскальзывал. Плеск становился все громче, надвигался на меня со всех сторон. Поле моего зрения сузилось в темный круг. А потом я как будто ослеп. Сознание то угасало, то вновь возвращалось ко мне. Я не понимал, происходит ли все это во сне или наяву. Не понимал, жив я или мертв. И тем не менее я упрямо помнил, что цель там, передо мной, а не внизу, не где-то в глубине подо мной, и я должен двигаться вперед, только вперед. Но слабая, тонкая ниточка этой мысли чуть не оборвалась: я вдруг почувствовал, что какая-то сила неумолимо увлекает меня на дно. Руки и ноги у меня онемели. Комната расширилась в беспредельность, и раскаты эха раздавались все чаще и чаще. Еще немного, еще. Но вдруг — уж не знаю, откуда взялась у меня энергия,— я приподнял голову над водой и совершенно отчетливо услышал плеск реки и стук насосов. Поглядел направо, налево и обнаружил, что нахожусь на самой середине реки, между севером и югом. И меня сковала непреодолимая слабость, я чувствовал, что не способен больше плыть ни вперед, ни назад. С трудом перевернувшись на спину, я замер, лишь чуть-чуть шевеля руками и ногами, чтобы остаться на поверхности. Я всем телом ощущал всесокрушающее могущество реки, которая упорно увлекала меня вниз по течению. Сколько я смогу еще продержаться? Рано или поздно река возьмет надо мной верх и утащит на дно. Моя жизнь была брошена на чашу весов. В этот миг я увидел стаи куропаток. Они летели на север. Что у нас сейчас? Зима? Лето? Куда они направляются? Возвращаются к своим гнездовьям или, наоборот, покидают их? Я почувствовал, что у меня больше нет сил бороться с рекой. Ноги тянули тело вниз. И на мгновение — сколько оно длилось, я не знаю — плеск воды стал оглушительным грохотом,

в глазах как молния блеснул яркий, ослепительный свет. А потом все разом исчезло, сменилось безмолвием и мраком. Не знаю, сколько это длилось, но вдруг я увидел небо. Оно то уходило ввысь, то оказывалось совсем рядом, так что до него можно было дотянуться рукой. И берег то взмывал вверх, то падал вниз. И тут я почувствовал желание закурить. Нет, это было не просто желание, а неодолимая потребность. Как голод. Как жажда. И я очнулся от кошмара. Небо обрело неподвижность и берег тоже. Я вновь отчетливо услышал стук насосов. И тут же всем телом, каждой частицей его ощутил, как холодна вода.

Мой мозг работал четко как никогда. Что делать? Я еще держался на поверхности, но в любое мгновенье мог умереть — не по своей воле, как и появился на свет. За всю свою жизнь я так ничего и не выбрал, ни на что не решился. Довольно! Я принимаю решение и выбираю жизнь! Я буду жить, буду непременно, потому что есть люди, пусть их немного, с которыми мне хочется быть рядом, и как можно дольше. Я еще не готов — у меня столько обязанностей, столько дел! И мне все равно, есть у жизни смысл или нет. Удастся мне обрести его — хорошо, не удастся — обойдусь и так. Я просто напрягу все силы и буду жить. С трудом, с отчаяньем и ожесточением я заставил свои руки и ноги двигаться и добился того, что мое тело легло на воду горизонтально. А тогда, превозмогая свинцовую усталость, я закричал, закричал, как комический актер на сцене: «На помощь! Помогите!!»

Европа глазами Африки?

Эта повесть переведена в нескольких европейских странах.

Что же влечет к ней издателей и читателей? Одаренность автора, суданца Ат-Тайиба Салиха? Вероятно, дело и в этом, но все-таки лишь отчасти. Кто-то сказал, что в наше время, имея за плечами наследие мировой культуры, просто невозможно писать плохо. И на чужие языки переводят далеко не всех даровитых писателей.

Может быть, читателей привлекли подробности любовных похождений главного героя? Тоже вряд ли. Сегодня этим мало кого удивишь.

Так что ответ, пожалуй, надо искать в самой теме этой повести.

...Со своей родины, с африканской земли, суданец Мустафа Саид едет в Европу, в Англию. Сперва он учится, потом остается там на много лет, преподает в университете, пишет книги. Он — завсегдатай пивных Челси и клубов Хемпстеда, хаживает в заведения Полбсбери. Увлекается поэзией и живописью, толкует о религии, философии, духовных ценностях. Поговаривают, что он сумел и сослужить службу британской политике на Ближнем Востоке.

Относятся к нему в Англии по-разному. Есть и прямая, грубая несправедливость, дискриминация, его презирают за темную кожу. А другие видят в нем «африканского сфинкса», символ своих экзальтированных грез. Женщины из-за несчастной любви к нему накладывают на себя руки.

А потом, после долгих лет жизни в Европе, после взлета и падения — возврат на родину, в Судан. Глухая деревня, где Мустафа скрывает даже знание английского языка.

Своим детям он завещает вырасти в этой арабской деревне, впитать ее воздух. Что это? Патриотизм? Но в его доме есть комната, куда, кроме него самого, не входил ни один человек,— и после его смерти оказалось, что это типичный английский кабинет с камином и викторианскими креслами. Все четыре стены от пола до потолка заставлены английскими книгами. Даже Коран и то на английском языке. И ни одной арабской книги!

Какое раздвоение личности! И какой трагедией это стало для Мустафы Саида... Он начал писать историю своей жизни, но смог написать лишь посвящение: «Тем, кто говорит только на одном языке и видит вещи либо черными или белыми, либо восточными или западными». Блокнот с этой записью лежал в насквозь английском кабинете, тайно скрытом в типичной арабской деревне...

Разве это трагедия только одной жизни, одного лишь Мустафы Саида... Нет. Повествование в книге ведется от имени другого человека, принадлежащего к более молодому поколению, и этот рассказчик с ужасом видит свое сходство с Мустафой Саидом: «Я — его наследник».

А если добавить к этому общее мнение критиков, что повесть Ат-Тайиба Салиха автобиографична...

И разве в одном лишь Судане такая судьба постигла людей, получивших западное образование? Можно вспомнить историю любой из стран «третьего мира». Вот другой, южный конец Африканского материка. Реально существовал человек по имени Тийо Сога. Он умер больше ста лет назад, в 1871 году, и его жизнь хорошо известна. Как и герой повести Салиха, он первым среди своих соплеменников совершил «паломничество» в европейский университет. Как и Мустафа Саид, он первым из людей своего народа женился на европейской женщине.

Мустафа Саид, литературный персонаж, завещает детям быть верными своим соотечественникам. Завещание Тийо Соги — подлинный, исторический документ. В нем он тоже обращался к своим сыновьям, вероятно, первым в Южной Африке детям от брака африканца-банту с белой женщиной. Он писал:

«Некоторые белые люди предубеждены против черных; предубеждение имеет одну-единственную причину — цвет кожи. Ради вашего собственного блага никогда не стыдитесь, что ваш отец был кафром и что вы унаследовали африканскую кровь... Я хочу, чтобы вы ради вашего же будущего были в этом вопросе очень принципиальны. Вы должны всегда помнить о своей матери... Вы всегда должны быть благодарны этим узам, которые связывают вас с белой расой. Но если вы хотите заслужить к себе уважение, если вы не хотите слышать насмешки от людей, займите свое место в мире как цветные, а не как белые, как кафры, а не как англичане».

И в наши-то дни об этом вопросе, для многих роковом, далеко не всегда судят с таким достоинством, тактом, мудростью, как этот африканец больше ста лет назад. А как трудно ему было, должно быть, прийти к этому решению! Как трудно было, наверное, избежать тех крайностей, которых и сейчас не в состоянии миновать множество людей во многих странах: возненавидеть ту кровь, которая делает тебя изгоем, или ту, которая дает привилегии другим.

Эта проблема не ушла в прошлое вместе с Тийо Согой или Мустафой Саидом. Нет, она отравляет и сегодняшний день многим жителям стран «третьего мира», получившим европейское образование. И это волнует интеллигенцию «третьего мира».

Ну, а на Западе — по одной ли этой причине повесть Ат-Тайиба Салиха издают в западных странах? Должно быть, дело не только в этом.

Запад хочет знать, какими глазами смотрят на него Восток, Африка, весь «третий мир», что они думают и, следовательно, чего от них можно ждать.

Но книги, по которым можно увидеть этот взгляд,— давно ли стали они появляться? Ведь до недавних времен на книжном рынке были лишь книги о том, каким видится Восток Западу. Райдер Хаггард, Клод Фаррер, Пьер Лоти, Луи Буссенар. Их многочисленные последователи. В этих книгах действительность причудливо переплеталась с самыми фантастическими вымыслами, были — с небылицами. Настоящего Востока и подлинной Африки там зачастую могло и не быть, но зато по этим книгам можно судить о тех представлениях, которые были присущи самой Европе.

Европейцев и раньше, конечно, интересовало, какими же они видятся Востоку и Африке. Но в прежние времена даже немногое, что появлялось, нередко было литературными подделками, плодом фантазии самих европейцев. К ним, вероятно, относится и переведенная когда-то у нас в Москве в серии «Всемирная литература» книжка «Папалаги. Речи тихоокеанского вождя Туйавии из Тиавеи». Там в остроумной форме высмеивался весь образ жизни Папалаги — белого человека, начиная с рассуждений «О прикрытии плоти у Папалаги, о многих набедренниках его и циновках» или «Множество вещей делает Папалаги бедным» и кончая особым разделом «Тяжкая болезнь думания» и заключением: «Папалаги хочет вовлечь нас в свои потемки».

Но в последние годы Запад проявляет не просто любопытство. Для него жизненно необходимо увидеть, понять всю гамму чувств, которые питает к Западу население большинства стран нашей планеты. Тех стран, которые, как их ни назови — Востоком, Югом или «третьим миром»,— так или иначе испытали на себе господство колониализма. Роль и значение этих стран в жизни современного человечества растет год от года, и если раньше западный колониализм определял исторические судьбы этих стран, то теперь Запад, его будущее во многом будет зависеть и от них, от их политики.

Эта реальность теперь горячо обсуждается на Западе. Нервозность, проявляющаяся при этом, в большой мере вызвана пекинской пропагандой. Ведь столько лет она подчеркивала, что каждый четвертый человек на земле — китаец. А в настойчиво повторявшейся идее о противоречиях между мировой деревней и мировым городом слышалась прямая угроза белому человеку. Газета «Крисчен сайенс монитор» в июле этого года задалась даже таким вопросом: могут ли уцелеть пассажиры первого класса, если поезд осаждает все больше пассажиров третьего класса? И если могут, то какой ценой?

Основанием для таких страхов считается и горечь, скопившаяся в сердцах жителей «третьего мира», их стремление самоутвердиться, избавиться от внушаемого им из поколения в поколение чувства неполноценности, приниженности. Да и тот «антирасистский расизм» наиболее крайних афро-азиатских националистов, который встречается с

таким восторгом в Пекине. Если когда-то существовала легенда о «бремени белого человека», несущего на своих плечах всю мировую цивилизацию, то теперь появляется новая легенда, будто белый человек — источник зла для всех «цветных» народов. И она может найти отклик — ведь неграмотному или полуграмотному населению в странах «третьего мира» понятия «колонизатор» и «белый человек» подчас кажутся синонимами.

Неприязнь к Европе, к европейцам проявляется даже и не у самых крайних националистов. Вот хотя бы Бернар Дадье, поэт с Берега Слоновой Кости. Его стихотворение «Не люблю» переведено, издавалось у нас многократно, вошло в том африканской поэзии серии «Всемирная литература». Чего же он не любит?

Я смерть на руке ношу,
Смерть бредовой Европы.
Я не люблю часов.

Я ношу узорный ошейник,
Ошейник галантной Европы.
Галстука я не люблю.

И так далее. Что же, Дадье тут против всего европейского уже по одному тому, что оно европейское?

Эти настроения есть. В них виноват колониализм. И они еще долго будут. Они, вероятно, еще не прошли своего апогея. Азиоцентризм, афроцентризм появились и дают о себе знать.

Это сказывается и в идеализации местных архаичных укладов жизни, в преклонении перед всем традиционным, перед той культурой, которая существовала до колониального завоевания. Многие африканские да и азиатские страны проводят сейчас политику «духовной деколонизации». Восстановление прав местной культуры и своего языка вполне естественно, необходимо и справедливо. Но от увлечения всем «своим», доморощенным так легко перейти к пренебрежению «чужим». Так легко объявить «чужой» общечеловеческую, мировую культуру, вкладом в которую, в сущности, ведь и является «свое». И вроде бы желая своим народам добра, крайние националисты «третьего мира» могут нанести им громадный вред. Ведь белые правители Южно-Африканской Республики, самого расистского государства в мире, тоже говорят о необходимости восстановления самобытности «черных народов» и даже строят на этом свою политику. Балтазар Форстер, в сущности, внушает африканским народам своей страны, например, зулусам: вы хотите восстанавливать свою самобытность? Хорошо. Я совсем и не хочу навязывать вам чужую культуру. Зачем вам, действительно, математика и химия? Шекспир и Гёте?

Парадоксально? Да нет. В материалах ЮНЕСКО это вполне логично объясняется: «Проводники политики апартеида в Южной Африке вынуждены были прибегнуть к использованию местных языков в качестве главного средства обучения в начальной школе... для того, чтобы закрепить языковую, социальную и культурную изоляцию африканского населения как от других национальных групп в самой стране, так и от всего внешнего мира».

Как видится все это Салиху? В его повести многие читатели увидят для себя что-то новое. Даже сам его взгляд — не с Запада на Восток, а с Юга, из Африки, на Север. Европа, Запад — для него Север. Его героя влекут далекие земли, как и героев Райдера Хаггарда и Клода Фаррера, но для тех это была экзотика Востока и Африки, а для него — Европа. И в ней он, житель Африки, тоже видит своеобразную экзотику.

Герой Райдера Хаггарда и Клода Фаррера отправлялись завоевывать Восток и Африку. Мустафа Саид видит себя завоевателем Европы. «Я завоеватель, пришедший с юга, и здесь — ледяное поле битвы, откуда я не вернусь живым». Или так: «Да, господа, да! Я пришел к вам сюда как покоритель, как захватчик, я проник внутрь вашей цитадели, в самое ее сердце. Я — капля того яда, который вы своей собственной рукой вспрыснули в кровеносные сосуды истории».

В этих и подобных громких заявлениях немало аффектации. Но все же свою страну автор видит весьма трезво.

Герои Ат-Тайиба Салиха не идеализируют Запад. Они ненавидят колониализм. «Впервые пароходы поплыли по Нилу, везя на своих палубах не хлеб, а пушки. А железные дороги? Их ведь проводили через пустыню для переброски солдат. Школы строились для того, чтобы учить нас, как говорить «да» на их языке».

Ат-Тайиб Салих любит свой народ, любовно рисует суданскую деревню. Но нет у него идеализации привычной стародавней жизни. «Разве можно хоть чем-нибудь проняять этих людей? Нет. У них свои твердые представления. И на все готовый ответ... Если смеются, то говорят: «О боже милостивый, прости!» — а плачут, так тоже говорят: «О боже милостивый, прости!» Нет, от них не услышишь: «Чему я, собственно, научился? Что я знаю?» Они так не говорят. А чему они действительно научились, так это молчанию. Молчанию и терпению».

Нет у Салиха и преклонения перед всем, что после провозглашения независимости появилось в жизни его страны, да и многих других стран Африки и Азии. «...У новых африканских господ самодовольные, сытые лица и волчьи пасти. На руках у них сверкают драгоценные перстни. Они благоухают дорогими духами. Их белые, синие,

черные и зеленые одежды сделаны из великолепного мохера и дорогих шелков. На плечи небрежно накинуты леопардовые шкуры, обувь отражает огни свечей не хуже мраморного пола... Трибуна, на которой министры просвещения стран Африки сменяли друг друга в течение девяти дней,— из такого же красного мрамора, каким облицована гробница Наполеона в Доме инвалидов».

С такой трибуны оратор может бичевать пороки своего общества самыми яростными словами. Хотя бы так: «Каждый, кто учится сегодня, мечтает о мягком кресле под вентилятором, о доме с кондиционированным воздухом среди пышных садов, мечтает раскатывать в американской машине последней марки по широким проспектам. Если мы сейчас же не уничтожим с корнем опухоль в самом ее зародыше, у нас родится новый класс, класс буржуазии, не имеющий никакого отношения к нашей действительности, а это куда более опасно для Африки, для ее будущего, чем даже сам колониализм».

Речь встречена аплодисментами, но потом, как видят герои повести Салиха, этот самый оратор на все лето покидает Африку и отдыхает на своей вилле в Швейцарии, под Локарно, а его жена скупает дорогие вещи в Лондоне и отправляет их домой специальным самолетом.

Идея «Запад есть Запад, Восток есть Восток» не привлекает Салиха ни в европоцентристском, ни в азиоцентристском, ни в афроцентристском варианте. Он возмущается: «Только из-за того, что человек родился вблизи от экватора, одни сумасшедшие глупцы считают, что он должен быть рабом, и только рабом, а другие — богом! Где же золотая середина? Где истина?»

Салих не показывает выхода из нарисованного им драматического положения. Но важно уже то, что он задается такими вопросами. А еще важнее — что в этом он не одинок. Все больше африканцев и азиатов видят зло как в «белом» расизме и колониализме, так и в национальном нигилизме, в стремлении к обособлению своих народов, в противопоставлении развивающихся стран развитым, бедных государств — богатым, «мировой деревни» — «мировому городу».

Так много вокруг теорий
О Западе и Востоке.
В их многоголосом хоре —
Претензии и упреки.

Одно лишь, во всяком случае,
Известно давно и без карт—
На фоне всего, что накручено:
Земля наша —
Круглый шар.

Это кейптаунский поэт Доллар Брэнд с другого конца Африки вторит Салиху и его единомышленникам.

Африка велика, и нет единых глаз, которыми она смотрела бы на Европу. Есть глаза, полные ненависти к «белому человеку» — за зло, нанесенное европейским колониализмом. Но многие уже, подобно Салиху, сознают, что баррикады не должны делить человечество по национальному и расовому признаку [1].

А. ДАВИДСОН

■

[1] Проблема Востока и Запада в различных аспектах, проблема упрочения взаимопонимания между государствами и народами находит постоянное отражение на страницах нашего журнала и привлекает к себе внимание многочисленных читателей. В частности, напечатанная в № 7 за 1975 год статья Т. Григорьевой «И еще раз о Востоке и Западе» вызвала различные отклики и соображения о необходимости продолжения разговора на эту тему.

Редакция имеет в виду опубликовать в ближайшее время статьи с аналитическим разбором поднятой проблемы, имеющей первостепенное значение в свете ленинской миролюбивой политики Советского государства и исторических решений Совещания в Хельсинки.

АЛЕН БОСКЕ

■

Перевод с французского МИХ. КУДИНОВА

Море

Море рисует синюю рыбу,
стирает рыбу серого цвета,
рисует горящего крейсера глыбу,
стирает крейсер, никем не воспетый.

Море — больше поэт, чем поэты.
Море с любым музыкантом поспорит,
мой переводчик,
цветов перевозчик,
древнее море,
грядущее море.

Приоткрывая свои секреты
и в глубине моей обитая,
море рисует зеленое солнце,
стирает солнце синего цвета,
полураскрытое солнце рисует
на перепуганной рыбьей стае.

Ветер

Кружись, кружись, чтоб в нос
вцепиться или в плечи,
кружись, чтобы до слез
глаза хлестать при встрече.
Гони в загон ягнят,
где б их ни заприметил.
На части я разъят
тобой, воскресный ветер.
Мне рук моих и глаз
вернуть ты не намерен.
Ну что ж! Моих гримас
не тронь по крайней мере.

Мухи

Мухи, в такую пору
не нарушайте тишь!
Гляньте: цветущую гору
в муках рождает мышь.
Есть у горы свой личный
хор снегирей (он спит);
есть луна за наличный
расчет и луна в кредит;
кружат над ней планеты,
в сделках она честна,
до наступления лета
есть у нее весна.
Мухи, в такую пору
не нарушайте тишь!
И посмотрите на гору:
гора родила мышь.

Песок

Не аист белый, а сороконожка.
Корабль мертвый гору заменил.
От острова осталась лишь сторожка.
Спит в сердце пума, выбившись из сил.
Река в легенде стонет и томится.
Куст ничему не научил меня.
Помарками моими стали птицы
при свете догорающего дня.
Уходит образ: для его забавы
я слишком был наивен и несмел.
При чем же тут песок? Не знаю, право.
Он в стороне остаться захотел.

Горизонт

Руки к нему протянул —
он обжигает ладони.
В глубь моих глаз запихнул —
мечется зверем в загоне,
полон опасных причуд,
прыгает, скалит зубы.
Поговорить с ним хочу —
он вырывает мне губы.
В шкуру его я врос —
нет в ней ни формы, ни цвета,
ибо на каждый вопрос
и мудреца и поэта
то это тигр, то бизон,
то обернется он ланью,
то голубком... Горизонт
сверх моего пониманья.

Луна

Любая луна
у меня из картона,
склонилась одна
над песней зеленой,
над песней моей
и ее ощипала,
и ярость сильней
во мне запылала.
Слова мои, в бой!
Не страшитесь урона!
Сразился с луной
человек из картона.

Снег

Комета ранена. Бинты. И вата, вата...
Деревья в обмороке. Вата и бинты.
Здесь оперируют. И это как расплата,
когда метафорой смертельно болен ты.
Друзьям и родственникам шлите извещенье
(бинты). Готов ли шприц? Пусть явятся скорей
медведь, и яблоня, и птицы, и растенья,
четырехглавый гриф, экватор, муравей.
Ушел из госпиталя океан печальный,
где многих островов лишился он. И вот
бинты и вата вновь. Слова для них фатальны.
Выздоровление. Снег в городе идет.

Дерево

Проворней зебры ты порой,
подвижнее меридиана,
твой позвоночник под корой
звенит насмешливо и странно.
Нельзя твоих плодов срывать,
и пусть запомнят все поэты:
сокрыта здесь морска́я гладь,
здесь погрузились в сон кометы.
Мудрее рыб ты, и легки,
как тропики, твои движенья,
на все поэмы и стихи
в листве ты прячешь возраженья.
Едва с тобой заговоришь —
вокруг тебя безмолвья стены,
ты бьешь ветвями, ты паришь
и исчезаешь вдруг со сцены.

■

ХАНС ЛИДМАН

Рассказы

Перевод с норвежского и предисловие В. ЯКУБА

Предлагаемые читателю рассказы взяты из книги «Звезда Лапландии» шведского писателя Ханса Лидмана, одного из наиболее известных в Скандинавии «певцов природы Севера», как его нередко называет критика. Популярность Лидмана настолько велика, что книги его иногда выходят в других скандинавских странах раньше, чем они появляются в самой Швеции. Вот и эти рассказы переведены с норвежского, так как «Звезда Лапландии» издана недавно в Норвегии, а в Швеции выйдет только в конце этого года [1].

Путь Лидмана в литературу был сложен и нелегок. Родившись в 1910 г. в небольшом местечке Свег, в шведской провинции Херьедален, Лидман и поныне живет и работает вдали от столичного шума, в тиши лесов Вокснадалена, в небольшом поселке Эдсбюн. Мальчику было всего три года, когда разорился и трагически погиб отец, незадолго до того основавший крохотную фабрику по переработке местной древесины. Семья познала глубокую нужду и лишения, детям пришлось рано оставить школу. С юношеских лет будущий писатель зарабатывал на жизнь тяжелым физическим трудом.

После мирового экономического кризиса, разразившегося в начале 30-х годов, Швецию охватила безработица. Оказавшись за пределами фабрики, молодой Лидман странствует по лесам Вокснадалена, изучает природу родного края. Много недель подряд живет в лесу, ночуя то на летних пастбищах, то в бараках лесорубов, наблюдает и изучает жизнь леса и его обитателей. Эти нелегкие, но счастливые годы, насыщенные яркими впечатлениями, дали писателю богатейший материал для будущих книг, они определили литературную тематику произведений Лидмана.

В начале 40-х годов Ханс Лидман выступил в литературе как автор очерков и статей о природе. С каждой новой работой он завоевывает все более широкое признание у читателей. В 50-е годы, когда в Швеции, как, впрочем, и в других скандинавских странах, стала особенно популярна литература о природе и животном мире, имя Ханса Лидмана уже было хорошо известно массовому читателю.

Много превосходных работ вышло из-под пера Ханса Лидмана, но, пожалуй, наибольшую известность принесла ему книга «В лесу снежной совы», которая вышла в Швеции в 1960 г. и с тех пор выдержала много изданий.

Книги Ханса Лидмана издаются в Швеции и других скандинавских странах большими тиражами, многие из них уже давно стали бестселлерами. И это понятно. В условиях бурного роста промышленности, когда урбанизация охватывает все большее число стран, даже скандинавы, издавна жившие среди девственных лесов и озер и неизменно черпавшие в общении с природой бодрость и новые силы, оказались перед угрозой серьезных невосполнимых потерь. А в других западноевропейских странах и вовсе давно забыты те времена, когда житель крупного города мог за полтора добраться до тихого, нетронутого уголка леса или безлюдного уединенного озера. Нет больше таких мест, они превращены в «культурные» парки, а пустоши застроены или перепаханы.

Но уже и в Швеции, традиционно лесной державе, наблюдаются такие процессы, которые у всех ценителей природы вызывают острое чувство горечи и тревоги. В по-

[1] По-русски книга будет опубликована в издательстве «Мысль».

гоне за сверхприбылью частные компании вырубают леса, оголяя даже водоразделы. Возникает эрозия почв, мутнеют и иссякают реки, когда-то полноводные источники энергетических ресурсов.

В защите прекрасных лесов родной земли и их обитателей видит Лидман свой гражданский долг. Уже само по себе описание животных и среды, в которой они обитают, дело нужное и благородное, и значение таких книг трудно переоценить; однако в последние годы шведские писатели включились в активную борьбу за охрану всего живого на нашей планете, и среди них Ханс Лидман занимает одно из ведущих мест.

Лидман превосходно знает северные районы Скандинавии, так называемый Калот, леса и плоскогорья Лапландии на стыке трех северных стран — Швеции, Финляндии и Норвегии, просторы Финмаркского нагорья, что спускаются к побережью Северного Ледовитого океана, район крупнейшего финского озера Инари. Вот уже двадцать пять лет он неизменно приезжает сюда летом, бродит по еще нетронутым лесам, изучает жизнь и быт небольшого народа — саамов, помогает людям косить сено, присматривать за оленями, ловить рыбу. Он тут желанный гость, и у него много друзей. Наблюдая суровый и нелегкий быт этих людей, постоянную борьбу с нуждой, а порой даже голодом, Лидман проникается глубокой симпатией к жителям Лапландии. Своими повестями и рассказами — герои в них вполне конкретные люди, которых писатель хорошо знает,— Ханс Лидман привлекает внимание широкой общественности стран Севера к тяжелому положению саамов, которые живут несравненно хуже, чем шведы, финны и норвежцы, хотя и являются гражданами этих стран и формально обладают теми же правами. Рассказы писателя исполнены гуманизма, они обличают социальную несправедливость и нищету.

Саамы — коренные жители Севера, свое происхождение ведут с Зауралья. В настоящее время они живут в СССР, на Кольском полуострове, и в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии. Их численность — около 35 тысяч человек. Одна из этнографических групп саамского народа — саамы-сколты — живет по берегам озера Инари. В языковом и культурном отношении они близки к другим саамам района Инари и к саамам Кольского полуострова.

Действие в рассказах, вошедших в книгу «Звезда Лапландии», разворачивается в местах, где живут саамы-сколты. Человек и окружающий его мир, острые драматические ситуации, риск и опасность, столкновение характеров — вот те темы, которые делают рассказы Лидмана интересными и увлекательными.

Шведские критики, внимательно следящие за каждой новой работой Ханса Лидмана, неоднократно отмечали, что серьезное влияние на его творчество оказала русская классика. На полках в рабочем кабинете писателя стоят переводы лучших произведений русской и советской литературы, к которой он питает глубокое уважение. Член общества Швеция—СССР, он живо интересуется вопросами охраны природы в Советском Союзе, восхищается той работой, которая развернулась у нас в настоящее время. Не так давно писатель побывал на Кольском полуострове, в местах, столь схожих с его любимой Лапландией. Возвратившись домой, он публикует книгу о поездке в СССР — «Путешествие к солнцу».

Ханс Лидман в расцвете творческих сил. Напряженный труд заполняет всю его жизнь. Вот и сейчас он готовит к изданию несколько разных книг одновременно — для Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Германской Демократической Республики. В этом году, помимо СССР и названных стран, его произведения выходят в Англии, Чехословакии, Венгрии.

Длинная ночь Ниило

Когда Ниило просыпается под своей оленьей шкурой, ему в лицо ударяет холод. Бревенчатая стена покрылась инеем. Маленькое оконце замерзло. Так здесь бывает часто.

Он лежит и потягивается — очень уж не хочется покидать теплое ложе. Лежит и думает о том, как распределить свой день.

На улице лютый мороз. После снегопада всегда бывает очень холодно. Да, сегодня далеко не пойдешь. Только бы проверить ловушки на куропаток у Пиккулампи. Часть ловушек надо бы переставить и снова зарядить после метели. На это уйдет часа два. Потом снять шкурки с двух белок и горностая, что несколько дней назад попались на приманку в дровяном сарае.

Но прежде всего он выпьет кофе.

Ниило соскакивает с нар, натягивает брюки и надевает ботинки. Потом разводит в очаге огонь, разбивает лед, который образовался за ночь в ведре с водой, и наполняет кофейник.

Смолистое дерево быстро разгорается, и в маленькой лачуге становится теплее. Кофейник закипает, и не успел еще Ниило как следует одеться, как кофе уже готов. Он выпивает две чашки, но ничего не ест. Часа через два он вернется обратно и сварит себе оленьего мяса.

Взяв дробовик, он направляется на улицу, с удовольствием погладив мимоходом шкуру росомахи, которая растянута для сушки. Это шкура самки, убитой три дня назад. Где-то поблизости ходит и самец. Интересно посмотреть, не бродил ли он в поисках куропаток в ивняке у Пиккулампи. А возможно, и в ловушках что-нибудь стащил, это случается нередко.

В прошлом году росомаха сожрала тушу молодого оленя, которого Ниило незадолго перед тем застрелил. Олень отстал от стада, заблудился и сильно отощал. Рано или поздно он все равно стал бы добычей росомахи или волка, и уж лучше было прикончить его самому, запастись мясом до конца зимы. Но Олави будет не в восторге, если узнает, что произошло: ведь олень-то из его стада.

Лыжи неважно скользят на морозе, и путь до маленького озера занимает почти полчаса.

В первом капкане сидит куропатка. Ниило продолжает путь по кругу и обнаруживает еще куропаток. Кое-где он останавливается, чтобы поправить или переставить ловушку. Следов росомахи не видно.

В тот момент, когда Ниило сунул последнюю куропатку в рюкзак и взвалил его на спину, показалась росомаха: она бежала вприпрыжку по другой стороне озера. Издали казалось, что зверь, передвигавшийся довольно быстро, буквально катится по свежему снегу, будто куда-то спешит.

Этот самец — ослепительно черного цвета, один из самых красивых, каких Ниило доводилось когда-либо встречать.

Зверь движется чуть-чуть наискосок, все время приближаясь к человеку. Ниило стоит неподвижно, и ему кажется, что где-то вдали, в том направлении, откуда пришел зверь, из хилых сосен доносится какой-то звук. Ниило не знает, что это такое, да и глядеть ему туда недосуг. Наверно, сосны трещат на морозе.

Но вот росомаха почуяла человека. Она резко повернула в сторону, и дробь ее теперь уже не достанет.

Ниило быстро перезаряжает ружье, вставляет патрон с самой крупной дробью и что есть мочи припускается за зверем.

Досадная неудача постигла его на той неделе. Застрелив одинокого молодого оленя, Ниило содрал с него шкуру, а большую часть мяса решил припрятать впрок. Он, конечно, видел, что на животном стояло клеймо Олави, другого саама, который зимой пас свое стадо ближе к побережью, километрах в двадцати отсюда.

Вернувшись через два дня к тому месту, где было спрятано оленье мясо, Ниило обнаружил, что там побывала росомаха и сожрала все его запасы. Но его это отнюдь не огорчило, скорее, наоборот, обрадовало — ведь если Олави найдет место, где был убит олень, он поймет, что это дело росомахи. К тому же зверь наверняка придет сюда снова: он всегда возвращается к тому месту, где может чем-то поживиться. И Ниило приладил у остатков туши самострел, какой обычно ставил на лося. Привязав ружье к двум елям, он ствол направил немного выше головы оленя, которую росомаха перенесла чуть-чуть в сторону, но, вопреки своим привычкам, не затащила вверх на дере-

во. Затем прикрепил тонкую проволоку к спусковому крючку, зацепив другой ее конец за голову оленя. Как только зверь дотронется до этой головы, произойдет выстрел. Таким способом Ниило подстреливал росомах и раньше.

Но только теперь он понял, какую совершил ошибку. Надо было ставить дробовик. Ведь на таком близком расстоянии дробь тоже вполне хороша, зато ружье было бы сейчас при нем, а значит, и самца он мог бы теперь уложить. Ниило был хороший стрелок.

Что ж, предстоит нелегкая охота. Наверняка одна из самых трудных «гонок», в какие он когда-либо пускался. Вообще-то преследовать росомаху дело почти безнадежное, если только охотник с самого начала не находится на близком расстоянии от зверя. И если хорошенько поднажать да еще немного повезет, то, возможно, удастся загнать росомаху на дерево. Тогда уж зверю каюк, пусть даже у Ниило при себе один только дробовик. Но чтобы загнать росомаху на дерево, надо сперва подойти к ней довольно близко, и Ниило бежит изо всех сил.

Минут через пятнадцать он сбрасывает с себя рюкзак — мороженые куропатки не столь уж ценная провизия. Сразу становится легче идти. Время от времени он видит впереди росомаху. Надо во что бы то ни стало загнать ее на дерево: ведь в этом лесу через двадцать—тридцать километров, ближе к горам, местность вся покрыта большими валунами, и продвигаться станет труднее. Зверю легче будет скрыться, да и деревья там низкорослые, так что искать на них убежища он вряд ли пожелает. К тому же в тех местах много старых берлог.

Одежда Ниило промокла от пота, и через полчаса он сбрасывает с себя толстый шерстяной свитер. Бежать становится легче, но на спусках ледяной ветер насквозь продувает мокрую рубашку. Ничего, просохнет. Так было и в последний раз.

Ах да, в последний раз! Когда он гнался за самкой росомахи. Пришлось хорошенько попотеть, и все же было много легче. Правда, самка нередко уходила от погони, особенно в лесу, но она бежала не так быстро, как этот самец, и Ниило вскоре ее измотал.

Охота началась тогда не совсем обычно. Ниило отправился проверить ловушки и неожиданно столкнулся с Марко, ближайшим соседом, который жил в нескольких километрах к востоку. У Марко тоже небольшая хижина, как и у Ниило, он холост и живет один.

Есть у Марко несколько оленей. Трех из них, по его словам, он купил, но остальных украл у саамов-оленеводов. Когда охота не ладится, Ниило иногда вынужден убивать оленей. Тех, которые отстали от стада. Их все равно загрыз бы волк или росомаха. Но уводить живых оленей, чтобы таким путем увеличить свое стадо, разве это честно? Ведь это воровство!

Марко обнаружил пропажу двух оленей и очень боялся, что их загрызет росомаха, он уже видел ее следы. Вот он и попросил Ниило пойти вместе с ним, возможно, им удастся обложить зверя и пристрелить его.

Нельзя сказать, чтобы Ниило питал к Марко особую симпатию, но он знал, что, если пойти на норвежскую территорию и там продать шкуру, можно неплохо заработать, получив вознаграждение за зверя и хорошую цену за шкуру. И он отправился вместе с Марко.

Не успели они отойти, как обнаружили следы росомахи. То были совсем свежие следы. Уж если росомаха вышла из укрытия средь бела дня, значит, ее гонит голод.

Ниило тотчас поспешил по следу. Роста он был невысокого, весил мало и потому быстро скользил по пласту. Марко был тяжелее, лыжи у него часто проваливались, и вскоре он сильно отстал.

Ниило гнал что было мочи, он уже сбросил рюкзак и снял свитер. Километров через десять он догонит росомаху. Вот уже зверь отчетливо виден, расстояние между ними все сокращается.

Раза два зверь останавливался и озирался вокруг. Вставал на задние лапы, как это обычно делают медведи,— подобно медведю, росомаха плохо видит. Но прежде чем Ниило успевал вскинуть ружье, росомаха пускалась в бегство и скрывалась в гуще деревьев.

Наконец через несколько часов погони они вышли на большое болото. Зверь попытался скрыться, но лес был редкий, и Ниило хорошо его видел. Свернув со следа, охотник пошел наперерез.

Росомаха вскарабкалась на старую кривую сосну и плотно прижалась к толстой ветке. Оставалось лишь прицелиться, и светло-коричневая самка камнем свалилась на землю.

Ниило тут же содрал со зверя шкуру, запихнул ее за пояс и отправился в обратный путь. Но чтобы найти рюкзак и свитер, пришлось идти по старому следу, вот тут-то и повстречался ему Марко.

Марко поинтересовался, как прошла погоня, и Ниило все ему рассказал.

— Значит, поделим премию и выручку за шкуру,— заметил Марко.

—. Ну нет уж, ты никогда бы эту росомаху не догнал,— ответил Ниило и помчался прочь, вздымая вихри снега.

Уже смеркалось. За спиной послышался голос Марко:

— За эту шкуру ты мне дорого заплатишь!

Марко любил сболтнуть, Ниило знал это уже восемь—десять лет, с тех пор как Марко пришел в эти леса. Так что и на эту угрозу вряд ли стоило обращать внимание.

Но, с другой стороны, не стоит враждовать с человеком, который по охоте, рыбалке и сбору ягод твой ближайший сосед. Да и как узнать, что за человек этот Марко, в душу ведь не влезешь. А если он завистливый и мстительный?

Час за часом бежит время. На болотистых участках расстояние между охотником и росомахой сокращается, и Ниило отчетливо видит черного как смоль, с блестящим мехом зверя. Раза два он мог бы хорошо прицелиться в самца, будь у него ружье.

На открытых местах Ниило обдает резким, жгучим холодом, холод обжигает руки и грудь, и такое чувство, будто тебя сейчас парализует. Но это оттого, что Ниило бежит слишком быстро и сильный ветер пронизывает одежду и перехватывает дыхание.

К тому же Ниило испытывает жажду и голод, рот и горло пересохли, посасывает в желудке. Прежде чем пускаться в погоню за росомахой, надо было как следует подкрепиться вареным оленьим мясом, а не только двумя чашками кофе.

Черт побери, никак не загнать этого хитрого зверя на дерево. Хотя порой удается его настигнуть, и тогда видно, как качаются задетые им ветки, можно даже заметить черный зад росомахи с толстым коротким хвостом, исчезающий за белыми пушистыми елями, но выстрелить прицельно тут просто невозможно.

Ниило совсем обессилел. Перед глазами пошли черные круги. Если б загнать этого зверя на дерево, у Ниило оказалось бы две шкуры. Дня через два ему все равно идти в поселок — продавать куропаток, их набралось уже множество, вот он и сходил бы заодно на ту сторону границы и попросил своего родича, тоже охотника, получить вознаграждение. Там, в Норвегии, за росомах дают большие премии. За услугу родственник получит одну из шкур, и это будет выгодно для обоих. В худшем случае Ниило отдаст ему обе шкуры. Главное ведь премия, она гораздо выше стоимости шкур.

Солнце уже зашло, и тени вокруг деревьев и кустов стали синими. Спустя час нельзя уже будет стрелять. День пропадет понапрасну, и впереди лишь долгая, неуютная ночь.

Ну и чертовщина!

В груди у него все горит, в голове стучит. Большие черные пятна все чаще танцуют перед глазами. Внезапно он врезается в ель, снег обсыпает его с головы до ног. Потом он налетает на камень и едва не падает.

Тени становятся темнее, видимость ухудшается.

Но вот впереди качнулась ветка, и Ниило различает что-то черное. Зверь совсем близко. Может, он тоже начинает уставать.

Ниило думает: «А не крикнуть ли? Что есть мочи. Может, зверь испугается и полезет на дерево?»

Пожалуй, так и надо сделать.

Он пытается крикнуть, но голос не повинуется, раздается лишь хриплое бульканье — горло совсем пересохло, холодный ветер обжег голосовые связки.

Ниило опять налетает на камень и едва не ломает лыжи. Этого только не хватало, за несколько десятков километров от дома! Удивительно, как быстро наступают сумерки.

Он поднимает голову. Стволы и ветви, лишенные снега, на фоне неба кажутся черными. Где-то высоко появляются первые звезды, значит, стрелять уже поздно. Мушку не разглядеть, и выстрел пройдет поверху.

Неожиданно правая лыжа застревает под стволом маленькой березки, которая низко склонилась к земле и конец ее вмерз в наст. Ниило не заметил ее дуги и кубарем летит в снег.

Медленно поднявшись, он снимает лыжи и отряхивается. Пытается очистить ствол дробовика, но дробовик слишком глубоко ушел под наст, и дуло его забито снегом.

Усталый и растерянный, он озирается. Следы росомахи еще различимы среди глубоких теней, но прицелиться и выстрелить уже невозможно. Он медленно закидывает за спину дробовик, даже не пытаясь очистить его от снега. С трудом поворачивает лыжи и отправляется в долгий и унылый путь домой.

Сумерки сгущаются, но темнота все же не так уж черна и непроглядна. Осенняя ночь безлунна, однако снег поблескивает, а на небе сверкают тысячи звезд. Лыжный след впереди виден отчетливо. В густом лесу надо передвигаться с осторожностью, хорошо еще, что эти чащобы попадаются нечасто. Деревья тут низкорослы, с раскидистыми кронами.

Время от времени Ниило сбавляет бег, но тогда тело довольно быстро остывает, рубашка смерзается и при каждом движении натирает руки и шею. Сейчас бы в самый раз плотный и толстый свитер, но до него еще так далеко. Быть может, рубашка все же просохнет...

Теперь, когда Ниило оставил погоню, а с ней и радужную надежду на крупную добычу, его охватывает страшная усталость. Ноги дрожат, руки слабеют. В желудке сосет и ноет от голода, обжигает жажда, хотя на улице стоит такой мороз. Малюсенький глоток кофе мог бы сотворить чудо.

Какая сладкая мечта — свежий кофе и ломтики сушеного мяса у большого и яркого костра! И теплый шерстяной свитер!

Нет, нет, об этом нечего и думать, пока еще не время. Позднее будет и кофе, и котелок с оленьим мясом. И жаркий огонь в печурке, чудесный домашний очаг.

Жаль, конечно, что зверь ушел. Ниило так его загнал, что теперь он не скоро осмелится вернуться обратно. Было, наверно, глупо начи-

нать охоту в такой поздний час. Лучше бы оставить росомаху в покое. Возможно, зверь польстился бы на убитого оленя и сам налетел на самострел.

Так бы и вышло. А впрочем, самку ему тогда удалось загнать быстро и легко. То была удачная охота. Правда, тогда и погода была получше: ведь охотиться на росомаху не так-то просто — она и крепче и выносливее волка. Пожалуй, охота на нее даже труднее, чем на любого зверя.

Если бы он не видел так близко и отчетливо эту росомаху и не надеялся загнать ее на дерево! А то ведь он много раз был у цели, но старые самцы так коварны и хитры, что только в крайнем случае взбираются на дерево, будто знают, что там опаснее.

Зверь, похоже, был и вправду стар — из тех, у которых на лбу и на затылке уже появился белый волос. За такие шкуры платят хорошо.

Удивительно, как отяжелели ноги. Будто куски свинца. И как трудно стало двигать палками.

Он и вправду совсем измотан. Хорошо бы остановиться и немного отдохнуть. Но это опасно. Того и гляди, заснешь, да затекут руки и ноги так, что не сможешь двинуться с места. Впрочем, все равно огонь не развести — коробок со спичками в заднем кармане отсырел от пота, и сера отошла от палочек.

Нет, надо стиснув зубы продолжать путь. Ближе к дому дорога будет легче — местность более ровная, не такая пересеченная, как здесь, и валунов поменьше!

Ниило чувствует, что его начинает качать из стороны в сторону. Раньше это случалось редко — раза два, когда он болел и у него был жар. Он всерьез забеспокоился: ведь это признак полного изнеможения, а до дома еще так далеко!

Черт побери, если б только там, у Пиккулампи, у него было ружье! Он тогда стоял так тихо и спокойно, мышцы и легкие были ему полностью подвластны. Первая же пуля наверняка попала бы в цель. И совсем другое дело, когда подходишь к зверю на расстояние выстрела после многодневной погони и настолько измучен, а сердце и легкие так напряжены, что ноги, руки и даже все тело дрожат. Стрелять приходится стоя, второпях, без упора. Но и при этом тоже можно попасть в цель.

Если бы он выстрелил тогда у Пиккулампи, наверняка попал бы в зверя, хотя росомаха и неслась во весь опор.

Да, но почему же зверь бежал так быстро? Обычно росомаха не очень тороплива. Только подкравшись к оленю и совершая последний бросок, она мчится стремительно. Но это лишь короткий отрезок пути. А там, у Пиккулампи, зверь вовсе не бежал по следу. Пожалуй, скорее наоборот...

Ну, конечно же, теперь ему все ясно. За росомахой гнались, она была напугана, потому и неслась так быстро. И чуть не прямо на него. Как это ему раньше не пришло в голову.

За росомахой гнался, напугав ее, Марко. В этих лесах только Ниило да Марко охотятся на росомах. И если б у него было ружье и он уложил зверя, то шкуру и премию пришлось бы делить пополам, от этого ему бы не уйти.

Проклятый Марко! Значит, это он спугнул росомаху, заставил кинуться прочь от мертвого оленя и заряженного ружья. Зверь наверняка подбирался к мясу, когда Марко вышел на его след. Вот неудача! Надо ж паршивому Марко появиться в этих местах!

Ниило раздражен и проклинает свою судьбу. Злость придает ему силы. Пугающая неуверенность, неприятное головокружение прохо-

дят, в ногах и руках появляются новые силы, и еще с десяток километров он движется с хорошей скоростью.

Но, по мере того как злость утихает, а мысль по-прежнему вертится вокруг той же темы, его опять охватывает слабость, парализуя мускулы и волю. Голова стала тяжелой, он уже больше не слышит, как трещат на морозе деревья и лыжи монотонно скребут обледенелую лыжню. Ноющая боль во всем теле утихает, его словно окутывает плотный туман, и этот мрак все более сгущается, становясь в конце концов непроглядным. Какая-то неодолимая сила с бешеной скоростью тянет его в черную бездну...

Ниило просыпается от резкого удара, от обжигающей боли в левой щеке. Привстав на колено, он озирается вокруг.

Ну конечно, он заснул, скользя на лыжах, и, налетев на ель, ударился головой о ствол. Острая сухая ветка оставила глубокую рану на левой щеке. Из нее течет кровь.

Ну, ничего, борода густая и длинная, она придержит кровь. Да и без того кровь скоро остановится, ее просто схватит морозом.

Но как он мог заснуть прямо на лыжах! Такого с ним раньше не случалось.

Ему становится жутко, и сна уже как не бывало. Поднявшись на ноги, он продолжает путь. Возможно, осталось уже немного километров до дома, до теплого очага, горячего кофе, вареного оленьего мяса.

Проклятье, как это он мог заснуть! Возможно, он не проснулся бы, даже если б упал прямо в мягкий снег. Тогда бы он замерз и росомаха совершила бы свою кровавую расправу.

Нет, нет, только не она. Месть осуществил бы Марко. За шкуру той самки. Ведь он угрожал.

Проклятый Марко!

И снова лихорадочно работает мысль, перенося его к прошлому. Кто же стащил сети в устье Мустаерви полтора года назад? Ведь только он, Ниило, да Марко знают об отличном нерестилище в устье реки. Когда сеть исчезла, в ней наверняка находилась не одна крупная форель.

А кто вынул лисицу из его капкана года три назад? В ту зиму, в декабре, снег стаял за одну неделю, и, когда снова ударил мороз, Ниило, обнаружив близ убитого оленя лису, сразу же поставил капкан с приманкой из оленьего мяса.

Когда через два дня он пришел проверить, капкан был раскрыт, а на скобках виднелись клочья смерзшегося лисьего меха. И никаких следов вокруг — ни крови, ни костей или других остатков зверя. Если б тут побывала росомаха, она бы отгрызла лисью голову и затащила ее на дерево где-нибудь поблизости. Так она обычно поступает. Но как Ниило ни искал, лисьей головы он не нашел.

К тому же росомаха лисье мясо не ест — по крайней мере до тех пор, пока можно достать другую пищу.

Немного погодя он встретил Марко на базаре, и тот рассказал, что один из его оленей исчез при довольно странных обстоятельствах. А Ниило упомянул про лису, бесследно пропавшую из капкана.

— Значит, у нас в лесу снова завелась росомаха,— заметил Марко и тут же перевел разговор на другую тему.

Вскоре после встречи Ниило зашел к скупщику меха, старому знакомому, и увидел у него необычайно красивую лисью шкуру, целую и неповрежденную, без видимых следов пули.

Ниило спросил, откуда у него такая шкура.

— А я только что купил ее у Марко,— ответил хозяин.

Проклятый Марко!

И у него возникло неодолимое желание броситься на Марко, налететь на него сзади, вонзить в спину нож — прямо под лопатку. Тогда ему больше не придется встречать этого ворюгу в лесу.

Нож съехал по ремню и болтался сзади. Ниило поправил нож и сжал рукоятку, торчавшую из ножен.

Кровь ударила ему в голову, тело покрылось испариной. Десны были сухие, кожу на них стянуло. А пальцы все сильнее сжимали рукоятку ножа.

Но у него ведь не было доказательств. И сам он на всю жизнь угодил бы в тюрьму. Нет, лучше уж жить в своей лачуге, несмотря на такое соседство. Он оставил нож в покое, купил необходимой провизии и прямиком отправился домой.

Осенью того же года, как только выпал снег, Марко снова потерял оленя. Одного из лучших в стаде. И пропал олень совсем таинственно.

Проходит еще час, и мысли Ниило снова возвращаются к той же теме. Ему становится страшно. Он трясет и мотает головой, пытаясь отвлечься, напрягается, чтобы думать четко и ясно. Вспоминает о доме, о кофе, об оленьем мясе.

Вон там на лыжне что-то большое и темное. Одна из лыж наезжает на темную массу.

Что это может быть?

Мысль проясняется, он видит отчетливее. Ну конечно, это же свитер! Его собственный свитер, который он сбросил вскоре после того, как начал погоню за зверем.

Ниило нагибается и поднимает свитер. Почти как камень, но все же с трудом можно натянуть через голову. Замерзшая рубашка прижимается к телу, и становится еще холоднее. Ниило совсем окоченел, но знает, что скоро ему будет теплее.

Чтобы немного согреться, Ниило собирается с силами для короткого, но решительного рывка. И действительно, леденящая скованность тела мало-помалу проходит, мысль начинает работать. До дома теперь уж не так далеко.

Туман, густой мрак постепенно рассеивается.

О, кофе и оленье мясо!

Теперь, видно, недалеко то место, где он оставил рюкзак. Так оно и есть, вскоре рюкзак появляется на лыжне прямо у него под ногами. Странно, неужели это место было так близко? Или он спал на ходу? Может, он на ходу спит с открытыми глазами? И просыпается, только когда раскрытые глаза автоматически регистрируют какой-то знакомый предмет?

Определить это не так-то просто.

До чего же тяжелый рюкзак. Нечеловечески тяжелый. Таким он никогда не был раньше. Его просто невозможно поднять.

Нет, пусть уж лучше полежит тут. До следующего дня. Он поест и поспит, а потом сходит за рюкзаком. Здесь его никто не тронет. Росомаха ушла, а все лисы подстрелены или пойманы в капкан.

А вот и Пиккулампи, он узнает его, хотя уже стемнело. Замечает лыжню, она идет по следу росомахи откуда-то с востока. Когда он начал погоню за зверем, следа от лыж тут не было. Видно, это прошел Марко. Но ведь след проложен по лыжне Ниило, туда, где стоят силки на куропаток.

Поганый Марко! Этот дьявол пошел по его следу, в сторону домика. Дверь не заперта, она всегда открыта тут в лесу для тех, кому может понадобиться кров. Никто ведь никогда и пальцем ничего не тронет.

Но Марко вор, это он, видать, стащил шкуру росомахи!

Теперь ясно. Марко обнаружил лыжный след, возможно, он даже видел, как Ниило начал преследовать зверя. В сосняке на болоте он, наверно, услышал звуки. Например, стук лыжных палок по стволам деревьев, а может, и голос. Когда Ниило не стал его ждать, Марко понял, что у него нет шансов первым догнать росомаху. Отказавшись от погони, он пошел по следу к домику Ниило, где висела шкура той самой самки. Ведь Марко был уверен, что раньше ночи Ниило домой не возвратится, а может, и только к утру.

Ну и дьявол!

Ниило чувствует прилив новых сил. К тому же он идет теперь по хорошей лыжне.

Короткий путь от Пиккулампи до дома пролетает быстро. И снова ему кажется, что часть пути куда-то провалилась, как будто время и пространство образуют лакуны.

В восточной части неба возникает розовый отблеск. Это занимается рассвет.

Да, но где же его дом? На том месте, где он должен стоять, лежит сейчас большая груда пепла. Она еще тлеет, и в небо поднимается тонкая струйка дыма!

Ниило в нерешительности подъезжает ближе. Что это — явь или видение? Неужто он настолько измучен голодом и морозом? Может, все это только сон?

Нет, это не сон. Хижины больше нет. Исчезла шкура росомахи вместе с кофейником и запасом оленьего мяса. И теплый уютный очаг, и мягкая шкура на нарах. Вся его жизнь, все существование полетели прахом.

Словно в дурмане, он идет к дровяному сараю, распахивает скрипучую дверь и заглядывает внутрь.

Висевшие там куропатки тоже исчезли.

Марко... Марко...

Тяжело опираясь о дверной косяк, Ниило опускается на пороге сарая. Не отрываясь, неподвижно и безразлично смотрит он на кучу пепла. Скоро сутки, как Ниило не снимал лыж, почти не делал передышки.

Но теперь-то он отдохнет. Тело совсем обмякло, и отдых приносит покой. Ему чудится, будто он раскрывает дверь хижины, разводит огонь и потом сидит у горящего очага. Смолистый запах дров и тепло ударяют в голову, действуя расслабляюще. Он ест большие куски вареной оленины, заедая сухим хлебом, и пьет свежий и ароматный кофе. Иногда он кидает взгляд на шкуру росомахи. Огонь трещит и отбрасывает желтые блики. Ему теперь хорошо, и мысли снова возвращаются к сегодняшней удачной охоте. Когда начинают сгущаться сумерки, он видит, как самец росомахи так быстро взбирается на кряжистую сосну, что от ствола отлетают большие куски коры. Ловким движением он снимает со спины ружье, прицеливается зверю в плечевую часть и нажимает на спуск.

Какое-то мгновение зверь лежит на толстой ветви, но вот хватка ослабевает, он скользит вниз и с силой плюхается наземь, вздымая вихри снега.

Ниило бросается вперед, хватает росомаху за загривок в том месте, где виден длинный белый волос, с трудом поднимает с земли черного как смоль самца. Более красивого зверя ему никогда еще не доводилось видеть.

Глаза охотника светятся гордостью, на плотно сжатых губах играет счастливая улыбка.

Итак, росомаха все равно досталась ему...

После двух сильных оттепелей снег значительно осел, а на открытых склонах солнце обнажило пни и камни.

Олави готовится к весеннему переходу и собирает оленье стадо. Часть животных, возможно напуганная росомахой, ушла куда-то далеко от стада.

Собака Раппо бежит впереди. Наст твердый, и Раппо носится вокруг, как ураган.

Как-то утром, пересекая болото недалеко от домика Ниило, он слышит, как где-то в лесу громко лает Раппо. Наверно, он лает на Ниило, решает Олави и кличет пса, но тот не возвращается.

Олави направляется к домику, чтобы прогнать собаку.

Но домика больше нет, на его месте груда пепла.

Раппо стоит и лает у дровяного сарая, скрытого в густой тени. Голос у пса протяжный и жалобный. Олави, охваченный любопытством, подходит ближе.

В дверях сарая, притулившись к косяку, сидит Ниило. Замерзшее тело его слегка осело, быть может, из-за оттепели, глаза широко раскрыты и потрескались. Но в уголках рта застыла счастливая улыбка.

Олави отпрянул назад, поманил собаку и пошел дальше на восток — искать своих животных. Ему вовсе неохота влипнуть в такую историю. Это дело полиции.

Но до чего же странная улыбка у Ниило! Никто ведь никогда его не видел улыбающимся. По крайней мере, прежде, при жизни! Что же, возможно, ему в жизни не всегда бывало сладко...

Через несколько километров пес снова поднимает лай.

Наконец-то, думает Олави, Раппо обнаружил оленя. И он быстро устремляется вслед за собакой.

Так оно и есть, там в самом деле олень. Но на оленьей туше лицом вниз лежит человек.

Олави подъезжает вплотную и нагибается.

Это же Марко! Мертвый Марко!

На спине у него разорванный рюкзак, он лопнул, возможно, его растерзали звери. В рюкзаке и вокруг него видны белые куропатки. На снегу раскидан белый пух.

Из рюкзака торчит шкура росомахи. Совсем светлая шкура, вероятно, самка.

Олави озирается вокруг.

Ну, конечно, вон там укреплено ружье-самострел, и от спускового крючка к голове оленя тянется тонкая латунная проволока, точно такая, какие используют в силках на куропаток.

Да, Марко нарвался тут на самострел, который Ниило приготовил для росомахи. И получил пулю в грудь.

Вот как бывает в жизни.

Раппо носится вокруг и громко лает. Он возбужден, и временами лай его напоминает вой. Да это и немудрено — найти в лесу два трупа в один и тот же день!

Олави шикает на собаку и гонит ее прочь. А потом уходит сам. Ведь это тоже для полиции. Да, теперь хватит дел и полиции, и старому ленсману [1].

Все это странно и загадочно. Почему Марко очутился в охотничьем угодье Ниило с рюкзаком, набитым куропатками? Да еще шкура росомахи. Вроде бы совсем сухая.

Ну а то, что Марко из любопытства подошел к мертвому оленю, понять нетрудно. Хотел, видно, проверить, не из его ли стада олень.

---

[1] Административное лицо, представитель местной гражданской власти

Погоди, погоди! Олави что-то соображает. Он возвращается и начинает ковырять палкой, пока не раскапывает в снегу оленье ухо. Конечно, там стоит его, Олави, клеймо. И он бормочет себе под нос, отходя назад и поворачивая лыжи:

— Ну что ж, конец обоим по заслугам. Гнались, видать, за росомахой, да сами-то похуже зверя.

Большой лосось

Начисто обглодав последние жилы с оленьей лопатки и проглотив жидкую кашу, Уле набивает себе в нос хорошую понюшку табаку. Какое-то время он сидит неподвижно, чтобы дать завтраку опуститься в желудок, и с удовольствием ощущает, как пища и табак согревают и успокаивают сердце и нервы.

Так он сидит минут пятнадцать, может и больше, молчаливый и отсутствующий. На дворе исчезают последние блики заходящего солнца, и овцы собираются у хлева. В окно видно, как крадется дворовая кошка, неся в зубах полевую крысу.

Наконец Уле поднимается, потягивается и, обратившись к молодой жене, которая хлопочет у плиты, неторопливо произносит:

— Знаешь, Магтан, я, пожалуй, пройдусь к стремнине. Кто знает, авось повезет.

Магтан ничего не отвечает. Она уже привыкла к тому, что летом ей не часто приходится проводить ночи вместе с Уле. В это время его волнует только лосось.

Но Магтан понимает, что так и должно быть. Лосось для них самый важный источник доходов, а поймать его можно только ночью. Так что с этим надо мириться.

Уле достает в сарае весла, спиннинг и идет по тропе к Большому водопаду. Там стоит такой сильный грохот, что земля дрожит. Но Уле к этому привык и совсем не замечает гула.

Спиннинг подготовлен к броску. На леске закреплена небольшая зеленовато-коричневая блесна в форме рыбки со светлым брюшком, сплошь искусанная острыми зубами лососей. Лучшей блесны на Большом водопаде и не придумать — если уж лосось не клюнет на эту, значит, клева не будет вообще.

Блесна эта шведская, во всяком случае, он получил ее от шведского туриста. Но теперь она уж так потрепана, что надо подумать, как бы достать другую.

Спустившись на каменистый берег реки, Уле останавливается и окидывает взглядом большой Каменный омут. По всей стремнине крупнее омута нет, если не считать Большого омута внизу, в конце стремнины.

Каменный омут — сто пятьдесят метров в длину и почти столько же в ширину. В верхней части стремнины течение бурное, и оно переходит в узкий водопад. Внизу поток тоже очень быстрый, и эта часть зовется Каменной стремниной; вода тут довольно мелкая, в ней множество острых камней. Если взятый на блесну лосось попадает в эту часть стремнины, то считай, что он потерян вовсе, особенно когда в реке бывает мало воды. Да и уйдет ведь не только лосось, он уносит с собой обычно и блесну, а вместе с ней и много лесы.

Каменный омут глубокий и тихий. Лосось, поднимаясь вверх по реке, останавливается в этом омуте, чтобы слегка передохнуть: впереди такая длинная и трудная стремнина, вся покрытая бурлящей пеной.

В этом омуте Уле добыл не одну сотню лососей, и бывали дни, когда он зарабатывал весьма прилично, ведь северонорвежский лосось ценится высоко. Но рыбачить в омуте опасно, лодку легко может снести далеко вниз и затянуть в бурный поток у выхода из стремнины. Не раз, когда на блесну попадался крупный лосось, Уле едва не затягивало в стремнину, а плыть по ней на лодке — значит кануть в вечность.

Там, где кончается омут, посреди бурного потока, за первым белопенным гребнем лежит низкая каменная плита. Ее называют Лососевый камень. Весной, когда река разливается, плиту совсем не видно. Да и осенью, когда идут дожди, плита тоже скрыта под водой. Но сейчас уже долго стоит засуха и дует восточный ветер. Уровень воды опустился, и Лососевый камень виден хорошо; поток через него не перекатывает, но, обтекая камень, сильно и быстро мчится рядом. А внизу, в небольшой заводи, клочья белой пены пляшут и беснуются в вечном круговороте.

Чуть пониже Лососевого камня всегда ходит рыба. Крупная рыба, и стоит опустить в заводь блесну, как она может тут же клюнуть. Если это большая рыба, то у вас такое ощущение, будто блесна застряла в камнях. Лосось по-прежнему стоит не шелохнувшись, и только если бросить в заводь камень, он быстро устремится вниз. Поток тут бурный, русло забито камнями, да и берег усеян валунами высотой в рост человека. Двигаясь по берегу, надо лавировать среди огромных камней, и следовать за лососем невозможно. Отпускаешь лесу до предела, но где-то посреди стремнины узел на катушке спиннинга сорвется, и все равно рыба уходит, унося с собой и лесу и блесну. А сам рыбак набьет лишь кучу шишек или растянется на скользких камнях на берегу реки. И ночь потеряна напрасно.

Бывает, правда, и так, что лосось, побившись о камни, заходит в тихий омут, и тогда его можно спасти. Но это случается не часто.

Нет, лучше уж держаться от Лососевого камня как можно дальше.

Стоя на берегу и глядя на поверхность омута, Уле замечает, что чуть повыше Лососевого камня неподвижную гладь воды нарушает легкое волнение. Похоже, тут играет хариус. Но нет — тотчас же метра на полтора пониже над водой появляется хвост лосося.

Вот он, большой лосось!

Значит, эта рыба все еще тут. И Уле, и Эрлинг, другой рыбак, живущий в лачуге внизу, у Большого омута, недели три назад видели эту рыбу. Лосось даже высовывал из воды голову, озирая водопад и стремнину. Он, видимо, не раз пытался преодолеть водопад, но не смог это сделать — на поверхности реки чуть ниже водопада ходило множество воздушных пузырьков, но на малой воде лосось не мог взять такой разбег, чтобы одолеть подъем.

Теперь он ждет дождя и повышения уровня воды.

Ни Уле, ни Эрлингу ни разу не удавалось зацепить этого гиганта на крючок. А если он даже и клюнет, то измотать его будет не легко. Омут слишком мал, и удержать такую рыбину на мелководье не удастся. Лосось огромный и сильный, килограммов на тридцать, а в быстром потоке вес его и того больше. И все же если чуть-чуть повезет, то, может быть... Во всяком случае, надо попытаться. На омуте у Уле есть лодка. Он всегда рыбачит только с лодки.

Эрлинг плохой гребец. Да он еще труслив, а потому и ловит прямо с берега. Но и оттуда ему удается поймать кое-какую мелочь, так, килограммов на восемь-девять. Ну, а по-настоящему крупные рыбы ему попадаются редко. К тому же он теряет много блесен — они застревают в камнях и ветвях деревьев, их уносят крупные рыбы, которых он не в силах удержать в пределах омута.

Уле снимает с цепи замок и сталкивает лодку на воду. Это старая, тяжелая лодка, совсем не подходящая для Каменного омута. Он уже заказал себе новую, легкую и быструю, с нее-то он сможет вытащить из воды любого лосося. Ведь как только рыба клюнет, надо побыстрее добраться до берега, желательно чуть-чуть ниже маленького водопада. Тогда перед тобой будет много спокойной воды, достаточно места, чтобы «укатать» лосося.

Мелкий лосось поднимает страшный шум, но ловить его тоже интересно. Попавшись на крючок, он может одним махом растянуть лесу на сотню метров, причем чаще он, как серебристая молния, летит над черным омутом, оставляя позади себя мелкие клочья белой пены. До чего красивое зрелище! Но вот лосось вдруг срывается с крючка, и зрелище уже не кажется ни привлекательным, ни интересным.

Уле отчаливает от берега, забрасывает блесну и постепенно отпускает лесу. Поначалу он гребет как можно ближе к водопаду, к гребешкам кипящей пены. Случается, тут стоит лосось. Переплыв омут, Уле поворачивает и гребет обратно, на этот раз в нескольких метрах ниже по течению. Так он прочесывает омут туда и обратно, как это делал на протяжении многих лет.

Когда Уле спускается до середины омута, блесну подхватывает быстрое течение, затягивая ее все глубже вниз,— это видно по углу наклона лесы. Здесь-то обычно и стоит лосось: наиболее крупные предпочитают самый быстрый поток, что всего в десяти — пятнадцати метрах выше Лососевого камня.

Уле прочесывает поверхность воды, ибо знает, что крупный лосось возьмет блесну, если она окажется у него под носом. Все это как бы лотерея; потому-то охота на лосося бывает особенно интересной и настоящему рыбаку никогда не надоедает. К тому же ночь предстоит длинная.

Но сегодня лосось точно вымер, и сколько Уле ни ходит вдоль и поперек по омуту, клева так и нет. И все же Уле знает, что внезапно, словно по сигналу, рыба может вдруг проснуться, тогда начнется клев. И длиться он будет недолго — каких-нибудь полчаса, в лучшем случае час. Тут уж надо не зевать и взять как можно больше лососей. Только бы в разгар борьбы не лопнула леса.

Уле достиг границы опасной зоны, спускаться ниже он уже не решается. Он и без того забрался слишком далеко, и удержать большую рыбу, заставить ее пойти в омут не просто. Трудно удержать и лодку, трудно снова направить ее в тихие воды омута. Ведь как только рыба клюнет, он отпускает лесу и заходит так, чтобы оказаться ниже рыбы. В этом случае леса тянет снизу по течению и лосось, которого вдруг потащило вниз, бросается с испугу вверх, против течения. Одновременно Уле старается побыстрее выгрести к причалу. Когда он подходит к нему, большая часть лесы уже размоталась и широкой дугой направлена к Каменному водопаду. К тому времени лосось уже сильно напуган и стремится уйти в верхнюю и тихую часть омута. Тогда измотать его — дело нехитрое.

В этот момент — бац!

Визжит катушка, стремительно разматывается леса. Но всего на несколько метров.

Уле сплевывает табак и, стиснув зубы, начинает грести. Он хорошо знает, что сейчас происходит. Лосось остановился посреди сильного потока. Он стоит и «бодается». Это делают только самые крупные рыбины.

Уле берет спиннинг и, освободив немного тормоз, выпускает побольше лесы. Пускай она растянется по большой дуге вниз по течению, давление на рыбью морду должно быть снизу, иначе лосось уйдет к бурной стремнине на Каменном водопаде, к острым камням порогов, и будет потерян навсегда. Да не только лосось, но и блесна. А это много хуже, чем потерять большую рыбу.

Выпуская лесу, Уле забывает про лодку, и ее относит далеко в стремнину. Пока он возится с запутавшейся лесой, лодка продолжает идти по течению, и когда Уле хватается за весла, лодка уже далеко в стремнине. Течение такое сильное, что он не в силах вернуть ее в омут или хотя бы удержать на месте. Как яростно он ни гребет, лодку относит вниз. Река становится все мельче, у поверхности воды показываются камни.

А Уле все гребет и гребет. Но поток настолько сильный, что лопасти весел, не встречая в воде сопротивления, скользят вхолостую.

Правое весло вдруг цепляется за камень. Стараясь не выпустить его из рук, Уле гребет одним левым,— отчаяние придает ему силы. И все равно он не может удержать лодку, ее начинает разворачивать. Это самое страшное. Если лодка встанет поперек на каменистой стремнине, она безнадежно погибла: киль зацепится за камень и ее в тот же миг перевернет.

В этот момент ломается лопасть правого весла — Уле слишком сильно на него навалился. Бешено танцуя на волнах, лодка несется вниз, на более мелкую воду. Дно реки, сплошь усыпанное камнями, так стремительно проносится мимо, что Уле едва его видит.

Резкий толчок, треск, мощный удар о борт. Словно невидимая рука поднимает гребца из лодки, и, совершив мягкий, удивительно легкий полет, он через мгновение лежит в воде. Удар приходится в ногу. Спиннинг он по-прежнему держит в руке, хотя и не помнит, как схватил его, когда перевернулась лодка.

Теперь перед ним вся опасная и бурная Каменная стремнина. Он знает, что случится дальше; еще не было случая, чтобы человек живым вышел из этой стремнины.

Воспоминания разом проносятся у него перед глазами: счастливые годы детства в коте [1], тяжкий труд пастуха-оленевода с изнурительными переходами вверх и вниз по горам, часто без сна и еды, стадо оленей, добытых ценой большого труда и лишений и унесенных снежной лавиной. Затем годы жизни охотника и рыбака, первая кота здесь, у Большого водопада, такой удачный лов лососей до тех пор, пока туристы не научили рыбу бояться крючка и блесны, ухаживание за Магган, соперничество с Эрлингом, потом женитьба и свадебный обед — Эрлинг напился пьяный и запустил в него ножом, но попал слишком высоко, в лопатку, это дело потом замяли, чтобы ленсман ничего не узнал, а они снова стали друзьями. Правда, не такими, как прежде, Эрлинг никогда не приходил теперь к Уле, когда Магган бывала дома. А заглядывал ли он в другое время, этого Уле не знал, но все же думал, что вряд ли. После женитьбы Уле между ними кошка пробежала.

Уле построил себе домик. Корова была у него и раньше, да и несколько овец тоже, овцы быстро подрастали и служили добрым подспорьем в хозяйстве. Купил он и оленей, но дела с ними обстояли

[1] Жилище саамов, сложенное из жердей, покрытых сверху дерном. *(Прим. перев.)*

хуже: олени то и дело пропадали. Раза два он находил места, где животные были забиты, но остатков шкуры нигде не было видно. Значит, животных загрыз не волк и не росомаха. У Уле возникли подозрения.

И все же грех жаловаться, жил он, конечно, неплохо. Во всяком случае, не хуже, чем те саамы, у которых было много оленей. И не удивительно, что кое-кто ему завидовал. В жизни ему недоставало только одного — ребенка, сына. Но Магган детей ему не подарила. Видать, была на это просто неспособна. А ей так хотелось иметь детей.

Уле наглотался воды, она набралась даже в легкие, и он почти не может дышать. Страшно сдавило грудь, кровь распирает сосуды. Но все же он чувствует, как нога скользит по камням, рука скребет по дну. Мозг действует четко, бурно работает мысль.

Да, но Эрлинг!

Чтобы этот дьявол женился на Магган! Ей, конечно, нелегко будет справиться одной. Но она молода, красива и наверняка выйдет замуж. Но только не за Эрлинга. Если она так поступит, он отомстит Эрлингу и после своей смерти. Ведь он скоро повстречает богов своих предков и расскажет все Мадеракке, которая правит жизнью саамов с самого зачатия, попросит ее забраться темной ночью к Эрлингу и убить его...

Уле очнулся от сильного удара в спину, в левую лопатку, как раз в то место, где нож Эрлинга оставил вспухший красный рубец. Придя в сознание, Уле видит, что лежит на Лососевом камне. Его долго и мучительно рвет. Но страшная тяжесть в груди, та, что распирала и разрывала сосуды, понемногу отпускает.

Уле озирается вокруг.

Да, он действительно лежит на Лососевом камне. Удар в лопатку выбил из него большую часть воды, которой он успел наглотаться. Шапка исчезла, лодки нигде не видно. Вода стекает с одежды, хлюпает в сапогах. Он по-прежнему держит спиннинг, совсем целехонький, ни одно из колец на нем не сломано и даже не погнулось. А катушка, чудесная катушка «Амбассадор», без единой царапины. Взяв рукоятку левой рукой, он может смотать лесу. Распределитель действует как надо. Но само удилище очень тяжелое, что-то, видно, не дает поднять его вверх. Ах да, лосось! Огромный лосось! Где же он теперь? Все еще там? Возможно, стоит в заводи за Лососевым камнем?

Голова у Уле мигом стала ясной. Он вспоминает все, кроме разве того, как очутился на Лососевом камне. Он хорошо помнит удар, отчаянные попытки поднять лодку в омут и то, как она опрокинулась. И, конечно, лосося! Какого лосося!

Уле держит спиннинг в правой руке. Чтобы смотать лесу, надо переложить его в левую, а это невозможно: пальцы скрючило, как в судороге. Их надо попытаться разжать левой рукой, палец за пальцем. Указательный, лежащий на скобе под креплением катушки, словно врос намертво. Уле хочет его выпрямить, но испытывает резкую боль. Он много раз сгибает и разгибает пальцы, прежде чем начинает их чувствовать,— теперь можно начать сматывать лесу.

Леса распущена на всю катушку, это, конечно, рыба размотала ее до конца. Дело идет очень туго, да оно и вполне понятно — даже пустая блесна в таком стремительном течении казалась бы крайне тяжелой. Но вот из воды откуда-то со дна показывается белая леса.

Леса продолжает сматываться. Но почему она тянется к каменной плите? Зацепилась там за выступ?

И вот, когда катушка полностью намотана, конец удилища начинает гнуться книзу, в направлении белопенного гребня, который так и ходит по кругу в заводи ниже Лососевого камня.

Там, видно, застряла блесна. Странно. Она обычно всплывает точно пробка, как только перестаешь сматывать лесу.

Уле глазами провожает лесу в глубь белого гребня.

И там, о великий создатель, там в глубине стоит огромный лосось! Посреди белого гребня. Он лежит на спине, такой же белый, как пена, почти незаметный для глаза. Жабры работают вовсю, рот то закрывается, то открывается, грудные плавники медленно шевелятся.

Как же все это произошло? Возможно, лосось вымучен борьбой, которую вел Уле за собственную жизнь. Значит, Уле, сам того не ведая, так загнал лосося? Не зря, видно, пальцы цепко сжимали удилище с катушкой.

Или — нет, когда перевернулась лодка и его выкинуло в реку, лосось мог находиться где-то совсем близко. Не исключено, что Уле шлепнулся прямо на рыбу и та, испугавшись, в слепом страхе врезалась в камень, а сильный удар ее оглушил. Но теперь к ней вскоре вернется жизнь.

Уле подползает к краю плиты и медленно подтягивает рыбу. До чего же трудно тянуть, хотя течения нет никакого! Вот она, большая и широкая, появляется над белым гребнем.

Уле нагибается, осторожно просовывает пальцы под грубые жаберные крышки и, откинувшись назад, резким движением вытягивает рыбу. Она так тяжела, что он едва не теряет равновесия и не скатывается вниз.

Оказавшись на каменной плите, лосось понемногу возвращается к жизни, бьется и корчится всем телом.

Уле бросается на рыбу, подминает ее под себя, что есть силы рвет на ней жабры; кровь так и брызжет фонтаном. Лосось выскальзывает из рук, мечется во все стороны. И только усевшись на рыбу верхом, Уле удается вытащить нож и вонзить его в голову гиганта.

Но вот рыба вздрагивает, по телу проходит резкая судорога, хвост в последний раз бьет о плоский камень. Гигант сразу сникает, погружаясь в вечный покой, и темная полоска крови, пробираясь сквозь неровности каменной плиты, медленно стекает к воде.

Уле не спеша поднимается и как зачарованный смотрит на добычу. Раза два, прищурившись, качает головой. Такого огромного лосося ему никогда еще не доводилось поймать. Наверно, килограммов на тридцать, а возможно и больше. Если так, то это будет рекордом Большого водопада, Уле сразу станет знаменитым и войдет в историю как выдающийся рыбак Большого водопада. Теперь видно, что лосось не такой ослепительный и серебристо-белый, какими обычно бывают рыбы, только что пришедшие из моря. Он стоял, должно быть, в омуте уже несколько недель, а может и месяц. Пришел с весенним разливом: ведь самые крупные рыбы появляются обычно в это время года. Преодолеть водопад над омутом ему было не под силу, и, дожидаясь высокой воды, он наверняка сбросил килограмма два веса.

И все-таки какая рыбища, что за гигант! Если его тебе показать, Эрлинг, ты этого просто не перенесешь и можешь заболеть от зависти.

Конечно, это удача. Но вот он сидит на Лососевом камне с таким уловом, о котором мечтал всю жизнь, и не в состоянии выбраться из плена. Лодку куда-то унесло, наверное, в нижнюю часть омута, к подножию Каменного водопада. И от нее, конечно, остались одни щепки. Другой же лодки в омуте нет. Выше по течению живет Эйлиф, плотник, он обещал, что скоро пригонит новую лодку, которую заказал ему Уле. Она наверняка уже готова. Но подогнать ее к Лососевому кам-

ню, даже если осторожно тянуть за длинную веревку, никто не решится — ведь лодку все равно перевернет, и она будет разнесена в щепы. А если и случится чудо и лодку не перевернет, то она разобьется, когда будешь вытаскивать ее на сушу. Нет, уж если и спускать лодку к Лососевому камню, то надо иметь две лодки, а двух тут не найти.

Итак, с лодкой ничего не выйдет. Вода в каменистом русле чересчур мелка, а стремнина такая бурная. Остается единственный выход — кто-то должен перебросить ему лесу, и с ее помощью он переберется на берег. Но риск при этом велик. Бурлящие воды потока с силой потянут его вниз, и если лесу порвет о камни, то уж прощайся с жизнью.

Другой возможности нет. Немного удачи и сноровки — и, надо думать, пронесет. Ведь он невысокий и легкий, глубоко в воду его не затянет. В худшем случае можно лечь на свою гигантскую рыбину и так продержаться на воде. Рано или поздно появится же какой-нибудь рыбак на берегу. Чаще всего тут ночи напролет носятся туристы со своими спиннингами и фотоаппаратами. Сколько раз он давал таким туристам подержать только что пойманного лосося, и те по очереди снимались с рыбой в руках. Ну как не похвастаться дома женам, которые томятся, умирая со скуки. Уле недолюбливал таких туристов, хотя они и оставляли немного крон. А вот сейчас он мечтал, что появятся туристы, увидят его на Лососевом камне, пойдут к Магган и расскажут ей, что с ним приключилось.

Если не придет никто, то уж наверняка появится сам Эрлинг. Правда, у него есть лодка внизу Большого омута, и каждую ночь он ходит там по нескольку часов. Но в Большом омуте трудно поймать рыбу, и ближе к рассвету Эрлинг поднимается к Каменному омуту, чтобы сделать несколько бросков. Иногда ему удается кое-что поймать у причала, и это очень странно: ведь у других в том месте почти никогда не клюет.

Становится холоднее. Уле промок, и в желудке у него пусто. Попробовал вылить воду из сапог, но она так нагрелась от его тела, что без воды ногам стало холодно.

Кстати, температура воды в реке сейчас наверняка выше, чем температура воздуха. Солнце спряталось за Большой горой, и оно выйдет снова только через несколько часов. А в полночь вдоль реки дует холодный ветерок.

Как сильно ломит в лопатке. Удар снова разбередил рану. Левая рука немеет. А пальцы от острых жабер лосося покраснели и опухли. Касаться этих жабер опасно, но зато удалось быстро обуздать рыбу. Лосось был такой сильный и изворотливый, что Уле едва с ним совладал. Большой и указательный пальцы сплошь в потемневшей крови, им больше всех досталось от острых жабер лосося.

Ну и холодина! Уле хлопает себя по плечам, чтобы согреться, но от этого усиливается боль в лопатке. И в пальцах тоже. Когда ты сухой, то холод не страшен, от него не заболеешь, надо лишь следить за тем, чтобы не обморозиться. Но если ты промок и дрожишь как осиновый лист, это много хуже. Именно так его брат Ивер схватил воспаление легких и умер. Он провалился, когда шел по весеннему льду, а до дома было далеко. Ивер бежал что было мочи, но скоро подвернул ногу, пришлось ползти. Когда его нашли много времени спустя, он еще был жив и умер дома как раз в тот момент, когда в дверях показался врач.

Но что же не появляется Эрлинг? Разве не чудно, что Уле с нетерпением ждет Эрлинга, которого обычно стремится избегать? И вот теперь, единственный раз, когда Эрлинг может быть полезен, его как ветром сдуло.

Не крикнуть ли Салара? Собака, верно, спит у себя в конуре, но, может, услышит? Да нет, кричать совсем уж глупо. Могут подумать, что он зовет на помощь, а ведь опасности для жизни нет. Пока что еще нет.

Уле снова пытается согреться, похлопывая себя по плечам.

Не помогает. К тому же очень больно. Тело давно уже покрылось гусиной кожей, его трясет и знобит. В горле и спине начинает покалывать. Горло-то еще полбеды — это, видно, от сильной простуды. Но вот спина — это может быть уже опасно.

Нет, пожалуй, надо покричать:

— Салар! Э-э-э-эй!

Он притих, надеясь, что пес отзовется. Нет, собака его не слышала. Гул стремнины заглушает все звуки. Да и Салар начал стареть. Прошлой зимой он испугался росомахи, которую загнали на каменистый склон. Подумать только, пса напугала росомаха!

Вот дьявол, до чего же становится холодно. Сущее проклятье. Он снова кричит:

— Салар! Салар! Эй-эй-эй!

Потом ждет, прислушивается. Если Салар проснется и залает, то разбудит Магган и та поймет, что с ним что-то случилось. Особенно если Салар не угомонится. Она спустит собаку с привязи и бросится к реке. Увидев его в стремнине, Магган сбегает за старым спиннингом — она и сама отлично кидает блесну и даже поймала не одного лосося — да прихватит с собой аркан, которым Уле пользуется, когда надо поймать оленя. Забросив блесну на Лососевый камень, она привяжет аркан к концу лесы и подтянет его к себе. Потом Уле обвяжется арканом вокруг туловища, а Магган крепко привяжет свой конец к сухой сосне, что стоит у воды и часто мешает рыбакам, которые ловят с берега. Взяв спиннинг в левую руку, а правой ухватив лосося покрепче за жабры, он спустится в воду позади Лососевого камня и пойдет, согнувшись в три погибели, прямо против течения, пока поток в конце концов не собьет его с ног. Тогда, набрав в легкие побольше воздуха, Уле отдастся во власть течения, и его быстро по дуге перенесет через стремнину. Веревка сильно сдавит спину и живот, но эта боль скоро пройдет. И если повезет, он не разобьет ни локти, ни колени. Магган подтянет его к прибрежным камням, она постарается смягчить удар.

Все будет хорошо, лишь бы только проклятый Салар его услышал. Бедняга, видно, совсем оглох.

Дело начинает принимать серьезный оборот. Он снова машет руками, чтобы согреться, но сразу останавливается, чувствуя острую боль. Все тело страшно ломит.

Скоро три часа, как Эрлинг плавает по Большому омуту, и до сих пор ни одной поклевки. Уже не первый раз он возвращается без улова. Но Эрлинг знает: если уж в Большом омуте клюнет, значит, крупная рыба. К тому же река тут широкая и чистая, течение небыстрое, спокойное, и если рыба окажется на крючке, ее можно водить целый час. И редко когда рыба сорвется и уйдет.

После трех часов непрерывной работы на веслах даже упрямый и стойкий рыбак может потерять терпение. Эрлинг причаливает к берегу и по исхоженной тропе направляется к Каменному омуту. Молодой березняк настолько густой, что лишь кое-где сквозь заросли виднеется стремнина.

И вот в том месте, где тропа сворачивает к причалу, у которого обычно держит лодку Уле, Эрлинг вдруг слышит со стороны реки ка-

кой-то крик. Но грохот стремнины такой сильный, что нельзя разобрать ни слова.

Эрлинг медленно приближается к берегу и, спрятавшись за большой камень, внимательно оглядывает омут. Вдали, на Лососевом камне, он замечает человека в темной одежде, без шапки. Рядом с ним огромный лосось.

Эрлинг мигом оценивает обстановку. Он уже видел, что на воде в Большом омуте плавают какие-то обломки, и теперь понимает, что это остатки лодки Уле.

Но как человек оказался на Лососевом камне, да еще с таким гигантским лососем? Как сумел он в бурном потоке поймать эту огромную рыбу? Хотя, в общем, это неудивительно: ведь после того, как Уле потерял оленье стадо, ему сопутствовала удача. За что бы он ни брался, все ему удается.

Эрлинг отходит все дальше назад, соображая, что же предпринять. Допустим, Уле не выбросило бы на Лососевый камень, а понесло вслед за лодкой. Тогда его разбило бы насмерть о камни в стремнине и затянуло в бешеный водоворот потока. Года два назад тут пропал один чудаковатый турист, который раздобыл себе лодку и отправился рыбачить прямо в Каменный омут. Там он сумел поймать лосося, но лодку затянуло в стремнину. Была она старой, прогнившей, никто не решался на ней плавать, давно уже следовало пустить ее на дрова. От лодки остались лишь трухлявые щепы, а рыбака и след простыл. А еще раньше в стремнину затянуло двух рыбаков-саамов, оба они были родом из этих мест. От их лодки тоже обнаружили лишь жалкие остатки, сами же они исчезли бесследно.

Таков Большой водопад. Если он принимает человека, то уж навсегда.

Как видно, Уле на сей раз тоже был на волосок от гибели. Отнеси лодку чуть подальше вниз, и... и Магган могла бы стать его, Эрлинга, женой. Это уж точно. Магган — вместе с новым домом, дойной коровой, стадом овец и несколькими оленями. И таким отличным местом для рыбалки — хотя, пожалуй, лучше обойтись без Каменного омута. Правда, омут можно продать другому рыбаку — как он ни хорош, ловить тут с лодки чересчур опасно.

Но Магган и все ее хозяйство! Ну и добыча! И жизнь в мире и покое!

Что же теперь делать? Помочь Уле выбраться на берег он, конечно, может. Дело нехитрое — перебросить через поток один из новых крепких арканов Уле, что тот купил зимой, затем перетянуть его на эту сторону. Уле насквозь промерз, потому и зовет на помощь. Он не из тех, кто будет кричать без причины. Сейчас холодно, у Эрлинга и то застыли пальцы. А когда сидишь там на камне на ночном морозе, промокший до нитки, нетрудно схватить воспаление легких. Возможно, оно уже началось.

Вот Уле снова кричит. Зовет собаку. Если Салар услышит крики, Магган тут же примчится. Так что надо действовать быстрее. Но что же выторговать за помощь? Этого чудо-лосося или, может, спиннинг? А почему бы не спросить самого Уле?

Эрлинг быстро спускается к омуту и машет Уле рукой. Теперь ему хорошо видно, насколько велик лосось. Настоящий исполин — ни он, ни Уле не встречали в омуте крупнее.

— Помоги мне,— кричит Уле.— Принеси-ка новый аркан.

Эрлинг отвечает не сразу. Стоит молча и размышляет, делает вид, что не слышит. Неплохо бы иметь такой вот спиннинг. Эрлинг слышал, это дорогая штука. И похоже, он волшебный — Уле всегда приносит добычу.

— Помоги мне,— снова кричит Уле, опасаясь, что из-за гула воды Эрлинг его не слышит.

Эрлинг почесывает затылок. Этот дьявол кричит так громко, что и собака и Магган могут услышать. Тогда... тогда он упустит возможность. Лучше уж побыстрее приступить к делу.

— Ну, я могу помочь тебе. Но только... только ты отдашь мне спиннинг вместе с катушкой и всем, что положено.

Уле приходит в ярость. Уж этого он от Эрлинга не ожидал. Ведь он не раз помогал Эрлингу, когда тот болел и ему нечего было есть. Так вот она, благодарность!

Проклятый Эрлинг! От него всегда можно ожидать любой пакости.

Уле отвечает не сразу. Он так возбужден, что просто не в силах ответить. Отдать спиннинг — нет, это невозможно, лучшего спиннинга ему не сыскать. Он получил его от одного богатого норвежца из Осло года два назад. Случилось так, что этот норвежец, директор какой-то фирмы, приехал на Большой водопад немного порыбачить. Рыбак-то он был никудышный, однако поспорил с приятелем, что сможет поймать лосося, и летом оба господина приехали рыбачить сюда, на Большой водопад. Они ловили много дней подряд, но ни один лосось не клюнул. И в то же время норвежец видел, как Уле достает из воды одну рыбину за другой. Тогда он тихонько спросил Уле, не поможет ли тот и ему поймать лосося, а в награду за помощь Уле получит сто крон. Но Уле ответил не сразу. Сто крон, конечно, деньги хорошие, и если Уле колебался, то только лишь потому, что растерялся от такого предложения. Тогда гость увеличил вознаграждение до двухсот крон. Уле подумал, что ослышался, и только он хотел переспросить, что именно сказал норвежец, как тот повысил ставку до трехсот крон.

— Но больше не прибавлю ни кроны,— добавил он с досадой.— И помни, никто не должен знать, что лосось клюнул у тебя. Поймай его на мой спиннинг и хорошенько поводи. А я уж вытащу на берег.

Уле и гость отчалили вместе в одной лодке. Второй норвежец находился ниже по течению, в Большом омуте, и рыбачил вместе с Эрлингом. Примерно через час Уле поймал лосося, тотчас же поплыл к берегу и стал вымучивать рыбу. То был отличный лосось килограммов на десять, с ослепительно светлой чешуей, лосось, только что поднявшийся с моря. Он цепко боролся за жизнь — метался вдоль и поперек по омуту, взлетал над водой и так дергал лесу, что норвежец приходил в восторг. Когда лосось был, наконец, достаточно измотан и оставалось только вытянуть его на берег, Уле передал спиннинг гостю.

В этот момент и появились те двое, и оба остановились, не веря своим глазам. Счастливый рыбак, заставив приятеля истратить последнюю пленку, которая оставалась в аппарате, в приступе радости подарил Уле свой превосходный спиннинг вместе с катушкой, лесой и блеснами. А позднее передал Уле триста крон.

То была превосходная сделка. А спиннинг был такой отличный, что Уле ни за что на свете не хотел с ним расставаться. Почти что волшебный спиннинг.

— Ну,— кричит Эрлинг на берегу, начиная терять терпение.— Если хочешь, чтобы я тебя спас, отдавай спиннинг.

— Нет,— кричит ему Уле в ответ.— Его ты никогда не получишь. Пускай лучше я замерзну. Можешь получить лосося.

Эрлинг задумывается. Затем отвечает:

— Только при одном условии — будем считать, что я поймал его сам!

Проклятый Эрлинг! Этот дья... Но Уле вдруг осеняет одна мысль. И он отвечает:

— Что же, пусть будет так...

Эрлинг срывается с места. Он очень боится, что Салар услышал последний крик Уле и примчится сюда с Магган. Тогда не видать ему лосося, Магган сама поможет Уле перебраться на берег.

Эрлинг бежит к домику Уле, прямо к дровяному сараю. Салар просыпается и поднимает лай. Сонная Магган выглядывает из двери как раз в тот момент, когда Эрлинг появляется с арканом в руках.

Магган цепенеет от страха, она понимает — что-то случилось. Окликает Эрлинга, и тот второпях бросает ей на ходу:

— Уле упал в стремнину!

Он слышал, как закричала Магган, но голос ее утонул в бешеном лае собаки.

Перед глазами у Эрлинга стоит только лосось. Он должен его получить. И Эрлинг мчится к Каменному омуту.

Магган сообразительна, она мигом смекнула, что если Уле оказался в стремнине, его отнесло уже далеко вниз. Схватив багор и отвязав Салара, она прямиком бежит к нижней части реки. Там есть зловещий омут, и если Уле попал туда, ему нужна немедленная помощь. А если он и зацепится где-нибудь повыше, то снизу Магган все равно его увидит.

Спустившись к месту, где находится Уле, Эрлинг кидает блесну чуть выше Лососевого камня. Рассчитал точно — лесу относит к камню, где ее подхватывает Уле. Затем Эрлинг привязывает аркан, и Уле начинает тянуть его к себе. Бурный поток с такой силой подхватывает веревку, что Уле опасается, как бы не лопнула леса, хотя она довольно крепкая и рассчитана на большого лосося.

Но все идет отлично. Уле подтягивает аркан, обвязывает себя вокруг талии особым узлом, который не развяжется, каким бы ни был натиск воды. Потом кричит Эрлингу, чтобы тот натянул аркан и хорошенько закрепил его за сосну у кромки воды. Эрлинг делает так, как ему сказано, а Уле что есть силы натягивает аркан, чтобы проверить его прочность. Блесну он, конечно, снял и спрятал в нагрудном кармане. Засунув спиннинг за пояс, он берет лосося в правую руку и, спустившись в заводь позади Лососевого камня, медленно движется вброд к берегу.

Натиск воды быстро возрастает. Чтобы удержаться на ногах, Уле наклоняется вперед. Камни скользкие, как мыло, и его относит вниз.

Так он проходит метра два, но затем будто невидимая сила выбивает у него почву из-под ног. Инстинктивно вдохнув побольше воздуха, Уле опрокидывается на спину. Его подхватывает бурное течение. Вода то и дело захлестывает его с головой, а аркан с такой силой сдавливает талию, словно хочет перерезать его пополам.

Ощутив сильный удар сзади, Уле думает, что настал его последний час. От неожиданности он разнимает пальцы, и лосось, выскользнув из его цепких объятий, уплывает вниз по реке.

Но вот напор воды ослабевает, и Уле незаметно для себя оказывается на прибрежных камнях. Последствий удара как будто никаких, и он без посторонней помощи выбирается на сушу. Спина болит, но аркан давит теперь меньше, и можно дышать. Уле выплевывает воду.

И тут он слышит истерический вопль Эрлинга:

— Лосось! Где мой лосось! Ты его выпустил, мошенник!

Эрлинг точно сумасшедший бросается вниз вдоль стремнины и, пробравшись среди валунов, исчезает за поворотом реки. Уле, ухмыляясь, смотрит ему вслед.

И вдруг он видит: снизу мчится Салар. Пес обнюхивает хозяина, прыгает на него, радостно лает. Он, должно быть, услышал, когда заорал Эрлинг. Уле развязывает аркан и, словно в тумане, бредет вверх, к дому. Но Салар снова бросается вниз, вдоль стремнины.

Что бы это значило? Почему пес побежал прочь и не захотел идти с ним домой? Странно. Надо бы, пожалуй, пойти и посмотреть, в чем дело.

Но сперва необходимо сменить одежду. Он уже так промерз, что едва передвигает ноги.

Когда Магган подошла к маленькому и глубокому омуту в нижнем течении реки, чтобы спасти Уле, она вместо мужа увидела огромного лосося, которого несло вниз по стремнине, вертело и кружило в водовороте, порой затягивало вглубь. Войдя в воду, Магган зацепила лосося багром. Потом она подтянула его к берегу, между двумя большими камнями.

В этот момент появился Салар. Виляя хвостом и громко лая, он всячески стремился показать, что следует идти обратно, туда, откуда он только что примчался.

Магган не знала, что и думать. Почему Салар так себя ведет? Не обнаружил ли он хозяина где-то повыше на стремнине? Возможно, Уле сидит, прижавшись к какому-нибудь камню, не в силах выбраться на берег?

И она неуверенно бредет вслед за собакой.

Внезапно показывается Эрлинг. Он как безумный мчится меж камней и, запыхавшись, возбужденно кричит:

— Уле уже дома. Но где лосось? Гигантский лосось?

В отчаянии он смотрит на камни, на бурные воды стремнины. Потом снова кидается вниз как безумный, вглядываясь в реку, спотыкается, падает, набивая себе синяки. И ревет в исступлении:

— Лосось! Мой великан...

Вот Эрлинг скрылся за валунами, и его отчаянные вопли тонут в гуле потока. Глаза Магган принимают хитрое и лукавое выражение, и как только Эрлинг удаляется на почтительное расстояние, она, схватив лосося, оттаскивает его в березняк, хорошенько прикрывает ветвями. Затем прямиком направляется домой.

Уле уже сменил одежду.

Он рассказывает жене о том, как поймал своего исполина, как потом выпустил его из рук, чтобы тот не достался Эрлингу, и как Эрлинг точно помешанный носится и ищет эту рыбу.

— Я не думаю,— заметил он, улыбаясь,— чтобы Эрлинг смог его найти.

Магган придвигается вплотную к мужу, гладит его мокрые волосы и говорит уверенно:

— Нет, он его не найдет. Лосось надежно припрятан.

Уле в недоумении смотрит на жену, потом произносит, заикаясь:

— Ты... ты...

— Да, да, сама его поймала. Я прихватила лодочный багор, чтобы вытащить тебя, если затянет в омут. Ведь из этого водоворота самому не выбраться. Но вместо тебя я зацепила лосося. А теперь бери мешок и сходи-ка за рыбой.

Через полчаса гигантский лосось лежит у Уле в подвале, хорошо завернутый в просторный мешок, а Эрлинг тем временем мечется в лодке по Большому омуту, ищет пропавшего лосося.

Выпив горячего кофе и как следует перекусив, Уле изучает рубец, образовавшийся на поясе от аркана. Веревка так сдавила тело, что след от нее вздулся, будто толстая тесьма. Магган осматривает его лопатку. Кроваво-красный шрам от удара, когда-то нанесенного Эрлингом, лопнул как раз посредине. Магган смывает спекшуюся кровь, накладывает на рану большой пластырь — так же, как тогда, в день их свадьбы. Потом осматривает спину, но кроме синевато-зеленого пятна других повреждений нет.

Ночь позади. Взвалив на плечи тяжелый мешок, Уле отправляется к Эйлифу, плотнику-лодочнику, что живет чуть выше Большого водопада. От тяжелой ноши ломит руки и спину. Эйлиф пьет кофе. В окно он замечает Уле, тот останавливается на дворе у новой лодки, достроенной на днях. Уле внимательно осматривает лодку, проверяет шпангоуты, покачивает корпус, дабы убедиться, что в днище нет дефекта.

Отличная лодка! Вполне подходящая для Каменного омута. И совсем легкая, поднять ее против сильного течения будет не очень трудно. Да и устойчивость на воде, как видно, будет надежной.

Эйлиф выходит во двор, и Уле достает свою добычу. Эйлиф, широко раскрыв от удивления глаза, поднимает рыбу за жаберные крышки.

— Крупнее лосося не видывал,— говорит он.— И тяжелее рыбу не приходилось поднимать. Не меньше тридцати кило.

Он идет в сени и приносит безмен.

— Тридцать с половиной! Знаешь, Уле, это рекорд Большого водопада. Теперь ты попадешь в газету.

Но Уле совсем неохота попадать в газету. Когда об этом узнает Эрлинг, он, конечно, догадается и дело окончится новым ударом ножа. Кто знает, на этот раз, может, без промаха.

Нет, нет, Уле не хочет попадать в газету.

Некоторое время он стоит молча. Раза два покашливает, затем поворачивается к Эйлифу и бормочет:

— Обменяем так на так? Рыбу на лодку?

Эйлиф вздрагивает, вид у него не совсем довольный, такое предложение, он, видимо, не считает для себя удачей. Вдобавок к лососю надо бы подкинуть крон сто, не меньше.

Но вот в глазах у него зажигается задорный огонек, и он говорит, вернее хрипит:

— Тогда... если обменяемся, значит, рыбу поймал я? Здесь, на стремнине? Сегодня ночью?

Уле в глубоком раздумье пожевывает табак. Наконец отвечает:

— Что ж, пускай так.

Они пожимают друг другу руки, и час спустя лодка уже стоит у причала Уле в Каменном омуте.

Гигантский лосось, которого Эйлиф поймал в ту ночь, был сфотографирован для газеты, и скоро все о нем заговорили. На Большом водопаде появился новый замечательный рыбак, искусный мастер на самую крупную рыбу. Что же касается новой лодки, которую приобрел Уле, то уже на следующую ночь ее окропили свежей лососевой кровью, и, как положено любой рыбацкой лодке, от нее стал исходить едкий запах рыбы.

Через некоторое время после этих событий я сижу в гостях у Уле и Магган и пью кофе. Только что Уле рассказал мне эту историю во всех подробностях. Я спрашиваю, все ли прошло без последствий,

не схватил ли он воспаления легких. Ведь он здорово продрог, нечеловечески устал.

— Конечно, устал,— отвечает Магган, посылая мне лукавый взгляд.

Затем, отодвинув в сторону чашку, нагибается над потертой клеенкой кухонного стола и доверительно шепчет мне на ухо:

— Знаешь, в то утро я зачала ребенка. После двух долгих лет ожидания.

Ее карие, как у белки, глаза светятся гордостью. Они буквально сияют. И теперь я сам вижу, что правы старики, утверждая, что по блеску в глазах женщины можно определить, когда она беременна. Еще до того, как она сама об этом узнает. И сейчас, глядя Магган в глаза, я не мог ошибиться.

— Да,— шепчет Уле, смущенно глядя в окно.— Так оно, видно, и есть!

Критика

Т. МОТЫЛЕВА

СНОВА О РОМАНЕ

Сборник «Судьбы романа»[1], вышедший в текущем году в издательстве «Прогресс», разошелся немедленно — быстрее, чем обычно расходятся труды по литературоведению. Видимо, читателей заинтересовала и тема (кто же у нас не читает романов?), и многонациональный состав авторов, и сами их имена: в числе иностранных писателей, чьи высказывания о проблемах современного романа представлены в книге,— видные мастера прозы: Эрскин Колдуэлл, Альберто Моравиа, Анна Зегерс, Зигфрид Ленц, Мишель Бютор, Алехо Карпентьер, Бранко Чопич, Мартти Ларни и ряд других, а помимо того, теоретики литературы, критики, эссеисты.

В сборнике даны статьи, интервью, материалы литературных дискуссий, анкет, проводившихся газетой «Паэзе сера», журналами «Букс энд букмен», «Куадернос де культура»; широко представлены выступления на симпозиуме по проблемам романа, который состоялся в Ленинграде летом 1963 года, а также ответы на анкеты, проводившиеся в минувшие годы «Иностранной литературой», — «Настоящее и будущее литературы», «Настоящее и будущее романа».

К этим проблемам много раз обращались за последние полтора десятилетия писатели и литературные журналы в разных странах (стоит упомянуть, например, диспут о романе в Австрии в 1965 году, в котором приняли участие и писатели социалистического мира, в частности, Юрий Бондарев и Тибор Дери). Актуальность темы, которой посвящен сборник «Судьбы романа», очевидна. Можно пожалеть, что в смысле культуры издания сборник далеко не безупречен, качество переводов не ровное, есть кое-где досадные промахи в комментариях и примечаниях[1]. Но по существу большая часть материалов, вошедших в сборник, безусловно, интересна; инициативу составителя Е. Трущенко и издательства «Прогресс» следует приветствовать.

Весь разнородный материал книги целеустремленно организован вокруг нескольких главных идей, которые развертываются на различном национальном материале, с неодинаковой аргументацией.

Первый и главный тезис книги в целом: жизнеспособность, необходимость романа в нашу эпоху. Роман как вид литературы не устарел, не гибнет и не может гибнуть, напротив, потребность в нем именно сегодня очень велика. Читателей наших дней роман интересует как широкая картина общественной и частной жизни, и прежде всего потому, что передает думы, чувства людей в условиях современных социальных

[1] Судьбы романа. Сборник статей. М., «Прогресс», 1975.

[1] Вряд ли уместно смешивать «внутренний монолог» с «несобственно прямой речью», как делается на стр. 25, это приемы совершенно разные. Не следует американскую писательницу Карсон Маккаллерс превращать в «Карсона Маккаллерса». «Великий лексикограф», о котором говорится в романе Теккерея «Ярмарка тщеславия»,— это, конечно, Сэмюэл Джонсон, а не живший позже американец Вебстер, как указано в примечании на стр. 294. Давно пора переводчикам отказаться от неуклюжего и двусмысленного термина «завербованность».

сдвигов. Ясно и веско говорит об этом, например, Анна Зегерс: «Когда душа одного человека стремится познать душу другого, тогда человеку необходимо художественное изображение. В наше время, когда мир, преодолевая ненависть и кровь, движется к социализму, нам необходимо раз и навсегда узнать, что при этом происходит в душах людей, и это знание дает нам роман».

Вопреки мнению, которое неоднократно высказывалось в западной печати, романы пользуются читательским спросом и в условиях НТР, при широком развитии радио и телевидения. Эту тему затрагивает, например, Мартти Ларни: «...нормальный человек постоянно нуждается в чтении, дающем пищу уму и сердцу. Ему недостаточно получать готовый поток информации, где все уже разжевано и переварено. Он хочет сидеть над книгой и думать, размышлять и спорить с ней. Приведу несколько примеров. У нас в Финляндии многие молодые люди стали с увлечением читать Толстого, стали покупать его книги и брать их в библиотеках после того, как посмотрели кинофильм «Война и мир». «Дворянское гнездо» Тургенева было все без остатка распродано после того, как в наших кинотеатрах в течение трех недель демонстрировался фильм, снятый по этому роману». Можно было бы увеличить этот ряд примеров, вспомнив, что благодаря телефильмам возник новый взрыв читательского интереса к «Отверженным», «Саге о Форсайтах», «Семье Тибо»...

О литературе, по сути дела именно о романе как средстве самопознания человека, убедительно говорит Зигфрид Ленц: «Литература и в век науки может делать то, что она делала во все времена: пробуждать в человеке способность чувствовать себя непосредственным участником описываемого. Эта способность к сопереживанию помогает нам познать самих себя. Мы получаем представление о своих возможностях и одновременно осознаем их границы».

Авторы сборника задумываются над сутью реализма, над его возможностями в современных условиях. Задумываются, разумеется, по-разному. Для наиболее проницательных наших литературных современников за рубежом реализм не сводится к плоскому жизнеподобию и связывается прежде всего с социальными, познавательными задачами литературы. Примечательно, скажем, что и Мишель Бютор, один из признанных мастеров школы «нового романа», отстаивает на свой лад право и долг писателя — изучать современную действительность. Любой плодотворный поиск в области романной формы, говорит он, сопряжен с изменением самого понятия «литература», она «перестает быть предметом роскоши и развлечения и выступает в своей подлинной роли — общественного инструмента, постоянно исследующего жизнь и самого себя».

Вероятно, и Мишель Бютор, и большинство других авторов сборника — если не все — согласились бы с тем, что говорит известный польский критик Рышард Матушевский: «Роман, чтобы сохранить себя как жанр, который останется в литературе, не может быть оторван от всего богатства реального мира, от объективной действительности, физической и социальной». Роман реалистический, и реализм в целом, ни в коем случае не может и не должен без конца повторять самого себя. «Богатство действительности, нас окружающей, бесконечно. Потому объективная неожиданность реализма практически неисчерпаема».

Мы видим, что в сборнике «Судьбы романа» отстаивается ряд верных и почти что бесспорных мыслей, которые в ходе литературных дискуссий последних лет стали общим достоянием довольно широкого круга писателей и критиков в разных странах. Сегодня, пожалуй, мало кто решится утверждать, что «роман умер», мало кто решится впрямую заявлять, что литература должна быть забавой или особо изысканной духовной пищей для немногих. Но остается немало вопросов, которые вызывают споры и требуют выяснения. Роман жив, но каков он сегодня, каким он должен быть? Роман изменяется, но каковы же устойчивые признаки его строения? Над этим задумываются и сами прозаики, и теоретики литературы.

В книге «Судьбы романа» собраны статьи конца 50-х, 60-х, реже — начала 70-х годов. Пока эти статьи отбирались, переводились, набирались, печатались, в международной литературной жизни немало воды утекло. Порой возникает необходимость если не пересмотреть, то уточнить представления многолетней давности.

В литературных дискуссиях начала 60-х годов буржуазная и ревизионистская критика настойчиво навязывала литераторам и читателям представление о Прусте, Джойсе, Кафке как «отцах современного романа» — причем эти три весьма разных имени обязательно назывались вместе. Критики-марксисты отвергали эти необоснованные претензии на отцовство, в ходе полемики (и это можно понять) выдвигая на первый план именно то, что сближало названных писателей с упадочной буржуазной литературой. Говорилось не раз, и с полным основанием, что и Пруст, и Джойс, и Кафка содействовали не столько развитию современного романа, сколько размыванию его реалистических устоев. Но это была не вся истина, а лишь часть истины. Советский читатель за последние годы лучше познакомился с Кафкой, вышел в новом переводе первый том обширного романа Пруста «В поисках утраченного времени» (а в ГДР, кстати сказать, вышли сразу все семь томов), не за горами, вероятно, и новые публикации Джойса. Мы в состоянии теперь — отвергая миропонимание этих писателей, отдавая себе отчет, насколько узка, субъективистски ограничена картина мира у каждого из них,— спокойно судить вместе с тем и о силе их таланта, и о тех художественных открытиях, которые были ими сделаны. Мы в состоянии теперь видеть, как они отразили процессы кризиса буржуазной идеологии (процессы не выдуманные, а реальные), расширили пределы

нашей восприимчивости, обогатили язык искусства.

Стоит сослаться здесь на рассказ Анны Зегерс «Встреча в пути», опубликованный в ГДР три года назад и очень сочувственно встреченный там литературной общественностью. В этом фантастическом рассказе встречаются, мирно беседуют в одном из пражских кафе три собрата по перу: Гоголь, Гофман, Кафка. Они говорят о своей работе, делятся тайнами мастерства.

Устами Гофмана Франц Кафка подвергается критике за безысходную мрачность взгляда на мир. Однако автор «Процесса» и «Замка» включен Анной Зегерс в круг мастеров мировой литературы. Для читателя ясен вывод: Кафка требует критического прочтения, но просто отбрасывать его, как зловредное порождение декаданса, было бы нерасчетливо.

Вернемся к сборнику «Судьбы романа». На некоторых страницах мы видим там следы полемических излишеств — в оценке не только названных Пруста и Кафки, но, скажем, и Камю, который в одной статье весьма неудачно назван «королем моды»: такие броские формулы мало помогают, когда речь идет о сложных явлениях буржуазной культуры. С другой стороны, стоит прислушаться (именно прислушаться—не обязательно с тем, чтобы полностью согласиться) к тому, что пишет о Джойсе венгерский критик Золтан Кенереш: «Если читать «Улисса», как читают романы критического реализма, то, конечно, после первых же страниц человек отложит книгу и больше не возьмет в руки—такой скучной она ему покажется. Но если он будет воспринимать произведение как явление лирики, то струящиеся потоком внутренние монологи захватят его как лирические признания, и тогда богатство текста и его выразительность, быть может, смогут его растрогать. В душе читателя чувство гармонии сменяется ощущением драмы. Джойс не был социальным революционером, он даже слабо разбирался в больших общественных движениях своего времени, но точно и с горечью изобразил ставшее невыносимым состояние мира».

В литературных дискуссиях 60-х годов много чернил было пролито по поводу французской — и не только французской— школы «нового романа». Как известно, Ален Роб-Грийе и Натали Саррот участвовали в 1963 году в ленинградской встрече писателей и высказали свою точку зрения. Запомнились и слова Роб-Грийе, произнесенные с оттенком некоего вызова: «Я пишу, чтобы попытаться узнать, почему мне хочется писать», и честное признание Натали Саррот: «Мы обращаемся к исключительно узким читательским кругам...»[1] У нас по инерции продолжают называть подряд имена: Роб-Грийе, Натали Саррот, Мишель Бютор. Но и эта группа не столь однородна — и сами писатели, и их сторонники и последователи не стоят на месте. Еще несколько лет назад наши читатели познакомились с романом М. Бютора «Изменение» и смогли убедиться, что он интересен не просто оригинальной формой, но тем, как бескомпромиссно трезво показана в нем драма «среднего» человека на Западе наших дней. Мы видим, что одни «новороманисты» идут все дальше по пути разрушения не только сюжета, не только персонажа, но и языка, и смысла. А другие ищут сближения с реальностью, и эта реальность кружным путем возвращается в роман, взламывает рамки формалистических хитросплетений. Свидетельство тому — роман итальянского писателя Л. Малербы «Сальто-мортале»; сквозь усложненную словесную ткань там явственно проглядывают тревоги и заботы современной Италии. Французской прогрессивной критикой и нашей критикой был положительно отмечен новый роман Натали Саррот «Вы их слышите?»[1], в котором нет ни сюжета, ни четко обозначенных персонажей, но живо встает реальная проблема — взаимное непонимание поколений в современной буржуазной семье. Видимо, и о старших «новороманистах», и, с другой стороны, о некоторых их последователях, доводящих пафос эксперимента до абсурда, пора говорить более дифференцированно[2].

Споры о «новом романе» за рубежом далеко не улеглись, и давняя статья Лопа и Соважа в «Нувель критик», на которую часто ссылаются у нас,—не последнее слово французской прогрессивной критики по данному вопросу. Приверженцы «нового романа», в частности во Франции, есть и среди людей, стоящих на политически передовых позициях. В защиту сверхизощренной экспериментальной прозы выдвигается — и уж сколько лет подряд! — такой аргумент: именно писатели, независимые от буржуазного общественного мнения, не признающие никаких «табу», в состоянии изучить то, что еще не изучено, проникнуть в неизведанные глубины подсознания... Однако, слушая такого рода суждения, иной раз вспоминаешь простой вопрос, который сорок лет назад стал предметом анкеты в журнале «Коммюн»: «Для кого вы пишете?»

С другой стороны, разве то, что еще не изучено в современном мире литературой, в частности романом,— это только бездны подсознания, взятые «вообще», сами по себе? В сборнике «Судьбы романа» можно прочесть трезвые слова японского прозаика Хироси Нома: «Писатель должен находить творческие возможности, чтобы вторгаться в области, куда еще «не ступала нога человека». Писатель обязан увидеть огромные перемены в обществе за двадцать пять лет

---

[1] «Иностранная литература» № 11, 1963, стр. 226, 238.

[1] Рецензия на эту книгу была опубликована в «Иностранной литературе» № 10, 1972.

[2] См. об этом: Л. Зонина, «Новый роман»: вчера, сегодня», «Вопросы литературы» № 11, 1974.

Т. МОТЫЛЕВА
СНОВА О РОМАНЕ

после второй мировой войны и понять вместе с тем, что в этом так называемом «обществе благоденствия» происходит множество подлогов, преступлений, психических расстройств, банкротств. Писатель обязан в своих книгах вскрывать все эти противоречия и указывать человеку выход из лабиринта высокоразвитого капиталистического общества». И даже, добавим, если в романе нет указания на «выход из противоречий» — честное свидетельство романиста об этих противоречиях, в их современных усложненных формах, может многое дать читателю. Сводить лабиринты общества к лабиринтам подсознания, а труд прозаика к сверхрафинированной словесной игре — не значит ли это обеднять литературу? Большой, многоцветный мир современных классовых боев еще ждет своих летописцев, и более того — своих исследователей.

Одно из достоинств сборника «Судьбы романа» — то, что он знакомит наших читателей с зарубежными критиками-марксистами, которых у нас незаслуженно мало знают. И даже если знакомство это получается неполным, даже если критики представлены в сборнике работами далеко не сегодняшними, публикацию таких работ стоит приветствовать.

Среди них, например, статья Иона Яноши «Монументальный роман и XX век», фрагмент из книги, вышедшей в 1963 году. Ион Яноши — ученый широкого профиля, автор исследований о Достоевском и Томасе Манне. Книга о «монументальном романе» — ранний его труд, но общая постановка вопроса интересна и для нынешнего читателя. В эпоху, когда народные массы все более активно включаются в события исторического масштаба, роман, отражая этот процесс, выходит — по крайней мере в творчестве некоторых крупных художников разных стран — на широкие эпические просторы. Можно усомниться в термине «монументальный роман»: иногда и повествование сравнительно небольшого объема может воссоздавать движение самих масс — тут можно вспомнить и «Железный поток» Серафимовича, и «Огонь» Барбюса, а если взять совсем недавний пример — роман В. Шукшина «Я пришел дать вам волю». Однако и И. Яноши видит решающий признак «монументальности» не в объеме произведения, а в исторической значимости событий, которые в нем отображены. Он ясно видит вместе с тем, что современная проза успешно развивается далеко не только на путях эпической широты, ей нужны подчас и вещи более камерного, бытового, психологически сосредоточенного плана. Так или иначе, верен вывод румынского исследователя: «Без психологического анализа фреска никогда не станет романом и вообще искусством, а игнорируя социальный фактор, аналитический роман в свою очередь будет не в состоянии удовлетворить запросы наших современников».

Своеобразие искусства романа в нашу эпоху и многообразие его форм — этот круг вопросов в течение ряда лет живо занимает французского критика Клода Прево. В сборник «Судьбы романа» вошла его статья «Проблемы современного романа», вышедшая в оригинале десять лет назад. За последние годы К. Прево опубликовал много новых статей по проблемам романа.

С предисловием Прево во Франции вышла в 1973 году (отдельным выпуском марксистского научного издания «Решерш энтернасиональ») работа М. Бахтина «Эпос и роман». Она была впервые поставлена на обсуждение в качестве доклада в ИМЛИ им. А. М. Горького в 1938 году и опубликована в «Вопросах литературы» в январе 1970 года. Она вышла также и в немецком переводе в ГДР. Можно понять, почему этот давний теоретический этюд советского исследователя вызывает интерес за рубежом. М. Бахтин высказал здесь оригинальные гипотезы о происхождении романа; он выдвинул ряд остроумных антитез, позволяющих уяснить своеобразие романа как жанра, его отличие от произведений древнего и средневекового эпоса. Если эпопея живет в «высокой» литературе, приподнята над повседневностью, то роман вырастает из фольклора, народного устного рассказа, он демократичен по своим истокам. Эпопея обращена к прошлому, говорит о событиях завершенных — роман вторгается в современность, соприкасается со стихией незавершенного настоящего. Задача эпопеи — увековечить события в памяти людей, задача романа — подвергнуть анализу изображаемую им действительность. Эпопея по языку однородна, в ней доминирует сфера речи рассказчика, рапсода; роман по языку многопланов, у каждого или почти каждого персонажа — свой строй речи.

Все эти сопоставления, развернутые М. Бахтиным, интересны и плодотворны. Но читатель вправе спросить: куда же — к эпопее или к роману — отнести «Войну и мир», «Тихий Дон», «Коммунистов» Арагона, «Хвалу и славу» Я. Ивашкевича? У нас уже прочно вошел в обиход термин «роман-эпопея» (это и есть то, что И. Яноши называет «монументальным романом»). Произведения такого типа, даже если они говорят о прошлом, несут в себе дух современности: обладая широтой эпопеи (недаром «Войну и мир» сравнивают с «Илиадой»), они по способам исследования и воплощения действительности опираются на богатую культуру романа, созданную литературой предшествующих столетий.

Роман-эпопея — явление, очень характерное для художественной прозы именно нашего столетия, богатого историческими сдвигами: этот вывод прочно утвердился в советском литературоведении. Вопрос о романе-эпопее не ставился М. Бахтиным в 1938 году, и это естественно: тогда этим типом повествования как теоретической проблемой никто еще не занимался. Не ставится он — о чем можно пожалеть — и в предисловии К. Прево к этюду М. Бахтина (лишь мимоходом упоминается там «неотолстовский тип романа», который «соперничает с эпопеей в полноте объектов»; но ведь суть традиции, идущей от

«Войны и мира»,— не «полнота объектов», а изображение народа в его поступательном историческом движении).

Более существенно, однако, что в предисловии Прево полным голосом сказано о значении работы Бахтина именно в свете нынешних споров о романе. Дело не просто в том, что М. Бахтин утверждает народные истоки романа, его близость к повседневности, современности, роль элементов сатиры и юмора в нем. Еще важнее, что, по Бахтину, роман — жанр *становящийся*, постоянно трансформирующийся, изменяющийся.

Материалы, объединенные в сборнике «Судьбы романа», при всей их разнородности, наталкивают на общий вывод: роман существует и будет существовать — в разнообразных, постоянно изменяющихся, часто нетрадиционных и неожиданных художественных формах.

Об этом говорит в финале своей содержательной статьи Клод Прево: «Если роман, демократия и гуманизм действительно взаимосвязаны, то не будет ли правильным считать, что «классически построенный» роман (отнюдь не предполагающий развертывания событий непременно в их хронологической последовательности), роман с «персонажами» (отнюдь не обязательно созданными по бальзаковскому образцу), является долговременным завоеванием человечества? Само собой разумеется, что эту стабильность никак не следует понимать как некий застой. Стабильность романа как жанровой формы основана не на повторении однажды найденного: напротив, она открывает путь для новых технических находок, она способствует непрестанным творческим исканиям и открытиям». Об этом верно сказано и в предисловии составителя сборника Е. Трущенко: «Современный реалистический роман включает в арсенал художественных изобразительных средств и непосредственные «формы самой жизни», и условные, ассоциативные формы. Ему свойственно творческое освоение всего положительного опыта развития художественной литературы...»

В буржуазной критике множество раз говорилось о том, как безнадежно устарел роман, где события развиваются «в формах самой жизни», в «линейной», хронологической последовательности, с завязкой, кульминацией, развязкой, с повествователем-демиургом, который сам по себе невидим, но все знает о своих персонажах. Однако практика показывает, что и такого рода произведения живут в литературе — типы и проблемы нашего времени встают и в них. Стоит сослаться на романы Ч. П. Сноу, Б. Клавеля или, в качестве совсем свежего примера, на «Анну Предайль» Анри Труайя.

А наряду с этим отчетливо прослеживается стремление многих и многих писателей выйти за традиционные рамки романа и более того — расширить традиционные рамки реализма.

Об этом иной раз с большой прямотой говорят мастера зарубежной прозы, которые еще десятилетия назад приняли принципы социалистического реализма и многое сделали для их развития в своих национальных условиях. Анна Зегерс в связи с выходом ее сборника фантастических рассказов «Странные встречи» сказала в интервью корреспонденту газеты «Нойес Дойчланд»: «...поставим вопрос: «Что такое действительность?» Не только то, что можно потрогать руками и попробовать на вкус,— и фантазия, и мечты относятся к области реальности. Наша нынешняя, подлинная, осязаемая нами жизнь когда-то, для кого-то была предметом догадок. Люди сухие и даже недобрые считали, что она — всего лишь мир мечтаний. А я думаю, что мечты могут быть неотъемлемой частью действительности. Если найти верный подход к ним, они расширяют литературу, социалистическую литературу. Они раскрывают человека как изобретателя — а таков он и есть по своей природе — и учат его уважать то, что изобрели другие люди»[1].

Андре Стиль, который в качестве постоянного литературного обозревателя «Юманите» следит внимательнейшим образом за развитием современной прозы и прочитывает за год сотни книг, утверждает: «Сегодня нельзя уже говорить о реализме так, как говорили сто или пятьдесят лет назад. Он включил и все больше включает в себя и черный, и зеленый цвет своих окраин»[2]. Статья, из которой взяты эти строки, так и называется «Реализм и его окраины». Речь идет у Стиля не о том, чтобы возродить печально знакомую концепцию «реализма без берегов». Скорей о том, что художественная проза нашего времени, отличаясь порой «самой непосредственной верностью реализму» в его зримой и осязаемой форме, в то же время не чурается глубинных психологических просвечиваний, ибо хочет познать, воссоздать и тревоги, страхи, кошмары, которые тяготят человека («черное»), и самые радостные его мечты, и надежды («зеленое»).

Арагон называет романами свои книги лирической прозы, созданные им за последнее десятилетие,— «Гибель всерьез», «Бланш, или Забвенье», «Театр/Роман»; после выхода третьей из этих книг стало ясно, что перед нами цикл, объединенный общей проблематикой — автобиографической, психологической. Это книги-исповеди, лишенные сюжетной цельности, они то восхищают высоким мастерством письма, то озадачивают нарочитой зашифрованностью. Вероятно, здесь должна идти речь о каком-то новом типе крупного прозаического произведения, где картина бытия складывается из фрагментов, соприкасается с поэзией и строится отчасти по законам поэзии. Тут не отделаешься формула-

[1] "Neues Deutschland", 22.IX.1973.
[2] "L'Humanité", 12.VI.1975.

Т. МОТЫЛЕВА
СНОВА О РОМАНЕ

ми «нравится» — «не нравится», опыт «позднего» Арагона требует анализа, исследования: так или иначе его новые произведения, со всем, что в них есть спорного, уже вошли в историю французской литературы.

Обратимся к книгам, с которыми советский читатель успел познакомиться: мы и тут видим большое, все возрастающее разнообразие форм. Роман-притча, и роман-эссе, и роман-расследование, и роман-монолог, и роман сатирический и фантастический в самых разных вариациях — все это существует и развивается в литературе наших дней. Иногда современный роман далеко отклоняется от жизнеподобия и в то же время обладает коренными признаками реализма, типичностью характеров и обстоятельств (пусть гиперболизированных), изображением человека (иногда нарочито схематизированного) — в его самых доподлинных социальных связях.

В романах Кобо Абэ конфликты до предела заострены, напряжены, изображение людей и условий их жизни доведено до гротеска. Это, как правило, мрачный, трагический гротеск — тут, как в фильмах Куросавы, отзывается сложная и страшная судьба нации, пережившей Хиросиму, испытавшей за немногие десятилетия много потрясений. Но не в одной лишь национальной специфике тут дело. Один из крупных мастеров венгерской прозы Иштван Эркень рассуждает о гротеске именно так, как может рассуждать социалистический писатель: «Для меня гротеск означает не мрак, а свет. Луч света во тьме, куда иначе я не смог бы проникнуть. Назвать своим именем нечистую силу, заставить говорить «глухие стены»— вот что подстегивало меня, гнало и давалось в награду за все мои мытарства. Став зримым и осязаемым, чудище перестает быть чудищем, ибо то, что имеет свое лицо, уже познаваемо, а что становится познаваемым, может быть укрощено»[1].

Нашему читателю памятен роман Эрико Вериссимо «Происшествие в Антаресе» — вещь острая по социальному содержанию и в высшей степени оригинальная по форме. Фантастика, гротеск, стихия ирреального сложнейшим образом взаимодействует с реальным, грубо шутовское — с трагическим. Очень возможно, что здесь своеобразно преломилась градиция Достоевского. Вспомним рассказ «Бобок» (столь тонко проанализированный М. Бахтиным): ведь и в этом рассказе мертвецы оживают, ведут странные и циничные разговоры, вступают между собой в фамильярный контакт, ломая иерархические рамки, определявшие их «земное» существование... Именно подобным же образом, с помощью зловещего и комического «карнавала» мертвецов, удается бразильскому писателю бросить резкий и неожиданный свет на самые наболевшие общественные язвы его страны.

Гротескны по своей природе и образы, и многие ситуации романа Курта Воннегута «Завтрак для чемпионов»: перед нами не столько люди, сколько роботы, марионетки, таков очевидный замысел автора. Романист-демиург здесь не скрывает, что он демиург — он сам говорит о том, что создал своих героев, делится творческими секретами и входит как полноправное и самое живое действующее лицо в круг образов романа. Для нас очевидно, что «Завтрак для чемпионов» не мог бы быть создан без активной и смелой работы авторского воображения. Но очевидно вместе с тем, насколько типичны в решающем и главном и незадачливый литератор Килгор Траут, и обезумевший миллионер Двейн Гувер, и «почти тезка» этого миллионера юный бедолага — негр Вейн Гублер. За персонажами-роботами и их странными приключениями стоят реальные проблемы американской действительности, и размышления романиста, то и дело вторгающиеся в действие, имеют к этим проблемам уж и вовсе прямое касательство.

В современной (и не только сегодняшней) литературе не столь редки романы, где цельность сюжета — не в прямых взаимосвязях, знакомствах, отношениях действующих лиц, а скорей во внутренней соотнесенности их судеб. Именно так построил Фолкнер — еще свыше сорока лет назад — свой роман «Свет в августе»: Лина Гроув незнакома с Джо Кристмасом, она проходит по территории романа как бы по касательной, не более того. Но как необходима Лина Гроув — луч света в темном царстве американского Юга — для утверждения большой гуманистической идеи, одушевляющей эту книгу о мире зла!

Опыт современной прозы показывает, что иной раз именно роман, где отдельные сюжетные линии не слишком строго связаны между собой, дает плодотворный толчок ассоциативной мысли читателя, побуждает его сопоставлять, оценивать, делать выводы. Роман Мигеля Отеро Сильвы «Когда хочется плакать, не плачу» строится как параллельная история трех сверстников, ничего не знающих друг о друге. Однако три Викторино очень последовательно соотнесены друг с другом и по контрасту и по сходству: получается роман в высшей степени целостный, заставляющий задуматься над судьбами современной молодежи — и не только в Венесуэле, и не только в Латинской Америке. Пролог, переносящий нас в Древний Рим, лишь косвенно связан с основным сюжетом, но и в этом прологе есть своя художественная необходимость, он как бы ставит все последующее действие на пьедестал времен, раздвигает масштабы обобщения.

Роман Макса Фриша «Назову себя Гантенбайн» стал оживленно обсуждаться критиками в разных странах еще лет десять назад,— немало верного о нем сказано и в в сборнике «Судьбы романа». Здесь нет целостного сюжета, которым отличаются прежние книги того же автора — «Штиллер» и «Homo Фабер». Однако в нем есть та острота нравственной проблематики, ко-

[1] «Иностранная литература» № 4, 1973, стр. 207.

торая заставляет нас с напряженным вниманием следить за прихотливой историей перевоплощения героя. В видимом хаосе имен и событий постепенно обнаруживается своя логика, свой порядок, и даже сам этот видимый хаос оказывается в конечном счете не лишним — он тем вернее мобилизует активное восприятие со стороны читателя, побуждает его потрудиться, чтобы уловить мысль автора, понять, как много верного, своевременного в этой мысли...

Мы знаем в прозе последних лет вещи, построенные далеко не столь усложненно. Мы читаем иной раз рассказ о событиях и переживаниях, который идет от лица главного героя, казалось бы, вполне безыскусственно, без примеси художественной условности. Но вдумаемся: разве нет своей художественной условности, скажем, в заслуженно популярном у нас антифашистском романе Зигфрида Ленца «Урок немецкого»? Сочинение Зигги Йепсена растягивается на сотни страниц, оно написано не так, как мог бы написать неискушенный в литературе подросток,— автор явно наделяет своего Зигги собственным литературным талантом, беспокойной страстью к анализу, богатством речи.

Гораздо больше очевидной условности в романе Тадеуша Новака «Черти». Совершенно ясно, что это не рассказ деревенской женщины, а тонкая, очень искусная стилизация такого рассказа. И эта стилизация, насыщенная фольклорной образностью, и эта примесь легендарного и чудесного во много крат увеличивает привлекательность, эмоциональную силу романа. Мы как бы входим в мир заветных дум тружеников отдаленного сельского края и видим, что борьба за новую жизнь, без панов-угнетателей, находит опору в их стародавних мечтах и чаяниях...

Но, пожалуй, довольно примеров. Практика современного романа исключительно разнообразна; чуть ли не каждое новое значительное произведение зарубежной художественной прозы заключает в себе, наряду с освоением новых сфер жизни, и какие-то свои художественные секреты, свои неожиданности и в строении сюжета, и в стиле. Тяготение романистов к непривычному, неожиданному в области формы — не хитрость и не дань моде. Скорей — это попытка овладеть все усложняющейся реальностью, иногда — попытка расшевелить, растревожить читателя, чтобы заставить его глубже вдуматься в эту реальность.

Практика современной прозы, в ее действительно лучших образцах, не колеблет основ реализма: перед нами так или иначе встают картины жизни людей в их исторической конкретности, в их социальных связях. Но порой опыт романистов заставляет по-новому задуматься над содержанием установившихся теоретических понятий «реализм», «роман» — в художественных исканиях нашего времени эти понятия обретают если не новый смысл, то, во всяком случае, новые оттенки. Тут перед нами большой круг проблем, требующих дальнейшего обсуждения и изучения.

Критика

Л. ЧЕРКАССКИЙ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КИТАЯ 50-х ГОДОВ И МАЯКОВСКИЙ

«Учитесь у Маяковского»

Пятидесятые годы были для китайских литераторов годами творческого подъема, поисков новых жанров и форм, стилевых средств для всеохватного отображения китайской действительности после победы революции и провозглашения народной республики. В этот период гражданский и художественный опыт В. Маяковского изучался с особенной заинтересованностью и вниманием.

На протяжении десятилетий авторы статей о Маяковском призывали соотечественников учиться у великого пролетарского поэта. Так было в 30—40-е и особенно — в 50-е годы. Достаточно привести высказывания лишь некоторых авторитетных китайских поэтов, критиков, литературоведов.

«Наши поэты должны обладать мужественным стилем Байрона, спокойной эпичностью Ду Фу, но более всего нам нужны поэты, которые, как Маяковский, говорили бы с народом «во весь голос»,— Ван Жэньшу, 1937.

«Поэты сегодняшнего Китая! Вы все еще возлежите на софе и играете на мандолине капризным девицам... Поднимите наш факел! Пусть гремят ваши голоса в полную силу, звонко, как голос Маяковского»,— Сяо Сань, 1940.

Оценивая вклад литературы в освободительную борьбу против японских захватчиков, критик Хуэй Но в статье «От футуризма к революционной борьбе» показал, что учеба у Маяковского является жизненной необходимостью для китайских поэтов: «В период войны Сопротивления написано порядочно, но удачных вещей мало. Вклад поэзии в войну недостаточен, поэзии по-прежнему не хватает мастерства, она все еще в плену «приблизительности» и формализма. Мы отмечаем десятую годовщину со дня смерти Маяковского. Давайте по-настоящему активизируем нашу учебу, обратив особое внимание на произведения, написанные им о революции, внесем еще более весомый вклад в поэзию войны Сопротивления. Это и будет нашей памятью о Маяковском».

В 50-е годы «учеба у Маяковского» встала в повестку дня как первоочередная практическая задача китайского революционного искусства.

«Я хочу непременно учиться у тебя. Чему учиться? Я хочу превратить голос трудящихся в слово поэта, и пусть это слово выразит волю миллионов. Я жаждал этого раньше, жажду теперь, пройдут годы, но я по-прежнему буду к этому стремиться»,— Тянь Цзянь, 1950.

«Маяковский писал, что поэт — «народа

водитель и одновременно — народный слуга». Мы, китайские поэты, стремимся, как Маяковский, трудиться для партии, рабочего класса. Мы учимся его блестящей сатире, чтобы беспощадно выкорчевывать пережитки феодальной и буржуазной идеологии, бороться с бюрократизмом, со всем тем, что вредит делу народа»,— Юань Шуйпо, 1953.

К Маяковскому китайские критики и литературоведы обращались охотно и часто, находя в его книгах ответы на многие вопросы теории и практики художественного творчества.

Используя опыт Маяковского, читатели и поэты приобщались к тайнам мастерства. Так, в статье «О том, как писать стихи и как их читать» среди прочих вопросов поэт и критик Хэ Ци-фан на примерах «Прозаседавшихся» и «Необычайного приключения...» рассматривает категорию художественного воображения и некоторые поэтические тропы. В «Прозаседавшихся» Хэ Цифан увидел «смелую метафору»; «Необычайное приключение...» поразило его «удивительной поэтической фантазией». Стихотворение, пишет он, «поистине, как солнце, брызжет лучами. Мы завалены каждодневной революционной работой, и мы черпаем в этом произведении безграничную вооодушевляющую силу».

Воспитывая в литераторах требовательность к своим произведениям, поэт Сюй Чи напоминал слова Маяковского: «...изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды».

Дискуссия о поэзии и проблема формы

Большое значение для освоения наследия Маяковского в Китае имела широкая, в масштабах всей страны, дискуссия 1958—1959 годов о путях развития китайской поэзии. В ней приняли участие не только поэты, критики и литературоведы, но и рабочие, солдаты, «кадровые работники». Дискуссию освещали крупные газеты и журналы «Жэньминь жибао», «Вэньсюэ пинлунь», «Шикань», «Синсин», «Чунюйджи» и др. Материалы дискуссии были опубликованы в трех выпусках «Вопросов развития новой поэзии» (Пекин, 1959). Проблем было много. Являются ли новые народные песни, столь широко пропагандируемые официальной критикой, основным потоком современной поэзии и каковы особенности этих песен? Как правильно оценить новую поэзию периода после «движения 4 мая» 1919 года? Необходимы ли «новые поэтические метры» для современной китайской поэзии? Какова судьба свободного стиха в Китае? Острые споры велись вокруг проблем творческого использования достижений зарубежной поэзии и взаимосвязей отечественной литературы с литературой западной, форм и жанров, целесообразности и приемлемости стихотворных форм Маяковского для китайской поэзии.

В дискуссионных статьях поначалу высказывались смелые, конструктивные суждения, затрагивающие насущные литературные нужды: еще сохранялась вера многих литераторов в провозглашенный в 1956 году курс «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», значение которого, в частности в области литературы, официальная пекинская критика разъясняла как свободу использования в художественном творчестве всевозможных форм и жанров, свободу описывать не только новое, но и старое общество, делать главными героями произведений не только положительные, но и отрицательные персонажи. В ходе дискуссии стало ясным также и то, что курс «ста цветов» претерпел решительные метаморфозы: обнадеживающее в конце 1956—начале 1957 года оживление в литературно-художественных кругах было вскоре задушено походом против «правых», выявлением «антипартийных элементов», заушательской критикой многих видных писателей и ученых. Эти события, происходившие в 1958 году, естественно, отразились на общей направленности дискуссии, которая приобретала все более опасные для противников ортодоксальной линии формы. Тем не менее честные и бескомпромиссные ее участники продолжали мужественные попытки реалистической, объективной оценки литературного процесса. В то же время противоречивость суждений, фальсификаторские тенденции, многократный перепев одних и тех же официальных установок существенно окрасили атмосферу того времени.

«Важнейшей чертой идеологической и всей общественной жизни Китая стало приспособленчество,—писалось в советской печати.— Руководство КПК, бесконечно повторяя и заставляя других повторять одни и те же лозунги и заклинания против «буржуазной идеологии, современного ревизионизма, американского империализма», рассчитывало добиться отождествления мыслей людей с их словами, но на практике получалось обратное — ложь и притворство становились нормой, а назойливо внушаемые формулы оставались пустыми словами, лишенными конкретного содержания» [1]. Тем дороже разумные и трезвые мысли, высказанные в то непростое время. Тогда-то опыт и авторитет Маяковского оказали неоценимую поддержку революционным литераторам Китая, кото-

[1] Л. С. Кюзаджян. Идеологические кампании в КНР (1949—1966). М., «Наука», 1970, стр. 191—192.

рые, опираясь на его идеи и художественную практику, отстаивали свои гражданские и творческие принципы.

Официальный Китай во второй половине 50-х годов еще не проводил политику замалчивания поэзии Маяковского или фальсификации его творчества, поэтому авторам иных статей, положения которых противоречили эстетическим принципам Маяковского и тому, что писали о советском поэте раньше, приходилось всячески изворачиваться, чтобы свести концы с концами: клясться Маяковскому в верности и любви и «делать упор» на «национальную специфику», которая-де и служила основанием для этих «новейших» утверждений. Вообще же обходить Маяковского они не могли, так как их решительно и бескомпромиссно настроенные оппоненты вспоминали о Маяковском постоянно.

В 1958 году в Китае в огромных масштабах началось движение по сбору и изучению народных песен, созданных в обстановке «большого скачка», плачевные экономические и политические результаты которого хорошо известны. Иллюстрировавшие «большой скачок» песни в целом были такого же качества, как, скажем, выплавленный в домашних доменных печах чугун, ибо написание песен стало очередным «движением» верноподданнического одобрения «линии Председателя Мао», движением, в котором количественный фактор — были написаны миллионы песен! — явился главным и решающим. В провинциях страны издавались местные сборники песен; песни публиковались в газетах и журналах, в литературных приложениях и в научных изданиях. После весьма тенденциозного отбора (преобладали культовые строки) был составлен и напечатан сборник «Народные песни красного знамени» (1959). Во вступительном слове составителей (Го Мо-жо и Чжоу Яна) говорилось о неразрывной связи на протяжении всей истории китайской литературы авторской поэзии с народными песнями и о том, что такая связь в условиях современного Китая стала еще теснее. На первый взгляд, «правильные» слова составителей таили в себе зловещий смысл, который открылся довольно скоро.

Дискуссия о путях развития новой поэзии призвана была, по мысли ее инициаторов (они же — глашатаи официального курса), во что бы то ни стало доказать главенствующую роль народных песен (не будем забывать об их качестве и содержании!) в общем поэтическом потоке 50-х годов, а также «научно» убедить инакомыслящих в перспективах еще более широкого развития песенного творчества в последующие годы. Собственно, так и произошло, но не в силу объективных процессов развития поэзии, а вследствие субъективных, волюнтаристских действий маоистского руководства, превратившего в 60—70-е годы поэтическую ниву Китая в выжженную пустыню, на которой произрастали лишь культовые песнопения безымянных «народных» певцов!

Проблема поэтической формы не случайно стала камнем преткновения всей дискуссии. Касаясь этой проблемы в целом, Хэ Ци-фан резко выступал против абсолютизации одних и ниспровержения других форм, якобы несовместимых с китайской поэтикой: «Я стою на той точке зрения, что формы народных песен, формы современных метрических стихов и формы свободного стиха могут сосуществовать и каждая из них может стать национальной формой».

Хэ Ци-фан приводит цитату из статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература»: «Спору нет, литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством. Спору нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию»[1]. В этой связи Хэ Ци-фан замечает: «Знаю, эти слова цитировали неоднократно, но мне кажется, что есть необходимость процитировать их еще раз. В течение десяти лет, и не только последних лет, если бы в споре о поэтической форме люди помнили эти гениальные слова Ленина, можно было бы избежать многих неверных взглядов и бесплодных дискуссий». А между тем, как показывает китайская действительность, таких «бесплодных дискуссий» и бесплодных рассуждений в 50-е годы было немало.

Обобщая точки зрения участников дискуссии о формах новой китайской поэзии и их взаимодействии, поэт Ша Оу дает им свою оценку. Подобные выводы и формулировки, отражающие официальную позицию, уже входили в моду и вскоре — в первой половине 60-х годов — обнаружилась их политическая заданность и целенаправленность. Рассуждения критика были чрезвычайно противоречивы, и это понятно, так как Ша Оу было необходимо, с одной стороны, следовать официальной линии, а с другой — не отрываться окончательно от действительности и реальных процессов. Какова же все-таки картина развития форм новой китайской поэзии по Ша Оу?

Наиболее распространенной формой народных песен по-прежнему остаются пятисложные и семисложные стихи. «Подобная форма стара, но и поныне она живет и процветает. Трудящиеся, желающие писать стихи, не могут создавать форму на пустом месте, они, естественно, используют старые формы». Во многих народных песнях тем не менее, отмечает Ша Оу, можно наблюдать элементы новаторского подхода к форме—ритму, количеству строк, количеству знаков в строке, рифме. Эти модификации возникают не в русле свободного стиха, сфера которого, по мнению Ша Оу, сужается, в творчестве поэтов наблюдается тенденция к сближению с формами народных песен. «Старые формы тоже продолжают служить социализму»,— заявляет Ша Оу, имея в ви-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 101.

ду прежде всего стихи Мао Цзэ-дуна, написанные в классических формах. Свободным стихом Мао не писал, происхождение свободного стиха тоже сомнительно (западное?). Стало быть, можно, игнорируя широкое его распространение в Китае и доброжелательный прием со стороны читателей и слушателей, проповедовать весьма спорное утверждение о поголовном и «добровольном» (!) сближении авторской поэзии с народными песнями, которое всего через несколько лет приведет к полному вытеснению авторской поэзии и к безраздельному господству непрофессионального стихотворчества, однако же отнюдь не на основе «добровольности».

Как известно, в социалистическом обществе обязательным законом существования непрофессионального искусства, составного элемента художественной культуры общества, является его взаимодействие и взаимосвязи с искусством профессиональным. Следовательно, залогом развития непрофессионального творчества является прежде всего постоянный рост самого профессионального искусства, пропагандиста духовных ценностей, наставника и учителя непрофессионалов.

С началом «культурной революции» в Китае профессиональное искусство подверглось моральному и физическому изничтожению. Непрофессиональное творчество перестало быть естественной составной частью общенациональной культуры, оно оказалось ее единственной частью; непрофессиональное творчество не могло осуществлять связь с остальными частями, ибо этих частей не стало. Создалась ситуация, при которой непрофессиональное творчество перешло на «самообслуживание», на «саморазвитие»,—в нем спонтанно вызревало лишь то, что могло вызревать. Итак, непрофессиональное творчество в Китае постепенно растеряло все эстетические ориентиры. А взамен получило «идеи Председателя Мао». Они-то и породили бумажные цветы стихов и песен непрофессиональных авторов, людей искренних и честных, но с весьма низкой, по понятным причинам, поэтической культурой, культурой вообще, с узким житейским и политическим кругозором, ограниченным несколькими статьями Мао Цзэ-дуна,—людей, убежденных, что сегодняшняя стихотворная продукция и есть поэзия и что они ее творцы. Другой поэзии они не знают (она слишком долго находится под запретом) и воспитываются на собственной.

Существенным моментом развития непрофессионального творчества в современном Китае было то, что его участники не видели в нем творчества. Они рассматривали свою деятельность как политический акт, как выражение безусловной преданности обожествляемому ими «красному солнцу».

Банальные, тысячи раз повторенные, стертые, изношенные фразы, поразительное однообразие образов и метафор, лексическая нищета, отсутствие самостоятельной мысли, штампы—словесные, эмоциональные, изобразительные. Особым примитивизмом отличались политические стихотворные «диалоги», напоминающие элементарную буффонаду, разыгрываемую слабоумными бодряками, чаще всего одетыми в военную форму.

Подобные произведения объявляются образцом совершенства. «Широким потоком шли прекрасные художественные произведения»,—радостно сообщала газета «Цзефан цзюнь бао» (18.IV.1966). И это утверждалось вопреки полному дилетантству непрофессиональных авторов в вопросах специфики искусства; вопреки тому, что непрофессиональные авторы, «рабочие, крестьяне и солдаты», в течение долгих лет испытывали жесточайший духовный голод. Ведь интенсивное развитие непрофессионального творчества не только не совпадало в Китае с процессом социального и культурно-технического роста общества (что, как известно, создает при социализме необходимые условия для сокращения рабочего дня и увеличения свободного времени, необходимого для гармоничного развития личности), а, напротив, принимало особый размах именно в период экономических и социальных катаклизмов!

Естественно, что такое творчество, развивающееся по законам, придуманным пекинскими идеологами, обречено на бесплодность, и оно уже продемонстрировало это с полной очевидностью.

Вот, оказывается, какой потаенный смысл был заключен в шаманских заклинаниях периода дискуссии конца 50-х годов, касающейся вроде бы чисто профессиональных вопросов поэтического цеха, вот к чему они привели!

Свободу свободному стиху!

Л. ЧЕРКАССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КИТАЯ 50-Х ГОДОВ И МАЯКОВСКИЙ

Одним из центральных вопросов литературных споров в общем контексте дискуссии о форме китайской поэзии был вопрос о свободном стихе и, более частный,—о «лесенке» Маяковского, рассматривавшийся и в связи с разговором о свободном стихе, и самостоятельно. Спор о «лесенке», которая была творчески освоена многими поэтами в Китае, противники «всего иностранного» спекулятивно использовали для «отстаивания» идеи о «национальной самобытности китайской поэзии». Шпаги скрещивались не на шутку, высказывались трезвые и фантастические суждения, обнаруживались подлинное понимание предмета и терминологическая путаница, в понятие «свободный стих» зачастую вкладывался совер-

шенно разный смысл, и, таким образом, спор становился бесплодным. Добросовестные участники дискуссии стремились понять новаторскую сущность поисков и открытий Маяковского в области формы, думая о возможности заимствования этих открытий с учетом специфики и особенностей китайского языка и поэтики. Критики, выражавшие официальную точку зрения, вносили в спор элемент проработки и безапелляционности, и, к сожалению, их голоса часто звучали особенно громко.

И снова, казалось бы, чисто профессиональный спор вылился в конечном счете в острую идеологическую борьбу сторонников и противников использования Китаем зарубежного опыта в области культуры. Позднее, как известно, маоисты выдвинули пресловутый «универсальный» лозунг «опоры на собственные силы», «развеяв», так сказать, все «сомнения» одной из участвующих в споре сторон!

В ходе дискуссии делались попытки направить ее в русло действительно профессионального творческого спора, но это сделать не удалось: вопросы мастерства становились вопросами политики, идеологии.

Обратимся вновь к материалам дискуссии.

Свободный стих защищали, ниспровергали, в нем пытались разобраться объективно. Свободный стих, пишет, например, критик Жань Юй-да, должен существовать, должен развиваться, должен рождать еще более прекрасные произведения; его жизнь не завершена, под сиянием коммунистических идей, под влиянием новых народных песен он расцветет еще ярче. Выступать против свободного стиха, третировать его неверно. Конечно, можно найти тысячи дурных примеров использования свободного стиха, однако на этом основании нельзя столь категорически заявлять, что форма свободного стиха «сгнила на корню». И Жань Юй-да резонно напоминает сторонникам пятисложных и семисложных стихов (преобладающих форм народных песен), что «эти формы использовали в своих стихотворениях реакционные императоры». «Одним словом,— завершает критик статью, не случайно впервые опубликованную в молодежном журнале,— форма народных песен и форма свободного стиха отличаются друг от друга, но противопоставлять их друг другу не следует. Ведь некоторые новые народные песни, собственно, и написаны свободным стихом».

С такой постановкой вопроса были согласны далеко не все. «Свободный стих,— утверждал, например, Тянь Ин,—отнюдь не принят широкими трудящимися массами, его корни неглубоки, в наших традиционных формах он не обрел преемственной связи, а за рубежом у него были прародители».

Попытку дать объективный анализ происхождения свободного стиха и перспектив его развития в Китае мы находим в обстоятельной статье Гу Оу «Свободный стих, зарубежная поэзия и другое» (1959).

В настоящее время, отмечает автор, при упоминании свободного стиха иные исследователи отворачиваются с отвращением, сожалея лишь о том, что его нельзя уничтожить или избить палками. Некоторые критики делят поэзию на три части—«древние стихи», «народные песни», «иностранная поэзия» (сюда входит все остальное, включая произведения, написанные свободным стихом и отличающиеся, по их разумению, поэтическим худосочием, небрежным языком, пустотой чувств). Из этого «судебного приговора», замечает Гу Оу, следует вывод, что свободный стих по содержанию и по форме — ненужная чепуха, а посему его следует предать смерти. Подобные грубые и незрелые суждения, констатирует автор статьи, встретили отповедь многих товарищей.

Рассматривая особенности свободного стиха, Гу Оу приходит к неожиданному выводу о том, что в Китае были стихи «свободной формы», что эта форма «не пришла к нам извне». Гу Оу свободный стих обнаруживает в древнейшем поэтическом памятнике «Шицзин», в народных песнях ханьской эпохи (206 г. до н. э.— 220 г. н. э.), в танской поэзии (618—907)! Тянь И в статье «Свободные формы» новой поэзии и «свободные формы» народных песен» (1959) не только поддерживает эту гипотезу Гу Оу, но идет дальше, утверждая, что, таким образом, в китайской поэзии существуют два типа свободного стиха: отечественного происхождения и иностранного.

Обращение к опыту Маяковского, по мнению Гу Оу, не случайно. Свободный стих достиг расцвета в период революционного подъема, классовой борьбы; певцы революции отказались от старых поэтических форм, чтобы полнее выразить революционный энтузиазм и воодушевить массы. Революционные поэты сознательно превращали поэзию в оружие классовой борьбы, в «бомбу и знамя», как говорил Маяковский.

Гу Оу касается важного вопроса декламационного искусства, чтения стихотворений, написанных свободным стихом, перед массовой аудиторией, как это постоянно делал Маяковский. Для Китая декламационное искусство имело исключительное значение, старые стихи на слух воспринимались с трудом. Гу Оу отмечает, что аудитория, слушая произведения в формах народных песен или классической поэзии, быстро уставала, но как преображалась она, когда звучали на понятном разговорном языке произведения Маяковского или свободный стих других поэтов!

Сегодня китайские крестьяне еще не совсем привыкли к свободному стиху, но завтра, убежденно говорит Гу Оу, они будут во весь голос декламировать произведения Уитмена, Маяковского, строки китайских поэтов, написанные свободным стихом.

Глубокое влияние В. Маяковского, отмечает Гу Оу, испытали известные поэты — Пабло Неруда из Чили и Назым Хикмет из Турции, Луи Арагон из Франции и Никола Вапцаров из Болгарии. Под влиянием Маяковского, на основе поэтических традиций

своих народов эти поэты создали оригинальную поэзию. Огромное влияние оказал Маяковский на китайских поэтов. Неизвестно когда, недоумевает Гу Оу, появилось мнение, будто форма стиха Маяковского не соответствует китайской национальной традиции и, стало быть, этой форме учиться у него не следует.

Статья завершается смелым для конца 50-х годов выводом: «Говоря о развитии нашей поэзии, нельзя категорически утверждать, что она будет развиваться на основе народных песен и классической поэзии. Классика и песни нужны, но это не исключает необходимости овладения свободным стихом».

В своих заметках, озаглавленных «Читая статью «Свободный стих, зарубежная поэзия и другое», на Гу Оу незамедлительно обрушился критик Ли Бэнь-чу. Словно бы и не отрицая правомерности существования свободного стиха и на словах «поддерживая» идею учебы на лучших образцах зарубежной прогрессивной поэзии («нельзя себя ограничивать узким мирком»), автор решительно не соглашается с основными положениями Гу Оу.

По мнению Ли Бэнь-чу, самый страшный грех Гу Оу состоит в том, что «китайский интеллигент, несмотря ни на что намеревается посадить наши сто цветов в иностранную почву»! Жупел «иностранного» (прежде всего советского!) уже тогда страшил китайских националистов от литературы.

Споры вокруг «лесенки»

В дискуссии о формах и стилях современной китайской поэзии и, в частности, о правомерности использования «лесенки» Маяковского интересно и темпераментно выступил критик Хун Бай-лин. Приведем некоторые его соображения: «Народу необходима поэзия разных стилей. Маяковский своим творчеством участвовал в советском строительстве, он — образец преданного служения народу... Говорят, стихи, написанные «лесенкой», не соответствуют вкусам китайцев. Возможно, такова точка зрения меньшинства. Мне и моим молодым друзьям они нравятся, эта яростная политическая лирика, звонкий боевой барабан, зовущие нас в жаркую, боевую жизнь». Хун Бай-лин ратует за многообразие поэтических жанров и стилей, он против подмены авторских произведений народными песнями: «Кроме превосходных народных песен, необходимо нести в массы стихи разных стилей. И пусть сами массы решают, хороши они или нет. Пусть поэты, как Маяковский, несут свои стихи на суд народа!» (1958).

Позиция Хун Бай-лина, которой придерживались многие почитатели Маяковского, оказалась неприемлемой для его противников. В полемике о свободном стихе и форме «лесенки» была очевидна тенденция противопоставить китайский опыт опыту зарубежному. Определяющей тенденцией в 50-е годы оставалась жизненная тенденция содружества советской и китайской литератур, их творческой взаимосвязи. И все же не видеть негативных моментов уже в тот период было бы недальновидно: события 60—70-х годов возникли не вдруг, подводные течения и теченьица годами размывали добрую почву китайской литературы.

До начала дискуссии о путях развития новой китайской поэзии критика подражательства была доказательной, непредвзятой и велась с целью предостеречь молодых и неопытных литераторов от неверно понимаемой ими «учебы у Маяковского». Высказывались мысли о творческом восприятии поэзии Маяковского, предостережения против механического перенесения на китайскую почву каких-то элементов его формы в отрыве от революционного содержания.

Например, о биче слепого подражательства неоднократно писал Тянь Цзянь, поэт, выступавший за творческое овладение наследием Маяковского. Вероятно, глубже многих своих современников Тянь Цзянь понимал значение открытий Маяковского в области формы. Он обращался к собратьям по перу: «Поэты, поднимемся по «лесенке» Маяковского! И мы достигнем вершин, мы сможем еще активнее участвовать в социалистическом строительстве, сможем видеть дальше и шире...»

Однако в ряде статей периода дискуссии этот вопрос начал приобретать в большей или меньшей степени нигилистическую окраску. Так, Юй Шу-сэнь в статье «Имеет ли ограничения форма народных песен?», вопреки фактам, свидетельствовавшим о широком распространении поэзии Маяковского в Китае, упорно твердил о том, что «лесенка» Маяковского не соответствует китайскому стилю и манере письма и не привлечет внимания широких масс, хотя «широкие массы», как показывал опыт, особенно рабочая молодежная аудитория, восторженно принимали стихи пролетарского поэта!

Раздавались и более резкие голоса. В мае 1959 года в солидном журнале «Вэньсюэ пинлунь» («Литературная критика») некто Цзи Сянь-линь в статье «Несколько соображений по поводу новой поэзии» нарисовал тягостную картину состояния отечественной поэзии и—характерно—как раз в то время, когда в развитии явно наметилась тенденция к новому подъему, которому, увы, не суждено было свершиться. С какой целью критик заведомо искажал действительное положение вещей? Цзи Сянь-линю отвратительны стихи новаторов, стихи, написанные «лесенкой». Для него предпочтительнее стихи Председателя Мао, сделанные по образцу старых жанров «ши» и «цы». Есте-

---

Л. ЧЕРКАССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КИТАЯ 50-Х ГОДОВ И МАЯКОВСКИЙ

ственно, что для пропагандиста поэзии Мао творчество Маяковского неприемлемо. «Я не очень-то понимаю по-русски, мне неизвестно, какие чувства вызывает в человеке поэзия Маяковского в оригинале, поэтому зря болтать не буду,—неприязненно заявляет Цзи Сянь-линь.—Но меня чрезвычайно раздражает чисто физически, а не только психологически, китайский стиль «под Маяковского».

Здесь нет и намека на желание разобраться в существе дела, понять, в каких случаях речь идет о неизбежных ошибках роста и в каких—о неумной писанине бездарности. Пафос статьи китайского критика—воинствующее отрицание, причем отрицание с достаточно многозначительным подтекстом.

В начале 60-х годов, когда маоисты открыто начали переоценку своего культурного наследия и зарубежной литературы, в том числе и фальсификаторскую деятельность в отношении творчества Маяковского, китайские критики определенной ориентации стали утверждать, что и «лесенка», дескать, издавна присуща (!) народным песням и классической поэзии. Другие критики, не боясь расхождения с первыми и не замечая их, продолжали писать, как и раньше, о несовместимости этой зарубежной формы со вкусами китайских читателей. Полемика о «лесенке» зашла в тупик.

Скептическое отношение к авторам, осваивавшим «лесенку» и ритмы Маяковского, вызывалось прежде всего желанием расширить сферу применения с т а р ы х форм, пятисложного и семисложного стихов, которые преобладали в н о в ы х народных песнях и к которым благоволил Председатель Мао. Начинался уродливый и беспрецедентный с точки зрения объективных законов развития литературы насильственный процесс «свертывания» авторской поэзии, приведший во второй половине 60-х и 70-е годы к полному творческому параличу.

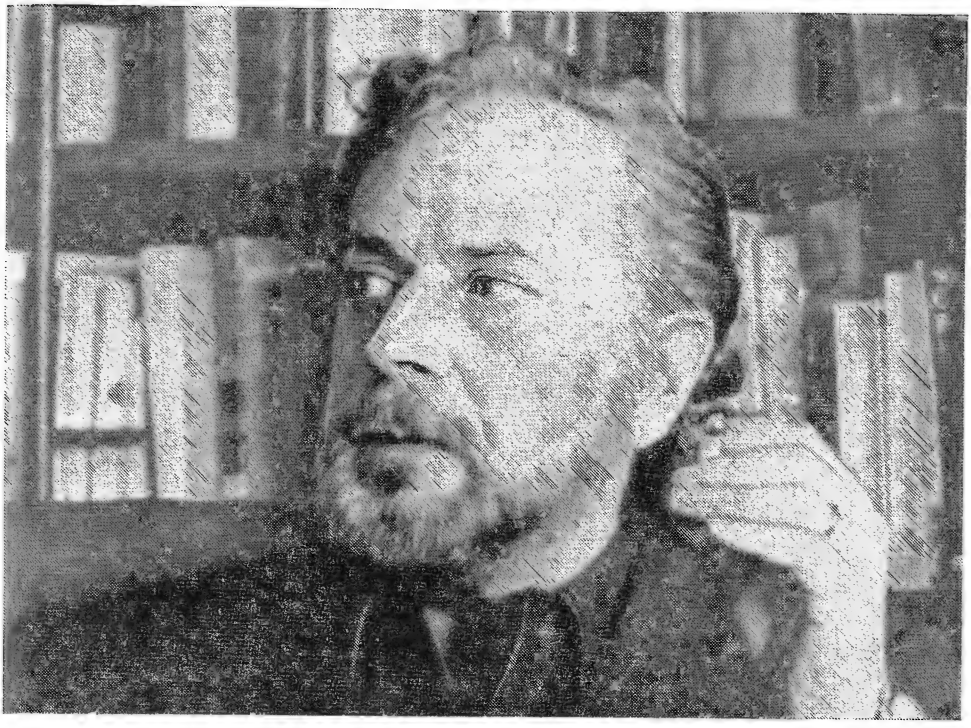
Видимо, в 50-е годы временно установилось некое идеологическое и культурное равновесие сил, при котором полярные точки зрения могли сталкиваться друг с другом, а трезвомыслящие критики и литературоведы еще могли позволить себе не соглашаться с официальной точкой зрения и одерживать над ней победу. В спорах выявлялись и глубокое понимание сущности происходящих процессов, и вопиющее невежество ретроградов. Маяковского принимали, изучали, приветствовали. Но когда эстетика советского поэта и его художественный опыт не укладывались в предлагаемые схемы, делались попытки разрешать противоречия ссылками на национальную специфику поэзии Маяковского, на ее связь с традициями русской поэзии, а также на традиции китайской поэзии, для которой форма Маяковского якобы была совершенно чуждой.

Следует подчеркнуть, что предостережения против механического копирования и имитации были бы не лишены смысла, если бы в основе их не лежала порочная идея вредоносности «всего иностранного», которая привела в последующие годы к столь печальным последствиям.

Между тем произведения Маяковского в 50-е годы получили большую аудиторию и благодарного читателя. В них по-прежнему черпали вдохновение и мужество революционные поэты Китая.

◆

Литературные портреты



МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС

ЯННИС РИЦОС СЕГОДНЯ

Познавая свои границы
ты возможно сумеешь
преодолеть их[1].

(Сб. «Из бумаги», 1974)

Я выделяю эти строки Рицоса по той же причине, по которой выбрал именно его, откликаясь на пожелание редакции представить в новой рубрике «Литературные портреты» современный греческий портрет.

Каждый художник покоряет тебя по-своему. Есть немало точек соприкосновения, которые могут привлечь и взволновать: чувства поэта, его мысль, сильный образ, наиболее близкое тебе движение слова, лучшее узнавание через поэзию самого себя и других, глубинный контакт с тем, чем ты живешь. Однако особое удовлетворение приносят те мгновенья, когда ты видишь, что твои раздумья, твой душевный мир получают новый жизненный импульс, в чем-то подтверждаются, обогащаются от общения с поэтом.

При чтении Рицоса такие счастливые совпадения происходят часто, и процитирован-

[1] Здесь и далее стихи даются в переводе С. Ильинской.

ные нами строки — один из многих тому примеров. Цель, которая в них намечена, для современной Греции очень актуальна. Опыт недавних испытаний настойчиво требует серьезного анализа. Пережитые нашим народом семь лет военной диктатуры (1967—1974) ни в коем случае не должны рассматриваться как ушедший в прошлое, исчерпанный эпизод национальной истории. Целый ряд отталкивающих явлений этого семилетия с отвращением воспринимался тогда и с отвращением вспоминается теперь, но мы, вероятно, мало задумываемся над тем, что и сами за них в ответе. Они вышли из темных сторон нашей жизни, обнаружились в голой, наглядной изолированности. Поэтому задача глубокого и существенного самопознания остается жизненно необходимой, и не будет преувеличением, если мы скажем, что, уходя от нее, художественное слово неизбежно переместилось бы с главного направления в периферийные сферы.

Рицос покоряет упорной верностью своим целям. Однако его напряженное усилие настолько всеобъемлюще, что создается угроза чрезмерного рассредоточения, нарушения художественной цельности его мира. Угроза, возможно, мнимая, и все же опасения возникают, особенно теперь, когда с полной определенностью оформились две позиции в восприятии поэзии Рицоса. С одной стороны, многие старые его друзья давно уже остановились в недоумении: им трудно уследить за ним, освоить его нынешнюю манеру, например, в последних стихотворениях-миниатюрах. Рицос знает об этом и часто пробует объясниться: иногда терпеливо, иногда с нескрываемой горечью, даже язвительно. Диалог между ними, то тайный, то явный, остается незавершенным. С другой стороны — популярность, растение, столь бурно разросшееся за последние годы, что рождаются сомнения, насколько естествен и жизнеспособен этот рост. Сошлемся на серию крупных международных премий, на поток изданий в разных странах мира, на постоянное внимание прессы, на акты признания официальных греческих кругов, ранее игнорировавших поэта. Стоит заметить, что многие прежние порицатели Рицоса, отвергавшие его поэзию более всего из идеологических побуждений, пребывают теперь в некотором замешательстве и предпочитают молчать, тогда как их преемники, выступающие примерно в том же амплуа, ищут подступы к Рицосу и не проявляют какой-либо склонности к критическим выпадам. Добавим к этому сомнения, которые вызывает обычно все, входящее в моду, и атмосфера отношения к Рицосу в общих чертах будет воспроизведена. Я сделаю лишь одно уточнение: сам Рицос имеет полное представление об опасностях, связанных с приливом моды. И не забывает расставить нужные акценты:

Этот свет
единственный
высоко в горах
вознесен погибшими.
Ты их не помнишь?
(Сб. «Из бумаги»)

Возможно, эти строки одного из последних стихотворений Рицоса — напоминание поэта тем своим читателям и нынешним почитателям, которые любят свет, но не расположены думать о павших в борьбе за свет.

За сорок лет непрерывной работы в литературе (с 1934 года) Рицос опубликовал примерно шестьдесят поэтических книг и сверх того ряд переводов и эссе[1]. Разобраться во всем этом непросто, тем более что творчество поэта пребывает в живом и неустанном движении. Из квартиры на улице Корака в Афинах, где можно познакомиться с Рицосом, расходится множество дорог. И чтобы познать поэта, по этим дорогам нужно пройти.

■

Для греков моего поколения, а также для послевоенных поколений Рицос — поэт нашей жизни. Его поэзия, пожалуй, наиболее полный и достоверный художественный документ, запечатлевающий все то, что переживала Греция за минувшие четыре десятилетия: ее борьбу, ее боль, ее надежды. Многие стихи Рицоса выходили из-под его пера как бы одновременно с теми большими и малыми событиями, которые происходили на наших глазах или только еще назревали, и поэт обращал на них наше внимание, открывал то, что еще не стало осознанным и общедоступным,—художник своего времени, идущий всегда впереди.

Облик творца обладает завершенностью в той же степени, в какой ею обладают созданные им образы. Все, к чему прикасается поэт, приобретает печать его личности и тяготеет к тому, чтобы найти воплощение в одном емком понятии, в одном слове. Как у Маяковского:

Книга —
«вся земля» —
выискивает имя.

Поиск такого слова подобен поиску названия для стихотворения или рассказа. В конечном итоге этим словом оказывается имя творца, оно вмещает и олицетворяет его видение жизни, его поэтический мир. Признание, которое пришло сейчас к Рицосу, связано как раз с его индивидуальностью, и самое главное заключается, по-видимому, в следующем: в окружающем его мире, который обнаруживает настойчивую тенденцию к отчуждению, Рицос столь же настойчиво борется за то, чтобы сближать людей, выявляя общность корней, общность судеб: он хочет быть поэтом Сближения. При этом он не говорит, казалось бы, ничего такого, что не было сказано до него и не говорилось бы и теперь другими, но Рицосом более всего движет тяга к Знанию, и поэтический результат рождается как раскрываемая читательскому взгляду приро-

[1] Произведения Я. Рицоса неоднократно публиковались на русском языке. Наиболее полно его творчество представлено в сборнике «Избранное». Перевод с греческого под редакцией М. Ваксмахера. Составитель и автор предисловия С. Ильинская. М., «Прогресс», 1973.

да вещей. Сами они не обладают даром речи, и поэт дает им язык — подобно тому как другой поэт, его советский предшественник, вкладывал слова в уста тротуаров.

Рицос безраздельно отдан упорному п о з н а н и ю всего, что нас окружает, и даже того, чего нет рядом, чего мы не видим. Порой может показаться, будто многое у него надуманно, вымышлено: и проблемы, к которым он обращается, и решения, к которым тяготеет. Что касается проблем, внимательное чтение может привести к их узнаванию и принятию. Что же касается решений — тут, как всегда в поэзии, бывают моменты ясные и безусловные, однако бывают и другие, зыбкие и, казалось бы, не находящие подтверждения. В самом деле, бóльшая часть последних стихотворений Рицоса читается нелегко, особенно циклы миниатюр, которые нередко предстают как маленькие замкнутые миры, и значение их с трудом поддается расшифровке. Таковы естественные плоды двойной трудности: трудности для читателя, осваивающего чужую мысль, которая застает его врасплох, и трудности для поэта, овладевающего непокорным материалом — тончайшей, немой, почти неуловимой материей, а стало быть, в сущности, трудность заложена в характере самой материи, и мы должны учесть это в своих суждениях.

Рицос не склонен искать укрытия за лавиной жизненных ситуаций и реалий (хотя в желании сделать видимым все невидимое иногда и попадает под такую лавину). Как и Чехов, он старается охватить тысячи микрофактов. Он пытается высветить каждую каплю в потоке дождя, запечатлеть каждое мгновенье в течении времени, но не утрачивает ощущения целостности, чувства перспективы. В этом аспекте такой художник, как Рицос, художник с его жизненным опытом и особым поэтическим зрением, чрезвычайно нужен и полезен нам в нашем стремлении познать самих себя, свою среду, свое время. Познать Свободу — в высокой и постоянной сопряженности со знанием.

На диком ветру
высоко высоко
с высоты белоснежной чайки
Свобода.

(Сб. «Из бумаги»)

Мысль Рицоса обладает редкой остротой, способностью проникнуть в самую сердцевину вещей и выявить их внутреннее родство. В его стихах часто возникает картина колодца. И пожалуй, столь же часто — образ зеркала, символизирующего объективное, под усиленным светом, подлинное отражение всего сущего и нас самих. Сошлемся на его стихотворение из сборника «Стена в зеркале», который вышел в свет в 1974 году. Поэт говорит о старых вещах, бесполезных, замененных новыми, говорит, что и те, старые вещи, нужны поэзии:

Дом был старый, жильцы были новые —
много детей, три кошки, собака.
Кувшины вынесли из большого чулана
и поставили стол для пинг-понга.
Кувшины
остались в саду и не знают, что делать.
Свет лает на них отовсюду из-за ограды.
Пауки получили теперь пристанище.
Ну ладно — сказал он — взвалю их тоже
на спину,
И бросил ключи в самый маленький из
кувшинов.

Стихотворение называется «Переселения» и вызывает в воображении бродячих скупщиков, принимающих все подряд, пчел, привечающих все цветы.

Рицос вводит их в свои истории и картины, проливая новый свет, перемещая, сплетая в непривычные сочетания: их голос — это их место в новом сочетании. У каждой вещи — своя тайна, вернее, свои тайны.

Все таинственно
тень от камня
кого-то птицы
катушка ниток
скамейка
стихотворение.

(Сб. «Из бумаги»)

Поскольку это или примерно это уже было сказано в разные времена и в поэзии, и вне ее, необходимо подчеркнуть, что Рицос не пытается открыть некие вечные сущности, заложенные в вещах-символах. Его интересует то, что с о з д а е т с я в живой взаимности, в движении. Запечатленные им мгновенья — сцены непрерывного действия. Рицос мыслит и пишет с современной скоростью и современной емкостью. Полученное им впечатление и творческая реакция почти неразделимы, и эта тесная связь с сегодняшним днем, с настоящим моментом присутствует у Рицоса всюду — и в миниатюрных зарисовках, и в философских поэмах.

За долгие годы служения поэзии, осваивая скрытые стороны сущего, а также открытые, но пребывающие в движении и изменении («вместе растут — вместе растем»), Рицос давно уже осознал, сколь трудно уловить это движение, сколь трудно выразить его в слове, сколь трудно постичь полный смысл слова, которое мы же сами и создали. Сталкиваясь с этими проблемами, волнующими и других художников, Рицос не ограничивается их констатацией, сетованием на бедность языка, с одной стороны, и бедность мышления — с другой, он стремится к еще более активному постижению, сближению, обладанию во имя нашего общего успеха.

Нынешнее творчество Рицоса нужно рассматривать как продолжение сделанного ранее — революционных стихотворений 30-х годов, поэзии антифашистского Сопротивления, циклов, созданных в концлагере конца 40-х—начала 50-х годов. При всей невероятной гносеологической перегруженности его произведений последних лет он по сути дела с п е ц и ф и ц и р у е т свой старый багаж, свой старый опыт в борющейся, революционной поэзии, вглядываясь пристальнее в те явления, которые ранее выпадали из поля зрения, поскольку на первый план выдвигались другие. Такого прочтения ждет

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС
ЯННИС РИЦОС СЕГОДНЯ

от нас, к примеру, следующая миниатюра сборника «Из бумаги»:

То что под камнем
и под водой
глубоко
могло подождать!
Теперь
глаз у прицела
нацеленный вглубь
ищущий воду
дерево корень
который скребут ногтями
погибшие.

(Сб. «Из бумаги»)

Снова погибшие. На это слово опирается все стихотворение, как опирается вереница чисел на общий знаменатель.

Да, стихи Рицоса теперь осложнились, задачи и загадки стали труднее, и, признавая это, он подчас сознательно ограничивается изложением условий — или вовсе не давая ответа, или только намекая на него, или пеняя на невозможность продвинуться дальше:

Дом был стеклянный
пустой
виднелась внутри
пустота
и медное кольцо
в потолке.
В подвале
ржавая мышеловка
и зеленый сапог
лесничего.
Я принес их судье
единственные улики.

(Сб. «Из бумаги»)

Достаточно ли этих улик, чтобы вынести суждение? Поэт как бы предлагает читателю подумать вместе над тем немногим, что стало известно о драме, которая разыгралась в отдаленном доме, а также о других драмах в других домах. Все дома — стеклянные, и через стекло можно увидеть многое. Нужно только желание приблизиться и вглядеться, желание задуматься. Размышления будут нелегкими, и чем существеннее и значительнее предмет, тем труднее постижение.

Из земли вырастает
хлеб
однако земля
не хлеб.
Обработай землю.
Из нее вырастают и окна
большие окна.

(Сб. «Из бумаги»)

■

Страшно трудно «выращивать окна». Трудно обрабатывать землю. Но трудности кроются и в нас самих. В свете, к которому мы устремляемся, в нашей способности видеть и то, что не хотелось бы видеть, что нас огорчает, причиняет нам боль, что мы предпочли бы отогнать от себя. То, что, однако, существует:

Если б я лучше видел
я бы умер давно.

Порой создается впечатление, будто Рицос предусмотрительно дробит на малые дозы большие истины, которые трудно выразить полностью и трудно полностью воспринять. Истины чаще всего горькие. Рицос с детских лет несет тяжелейший груз горестей, личных и семейных. Он научился с обостренной чуткостью воспринимать чужую боль, бедствия, которые пережил и переживает мир, усилия и страдания своего народа, которые поэт разделял и разделяет. Этот горестный привкус знаком нам уже по ранним стихотворениям поэта, и даже сейчас, возвращаясь к ним, мы не можем не подивиться их зрелости, обращающей горечь в знание, знание человека и истории человечества:

Он стоял на дороге, вдали,
как дерево, голое, запыленное,
как дерево, спаленное солнцем,
славя солнце, которое не сгорает.

(«Прославление»)

Горестное ощущение не сковывает, не останавливает. Оно как бы предупреждает о новых испытаниях, которые, возможно, ждут впереди, взывает к терпению и мужеству. И если картина дороги, которая осталась позади или простирается перед нами как арена действия, и вызовет вздох грусти, то грусть все-таки растает в восхищении перед тем, что не подвластно тлену. Так переплетается обычно человеческая боль с принятием бессмертного солнца, которое согревает и отдает частицу своей вечности, чтобы во веки веков продолжался путь:

За солнцем следует раскаяние.
После раскаяния снова солнце.

(«Преемственность»)

Так шагает и Рицос, сплетая с горечью свои стихи:

Каймою нашей раны — наши песни.

(«Аналогии»)

Для исследователя Рицоса чрезвычайно интересно было бы проследить, как во всех составных его творчества — в мыслях, образах, слове и тоне — причудливо соприкасаются «да» и «нет», происходят бесчисленные и многообразные сочетания вещей и понятий, стекающихся в его стихи ради взаимного исключения и взаимного утверждения. Рицос — творец этих встреч и творение их; это качество воплотилось в его поэзии и, как убеждаешься при личном знакомстве с ним,— в его жизни.

■

Однажды ночью в своей квартире на улице Корака он рассказал мне о первых пережитых им страданиях, о том, какой глубокий след они оставили. Он писал об этом еще в юности:

Все, что любил, у меня отняли.
Или безумие,
или смерть.
Я остался один
под руинами неба
пересчитывать мертвых.

(«Песнь моей сестре»)

В жизни каждого бывают минуты одиночества. Мы знаем, что одиночество может излечивать от одиночества, горечь — от горечи. Точно так же и смерть. Рицос рас-

сказывал о местах, где он родился и вырос, а я вспоминал Эпир, его суровые горы, где мне в ранней юности довелось получить жестокие уроки жизни. Там довелось мне изведать сверхчеловеческое усилие, сжиться со смертью, с множеством смертей — начиная с первой ночи возле умирающего товарища, потом возле другого, других... Так мы постепенно перестали «пересчитывать мертвых», мы усвоили то главное, к чему обязывала нас их гибель. С тех пор я знаю: ничто не подводит так близко к сущностям жизни, как смерть; она действительно учит жить правильнее, честнее, смелее.

Мне кажется, что именно эта встреча у истоков, встреча жизни и смерти, дала первоначальный толчок движению, которое вылилось у Рицоса в своеобразный смысловой и лексический синтез. Из сочетания этих противоборствующих и взаимосвязанных начал извлекает он свои истины. Они накладывают отпечаток на все великое и разнообразное множество его стихотворений. Рицос рассказывал о своей семье, о детстве —

не помню, был ли я когда-нибудь
ребенком,—

об испытаниях и лишениях времен оккупации и гражданской войны, о его доле в борьбе и страданиях Греции. Не зная его судьбы, трудно было бы себе представить, что этот красивый человек, которого видишь сейчас в этой красивой квартире, в ореоле красивой славы, человек очень талантливый, образованный (к тому же больной с детских лет), неоднократно подвергался арестам, заключению и ссылке, что он сполна изведал участь политзаключенных—почти на всем протяжении послевоенного периода. Все это трудно совместить с впечатлением, которое производит твой собеседник, с его обликом, как бы воплощающим покой и гармонию.

Уединенная квартира, которую Рицос почти не покидает, множество картин и скульптур, его книги на всех языках, обошедшие уже весь мир, сотни взглядов, устремленных на него со всех сторон, с камушков, которые он собрал на морском берегу и сам нарисовал на них лица, древнегреческие и византийские, большие печальные глаза, погруженные в раздумье,— и старинная музыка, медленная, тихая, пожалуй, скорбная. Как удается Рицосу разрывать кольцо такой блокады?

— Чем больше я старею, тем активнее становлюсь... Работа меня не утомляет. Это все равно что дышать.

Я передаю эти фразы Рицоса в том виде, в каком записал их наскоро. Они были сказаны так или примерно так. Но разве нет свидетельств, записанных им самим? Еще в ранних стихотворениях:

Сегодняшнее «нужно» принял я,
и потому
я жизнь не отдал в рабство теням
белокурым,
ножом неумолимым, словно
справедливость,
я вырезаю гниль. пусть на своем же теле.
(«Убеждение»)

Творчество Рицоса, его дом—это пышное, очень пышное дерево. В одном из недавних стихотворений он пишет:

В доме выросло дерево,
из окон выходят листья.
На самой высокой ветви
спит красивая женщина.

Красивая женщина, красная нить, птица, зеркало, искусственная луна, веревка, которая что-то держит и не выпускает, колокольчик и другие обыкновенные лица и предметы, будничные, не с заглавной буквы, обретают в его мире удивительную силу, способность вырасти, преобразиться, совершить невозможное. Все это происходит, конечно, в сфере поэзии, в ее специфических пределах, но поэту удается настолько приблизить ее к будничности, настолько ее демистифицировать, что внимание обращается преимущественно на практическое действие: на то, как благодаря поэзии можно воспринимать вещи не только в их очертаниях, но и в их сущности, каждый раз открывая в них нечто новое. Поэтому Рицос столь часто возвращается к одним и тем же проблемам, например, к разговору о поэзии и ее возможностях, он воплощает эту тему в бесконечном множестве вариантов, разрабатывает всевозможными способами.

Рицос, по-видимому, верит, что, если читатель проникнет в замыслы, в лабораторию творца, он сможет и сам проникнуть в глубь явлений, в их тайные взаимосвязи, существующие и в жизни, и в искусстве. И, отложив пьесу Скарлатти или другую, еще более отдаленной эпохи, которая льется неторопливо, протяжно, в мягком ритме моросящего дождя, можно поставить новую запись оркестра народных инструментов имени Осипова—неистовые балалайки, домры, гусли, «Танец с саблями» Хачатуряна, «Хороводную» Лядова, «Озорные наигрыши» Яковлева.

Все, что окружает Рицоса: музыка, скульптуры и картины, все эти глаза и лица — лишь мгновенья в потоке времени, трепещущие как звук, как память. Они учат тебя многим языкам, зовут в далекие путешествия. Но не отрывают от корней. Напротив, ощущение корней — национальных, революционных, человеческих—у Рицоса очень обострено, и он часто говорит о них, порой с оттенком восточной мудрости:

Корней конечно не видно
но ты ведь знаешь
на них держится дерево
чтобы быть справедливым
не забывай о корнях
(Сб. «Из бумаги»)

Есть в его стихах едкая землистость корней, но есть и наземная часть дерева, листья, «те, что упали, и те, что растут», тень, солнце, аромат цветов.

Вообще Рицосу чуждо отталкивание, отрицание. Там, где оно есть, непременно воз-

---

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС
ЯННИС РИЦОС СЕГОДНЯ

никает его проекция, принятие: одиночество перерастает в общение, застывшее мгновенье — в движущуюся материю, подчинение — в борьбу. Не отталкивая ничего из того, что он находит, Рицос не отбрасывает также ничего из того, что нашел вчера, позавчера, когда-либо в прошлом,— свои старые песни, страдания, надежды, друзей, даже ошибки. Потому что ошибки—тоже частица нашей жизни, отнюдь не бесполезная, и, чтобы не прятать их, нужно быть справедливым и мужественным: «Ошибки— да, только не ложь». Так же и смерть, это «листья, которые увяли и опали, чтобы вскормить другие, растущие». Ко всему этому Рицос относится с тактом, достоинством, которое нельзя не оценить в нем особенно сегодня. Он последовательно отстаивает свою правду (какой бы суровой она ни была), избегая криков, жестикуляции, всегда глубоко человечный:

Из бумаги да из бумаги.
Передай основную линию
чтобы обрушившись крыша
не разбила стакан
не ударила мертвую.

(Сб. «Из бумаги»)

■

Поэзией Рицос живет, он служит ей много лет и много часов ежедневно, «одной ногой на земле, другой—на облаке», воплощая в творчестве богатый профессиональный опыт, выражая свои мысли об искусстве, его функциях и его назначении, о его особом месте среди других форм познания, о его роли во всеобщем социальном движении. Он считает своим долгом откликнуться на эти вопросы поэтическим свидетельством: пусть один за другим уходят творцы, искусство—это творчество, нетленное во времени:

Дровосек
превратился в дерево.
Пришел другой дровосек
срубил
и сам в свою очередь
превратился в дерево.
Пришел другой дровосек
и так далее.
На камне
сверкает топор.

(Сб. «Из бумаги»)

Так сверкает бессмертное солнце над усталыми и «спаленными». К тому же искусство — это радость и утешение, одновременно и средство, и цель. Среди новых стихотворений у Рицоса есть миниатюра о тайном удовлетворении, которое испытывают узники концлагеря на острове Лерос, глядя на пять розовых облаков—до тех пор, пока не раздается свисток:

Мы встали. Нас сосчитали
перед воротами одного за другим.
Мы улыбались
мы знали что остались вне счета
с пятью облаками и юной луной.

Стихотворение называется «Тайная независимость». Конечно, это счастье — обладать способностью восприятия, приобщения. Но оно не выходит за пределы первых, пассивных контактов человека, это стадия «потребления». Между тем самая критическая для художника полоса начинается дальше, когда отдачи ждут от тебя, ждут твоего участия, твоего тепла. Это и есть высокая, самая существенная фаза поэзии, заключающая в себе объективную оценку творения:

То что пропало
что не пришло
не нужно оплакивать.
То что имел
но не отдал
стоит оплакать.

(Сб. «Из бумаги»)

Естественно, что эти вопросы в особенности волнуют поэта, устремленного в «завтра» («Завтрашний день в моих жилах течет»). В поэтической композиции «Закопченный горшок», вышедшей недавно шестым изданием (почерневший от огня широкий глиняный горшок, в котором готовили пищу «для бедных тысячи раз» и который все еще «кипит и кипит, напевая»,— и есть сердце поэта), Рицос говорит о своей надежде на завтрашний день, когда он, словно мифический герой, коснется земли и почерпнет новые силы:

...ты садишься
среди мешков на палубе отправляясь
в ссылку
простившись с решеткой пересыльной
тюрьмы
рядом со смертью которая не сулит нам
«завтра»

среди тысячи костылей из горьких
искалеченных лет
ты произносишь «завтра» и сидишь
спокойно уверенно
как сидит человек справедливый рядом
с другими людьми

В статье о Маяковском (она вошла в только что опубликованную книгу «Эссе» наряду со статьями о Хикмете, Эренбурге, Элюаре и двумя комментариями к собственному творчеству) Рицос следующим образом лаконично и емко излагает свои взгляды на поэзию, на искусство вообще, на его социальные и нравственные основы, которые, как он пишет, «если не первый критерий оценки его достоинства, то тем не менее окончательный. Потому что за определенными пределами, когда искусство оставляет позади стадии индивидуальной исповеди, самовыражения и самоисцеления художника, оно неизбежно становится общим выражением потребности всех людей в справедливости, свободе, счастье, в преодолении тягостного одиночества, избавлении от лишений и разрушений, и тогда эстетическое смыкается с нравственным и подчас неразличимо отождествляется с ним».

Тут может возникнуть вопрос: зачем искусству брать на себя определенную роль и, в частности, ту роль, о которой говорит Рицос? Каким образом «завтра», лучшее, более свободное и счастливое для всех, может стать его личным делом, в какой степени оправданы жертвы, которые принес и сам Рицос и другие литераторы и художники: и раньше, и только что — в семилетие диктатуры, разделяя общие испытания, общую борьбу? Насколько понимание и сочувствие правому делу означают необходимость твоего личного участия в нем?

Так мы вернулись к рубежу, от которого начинали наш разговор о Рицосе.

Сегодня, когда еще дает о себе знать горький привкус последних уроков, мы чаще приходим к мысли, что наши связи с усилиями других, подготавливающих лучшее «завтра», пролегают через наше личное осознание необходимости этих усилий, необходимости для нас, для нашей работы, когда ущемляется нечто важное в нашей собственной сфере — то, что мы сами делаем и ценим; тогда мы легче усваиваем, что борьба, которую ведут другие, в равной степени и наша борьба. В любую эпоху и в жизни, и в искусстве находили себе место и романтика, и великодушный альтруизм. Солидарность с другими может быть сильным источником вдохновения, однако мы знаем, как мобилизует свои силы борющееся искусство, как меняется его тональность по мере того, как из сферы с о с т р а д а н и я и с о у ч а с т и я мы переходим в зону л и ч н о й б о л и и л и ч н о й с т р а с т и. Характерный пример дает нам классическая русская литература, судьба которой отождествилась с усилиями, направленными на изменение общества, на его возрождение. Недавний пример — семилетие военной диктатуры в Греции: мы видели, как искусство воспламеняется и восстает, когда над ним нависает угроза, когда стихи пишутся «под конвоем, под носом охранников, под ножом, приставленным к ребрам» (из стихотворения Рицоса «Геракл и мы», написанного в 1968 году в концлагере на острове Лерос). Чем страшнее угроза, тем больше искусство проникается убеждением, что обязано пойти на риск, обязано бороться. Когда опасность минует, накал спадает. Именно тогда и проявляется, какими разными могут быть представления об опасностях, сколь неравны исторические масштабы и зрелость этих представлений, уровни их глубины. Поэтому мы подчеркнули в начале как одно из достоинств Рицоса его упорную верность своим целям — пример и урок для сегодняшней Греции:

Я вырезаю гниль, пусть на своем же теле.

Рицос безусловно проникнут сознанием того, что вся его работа, его «сегодня» и «завтра» (сознание не только политическое, хотя и политическое тоже), что мысли об этой цели, волнения, практические действия принадлежат, как и «земля Греции», и всем, и каждому в отдельности.

Всем своим существом поэзия Рицоса приемлет и воплощает эти плодотворные усилия во имя н о в о г о ч е л о в е к а и через него во имя н о в о й п о э з и и. Она деятельно включилась в процесс подготовки, а по существу — в процесс созидания нового, и с этой исходной позиции следует рассматривать ключевые моменты творчества Рицоса — его характер, не только аналитический и ниспровергающий, но и синтезирующий, его темы, образы, технику. Два момента хотелось бы отметить особо:

Во-первых, энергию, которую производят стихи Рицоса: или захватывающую пылом борьбы — в ранних стихотворениях («Что на барометрах? Буря? Зарницы на пенистой зыби!»), или насыщенную раздумьем и откровениями — в последний период:

...И когда —
после того, как бывали омыты
надгробные стелы
и роскошные жертвоприношения
завершены, —
он поднимал свою чашу с вином и,
выливая его
на могилы, провозглашал:
«Я подношу эту чашу самым доблестным,
тем, кто пал
за свободу греков»,—
пробирала великая дрожь все окрестные
лавровые рощи,
дрожь, которая даже теперь пробирает
эту листву эвкалиптов
и эти залатанные пестрые тряпки,
после стирки
развешанные на этой веревке.

(«И, повествуя об этом...» Перевод Ю. Мориц)

Рицос обладает удивительным динамизмом. Даже его миниатюры — при всей видимой тенденции к тому, чтобы расчленить и выделить нечто остановленное его взглядом,— производят молниеносный эффект неожиданного открытия, стимулирующего активную реакцию.

И во-вторых, практические шаги к тому, чтобы осуществить плодотворную встречу двух стихий: искусства и жизни. В этом направлении Рицос далеко продвинулся вперед, стараясь сблизить, слить их друг с другом. Отсюда своеобразное движение слова, счищение с понятий их привычной кожуры, возвраты к сказанному, неустанное боронование, чтобы склоны стали ровнее, доступнее. Творчество Рицоса протекает в непрерывном художественном поиске и, сохраняя живую связь со своим временем, подготавливает вместе с тем эстетическое будущее народа, поднимает его к новым вершинам.

Мы уже говорили, что поэзия Рицоса необъятна. Но если правильный выбор наблюдательного пункта играет определенную роль в попытке охватить взглядом этот мир, то слово д в и ж е н и е и есть та точка, в которой сходятся все его пути. Исследователям Рицоса имело бы смысл зафиксировать неисчислимые способы, которые нашел поэт, чтобы воплотить в образах свою страсть к движению и обновлению или, вернее, олицетворить это движение в несметном числе образов, выразить то вероятное и невероятное, что происходит у него на глазах, когда без устали дует ветер и «не позволяет забыть», «колотит дверь»,

как угрызения совести —
нерешительность.

(«Ветры в вечерних предместьях»)

Благодаря этому свойству Рицос более всего—плоть от плоти нашего быстротечного, бурного времени и — во всяком случае для нашей маленькой родины — один из неутомимых и могучих первопроходцев.

Перевод с греческого С. ИЛЬИНСКОЙ

Интервью

АНТАЛ ГИДАШ

РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ

— **Как вы стали поэтом!** — слышу я вопрос, хотя в комнате у меня нет никого. И отвечаю. С трудом, запинаясь.

— Если судить по моим воспоминаниям, я всегда был поэтом, впрочем, как и почти все люди. Не говоря уж о детстве и отрочестве человека, но даже нынче, в суховатую, казалось бы, эпоху научно-технической революции поэтов гораздо больше, чем тех, кто выступает на этом поприще. Я имею в виду не горе-рифмачей, осаждающих журналы, издательства и пекущихся вовсе не о качестве своих стихов, а лишь жаждущих их появления в печати, я говорю о тех, кто, как и настоящие поэты, чувствуют, видят и преобразуют мир, хотя по разным причинам и не запечатлевают его на бумаге. Это они «писали» некогда народные песни, сказки, сказания; выдумывали суеверия и одновременно разные колдовские слова, сочиняли заговоры от сглаза, от порчи. По-моему, они и были самыми идеальными поэтами, так как в душе без остатка служили правде, творили образы, мысли, мечты, заселяли ими землю, кидали их в бесконечность — до самых звезд.

О чем я мечтаю уже полвека — и это, наверное, так и останется для меня мечтой — в том обществе без государства не будет стихотворцев, занятых только своим ремеслом. (Правда, еще и многого другого не будет!) И в то же время большинство людей начнут слагать стихи. Пусть это будет два, три или десяток стихотворений и песен за всю жизнь, но в этом всеобщем потоке, в этих стихах, которые держат друг друга за теплые руки, наверняка родится больше бессмертно-нового, чем во всех томах поэтов-ремесленников, вместе взятых.

Неустанная алчная погоня за напряжением собственных эмоций (нервов), так же как и постоянно возрастающее потребление алкоголя, неизбежно порождает патологические явления. А ведь некогда поэзия, искусство, как и любовь, были румяными детьми здоровья, и я уверен, что после всех законных и беззаконных зигзагов истории они опять ими станут.

— **Когда вы начали писать стихи!** — вежливо, на «вы», обращаюсь к самому себе.

— Первое «стихотворение», помнится, я «создал» еще шести лет от роду.

В темной маленькой сапожной мастерской, отделенной этажеркой с колодками от крошечного закутка — «комнаты», мы, четверо братьев, обычно лежали на разостланном по полу соломенном тюфяке, укрывшись периной, которую клали поперек, чтобы ее хватило на всех.

И как-то я сказал: «Укроемся с головой!» Так и сделали. И я запел во тьме:

В ночи тоннельной,
о человек,
ты будь добрей и милосердней.

До сих пор не пойму, как и почему возникло тогда это мое первое «стихотворение», хоть оно и стало знаменательным на всю жизнь.

Ведь когда оглядываешься с уже порядочно обызвествленной кручи своих лет, то детство кажется прекрасным: никогда потом не было такого синего неба, такого искрящегося снега, таких убаюкивающих мечтаний, таких искренних слов, которые доходили бы до самого сердца, такого серебристого, долго не смолкающего смеха.

Так вспоминается сейчас.

Но, видно, на душу и нервы уже тогда давили и грозный домохозяин, и судья из соседнего дома, который ездил в присутствие на фаэтоне, не удостаивая нас даже взглядом, да и бездетный фабрикант, который — об этом знала вся улица — давал своей дивной красавице жене на одни лишь харчи по десять форинтов в день, в то время как у нас, у восьми человек, было всего лишь полтора форинта, только чтоб душа держалась в теле. Действовали и вечные домашние ссоры — раздоры из-за денег, побои, от которых не раз оставались у меня красные и синие полосы на спине; удары линейкой по кончикам пальцев в школе, где к тому же заставляли вставать на колени, унижали как могли, отвешивали оплеухи, которые я в свою очередь щедро раздавал на улице,— одним словом, то, что мы, ребята с окраины, считали личной и общественной жизнью. Стало быть, все это надо принять в расчет, «анализируя», если говорить в шутку, упомянутое «стихотворение». Ну, а кроме того, и другое: тогда мне не пытались еще затыкать рот никакими «поэтическими правилами». Потому и вырвалось совсем непосредственно «в ночи тоннельной» вместо «темной».

В те годы я сочинял, наверное, и другие стихи да песни, но позабыл их. Тем, что это уцелело в памяти, я обязан исключительно «тоннельной ночи».

Стоит быть новатором!

— Вы долго жили вдали от родины. Как и почему это случилось?

— Зная себя, я давно ждал этого вопроса.

Вот уже скоро полвека, как Венгрия, потерпев поражение в войне, сбросила при помощи эдакой микрореволюции[1] габсбургскую династию, стала независимой. И не находила себе места на земле. Вернее сказать, ей не позволяли его найти. Итальянское, французское, английское и американское начальство, ведавшее «миром на земле», собралось в Париже под лозунгом: «Что хотим, то и делаем!» И оно не удостоило эту маленькую «восточную» страну даже того, чтобы «приказ» был ей передан хотя бы через генерала-курьера. Нет, нам швырнул его в лицо простой подполковник-ординарец. Мол, «так будет или эдак будет, но иначе еще хуже будет!».

Разразилась вторая, настоящая, великая революция. Наш народ защищался от своих и чужеземных господ, встав под алое знамя пролетариата.

И когда выступила Венгерская Красная Армия, которая, подобно Советской Красной Армии, дала присягу, что «кроме защиты отечества она создана и для поддержки приближающейся европейской социалистической революции»; когда в Италии рабочие захватили заводы, а сицилийские крестьяне — землю, в Одессе на военных кораблях французских интервентов подняли алые стяги; когда в Мюнхене провозгласили Баварскую советскую республику, и в Берлине на месте расстрелянных баррикад воздвигли новые; когда из Вены во главе с Ротцигелем и Эгоном Эрвином Кишем тысяча добровольцев переправилась через Лейту и пошла отвоевывать захваченный румынами Дебрецен; когда по призыву Венгерской Советской Республики в Кладно восстали чешские революционные шахтеры, а на некоторых заводах Бухареста рабочие объявили забастовку солидарности; когда у солдат Французской республики, захвативших Сегед, и у войск королевской Югославии, оккупировавших Печ, ночами пламенели в руках революционные воззвания; когда из Мишкольца, Шальготарьяна, Солнока и других городов мы вышвырнули белочешские и белорумынские войска и в результате победоносного Северного похода родилась вступившая с нами в Федерацию Словацкая советская республика; когда под Киевом собирались кавалерийские и пехотные полки из русских, украинских, венгерских, немецких, польских и югославских интернационалистов, чтобы, перевалив через Карпаты и соединившись у рек Уж и Хернад, пойти на помощь Венгерской Красной Армии; когда казалось, что вот-вот уже родится Союз Европейских Советских Республик и в Европе повсюду будет уничтожен классовый и национальный гнет, безграничными станут границы...

Это и был 1919 год!

...Тогда потрясенная всем этим конференция парижских свежевателей стран сочла наилучшим послать любезных дипломатов в эту, по их мнению, «ничтожную, но взбесившуюся страну» и дала разные обещания, которые, разумеется, не сдержала.

Все это увидев и пережив, я и сам стал самостоятельным человеком. И вместе с моими добрыми товарищами никогда не мог примириться с разными и возмутительными последствиями сокрушения Венгерской Советской Республики.

...А летом 1920 года уже в Словакии я размышлял о «превратностях судьбы» сначала в полицейской, потом в военной тюрьме Ружомберока. Затем меня передали жандармам, чтобы они препроводили в Братиславскую тюрьму, и мне оставалось только повторять: «Ехать так ехать, сказал попугай, когда его кошка тянула за хвост».

Три с половиной года продолжалась моя первая эмиграция. Потом два года провел я снова дома. Тогда и написал свой первый сборник стихов «На земле контрреволюции». Затем бегство: Вена, Берлин, Москва.

Я мог бы на четырнадцать лет раньше вернуться домой, если бы при Ракоши ворота Венгрии не закрыли перед несколькими по-своему думающими коммунистами те, у которых была такая возможность, а поэтому они решили, что есть и право.

[1] Имеется в виду буржуазно-демократическая революция 1918 года в Венгрии. *(Здесь и далее — прим. ред.)*

После больших перемен — в 1959 году — я вернулся окончательно на родину.

Да, многое пришлось мне пережить. Нужное и ненужное. Умное и глупое. Доброе и злое.

Но я и сейчас работаю ради того, чтобы когда-нибудь, как и было написано в одной из моих песен,— не знаю, доживу я до этого времени или нет,— «все люди стали семьей единой».

— Какое влияние оказало на вашу творческую работу то, что вы жили вдали от Венгрии?

— Если хорошенько вдуматься, я никогда и не жил вдали от Венгрии. Кроме нескольких статей — хоть и выучил русский язык,— я все написал по-венгерски.

История Венгрии, ее рабочий класс, народ, язык, литература, короче говоря — «отчизны чудные края» влекли меня к себе сильнее, чем иных, которые во времена Хорти, постоянно живя дома, производили и поставляли на мировой рынок очищенные от венгерской жизни сочинения, в первую голову пьесы.

Не говоря уж о стихах, я и трилогию («Господин Фицек», «Мартон и его друзья» и «Другая музыка нужна!») в какой-то мере никогда не смог бы написать дома так, как написалось там, где каждое венгерское слово, выражение, каждая мысль о прошлом и настоящем сопровождались громким сердцебиением, вызванным тоской по родине. Быть может, потому так и живы в этих книгах пештские улицы, окраины, дома, венгерские леса, пыльные большаки, Дунай; потому и не затмились ничем последующим мои детство и юность и ощущение того, что «здесь слезы солонее, страданья здесь иные...» [1].

Вместе с тем мировая держава, в которой я прожил столько лет, величайшая революция в истории человечества, к которой я органично приобщился, изрядно расширили мой «домашний» кругозор. Но я все время ощущал в себе эту теснимую на земном шаре и живущую в ужасном страхе Венгрию, чуял проносившиеся над ней и в ней добрые и злые течения, а позднее и жуткие дела, которые творили немецкие и венгерские фашисты.

Я и венгерскую литературу видел, пожалуй, в более широкой перспективе. Из той дали, в которой я жил, домашние литературные свары и дрязги того времени как-то в общем стирались, а ведь они и мешают обычно людям составлять верные суждения. Но одновременно я неустанно и чутко прислушивался к столкновениям в более важных вопросах и, имея возможность сравнивать с литературой других стран, думаю, мог объективно оценивать те ценности, которые все прибавлялись в фондах венгерской литературы.

Одним словом, у жизни вдали от родины — хотя никому этого не пожелаю — есть и какие-то свои преимущества.

— Как удалось вам сохранить родной язык?

— Пусть я и далек от столь распространенной в наш век патологической переоценки самого себя, однако вдали от родины я частенько вспоминал Келемена Микеша [1]. Под конец жизни он уже совсем «один слушал моря бормотанье» и притом сохранил драгоценный венгерский язык Трансильвании, хотя у него не было даже того, что было у меня, пусть и с печальными перерывами,— венгерских книг, журналов, радио, которое, что ни говорите, неоценимый пестун живого языка. А ведь радио обращалось ко мне за тысячи и тысячи километров, входило прямо в комнату, где я жил.

Венгерский язык — моя кожа, и у меня никогда не возникало желания сменить ее на другую.

(Даже рассказывать об этом не хочется, но ведь было такое время, когда коротенькая венгерская песня пробуждала во мне больше эмоций, нежели все исторические хроники Шекспира, вместе взятые.)

— Что вы считаете наибольшей опасностью для современной литературы?

— Моду. Обезьянничанье, власть, террор моды, которые уничтожают, заставляют деградировать искусство.

Стоило бы создать такой историко-литературный фильм, который показал бы, сколько голов и ног деформировала литературная шляпно-башмачная мода и как быстро очутились эти вышедшие из моды узконосые и широкополые вещи на свалке, откуда иные бездарности или не желающие «отставать от века» старики вновь и вновь вылавливают их.

— Что вам нравится больше всего в современной литературной жизни Венгрии?

— Та достаточно благоприятная творческая атмосфера, которая существует в литературе, отсутствие мелочной опеки над писателями. Эти условия складывались постепенно, начиная с 1957 года. Я целиком согласен с нашим большим революционным поэтом Аттилой Йожефом: только свобода может создать порядок.

Жаль, что застарелые рефлексы все еще так или иначе заставляют некоторых писателей, критиков, литературных деятелей подымать свой угрожающий перст. Но жаль и другое. Просто обидно, когда иные писатели стремятся идти не по пути центральных проблем эпохи, в которые безусловно входят и проблемы человеческого «я», а все глубже и безнадежнее забиваются в пещеру, где, быть может, и красуются поразительной формы и цвета сталактиты, правда до головной боли повторяющие друг друга, но где человек, художник неизбежно хиреет.

...Я социалист.

А так как сам художник есть тоже реальность, моя сущность социалиста играет

---

[1] Цитата из стихотворения «Венгерские мессии» (перевод Л. Мартынова) великого венгерского поэта Эндре Ади (1877—1919).

[1] Микеш, Келемен (1690—1761) — венгерский писатель-изгнанник, который после поражения освободительной войны против Габсбургов провел большую часть жизни в Турции на острове Родос.

роль в том, как я изображаю действительность.

Вместе с тем сама изменчивая действительность определяет постоянное движение и моего социалистического мировоззрения.

— Что вы считаете самым важным для нашей литературной жизни?

— Дискуссию. Но не с заранее заготовленным заключительным словом. Разумеется, дискуссия дискуссии рознь, и хуже всего те, в которых вместо настоящих проблем поднимаются темы, в сущности ставшие вчерашним днем (как, например, дискуссия о «народных писателях» и писателях-«урбанистах»).

Ведь надо сказать, что некоторые явления отошедшей в прошлое литературной эпохи вовсе не суточные щи, которые, как говорят, вкуснее всего в подогретом виде. От подогревания этих дискуссий литературная жизнь Венгрии не становится «вкуснее». Напротив, за всем этим очень легко упустить, «не заметить» главное: социалистическую литературу.

Нужны новые литературные споры о новом, о сегодняшнем, соответствующие новым факторам, меняющемуся положению вещей. Тогда только и будет видна общая картина состояния венгерской литературы.

— Что занимает вас сейчас, кроме политики и литературы?

— Раскрывающийся перед нами во все более головокружительных масштабах макро- и микрокосмос. Антитела, электроны, протоны, космическое излучение и их влияние на человека, на природу, а стало быть, и на дальнейшее развитие общества.

Занимает новое мироощущение, к которому надо привыкать и одновременно формировать его.

Но мы ни в коем случае не должны предаваться фаталистическому ощущению, будто бы грядет некий всемирный катаклизм. Недостойно нас — пускай даже масштабы и выросли неизмеримо — нечто подобное той средневековой реакции на падение геоцентризма (а бывало, даже просто на появление кометы), когда сотни людей кончали с собой от страха, тысячи падали в обморок, десятки заболевали, зараженные вирусом безысходности. К тому же еще и мстили несчастным астрологам, иногда попросту вешали их.

Формирование этого нового мироощущения — дело нелегкое. Но и оно убыстряет сближение народов, необходимое для того, чтобы человечество, открывшее атомную эпоху, не погибло на нашей крохотной планете.

— Что вы считаете самым большим препятствием для счастья народов?

— Национализм.

Водородную бомбу можно сбросить только с неба национализма. И ежели какая-нибудь держава, когда у нее есть в этом необходимость, пробивается к мировому господству, провозглашая космополитические лозунги, это не меняет сути дела.

В эпоху ядерного оружия национализм — та веревка или, выражаясь современнее, тот радиационный пучок лучей, который, если мы допустим, погубит не только жертву, но в конечном счете и палача.

Я принадлежу к тому поколению, которое в интересах счастья всех народов (и не в последнюю очередь венгерского народа) начертало на своем стяге — интернационализм.

Для меня всегда было невыносимым, а теперь я считаю трагическим позором, любое классовое, национальное, расовое или языковое угнетение. Ведь даже если возникнет хоть что-нибудь из этого — стяг постепенно самосжигается.

— И наконец, что можем мы ждать сейчас от поэта, прозаика? Какие планы занимают его? — спрашиваю я у себя не впервые и не последний раз.

— В ответ я процитирую завершающие слова краткой автобиографии, написанной к моей трилогии:

«...Мне шестьдесят восемь лет; я столько пережил, что для исполнения моих планов нужно было бы по меньшей мере еще шестьдесят восемь лет; если это мне будет дано, тогда я, без всякого преувеличения, буду самым старым писателем в мире».

Перевод с венгерского АГНЕССЫ КУН

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ

Во время поездки по Венгрии мне хотелось лично познакомиться с писателем-коммунистом Лайошем Мештерхази. Имя это достаточно хорошо известно в нашей стране. В свое время именно «Иностранная литература» «открыла» его творчество для советского читателя, напечатав на своих страницах роман «В нескольких шагах граница». Сейчас в редакционном портфеле журнала — «Тайна Прометея», новый роман писателя, переведенный на русский язык,— произведение, созданное в блестящей, непринужденной манере. Нельзя не согласиться с венгерским критиком Вильмошем Фараго, который писал в еженедельнике «Элет эш иродалом»: «Роман Лайоша Мештерхази «Тайна Прометея» читаешь с наслаждением, как будто смакуешь холодное шампанское, от которого теплее становится на душе. Истинная радость — быть его читателем». Впрочем, хочется добавить: эта радость из тех, что даются трудом, упорным трудом мысли. Потому она еще дороже.

...И вот переступаю порог дома, где живет Лайош Мештерхази. Это один из старых будапештских особняков, на стенах которого — следы событий и времени. Вхожу в кабинет писателя и вижу его сидящим в кресле, в рабочем его кресле. Однако кресло это необычное. С ним он не может расстаться. К нему он прикован. Невольно на память приходят известные сравнения, аналогии. Тяжелый недуг не позволяет писателю передвигаться самостоятельно. Но, глядя на его лицо, об этом невозможно догадаться. За все время беседы, длившейся не один час, на нем ни разу не появилось следов страдания, даже усталости. Напротив, лицо писателя не покидала улыбка. Лайош Мештерхази оказался не просто гостеприимным хозяином. Он был воплощением благожелательности и сердечности. И это как-то располагало к откровенному разговору.

Н. Федоренко. Мне запомнились слова критика, сравнившего чтение вашего нового романа со смакованием шампанского, они вспоминаются вновь теперь, когда вы угощаете меня этим вином домашнего производства.

Л. Мештерхази. Не моего, к сожалению, а одного друга — художника...

Н. Федоренко. Наверное, нечто особенное?!

Л. Мештерхази. Как сказать... особенное в том смысле, что вино у него намного интереснее, чем картины. Но я вынужден принимать его произведения, иначе он отказывает в вине...

Н. Федоренко. Очевидно, вино вам обходится очень дорого?

Л. Мештерхази. Не очень, он уступает свои картины по весьма сходной цене...

Н. Федоренко. Наверное, у вас теперь уже большая коллекция картин вашего друга?

Л. Мештерхази. Представьте, почти ни одного полотна!

Н. Федоренко. Как так?

Л. Мештерхази. У меня много родственников, и я преподношу им картины по разным случаям — одни женятся, другие разводятся, третьи рождаются и тому подобное...

Н. Федоренко. Так что все идет в дело?

Л. Мештерхази. Вот именно, только жаль, что мой друг не великий художник — тогда бы я мог получать вино на весьма выгодных условиях.

Н. Федоренко. Можно было бы, наверное, не настаивать на вине?!

Л. Мештерхази. Видите ли, без вина все-таки...

Н. Федоренко. Не знаю, как кто, а я был бы готов сам преподнести вино художнику за его картины, если бы это был, скажем, Пикассо.

Л. Мештерхази. Прекрасная идея. Но к моему глубокому огорчению, мой друг — не Пикассо...

Н. Федоренко. Литература во все времена, во все века была человековедением. Это едва ли не самое главное ее предназначение. Человек, впитавший в себя события духовной истории общества,— вот основной предмет писательского исследования. Разумеется, для глубокого постижения личности необходим и личный богатый опыт, и наши новые знания о человеке.

Сюжетная основа романа «Тайна Прометея» — миф о Прометее, который похитил огонь у богов и принес его людям. В книге воссоздается большой исторический период жизни Древней Греции (XIII—XI века до н. э.), используется огромный материал, связанный с мифологией, есть драматические столкновения, коллизии, конфликты. Первое впечатление таково, что ваш роман принадлежит к жанру исторических произведений.

Л. Мештерхази. Предпочту торжественно заявить, что тема Прометея — самая сегодняшняя, самая злободневная тема. Прометей — наш современник. И понимать это надо не в символическом смысле слова.

Как же следует понимать слова писателя? Думается, речь идет о том, что в героях романа заложено многое из того, что характерно для людей, живущих в XX веке. Это прежде всего относится к поступкам тех персонажей романа, которые как бы сравниваются с действиями сегодняшних политиканов. Л. Мештерхази стремится показать определенную взаимосвязь между тем, что происходило в то отдаленное от нас время, и тем, что протекает у нас на глазах.

В самом деле, подвиг Прометея, совершенный во имя мирного труда людей, был предан забвению, отвержен. Именно в Древней Греции огонь был использован во зло человеку. Это, как мне кажется, главная мысль романа, писатель развивает ее и доводит до логического завершения. Он рассматривает огонь в ряду таких категорий, как ремесла, труд, наука, энергия мирного атома. Это с одной стороны. А с другой — зловещий символ огня, символ разрушения.

«Правители некоторых нынешних государств,— говорит в этой связи критик Вильмош Фараго,— как в свое время правящая верхушка микенского государства, пошли по второму пути и вместо атомной энергии выбрали атомную бомбу».

Н. Федоренко. Ваша книга, на мой взгляд,— своего рода политический памфлет. И потому на серьезные размышления наводит ключевой вопрос романа: **почему** люди забыли о целях Прометея?

Л. Мештерхази. Не ищите ответа в романе, лучше приглядитесь к поступкам некоторых современных деятелей, вслушайтесь в примитивные их революционные лозунги. Вроде бы и революция победила, но почему начинают строить храмы в честь новых вождей и производство памятников с их изображением ставится на конвейер?

В этих словах словно звучит намек на печальный опыт Китая, маоистское руководство которого предало анафеме и великое революционное наследие, и замечательные традиции китайского народа. У всех нас еще свежи воспоминания о недоброй памяти так называемой «великой культурной революции» в Китае. Кино- и фотодокументы запечатлели чудовищные сцены разгула хунвэйбинов: летящие в огонь костров произведения литературы и искусства, великие творения китайского народа, зарубежных писателей, драматургов, поэтов, композиторов...

Н. Федоренко. Слушая вас, я думаю о том, что писатель, истинный художник, видит мир как бы в трех измерениях. Это прежде всего — настоящее, которое открывается перед нами как живая реальность. Это также прошлое, связанное с нынешним временем, как день сегодняшний связан с днем вчерашним. И наконец, это действительность в опосредованном виде, так сказать, вторая реальность, отраженная в художественном творчестве.

Думаю и о том, что едва ли возможно ощутить богатство и обаяние литературного произведения без его первоосновы, без его национальной самобытности. Ибо в конечном итоге ею определяются особенности художественного и исторического мышления.

Конечно, на авторских суждениях сказываются и личные вкусы, и собственный жизненный опыт, и свое видение явлений. Эти суждения, быть может, не во всех деталях совпадают с истиной в объективном смысле. Беседуя с вами, я лишний раз убеждаюсь, что писатель лишь тогда берется за перо, когда его толкает к этому вся его художественная и человеческая сущность. И тогда возникает произведение в высоком смысле этого слова. Именно таким произведением представляется мне роман «Тайна Прометея».

Л. Мештерхази. Вспомните, имена многих богов присутствуют в нашей жизни. Например, в некоторых языках название каждого дня недели соответствует имени определенного бога. Скажем, понедельник — день Дианы, вторник — день Марса, среда — Меркурия, четверг — Юпитера, пятница — Венеры. Мы говорим то и дело: Юпитер сердится, прокрустово ложе и тому подобное. Но обратите внимание, вы не встретите в нашем обиходе имени Прометея. Нет ему и памятника, тогда как существуют памятники Зевсу, приковавшему Прометея к скале. Возникает вопрос: что стало с Прометеем после освобождения? Вот в **этом и состоит тайна Прометея.**

Н. Федоренко. В одной из глав романа, посвященной мифологии, рассказывается о том, что существуют разные версии одного и того же мифа.

Л. Мештерхази. По одной из них, Прометей слепил человека из глины, а из похищенного у неба огня создал душу. Согласно другой, довольно распространенной легенде, Прометей похитил огонь у бога Солнца — Гелиоса — с помощью Афины. Здесь очень важна аллегория. Афина — покровительница науки и богиня мудрости, разума. Именно она содействует тому, что человек становится обладателем огня.

Н. Федоренко. Чрезвычайно интересно написана глава, в которой вы стремитесь установить время освобождения Прометея. Здесь мифологический сюжет и образы трактуются как реально существующие. Это, конечно же, литературный прием, но он обеспечивает увлекательность романа...

Через весь роман, думается мне, проходят две темы, связанные между собой. Это тема забвения Прометея, забвения добра, тема предназначения огня—служить людям. В последней главе приводится предсмертный разговор Прометея с Афиной. Герой замечает, что если бы его жизнь началась вновь, то прожил бы он ее так же и вновь бы добыл огонь для людей. Открытием и применением огня человек утвердил свою самобытность.

Вторая тема — тема войны, обращения огня против человека, во зло людям. Древнегреческая мифология и ее образы творчески использованы для воплощения идеи большой философской значимости. Опираясь на исторический опыт развития человечества, книга говорит нам о том, как важно не забывать о добром начале, обо всем том, что делает всех людей на земле счастливыми.

...Не помню точно, кому принадлежит мысль: книга как художественное явление во всех своих ипостасях — от шрифта и формы до языка и изобразительных средств — должна светиться отблеском жизни века, быть проповедником прекрасного, духовного взлета современника. Хотелось бы отнести эти слова к роману Лайоша Мештерхази «Тайна Прометея».

Заметки на полях

О НАЦИОНАЛЬНОМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ

В октябре прошлого года в Венгрии был опубликован, с одобрения Политбюро ЦК ВСРП, документ Рабочей группы по вопросам культурной политики при ЦК ВСРП «Актуальные вопросы социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма» (журнал «Таршадалми семле», 1974, № 10). Чем вызвано обращение к этой проблеме? Почему вопросы эти признаны актуальными?

Дело объясняется отнюдь не какими-то чрезвычайными обстоятельствами. Коммунистами Венгрии накоплен большой опыт спокойного и реалистического руководства массами, поддержания конструктивной, деловой общественной атмосферы; это еще раз показал прошедший в марте XI съезд ВСРП. Сам факт опубликования упомянутого документа свидетельствует о том, что в Венгрии партийное руководство стремится концентрировать теоретическую мысль на тех проблемах, которые выдвигаются на авансцену объективным развитием действительности и общественного сознания.

А то, что вопросы национального и интернационального в последние годы вновь стали одним из объектов повышенного внимания в сфере идеологии, науки и политики,— очевидно и бесспорно. Это относится и к странам социалистического содружества, где потребность развить марксистские положения о месте и роли нации в социалистической реальности и качественно новом характере межнациональных отношений настоятельно диктуется самими особенностями исторического момента, настоящим этапом развития социалистической системы. Венгерский документ так формулирует эту потребность:

> «...Происшедшие в нашем обществе исторические преобразования: создание основ социализма, успехи социалистического строительства, укрепление социалистического национального единства, а также развитие сотрудничества между братскими социалистическими странами — делают необходимым марксистско-ленинский анализ некоторых вновь вышедших на первый план вопросов и явлений».

Несомненно, что внимание к проблеме соотношения национального и интернационального на современном этапе связано и с новыми приемами в тактике наших идеологических противников, которые стремятся спекулировать на любых непроясненных, спорных моментах, чтобы внести смущение в умы и навязать свои концепции. Об этом хорошо сказал в своем отклике на документ академик Жигмонд Пал Пах («Таршадалми семле», 1974, № 12):

> «Пытаясь расшатать социалистическое содружество, империалистическая политика всегда использует такую идеологическую «упаковку», которая наилучшим образом подстраивается под современные политические и хозяйственные

условия. В соответствии с этим она комбинирует, варьирует националистические и космополитические «аргументы». И в этом ей не приходится преодолевать особые трудности, поскольку национализм и космополитизм не исключают, а дополняют друг друга, растут из одного корня, легко переходят одно в другое. Поэтому бороться с ними нужно одновременно, противопоставляя обоим этим явлениям их подлинную противоположность: патриотизм и интернационализм».

Одной из наиболее эффективных форм этой борьбы и является тщательный марксистский анализ, дальнейшее развитие понятий социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма.

Анализом этой проблематики партия и общественная мысль Венгрии занимаются уже давно. Показательный факт в этом отношении — интерес, с которым был встречен венгерскими учеными — и не только учеными — доклад академика Иштвана Кирая «Патриотизм и интернационализм», прочитанный им в мае 1973 г. на годичном собрании Венгерской академии наук. Кирай выступил за правильное осмысление традиций национально-освободительной борьбы венгерского народа в прошлом, без чего эти традиции не могут играть положительную роль в настоящем, не могут укреплять патриотические чувства граждан современной, социалистической Венгрии. В то же время он доказывал необходимость более активной борьбы против современного буржуазного космополитизма, который может быть не менее опасным, чем национализм и шовинизм. Пафос выступления Иштвана Кирая передают следующие слова:

«...Очень упрощенным представляется тот глубоко въевшийся в наше мышление взгляд, согласно которому человек, оспаривающий национальное и оперирующий наднациональными категориями, якобы непременно стоит на стороне прогресса или, если брать конкретные вопросы сегодняшнего дня, неизбежно защищает социалистическую интеграцию. И якобы тот, кто говорит о национальном, закономерно становится рабом некой замкнутой в самое себя, провинциальной, националистической ограниченности. Здесь все решает классовый подход. И именно классовый подход ясно показывает, что подрывать социалистический интернационализм возможно не только с позиций национализма, но и с позиций другой, опирающейся на иные законы, обладающей иным классовым содержанием, капиталистической по характеру интеграционной концепции».

Хотя (как показало обсуждение доклада Иштвана Кирая на специальной дискуссии в Венгерской академии наук) в его аргументации встречаются неточности, выступление это — вдумчивое, смелое — сыграло значительную роль в активизации научной мысли и в разработке поднятой им сложнейшей проблемы.

В дискуссии, наряду с историками, участвовало много литературоведов, и сам Иштван Кирай — литературовед. В коллективном исследовании «Венгерская литература за пятнадцать лет (1957—1972)», написанном сотрудниками Института литературоведения ВАН и опубликованном в журнале «Литература» (1974, № 3), особенно в заключительной, проблемной его части (авторы — Миклош Белади и Дёрдь Боднар), вопросу о соотношении национального и интернационального в современном венгерском художественном сознании отводится значительное место. Говоря о двух крайностях в подходе к национальному вопросу — абсолютизации национального начала и пренебрежении национальными чувствами,— авторы высказывают очень существенную мысль:

«Между двумя этими крайностями мы обнаруживаем переходные формы, и с точки зрения литературы, культуры да и общественного сознания в целом наиболее важны именно эти переходные, не химически чистые варианты, так как они-то в первую очередь оказывают влияние в повседневной жизни и вносят путаницу в умы».

В документе об этом сказано так:

«На настоящей ступени развития в нашей научной, культурной жизни относительно редко встречаются открытые проявления национализма или космополитизма».

И далее документ останавливается на неизжитых до сих пор следах старого противоречия между «урбанистами» и «народниками», особенно остро проявившегося в 30—40-е годы. Движение «народников», или «народных писателей», возникшее еще в конце 20-х — начале 30-х годов и ставшее самым влиятельным направлением в венгерской литературе тех лет, характеризовалось идеологической и политической ориентацией на крестьянство. Такая ориентация закономерно привела часть «народных писателей» к мелкобуржуазным концепциям «крестьянского социализма», к мифизации крестьянства как хранителя некоего вечного национального начала. «Урбанисты» же были связаны с либеральной буржуазией и, как это явствует из самого названия, отождествляли прогресс с капиталистической городской цивилизацией. Надо сказать, что та большая роль, которую играли эти направления в культурной жизни Венгрии, объяснялась относительно слабым в тот период влиянием на духовную жизнь страны

революционной, марксистской идеологии. Анализируя классовый характер обоих этих явлений, документ констатирует:

«В свое время это противоречие было порождено противоречием между городской и деревенской мелкой буржуазией и представляло собой ложное соперничество двух относительно прогрессивных движений за руководящую роль в обществе. Следы этого — исключающего ведущую роль рабочего класса — соперничества ощущаются сегодня главным образом в некоторых кругах интеллигенции, выражаясь, в частности, в нездоровом, необоснованном внимании к национальному вопросу, в националистических перегибах — и, соответственно, в не менее пагубном космополитическом равнодушии ко всему национальному».

Что касается тактической линии в деле преодоления неверных, немарксистских концепций, то в документе говорится:

«Носители подобных (то есть ложных, обремененных старыми предрассудками.—**Ю. Г.**) взглядов — в подавляющем большинстве наши политические союзники, идеология которых лишь в определенной степени страдает односторонностью. Что касается преодоления их предубеждений, то благоприятные условия для этого создает общая сбалансированность нашего общественного сознания, укрепление социалистического национального единства... Критикуя односторонность их взглядов, нужно в то же время последовательно добиваться торжества марксистско-ленинской точки зрения».

Гибко и в то же время конструктивно, с принципиальных позиций подходя к пережиткам старого сознания, документ Рабочей группы дает классовый, марксистский анализ проблем нации, подчеркивает социалистическое содержание патриотизма и интернационализма как факторов общественного сознания, в формировании которых важную роль играют лучшие национальные традиции.

«Национальное наследие представляет собой совокупность противоречивых, но связанных друг с другом процессов. Поэтому очень важно критическое изучение, марксистско-ленинское освоение этого наследия, оценка его с классовой точки зрения, диалектический, дифференцированный подход к его тенденциям. Выявление и культивирование революционных и прогрессивных традиций, учет негативных уроков — одно из условий зрелого самосознания социалистической нации, источник коллективного опыта, активный фактор нашей работы по строительству социализма».

Особенно большую роль, говорится в документе, играет выдвижение на первый план интернациональной, общечеловеческой стороны национальных традиций в Центральной и Восточной Европе, где в течение столетий различные народы жили в рамках многонациональных государств.

«Разнообразное, в значительной мере общее историко-культурное наследие народов Центральной и Восточной Европы будет разделять нас, если из-за него будут грызться националисты; оно будет связующей, углубляющей интернациональные чувства силой, если его осмыслять с марксистско-ленинских позиций, исходя из интересов рабочего класса, социализма, обращая его в источник социалистического патриотизма».

Документ подчеркивает также значение того опыта, который внесен в решение национального вопроса Советским Союзом. В свете этого опыта, как и опыта других социалистических стран, становится особенно очевидным, что

«здоровое, уравновешенное национальное сознание, чувство национального достоинства — условие гармоничного соотношения национального и интернационального. Интернациональное сплочение, сотрудничество, его сознательное и активное приятие — органическая часть нашего патриотизма. Дальнейшее развитие социалистической нации и содружества наций, превращение социалистического патриотизма и интернационализма во всеобщие принципы — вот что будет способствовать расцвету как нашей нации, так и интернационального свободного сообщества свободных наций, многообразного в национальном отношении социализма».

Сформулированная в документе марксистская позиция в вопросе о национальном и интернациональном нашла отражение в решениях XI съезда ВСРП. В разделе «Идеологические и культурные задачи» записано:

«Мы должны и впредь укреплять социалистический патриотизм, пролетарский интернационализм, убежденность в том, что источником наших достижений, залогом нашего национального подъема являются социалистический общественный строй, созидательная деятельность трудящихся масс Венгрии, тесный союз с Советским Союзом, с народами, вступившими на путь социализма, с

прогрессивными силами всего мира. Наш патриотизм — это патриотизм действенный, патриотизм в интересах народа и социализма».

В современную эпоху национализм выступает в некоторых обстоятельствах как союзник передовых общественных сил, но чаще всего он является тормозом прогресса, иррациональным фактором, мешает правильно видеть расстановку сил в мире. В этой роли он объективно выступает рука об руку с буржуазным космополитизмом. В такой обстановке особенно очевидной становится ценность теоретических разработок, подобных рассмотренному нами документу венгерских коммунистов.

Ю. ГУСЕВ

РОССЕЛЛИНИ, ГОД 75-й

Итальянская печать вновь широко заговорила о Роберто Росселлини. Но сейчас в статьях о его творчестве явно преобладает нескрываемая досада. Его фильм «Италия, год первый» вызвал глубокое разочарование прогрессивной кинокритики. Полемика, завязавшаяся в печати,— а точнее, осуждение новой работы Росселлини,— выходит по своему содержанию далеко за пределы киноискусства.

«Год первый» — фильм об Италии после свержения фашистского режима. В самом названии — явная перекличка с давними лентами Росселлини — «Германия, год нулевой» и «Европа, 51», в которых режиссер запечатлел трагические последствия войны, не только ее руины, но и нравственное опустошение людей в странах поверженного фашизма. Понятен интерес, с которым ожидалось возвращение Росселлини в мир кино после многолетней работы на телевидении, тем более с фильмом, как все тогда ждали, созвучным по документальной манере и историко-политической тематике направлению «политического кино», ныне пользующемуся в Италии большим успехом.

Однако выбор центрального героя фильма уже, по меньшей мере, оказался сомнительным. Это лидер партии христианских демократов Алчиде Де Гаспери, один из самых, пожалуй, непопулярных в народе итальянских политиков, двадцатилетие со дня смерти которого не так давно отметили Ватикан и правые католические круги страны,— к этой дате и был приурочен выход ленты Росселлини. «Поборник демократии» Де Гаспери вошел в историю Италии двумя недоброй памяти деяниями: это он на посту премьера исключил из состава коалиционного антифашистского правительства представителей двух массовых партий итальянских трудящихся — коммунистов и социалистов; это он вошел в сговор с американцами, чтобы обеспечить своей партии победу на парламентских выборах 1948 года (мы помним предвыборные плакаты, выпущенные христианскими демократами после возвращения Де Гаспери из США: весы, на которых одна чаша с большой французской булкой и надписью «План Маршалла» склоняется в пользу христианских демократов, а на другой — пустой — написано «Коммунисты»)...

Комментируя заявление Росселлини, что Де Гаспери якобы «оставил место» левым силам в управлении страной, газета «Унита» справедливо указывает:

> «...Коммунисты и социалисты и идущие за ними народные массы свое место завоевали и удержали сначала кровопролитной войной за Освобождение, а потом — упорной борьбой против политики подавления и преследований, проводившейся в самые трудные годы — с 1948 по 1953 — правительствами христианско-демократического парламентского большинства, которые возглавлял не кто иной, как Алчиде Де Гаспери».

В статье «Росселлини причисляет Де Гаспери к лику святых» газета итальянских коммунистов пишет, что от почти двухчасового фильма, конечно, нельзя было ожидать всестороннего и глубокого анализа столь драматического и сложного периода истории Италии (с 1944 по 1954 год), но можно было с полным основанием ждать хотя бы попытки критически рассмотреть личность и деятельность Де Гаспери,— попытки, которая выходила бы за рамки легковесной и расплывчатой апологетики.

> «От Де Гаспери, нарисованного Росселлини и его сценаристами, веет чуть ли не святостью. Мудрый, уравновешенный, стремящийся всех примирить, дальнозоркий, неизменно пекущийся о национальных и народных интересах... Не хватает только, чтобы нам показали, что «Салернский поворот» (предложенный в 1943 году коммунистами компромисс с монархией, продиктованный интересами борьбы с фашизмом.— **Г. Б.**) был предложен им, а не Тольятти. Изложение событий, относящихся к периоду Сопротивления, однако (несмотря на банальности и лакуны) все же не столь далеко от действительности, хотя и вос-

создано на экране плоским и приблизительным киноязыком, недостойным автора «Рима — открытого города» и «Пайзы». Опущения, недоговорки, бесстыдные манипуляции начинаются с показа событий 1946 года... Раскол антифашистского единства в 1947 году представлен так, будто виноваты в нем левые... победа же христианских демократов на выборах 18 апреля 1948 года показана так, словно она произошла в атмосфере отсутствия всякой напряженности... Однако потом, неизвестно почему, вдруг происходит покушение на Тольятти... А вскоре за тем Де Гаспери отправляется в Матеру, чтобы там объявить о начале земельной реформы. Но о том, сколько крови стоил этот проект закона, сколько крестьян пало от пуль полиции и мафии, стоящих на страже интересов аграриев, в фильме не говорится ни слова».

В журнале «Ринашита» — теоретическом органе ИКП — кинокритик Мино Арджентьери озаглавил свою статью весьма выразительно: «Росселлини: Де Гаспери в одном измерении». Действительно, этот католический деятель и вся эпоха, связанная с его именем, показаны режиссером если уж не предвзято, то, во всяком случае, односторонне.

Итальянское царство кино и телевидения, пишет Арджентьери, одним махом воздало такие огромные и дорогостоящие почести Де Гаспери, какие никогда еще не воздавало государственным деятелям и историческим персонажам даже куда большего, чем он, масштаба.

«Если бы все столь громоздкое мероприятие,— замечает критик,— было свободно от духа восхваления... миллионы итальянцев располагали бы сегодня обильным материалом, который помог бы им критически осмыслить период недавней истории Италии и личность деятеля, который, несмотря на всю свою непопулярность, играл первостепенную роль в жизни государства».

Арджентьери напоминает о прошлом секретаря христианско-демократической партии, который «был весьма нежен с Салазаром, Хилем Роблесом, Дольфусом», одобрял некоторые действия фашистского правительства Муссолини, а во время гитлеровской оккупации отсиживался в библиотеке Ватикана. На убедительных примерах, почерпнутых из фильма Росселлини, Арджентьери показывает, насколько в нем фальсифицированы политические события 40 — 50-х годов, сколь часты умолчания и «пропуски».

«Основное, то есть яростное классовое столкновение, запутанный узел проблем... которые надолго определили обстановку в последующие годы,— исчезло... низведено до уровня чуть ли не идиллического поучительного рассказика для начальной школы...

...Фильму Росселлини недостает не только подлинной историчности или, если хотите, понимания драматичности событий тех лет, но и сложности, свойственной личности как Де Гаспери, так и любого другого политического руководителя его калибра, каким бы реакционером он ни был».

Не меньшее недоумение, чем выбор героя (а главное — отношение к нему режиссера), вызывали и источники финансирования фильма, и сумма самих ассигнований. Этому вопросу посвящено немало статей. Так, в статье «Странные брачные узы» газета «Унита» писала:

«Фильм Росселлини частично финансирует издатель Рускони, а остальное берет на себя государственная прокатная компания «Италноледжо». Мы являемся свидетелями «брака» между государственной киноорганизацией и одним из крупнейших итальянских предпринимателей, стремящимся распространить свою сферу деятельности на область кино и театра и даже еще шире — на область радио и телевидения».

Газеты называют астрономическую сумму, потраченную режиссером на постановку фильма,— миллиард двести миллионов лир. При этом следует учесть, что в фильме не играют какие-либо известные «звезды» (роль Де Гаспери исполняет актер Луиджи Ванцукки). Государственная субсидия Росселлини была на 250 миллионов лир больше, чем субсидия, предоставленная режиссеру Флорестано Ванчини для съемок знакомого советским зрителям антифашистского фильма «Убийство Маттеотти», демонстрировавшегося на VIII Московском Международном кинофестивале.

Что же касается частного финансиста Эдилио Рускони, то цель его услуг не вызывает сомнений: он издает профашистские, ультрареакционные листки, популяризируя идеологию правых. Газета «Паэзе сера» в этой связи заметила, что правые круги, отмечая двадцатилетие со дня смерти «старого канцлера» (так называли Де Гаспери), не щадят затрат: одновременно с фильмом Росселлини на телевидении создан еще один опус о Де Гаспери: там режиссер Эрманно Ольми снял столь же далекую от исторической истины панегирическую телевизионную ленту в трех сериях. Одновременно на телевидении режиссером Леонардо Кортезой подготовлена засиятая на пленку передача, тоже посвященная Де Гаспери.

Фильм «Италия, год первый» из-за своей неприкрытой тенденциозности никак не может быть признан, как любит выражаться Росселлини, «историческим свидетельством», никак не отвечает даже тем принципам «научного знания», которые выдвигает режиссер, пытаясь заменить просветительством конкретную идейную борьбу, осознать современность только посредством изучения фактов и фигур прошлого.

По этому поводу «Ринашита» замечает:

«О том, что росселлиниевские теории хромают и в них царит большая путаница, о том, что в этой окрошке можно найти что угодно...— обо всем этом мы все уже знали. Кроме того, мы знали, что многие из его телевизионных произведений грешили чрезмерным эклектизмом с точки зрения общекультурных проблем, но фильм «Год первый» более, чем все его творения, не соответствует тем познавательным задачам, которые режиссер, как он постоянно утверждает, выдвигает на первый план.

...Люди, выросшие за период с 1945 года по сегодняшний день, не любят упрощенчества, они научились размышлять, им не нравится, когда их поучают и при этом обманывают. Это поколение разделяет стремление Росселлини рационально подходить к окружающей действительности, но именно поэтому отворачивается от него, как только замечает, что данное им обещание обогатить нас информацией — и критика в этом смысле почти единодушна — не выполнено... Все это приводит к выводу, что его фильм можно рассматривать прежде всего как образец дезинформации, щедро оплаченной деньгами итальянских налогоплательщиков».

Переживаемый ныне Росселлини идейный кризис, как это уже не раз бывало в его творчестве, неизбежно сопровождается резким художественным спадом. В этом также единодушны почти все критики.

«Нас могут упрекнуть в том,— пишет автор статьи в «Унита» видный критик Аджео Савиоли,— что мы занялись анализом фильма лишь с точки зрения его содержания. В самом же деле в смысле формы фильма вообще не существует. Было бы просто печально останавливаться на «находках» его автора... Вряд ли стоило бы отмечать также бедность и серость «придуманных» диалогов, косноязычие «текстуальных» цитат, превращающих главного героя фильма в своего рода оракула... Вернувшись в кино после долгой и спорной деятельности на телевидении... Росселлини ныне достиг, быть может, самой низкой точки в кривой своей карьеры».

Г. БОГЕМСКИЙ

СЪЕЗД ПОРТУГАЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Впервые за всю историю Португалии в Лиссабоне состоялся съезд писателей. Инициатором его проведения была Португальская ассоциация писателей, возникшая два года тому назад. Она объединяет около 400 литераторов.

Накануне открытия съезда крупнейшая лиссабонская газета «Диариу ди нотисиаш» писала о целях его созыва:

«После 25 апреля проблемы культуры постоянно находились в центре общественного внимания; этот съезд призван разъяснить, что следует понимать под португальской культурной революцией и какова роль творческих работников в ее осуществлении».

Определение основных задач съезда нашло выражение во вступительной речи председателя Португальской ассоциации писателей, известного поэта Жозе Гомиша Феррейры. Он, в частности, сказал:

«На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, сможет ли осуществиться в нашей стране культурная революция и что произойдет, когда читателей у нас будет не 20 тысяч, как сегодня, а 100 или 200 тысяч. (Как видите, я оптимист!) Какова будет тогда роль писателя? Второстепенной, как сегодня? И какие возможности для творчества будут ему предоставлены?

В настоящий момент у нас есть все возможности, чтобы творить. Но не реализуется ни одна. Потому что после 25 апреля писатели увлеклись политической и педагогической деятельностью, отложили в сторону перья, не поняв, что свобода своей магической властью дарует им совершенно новые формы взаимодействия с миром».

Участникам съезда были предложены для обсуждения четыре основные темы: 1) идеология, культурная революция и задачи писателя; 2) воспитательное значение и доступность литературы; 3) литературное творчество и его специфика и 4) литературная критика.

Одно из наиболее интересных сообщений по первой теме было сделано Луишом ди Соуза Ребелу. Он подчеркнул, что нет литературы вне идеологии. В подлинно значительных литературных творениях современности

«писатели передают свое видение мира, вооружившись опытом, который берет начало в национальных проблемах и конфликтах. Они пытаются осмыслить эти проблемы и конфликты в свете самого широкого знания и философских теорий, которые вдохновляют на борьбу угнетенные народы. Именно на этом пути романисты Латинской Америки и «третьего мира» смогли создать оригинальную и истинно национальную прозу...»

Развивая свою мысль, Луиш ди Соуза Ребелу обратился к проблемам португальской литературы. Он призвал слушателей задуматься над «интеллектуальной колонизацией», осуществляемой западными державами по отношению к португальской литературе, заявив:

«Если писатель хочет служить народу, он должен вдохновляться революционной идеологией трудящихся масс. Если писатель хочет служить народу, он обязан находить для своих творений общедоступную форму... создавать произведения, которые были бы эстетически значимы для всех и всех убеждали бы благодаря своему художественному совершенству. Если писатель хочет служить народу, он должен идти в рядах революционного авангарда, должен уметь извлекать материал для своих произведений из опыта народной борьбы, должен уметь передать страстный порыв масс, прокладывающих путь к новому миру. Он должен создавать литературу, утверждающую высокие человеческие идеалы и тем самым противостоящую бесплодному буржуазному космополитизму. Он должен творить национальную литературу, в которой отразилась бы во всей ее неповторимости португальская демократическая революция».

Мысль о высокой гражданской ответственности португальских писателей, высказанная Луишом ди Соуза Ребелу, разделили многие участники съезда. Она прозвучала и в выступлении президента Португальского общества авторов, объединяющего драматургов и работников театра, Луиша Франсишку Ребелу. Он сказал:

«Проблема доступности художественного произведения, без учета которой оказалась бы бесплодной любая дискуссия о задачах искусства, приобретает особую остроту, когда речь заходит о театре... Потому что в театре «производство и потребление» художественного творчества являются реальностями, взаимосвязанными и взаимодополняющими друг друга».

Луиш Франсишку Ребелу предложил направить усилия драматургов и всех деятелей театра на поиски нового типа взаимоотношений между спектаклем и зрителем, на поиски такой театральной формы, в которой доступность была бы нераздельно слита с воспитательным моментом. Наиболее перспективной в этом отношении Ребелу представляется разработка идеи эпического театра Брехта.

«У Брехта проблема ставится не только на уровне драматургического произведения, не только на уровне сценического его прочтения, но также (и прежде всего) на уровне взаимоотношений с публикой».

Докладчик, с другой стороны, предостерег писателей от творческого упрощенчества:

«Произведение искусства сообщает опыт бытия,— сказал он,— воссозданный согласно эстетическим параметрам, без принуждения избранным художником, и в соответствии с его идеологическими устремлениями, иными словами, передает некое видение мира. Но видение не чисто эстетическое или механическое (что превратило бы искусство в простое развлечение), а такое, в котором мир предстает как объект преобразующей деятельности человека. Именно в этом состоит дидактическая функция театра (и искусства): не подавать зрителю в разжеванном виде решение тех исторических проблем, которые его, зрителя, волнуют, а лишь подводить его к этим решениям, давать зрителю самому обнаруживать их в едином акте осмысления и переживания представленного на сцене. Или, как говорил Брехт, представлять мир людям, чтобы они могли преобразовывать его разумом и сердцем».

Не все ораторы были единодушны в оценке задач португальской литературы перед лицом неотложных культурных преобразований.

В выступлениях ряда участников серьезное рассмотрение этой проблемы подменялось отвлеченными рассуждениями о «революции в искусстве» с ультралевых позиций. Пример тому—«Девять тезисов о литературе и революции после 25 апреля» Эдуарду Праду Коэлью. Он, в частности, заявил:

«Искусство не может находиться на службе у революции, поскольку оно само — живая практика революции... Не искусство находится на службе у революции, а революция находится на службе у искусства.

Искусство должно отбросить общее и находить в каждом человеке не то, что его ограничивает и определяет, но что подчеркивает его неограниченную неопределенность...»

В этот ответственный для Португалии момент подобные высказывания вольно или невольно укрепляют лагерь тех, кто хочет вырвать искусство из единого демократического фронта.

Резкое расхождение во мнениях по ряду принципиальных вопросов, связанных с отношением португальских писателей к культурной революции, обнаружилось еще в период подготовки съезда и сделало невозможной выработку общих резолюций. Однако на съезде были обнародованы два документа, под которыми поставили свою подпись многие его участники.

В первом из них — письме, врученном премьер-министру португальского правительства Васку Гонсалвишу, говорится:

«На заседаниях данного съезда отчетливо прозвучала глубокая заинтересованность писателей в политических событиях, происходящих в Португалии после 25 апреля 1974 года, а также их стремление лично участвовать в революционном процессе, который ставит перед собой цель привлечь на сторону революции беднейшие и культурно отсталые слои населения, предоставив им равные со всеми членами общества возможности, чтобы превратить их в достойных участников социалистического строительства.

Движение вооруженных сил хорошо осознало неотложность решения этой задачи и начало решительно осуществлять план активизации культурной жизни португальского народа, план, который — это можно утверждать уже сегодня — станет одной из важнейших вех в строительстве будущего нашей страны...

Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что писатели не могут и не должны остаться в стороне от этого процесса, который имеет к ним самое непосредственное отношение, поскольку речь идет о прямом контакте с народом, без знания которого писатель рискует утратить главный источник своего творчества.

По той же самой причине наш съезд может вылиться в бесплодное теоретизирование, если не займется разработкой практических мер, которые помогут писателям обрести утраченное родство со своей страной, от которой они, в большинстве случаев и по хорошо известным причинам, долгие годы были оторваны».

Второй документ, зачитанный на съезде, озаглавлен «Предложения относительно участия театра в революционном процессе». В нем, в частности, говорится:

«Благодаря своей доступности театр представляет существенный фактор в повышении сознательности, культурного уровня, политической грамотности и социальной активности трудящихся масс.

Участие театра в революционном процессе, на службе у которого он должен находиться, требует от всех нас, работников театра, и в особенности от драматургов, чуткого внимания к реальным и конкретным проблемам португальского народа, живым выразителем которых театр призван стать».

Премьер-министр Васку Гонсалвиш в своем выступлении на закрытии съезда ответил на обращение португальских писателей и деятелей театра к революционному правительству и изложил точку зрения португальских руководящих органов на проблему культурной революции и участия в ней писателей. Он воздал должное мужеству португальских писателей в борьбе против фашизма:

«Нет сомнения, что вы, писатели, внесли свой вклад в дело вызревания идей, которые сделали возможной португальскую революцию... Несмотря на систематические репрессии фашистского режима в отношении деятелей культуры, несмотря на систематическое оболванивание масс, которое фашизм старался осуществлять в Португалии, человеческая мысль продолжала работать... ибо мысль, как вы знаете, остановить нельзя».

Говоря о текущих задачах писателей Португалии, Васку Гонсалвиш отметил:

«Главная проблема, которая встает сегодня перед писателем,— это проблема его взаимоотношений с народом... Я считаю, что миссия писателей — сделать наш народ грамотным. Нести в народ знания. Дать народу правильное представление

о тех явлениях, с которыми он сталкивается повседневно. Способствовать росту общественного сознания своих соотечественников, заинтересованных в революции.

Перед Революционным Советом и вами, писателями, теперь стоит одна общая задача — найти адекватные формы участия деятелей литературы в революции. Я хочу передать вам предложение Революционного Совета: давайте вместе служить делу революции португальского народа!

Речь не идет о замене одной религии другой, но о том, чтобы открыть перед народом новые горизонты. Писатели должны помочь нашему народу перешагнуть через годы отсталости».

Касаясь сущности культурной революции, премьер-министр сказал:

«Культурная революция — это не промывание мозгов. Мы не можем силой вкладывать идеи в головы людей. Мы должны разъяснять эти идеи с большой твердостью, с большим знанием дела, с большим терпением, настойчиво и неустанно... Нужно нести культуру в Народные дома и профсоюзы».

В своем выступлении Васку Гонсалвиш большое внимание уделил задаче создания новой культуры в Португалии:

«Более всего нас волнуют сегодня проблемы народной культуры, отвечающей интересам самых неимущих классов... Содержание искусства должно быть единым для всех классов. Не может быть содержания для одних и содержания для других. Необходимо найти адекватные и общедоступные формы искусства».

Не выработав общей закрепленной в резолюциях идеологической платформы, съезд тем не менее одобрил ряд предложенных практических мер, связанных с участием писателей в культурной революции. Было решено создать рабочие группы по проблемам детской литературы, литературной критики, по работе с начинающими писателями, группы для выработки мер защиты авторских прав писателей и переводчиков, по проблемам театра и школьной книги. Съезд постановил ходатайствовать о создании Института книги, который вобрал бы в себя все вышеназванные рабочие группы.

Съезд предложил всем, кто не получил возможности высказать свою точку зрения по обсуждавшимся проблемам с трибуны, изложить ее письменно и выслать в адрес съезда в течение двух недель для последующего анализа и обобщения всех материалов.

Как писала в своей редакционной статье газета «Диариу ди нотисиаш»,

«съезд заложил первый камень в основание новой культуры. Той самой культуры, которая, для того чтобы стать революционной, должна быть единой и доступной, многообразной и глубоко португальской».

Подведение итогов работы I съезда португальских писателей будет продолжаться еще долгое время. Но уже сегодня можно сказать, что он способствовал сплочению прогрессивной португальской интеллигенции для защиты и упрочения культурных завоеваний португальской революции.

Т. КОРОБКИНА

Публицистика

МАЙК ДЭВИДОВ

ПИСЬМО СОВЕТСКИМ ДРУЗЬЯМ ИЗ «СВОБОДНОГО» МИРА

Помните, в тот последний вечер, что мы провели вместе перед моим возвращением в Соединенные Штаты, вы просили меня написать, какой я найду мою родину после шестилетнего отсутствия. Вот вам отчет о моих впечатлениях с того самого момента, как самолет Аэрофлота, на котором я летел, совершил посадку на американской земле.

Итак, 15 декабря 1974 года, три часа ночи. С трудом привыкаешь к скачку во времени: в Москве сейчас одиннадцать утра, а мой организм все еще живет по московским часам. Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди намного превосходит аэропорт «Шереметьево» по размерам и затмевает его своей роскошью. Здесь все дышит комфортом, все свидетельствует об эффективной постановке дела. Что и говорить, впечатляющая реклама страны изобилия и технических чудес! Багаж прибыл без малейшей задержки — обслуживание доведено до четкости конвейера. Ждать пришлось гораздо меньше, а порядка было больше, чем при аналогичных обстоятельствах в Москве. Да, вот она, Америка, которую я знал, с ее высокоразвитой, отлаженной техникой, уверенная в себе. «С приездом на родину!» — приветливо бросает чиновник иммиграционной службы, ставя штамп в моем паспорте. А снаружи нас уже ждут друзья. Не сдерживая нетерпения, они горячо приветствуют нас радостными возгласами и бросаются навстречу: поцелуи, объятия. **Как хорошо быть снова дома!**

И вот, погрузив пожитки в багажник, мы едем в Нью-Йорк, к нашей приятельнице, которая живет в Бронксе. Автострада — сложнейшее переплетение путей, подлинное чудо эффективности и инженерного искусства. Водителю, умеющему ориентироваться в этом лабиринте, автострада экономит массу времени; ну, а тот, кто не знает дороги, будет без конца кружить и кружить, словно на карусели. Сквозная автострада — это волшебный ковер-самолет, когда все идет хорошо, и ужасная западня, когда сломается хотя бы одна-единственная машина. Нас буквально ослепляет яркий свет бесчисленных фар. Конечно, на московских магистралях нам тоже неслись навстречу вереницы ярких огней. За годы, что мы прожили у вас, количество автомобилей в Москве значительно увеличилось. Но здесь, в Нью-Йорке, где на 8 миллионов жителей приходится 5—6 миллионов машин, автомобили стали полновластными хозяевами города и буквально заполоняют теперь ведущие к нему автомагистрали.

Внезапно наш автомобиль, вместе со всем потоком машин, останавливается. Впереди какой-то затор, движение парализовано. Все как будто шло нормально, никаких признаков аварии. В чем же дело? Ах, вот оно что: мы просто забыли, что среди всей этой чудо-техники середины двадцатого века существует современный эквивалент средневековых поборов за проезд, взимавшихся каждым феодалом. Мы как раз подъехали к мосту, перед которым собирают пошлину за въезд в «герцогство Нью-Йоркское». Подобно средневековому сборщику налогов, страж, состоящий на службе у владельцев этой ультрасовременной автострады, остановил целое полчище автомобилей, чтобы собрать с нас мзду: по полдоллара с машины. Подобные поборы, как, впрочем,

и всякие другие, за годы нашего отсутствия заметно возросли и их стало больше. Врата в этот гигантский город охраняются, словно крепостные ворота городов-крепостей эпохи феодализма, сонмом таких стражников, взимающих дань со всякого, кто хочет пользоваться его дорогами, туннелями и мостами. Только что из страны, где пользование дорогами бесплатно и где, более того, люди бесплатно или за минимальную плату пользуются всеми коммунальными сооружениями и коммунальными услугами, мы как-то забыли, что в условиях нашей системы свободного предпринимательства очень мало что предоставляется бесплатно. Пошлина за проезд через мост напомнила нам о том, чего следует ожидать дальше.

Город, объятый страхом: нью-йоркские города-крепости

Шесть лет назад Нью-Йорк (как и большинство американских городов) уже жил в атмосфере страха. Вот почему первое, что поразило меня в Москве и произвело на меня глубочайшее впечатление, было отсутствие какого бы то ни было страха у ее жителей. Я поделился этим впечатлением с читателями моей газеты «Дейли уорлд» в серии статей, которые были также напечатаны в сокращенном виде «Литературной газетой» в 1970 году. Я нисколько не идеализировал того ощущения безопасности, которое испытываешь в советской столице и во всех городах, где я побывал, путешествуя по четырнадцати советским республикам. Будучи скорее москвичом, чем гостем или туристом, я отлично понимал, что сложную социальную проблему преступности невозможно полностью разрешить за такой исторически короткий срок, как пятьдесят с небольшим лет. Мелкие правонарушители и убийцы-маньяки, наводящие время от времени страх на людей, все еще омрачают жизнь при социализме. Однако и эти преступления будут со временем искоренены, подобно тому как уже искоренено основное зло — организованная преступность. Но то, что так поразило меня шесть лет назад (и это мое впечатление окрепло и усилилось по возвращении на родину), можно выразить в следующих словах: Москва и все советские города — это поистине **города, не ведающие страха.** Ей-богу, вы, считающие само собой разумеющимся, что ходить по улицам своего города и гулять по его паркам днем и вечером, ничего не боясь,— это естественное и обычное право каждого человека, стали бы больше ценить радости вашей жизни в условиях безопасности, если бы оказались сейчас рядом со мной и мы походили бы вместе по нью-йоркским улицам и поездили в нью-йоркском метро. В этом письме я попытаюсь заново пережить вместе с вами то, что испытал и перечувствовал после моего возвращения.

Квартира нашей приятельницы расположена на 36-м этаже сорокатрехэтажного жилого дома на набережной реки Гарлем в Западном Бронксе. Это одно из четырех таких же зданий, возведенных частной строительной фирмой на земле, которую штат Нью-Йорк, предоставивший участки, освободил от налога, с тем чтобы с жильцов взималась **невысокая** квартплата. Наша приятельница считает, что квартира обходится ей очень дешево: за пять комнат, одна из которых — кухня, она платит 279 долларов в месяц (включая сюда плату за газ и электричество). По сравнению с тем, сколько обычно платят теперь за квартиру в больших городах США, она и в самом деле вправе считать, что ей крупно повезло. Ведь в однотипном здании, построенном той же строительной фирмой в южной части Манхэттена, плата за аналогичную квартиру составляет 400 долларов в месяц и больше. Спору нет, квартира у нашей приятельницы просторная, очень приветливая и уютная, из окон открывается великолепная панорама города с реками Гарлем и Гудзон на переднем плане. Но, право же, не стоит она того, чтобы платить за нее в 15 раз дороже, чем мы платили за нашу четырехкомнатную квартиру, тоже просторную и комфортабельную, на Ленинградском проспекте (она обходилась нам в 18 руб. 36 коп. в месяц). Об огромной разнице в размере квартплаты я заговорил попутно, речь сейчас о другом. Наша приятельница, а теперь временно и мы, живет в одном из многочисленных городов-крепостей, на которые буквально на глазах распадается Нью-Йорк. Похоже, отцы этого охваченного страхом города и планировщики-градостроители руководствуются лозунгом **«Вперед к феодализму!».** Их реакцией на постоянный рост преступности, и особенно преступлений, связанных с насилием над личностью, стало сооружение жилых комплексов (и соответствующая реконструкция уже построенных), представляющих собой не что иное, как современные аналоги феодальных крепостей. С тою только разницей, что вместо крепостных рвов, подъемных мостов и стражников в латах, вооруженных алебардами, теперь применяются отряды частных охранников, внутренние телевизионные сети и привратники, которые держат оборону на форпостах крепости. По своему внешнему виду и по царящей вокруг атмосфере наш комплекс жилых домов-небоскребов и впрямь напоминает крепость. Стражники, охраняющие нашу крепость, носят на груди личные знаки с фотографией. Они останавливают в целях проверки и опознания все подъезжающие машины (в конце концов, они ведь приближаются к нашему городу-крепости!). Они пристально всматриваются в наши лица, когда наша приятельница представляет нас им как своих гостей. (В их обязанности входит не только знать в лицо всех обитателей этой сорокатрехэтажной крепости, но и запоминать таких ее посетителей, как мы.) Для пущей «безопасности» обитателей

снабдили удостоверениями личности, которые они обязаны предъявлять по требованию. По внутренней телевизионной сети ведется наблюдение за всеми посетителями и посторонними. Стража города-крепости, как и в средневековые времена, считает каждого незнакомца, явившегося «извне», подозрительной личностью и потенциальным врагом. Две-три линии обороны — это еще не все средства защиты. Жильцам сообщают «секрет» ничем не примечательной панели в облицовке кабины лифта — на тот случай, если «неприятелю» каким-то образом удастся проникнуть через заградительные заслоны. Нажав на панель с «секретом», вы предупредите охрану о присутствии в лифте грабителей. Для обитателей городов-крепостей окружающие районы — это чужеземная территория, вылазка на которую чревата опасностью. Крепость, в которой живет наша приятельница, не принадлежит к числу самых надежных и, уж конечно, не может идти ни в какое сравнение по части комфорта с роскошными цитаделями, воздвигнутыми, например, в центре Манхэттена. Когда я уезжал отсюда шесть лет тому назад, здесь сносили бульдозерами хорошие, прочные здания, где жили, платя сравнительно невысокую квартплату, рабочие: белые, негры, пуэрто-риканцы. На месте снесенных строений возводили жилые дома категории «люкс» (предшественники нынешних шикарных городов-крепостей). И вот шесть лет спустя я вижу, как много лучших уголков Манхэттена занято теперь этими роскошными жилыми комплексами, отгородившимися от внешнего мира. Манхэттен всегда являл собой картину существующих бок о бок нищеты и роскоши. Но никогда еще этот контраст не был таким разительно резким, как сейчас. Никогда раньше я не видал такого разделения на анклавы богатства и разрастающегося гетто нужды и лишений. (Как это выглядит на деле, я постараюсь рассказать вам дальше, когда перейду к описанию того, что я увидел, когда посетил места, где когда-то жил.) Жители этих оазисов роскоши принадлежат, конечно, к числу богатейших людей Нью-Йорка. Если размер квартирной платы повысился во всем городе, то здесь она возросла астрономически. Роскошь сама по себе стоит больших денег, но теперь приходится дополнительно оплачивать частную армию охранников и изощренную технику обеспечения безопасности. Только нью-йоркским богачам по карману подобная защита. Безопасность и роскошная жизнь неотделимы друг от друга. А гигантские и могущественные строительные корпорации, которые оказывают все более сильное влияние на решение городских дел, наживаются как на запуганности нью-йоркцев, так и на стремлении тех, кто может это себе позволить, купаться в роскоши. Типичное объявление, помещенное в газете «Нью-Йорк таймс» 15 декабря 1974 года, гласит: «Челси-мьюз, 235, 22-я улица в Западной части Манхэттена. Привратник, система обеспечения безопасности и все роскошные удобства. Плата за квартиры с одной спальней — от 325 до 365 долларов в месяц». В другом объявлении о сдающихся квартирах в Челси-мьюз предлагается «тройная безопасность» за ту же цену. В объявлении о сдаче внаем квартир в домах-башнях в районе Саутгейта хвастливо говорится, что, «входя в вестибюль, вы как бы вступаете в XVI век» **(Вперед к феодализму!)**. За удовольствие вернуться в средневековье взимается плата в размере 310—425 долларов в месяц за квартиры с одной спальней. В «Марлборо-хаус», тридцатичетырехэтажной башне, дом № 245 на 40-й улице в Восточной части города, жильцам предлагается безопасность, обеспечиваемая охранниками, привратниками, дежурящими у входа круглые сутки, и системой сигнализации — все это по цене от 400 до 428 долларов в месяц за аналогичные квартиры. Жилищный комплекс на Индепенденс-плаза в Северной части Манхэттена с трехсветным холлом рекламирует себя как «идеальный фешенебельный квартал». Обеспечение феодальной безопасности для потребителей роскоши XX века в разгар усиливающегося экономического спада является единственным процветающим бизнесом в жилищном строительстве Нью-Йорка и других крупных американских городов (которое вообще-то резко сократилось).

Нью-йоркское метро — обиталище страха

Еще перед моим отбытием из Нью-Йорка поездка в здешнем метро считалась рискованным предприятием, шагом в полное опасностей неизвестное. Но теперь это — ежедневное путешествие в царство страха. Нью-йоркцы, особенно женщины и пожилые люди, с опаской входят на станции подземки. Они торопливо спускаются вниз, тревожно оглядываются. Подойдя к безлюдному извилистому переходу, некоторые останавливаются в нерешительности, другие спешат поскорее миновать опасную зону. Мне невольно вспоминаются далекие дни моей службы в пехоте во время второй мировой войны: точь-в-точь так же делали мы стремительный бросок через простреливаемое открытое место. Страх усиливается, когда вагон метро пустеет; пассажиры нервно вглядываются в лица немногих оставшихся спутников. Мы подъезжаем к концу линии, и в вагоне нас остается только пятеро. Шесть лет назад в метро было страшно ездить поздно вечером и ночью. Нынче стало страшно ездить в метро и днем. И немудрено: вот что произошло, например, только вчера, в среду 19 декабря, в три часа дня. Девятнадцатилетняя девушка из Бруклина, сделав покупки к рождеству, возвращалась домой в пустом последнем вагоне поезда метро. Ее изнасиловали, пригрозив ножом.

В 1974 году было уже восемь подобных же случаев изнасилования среди бела дня. Газета «Нью-Йорк таймс» отмечала 20 декабря, что «число преступлений, совершаемых в метро днем, продолжает расти, причем самое опасное время теперь — от полудня до восьми вечера». Как сообщило управление городского транспорта Нью-Йорка, преступность возросла за первые шесть месяцев 1974 года на 18 процентов по сравнению с тем же периодом предшествующего года. Основной упор делается на меры по обеспечению безопасности пассажиров метро в период, когда совершается большинство преступлений: с восьми вечера до четырех утра. (Но увеличение числа дневных преступлений показывает, что дело тут вовсе не в суточных пиках преступлений.) С восьми вечера до четырех утра хвостовые секции поездов метро ради безопасности пассажиров наглухо закрывают, а остальные вагоны патрулируются в это время вооруженными полицейскими с портативными рациями. Даже кассиры отгорожены от пассажиров стеклянными щитами. Вы просовываете деньги и получаете взамен жетончики через прорезь в стекле — слишком уж часты стали случаи нападения на кассиров. В такой вот обстановке миллионам нью-йоркцев приходится ездить на работу и с работы, в гости, в театр или в магазины за покупками. Вот что значит сегодня пользоваться метро в самом большом городе Соединенных Штатов, одном из крупнейших городов мира. Можете легко представить себе, каким сильным потрясением явилось для меня возвращение в этот подземный ад после московского метро! Дело тут не в том, что одно метро как небо от земли отличается от другого, дело в резком контрасте между двумя мирами. Поездка в московском метро — сущее удовольствие; мы ощущали и ценили это благо гораздо больше, чем сами москвичи, для которых прекрасное, комфортабельное, безопасное и сверкающее чистотой метро — это обычное средство транспорта. Да и я тоже привык считать все это чем-то само собой разумеющимся и не задумывался над тем, что плачу за вход всего-навсего пять копеек. А здесь за право совершить небезопасную поездку в грязном поезде подземки, где нагло орудуют преступники, нью-йоркцам приходится платить 35 центов. Нам же ежедневная поездка в центр Нью-Йорка обходится дороже, потому что до метро нужно добираться автобусом (еще 35 центов). Так, наша приятельница вынуждена тратить каждый день на дорогу до места работы и обратно доллар и 40 центов (то есть около 28 долларов в месяц). И при всем том жителям Нью-Йорка приходится вести сейчас энергичную борьбу, чтобы не допустить повышения платы за проезд в метро до 50 центов!

На станциях и в поездах грязно, как никогда. Но больше всего меня поразил «новый облик» подземки. Поезда, окна вагонов, стены станций — буквально все размалевано кошмарными кривыми надписями и рисунками самых немыслимых цветов. Такое впечатление, что здесь поработали кистями и красками вырвавшиеся на волю обитатели сумасшедшего дома, которые пытались изобразить на вагонах и стенах метро (как, впрочем, и на стенах домов по всему городу) свои бредовые видения. Сия пачкотня получила название «графитти». Это последний штрих той кошмарной картины, которую являет собой нью-йоркская подземка. И странное дело: «графитти» уже воспринимаются нью-йоркцами как привычная черта их быта; похоже, со временем люди привыкают и к обстановке сумасшедшего дома. Находятся даже защитники этого вандализма, которые превозносят его как «свободное выражение» в сфере искусства. Дико представить себе московское метро, «украшенное» подобными шедеврами «свободного творчества»! Вдобавок ко всему вагоны подземки пестрят красноречивыми объявлениями. Одно объявление призывает пассажиров звонить по «прямому проводу антинаркотической службы», если они нуждаются в помощи, чтобы избавиться от наркомании. Другое хвастливо обещает открыть читателю секрет двадцати пяти способов получить жалованье выпускника колледжа, не тратясь на четырехлетнее обучение (которое стоит от 12 до 16 тысяч долларов). Выйдя из вагона, обращаю внимание на листовку, приклеенную к столбу. Это призыв организовать гражданское движение по борьбе с изнасилованиями. Полиция не пользуется доверием людей, каждому известно, что там царят коррупция и расизм. Ведь торговцы наркотиками вряд ли осмелились бы в открытую сбывать свой товар на улицах Нью-Йорка и даже в школах, если бы не пользовались покровительством полицейских чинов. В газете «Чикаго сан-таймс» от 24 декабря 1974 года сообщалось о временном отстранении от должности полицейских, замешанных в изнасиловании семнадцатилетней девушки. Случаи изнасилования учащаются в Соединенных Штатах повсеместно (особенно неблагополучны в этом отношении студенческие городки ночью). По официальным статистическим данным за период с 1960 по 1973 год число изнасилований увеличилось на 199 процентов. О все большей распространенности этого преступления много говорят по телевидению, пишут в газетах, часто не без смакования подробностей. На второй же день по возвращении на родину нам случилось посмотреть по телевизору одну из передач на эту тему. Сначала выступает комментатор, который, любуясь модуляциями своего голоса, приводит голые цифры: более 50 тысяч изнасилований в год или в среднем один случай изнасилования каждые десять минут. Далее он сообщает телезрителям, что истинная цифра, как полагают, в три раза больше, так как чаще всего жертвы не обращаются в полицию. Затем на экране появляются крупным планом жуткие в своей жестокости лица насильников, осужденных, но не раскаявшихся. От их слов бросает в дрожь. «Отдайтесь, не то крышка»,— советуют они телезрительницам. Один даже похваляется тем, что прикончил сопротивлявшуюся женщину. Оператор переводит телевизионную камеру на за-

плаканную жертву, которая рассказывает о совершенном над ней ужасном надругательстве. После этого к телезрительницам обращается с экрана женщина-полицейский, инструктирующая их, **когда и при каких обстоятельствах не следует** оказывать сопротивление насильникам. В заключение на экране появляется сенатор Роберт Мэтьес (демократ, штат Мэриленд), который рассказывает о подготовленном им законопроекте с целью «изучения» этой проблемы. Вся передача тщательно отрежиссирована, как хороший спектакль.

Между прочим, за те шесть лет, что нас не было дома, здесь наступил «бум» в области порнографии. Между кинотеатрами разгорелась ожесточенная конкурентная борьба за рынок непристойщины. Реклама на одном из кинотеатров хвастливо сообщает: **«Здесь идет самый неприличный фильм в мире»**. О баснословных барышах этого процветающего «бизнеса» стало известно, когда сильно пострадал от пожара загородный дворец «короля» порнографии. В газетных отчетах как о чем-то вполне естественном сообщалось об источнике богатства этого «короля». В центре же внимания оказался ущерб, нанесенный роскошному поместью пожаром.

Поездка к родным местам

Из всех перемен, больно поразивших нас по возвращении, самое тягостное впечатление произвели перемены, которые буквально потрясли нас, когда мы посетили наш старый дом на Вайз-авеню в районе Восточного Бронкса (рядом с известным Бронкс-парком), где мы прожили лет 16—17. Похоже, будто мы очутились в разбомбленном городе (хотя ни одной бомбы не упало на американскую землю, тогда как наши самолеты превращали в руины бессчетные города и деревни Вьетнама). Дом, в котором мы когда-то жили, имеет жалкий, запустелый вид; он мало чем отличается от окружающих его зданий — ветхих развалин с зияющими провалами вместо окон. Едкий запах мочи свидетельствует о том, что эти заброшенные строения служат убежищем для отбросов общества, бездомных, наркоманов. Владельцы этих трущоб обрекли прочные кирпичные здания на безвременную смерть, после того как выжали из них все, что могли. Дома перестали быть «доходными». И вот их просто «выбросили», как износившиеся носки или пустую консервную банку. Мы идем по Дэли-авеню, Фултон-авеню, Батгейт-авеню и Третьей авеню. Кругом сотни таких же заброшенных, пустующих зданий. Перед нашим отъездом из Нью-Йорка дома эти, хотя и несколько обшарпанные, все еще выглядели вполне добротными, прочными, а каких-нибудь двадцать лет назад это был лучший район Бронкса! В Москве, Вильнюсе, Риге и Берлине я видел и гораздо более старые здания, которые после капитального ремонта были превращены в превосходные жилые дома. Здесь же меня совершенно ошеломили масштабы и крайние формы разрухи. Обитатели этого негритянского и пуэрто-риканского гетто напоминают беженцев, скитающихся среди руин военного времени. Трущобы, в которых они ютятся (за непомерно высокую и все возрастающую квартирную плату), производят гнетущее впечатление. Вот будничная уличная сцена из повседневной жизни «беженцев». С ужасом наблюдаю я, как дети со школьными учебниками идут домой мимо разрушающихся вонючих развалин. Некоторые из них заходят поиграть в пустующие дома. Ведь других мест для игр у детей гетто нет. Многие из них становятся там жертвами гнусных нападений наркоманов и пьяниц. Могут ли спокойно работать матери и отцы, зная, на каких «площадках для игр» проводят время их дети? И тем не менее оставлять дома на произвол судьбы считается «нормальной» деловой практикой. Прессу занимает главным образом финансовая сторона этой проблемы. Так, судя по материалам, помещенным в номере за 15 декабря 1974 года, газету «Нью-Йорк таймс» нимало не тревожит тот факт, что домохозяева обрекли здания, обеспечивавшие жильем сотни тысяч людей, на разрушение. Она не требует наказания этих «трущобовладельцев». Нет, она подает всю эту проблему как политический спор между мэром Нью-Йорка Абрахамом Бимом и председателем Манхэттенского муниципалитета Перси Саттоном. Газету интересует лишь одно: каким образом будут распродаваться с аукциона брошенные дома (брошенные не только потому, что они перестали приносить доход, но и потому, что владельцы не хотят платить налоги в городскую казну). Выходит, что покинутые строения (особенно те, что попрочнее) будут вновь проданы частным корпорациям; или же их снесут, а освободившиеся участки (зачастую стоящие дороже, чем здания) будут проданы крупным фирмам, занимающимся торговлей недвижимостью. Саттон правильно отмечает, что тем самым город делает домовладельцам еще один подарок, поскольку впоследствии он выкупит у них землю «по гораздо более высокой цене». Помощник Саттона Джон Дж. Эдвардс высказывается с еще большей прямотой: при новых владельцах, утверждает он, нарушения правил эксплуатации домов продолжаются или даже усиливаются. «Домовладельцы, покупающие эти здания,— заявляет Эдвардс,— не делают их более пригодными для жилья. Ведь они покупают их в целях спекуляции». Из купленных домов, по его словам, сначала выжимают всю возможную прибыль, а затем снова бросают их. В собственности города находится сейчас 2176 таких брошенных зданий. Однако, как отмечает «Нью-Йорк таймс», «это лишь небольшая доля общего количества брошенных нью-йоркских до-

мов: ведь такой дом переходит в собственность города лишь через четыре года после того, как владелец перестает платить налоги». И вот об этой-то бесчеловечности пресса нашей свободно-предпринимательской системы сообщает как о «нормальном явлении»! Вид запустелых кварталов навел меня на такие мысли. Совсем недавно я покинул страну, которой война нанесла неслыханный урон: 20 миллионов погибших, 25 миллионов оставшихся без крова, 1710 разрушенных городов, 70 000 сожженных деревень. Тем не менее нигде на огромной территории этой страны не увидишь ничего, что хотя бы в малейшей степени напоминало картину разрушений, открывшуюся сейчас моему взору. Наоборот, там совершаются чудеса в области жилищного строительства: десятки миллионов людей получили жилье в новых домах со всеми удобствами, сохранены и реставрированы десятки тысяч старинных и исторических зданий на обширных просторах от Балтийского моря до Тихого океана. Глядя на ребятню из этого гетто, превратившую заброшенную развалину, где их подстерегают всякие опасности, в «площадку для игр», я вспомнил Дворец пионеров на Ленинских горах и слезы на глазах Анджелы Дэвис, когда она говорила советским пионерам: «Вот за это мы и боремся, этого мы и хотим для детей наших гарлемов». Проходим расположенную в гетто школу. Здесь ученикам рассказывают про свободу и равенство, гарантируемые нашей конституцией и биллем о правах. В 1976 году, по случаю двухсотлетней годовщины провозглашения Декларации независимости, все наши крупнейшие политические и общественные деятели во главе с президентом будут декларировать эти принципы перед целым миром. Но на фоне такого упадка их торжественные декларации вряд ли прозвучат особенно убедительно.

Правопорядок и бедственное положение гетто

Рождество мы встречаем в городе Гэри, штат Индиана, вместе с нашим сыном, невесткой и внуками. Сколько лет мечтали мы провести рождество вот так, в семейном кругу. По чикагскому телевидению передают последние известия: праздничные торжества омрачены трагедией. Сегодня, на рождество, шестнадцатилетний негритянский парень убил другого негритянского парня, девятнадцатилетнего. Они принадлежали к враждующим уличным шайкам. Учитель чикагской средней школы имени Уоллера и ее директор обсуждают критическую проблему дисциплины на уроках. Учитель считает, что для поддержания порядка в школе необходимо иметь дополнительно 25—35 полицейских. Он выдвигает это предложение так, словно речь идет о вполне естественном и «обычном» элементе воспитательного процесса: детям нужны не только педагоги, которые должны их обучать, но и **полицейские,** призванные их **дисциплинировать!** Директор не столь категоричен. Он осторожно упирает на то, что школе нужны более квалифицированные преподаватели и «альтернативные» классы для трудных детей, которых ныне в массовом порядке исключают из школы. «Но как же осуществить все это,— спрашивает ведущий программу журналист,— когда денег не хватает даже на обеспечение «нормальной» работы школы!?» Директор не знает, что сказать. Ему ведь тоже известны суровые факты. И не в том только дело, что на школьные нужды отпускается все меньше средств, в то время как на военные цели ассигнуется около ста миллиардов долларов. Дело еще и в том, что в каждом крупном и среднем по размерам городе Соединенных Штатов имеется гетто с катастрофически неблагополучными районами, подобными описанному мной выше. И в Чикаго тоже есть свои «разбомбленные» районы, особенно в южной его части, почти сплошь населенной неграми. И здесь тоже дети живут и учатся в жуткой обстановке, которую я наблюдал на месте моего прежнего жительства в Нью-Йорке. Здесь тоже площадками для детских игр служат полуразвалившиеся громады брошенных домов. Непереносимо бедственное положение в многочисленных гетто толкнуло обитателей на бунт против общества, обрекшего их на жизнь в таких ужасных условиях, бунт, который принимал как индивидуальные, так и социальные формы. «Грязная война» против негритянских и пуэрто-риканских гетто, развязанная в 60-е годы, наглядно свидетельствует о том, какие формы бунта правящий класс США, состоящий из белых, считает наиболее опасными. В 60-е годы гетто взбунтовались, и пламя этого мятежа осветило социальные язвы системы свободного предпринимательства, от которых страдают в первую очередь самые угнетенные и подвергаемые наиболее жестокой дискриминации. И хотя огонь сейчас только тлеет, пожар далеко не ликвидирован, пламя не потушено. Накапливается еще более взрывоопасный и легковоспламенимый горючий материал. Для живущих в гетто бедняков кризис 30-х годов по-настоящему так и не кончился. И вот к десятилетиям нужды и лишений добавляются теперь еще два тяжких бремени: новый экономический спад и инфляция. Достаточно одной искры, и пламя заполыхает с новой силой. Вместе с тем чувство безысходности и социальной обреченности, охватившее некоторые слои обитателей гетто, привело к возникновению множества враждующих между собой банд, вызвало рост наркомании и преступности. Расисты, пытаясь направить массовое недовольство по руслу расовой междоусобицы, изображают всю преступность в стране как **негритянскую** преступность, как преступность негров, жертвой которой являются белые. Поведение толп линчевателей в Бостоне,

зверски избивавших и убивавших негров — борцов против расовой дискриминации в школах, красноречиво говорит, какими опасностями чревато подобное подстрекательство расистов.

Между тем в докладе президентской комиссии, опубликованном в ноябре 1969 года, было черным по белому написано: «Не существует связи между преступностью и расовой принадлежностью... имеется прямая связь между преступностью и нищетой». Далее в докладе говорилось: «Свыше пяти миллионов семей, то есть шестая часть всего городского населения страны, живет в перенаселенных, грязных, губительных для здоровья трущобах». Со времени опубликования доклада количество гетто множилось, а царящая в них нищета возрастала. Во-вторых, как свидетельствует статистика, главными жертвами преступности, и особенно самых жестоких преступлений, являются негры и пуэрто-риканцы, живущие в этих асфальтовых джунглях. В «Интернэшнл геральд трибюн» от 6 августа 1973 года сообщалось: «Как показывает анализ полицейской статистики, произведенный с помощью электронно-вычислительной машины, у жителя Нью-Йорка — негра шансы быть убитым в восемь раз больше, чем у белого обитателя этого города». Еще бы, ведь большинство негров, и в особенности те, что живут в гетто, лишены возможности укрыться за стенами городов-крепостей! Но главная причина такого положения дел, объясняет нам выдающийся психиатр-негр д-р Элвин Ф. Пуссент в том же номере газеты, заключается в следующем: «Жизнь в резко сегрегированном обществе, порождающая горькие разочарования экономического и социального свойства, и безысходная нищета могут толкнуть на совершение актов насилия над **первой попавшейся жертвой»**. Именно негры и пуэрто-риканцы становятся первыми жертвами преступности, подобно тому как становятся они первыми жертвами безработицы, болезней, полицейских жестокостей, наркомании, скверных жилищных условий, плохих школ и прочих «прелестей» нашего общества свободного предпринимательства. Изображать негров прежде всего как преступников, а не как главные жертвы преступности—значит наносить им еще одно оскорбление. Подлинные факты, о которых свидетельствует статистика преступности в пораженных кризисом городах Соединенных Штатов, состоят в том, что загнивающая капиталистическая система обрекает многострадальных обитателей гетто на двойные мучения: делает их главными жертвами преступлений и наркотиков и превращает трущобы, где они живут, в основные рассадники преступности и наркомании. К тому же она терзает их зрелищем недоступной роскоши вокруг. Ни в одной стране мира роскошь не оборачивается такой злой насмешкой над бедняками, как в Соединенных Штатах. Предметы роскоши и комфорта, которыми славится наша страна, дразняще смотрят на бедняков со всех витрин; телевизор и газеты взывают к ним: «Купите, купите, купите!» Увы, из-за бедности и роста цен им становятся недоступными даже предметы первой необходимости. Растущая волна преступности — это лишь отражение кризиса городов и всей социальной системы США, значительно углубившегося за последние шесть лет. (О контрасте между городами США и СССР более подробно говорится в моей книге «Города, не знающие кризиса», которая публикуется в настоящее время в серии брошюр Агентством печати «Новости» (АПН), а осенью 1975 года будет выпущена в США издательством «Интернэшнл паблишерс».)

Завтрак в нью-йоркском ресторане: результаты инфляции

О том, что у нас на родине быстро растут цены на все потребительские товары (и в особенности на продукты питания), мы слышали еще в Москве. Мы знали, что за один только 1974 год цены подскочили на 12 процентов и что за последние шесть лет все вздорожало более чем наполовину, тогда как в Советском Союзе, как вам хорошо известно, цены остаются неизменными (если не считать повышения цен на водку, коньяк и некоторые предметы роскоши). Друзья, приезжавшие из Америки, рассказывали нам, как все это неприятно в действительности, как сильно отражается рост цен на их жизненном уровне. Но хотя мы и были в курсе дела, понадобился все же личный опыт, чтобы полностью уяснить себе подлинные размеры того ограбления, которому подвергаются широкие массы американцев именем инфляции. Мы ощутили результаты этого ограбления на себе, когда голод заставил нас заняться поисками какого-нибудь ресторана попроще, где бы мы могли недорого поесть. Проезд в метро и в автобусе уже стоил нам почти три доллара, да еще по одному доллару 40 центов нам предстояло истратить на обратную дорогу. Нашли то, что нам нужно,— дешевый ресторанчик. И вот какую «дешевую» цену заплатили мы за нашу скромную трапезу: два сандвича (что приблизительно соответствует четырем московским бутербродам) — 4 доллара 50 центов; одна тарелка жареного картофеля — 65 центов; два стакана пепси-колы — 90 центов; налог с оборота, взимаемый городом и штатом,— 48 центов (шесть лет назад он равнялся 4—5 процентам, а ныне повышен до 8); ожидаемые чаевые (главный источник дохода официантов и официанток) — 65 центов; итого — 7 долларов 25 центов. В Москве примерно такой же завтрак стоил бы не больше 1 рубля 25 копеек. Нью-Йорк знаменит своими изысканными ресторанами, кафетериями и закусочными. Что касается изысканных ресторанов, то они всегда были

не по карману нью-йоркцам среднего достатка, за исключением особо торжественных случаев, когда с расходами не считаются. И до моего отъезда из Нью-Йорка все большее и большее количество его работающих жителей оказывалось вынужденным из-за дороговизны приносить с собой завтрак из дома. Но никогда еще на моей памяти общественное питание города (даже заведения, считавшиеся в прошлом дешевыми и весьма непритязательными) не было так недоступно дорого для большинства нью-йоркцев. В Москве и во всех советских городах, как вы сами знаете, рестораны, кафе и столовые всегда переполнены, и перед их входом выстраиваются длинные очереди. По сути дела, сеть предприятий общественного питания в Москве и в других советских городах можно было бы значительно расширить. В Советском Союзе люди пользуются услугами общественного питания гораздо больше, чем в Америке. И вполне понятно почему. В годы нашего пребывания в Советском Союзе мы тоже чаще, чем когда бы то ни было раньше, питались вне дома. Если говорить начистоту, еда не всюду была вкусной — качество приготовления пищи во многих местах, особенно в столовых, оставляет пока желать лучшего. Но это уже другой вопрос. Мы, как и все жители советских городов, имели возможность питаться вне дома, потому что в предприятиях общественного питания очень доступные цены: еда стоит лишь немного дороже, чем при домашней готовке. Но, возвращаясь к американской действительности: быстро растущие цены в ресторанах и закусочных, какие бы затруднения это нам ни причиняло, еще не самое страшное зло. Зато когда мы заходим в магазин, чтобы купить предметы первой необходимости, нас ждет настоящее потрясение. Наши друзья попривыкли к этому повседневному грабежу (впрочем, не вполне привыкли, судя по их ворчливым сетованиям в супермаркетах), а нас дороговизна буквально ошеломляет. Мы ведь отлично помним, сколько что стоило в 1969 году, и к тому же сравниваем здешние инфляционные цены с твердыми ценами, которые платили в Москве за те же или аналогичные потребительские товары (и в особенности продукты питания). Правда, советские продовольственные магазины все еще не могут сравниться с американскими (хотя пропасть и сужается) по количеству и разнообразному ассортименту пищевых продуктов, особенно расфасованных. Американские супермаркеты, как никогда раньше, являют собой ослепительную картину изобилия. Ломятся от товаров универмаги и прочие магазины. Искусство показать товар лицом, умение привлечь к нему внимание — важнейшая черта торговли в условиях системы свободного предпринимательства. Все направлено на то, чтобы не только поразить и соблазнить покупателя, но и заставить его, загипнотизированного этим бьющим в глаза великолепием, сделать больше покупок, чем он намеревался (особенно если покупатель — женщина). Однако, как я заметил по возвращении, покупают теперь куда более осмотрительно. Витринные россыпи больше не зачаровывают, а попусту дразнят покупателей. Приобретать самое необходимое для жизни по ценам предметов роскоши заставляют нас наши насущные потребности, а не соблазнительный вид продуктов. Возьмем, к примеру, такой насущный продукт, как хлеб. Американцы издавна считали хлеб у себя на столе чем-то само собой разумеющимся и практически не принимали его в расчет как статью своего бюджета. По приезде сюда мы отведали за завтраком хлеба стоимостью 63 цента за фунт и, признаюсь, едва не подавились при воспоминании о том, что вкуснейший черный хлеб, который мы ели в Москве, стоил всего 18 копеек килограмм. Наша приятельница сделала «удачную» покупку: приобрела по «сниженной» цене — 50 центов! — фунтовую буханку вчерашнего черного хлеба. Мясные продукты, которые раньше стоили у нас значительно дешевле, чем в Советском Союзе, сейчас стоят дороже. Мясо без костей для тушения стоит теперь у нас 1 доллар 29 центов фунт — примерно 2 доллара 85 центов килограмм. В Советском Союзе гуляш, эквивалентный продукт, обычно продается по цене около двух рублей килограмм. Итак, мы в супермаркете. Я подвергаю его индивидуальному бойкоту. Наша приятельница то и дело тянется за разложенными на полках продуктами, а я всячески ее удерживаю. Если бы мне удалось настоять на своем, ничего бы мы здесь не купили. Но соблазны супермаркета и потребность в хлебе насущном одерживают верх. Мы выходим из магазина побежденными и огорченными. Невольно напрашивается сравнение с тем, как мы покупали продукты в Москве. В московском продовольственном магазине можешь позволить себе купить буквально все, что попадется тебе на глаза. Цены в большинстве случаев не останавливают покупателей. Больше того, количество и ассортимент имеющихся в продаже товаров все еще намного отстают от покупательной способности населения (правда, за годы нашего пребывания в Советском Союзе это отставание значительно уменьшилось). Продукты выставляются там на прилавках не для того, чтобы прельщать или дразнить покупателей, которые, как это имеет место у нас в США, могут приобрести их только по цене, обеспечивающей крупные барыши продовольственным монополиям. Нет, они выставляются для того, чтобы их покупали, и поэтому цены на них доступны для всех.

Все расширяющийся разрыв между высокими ценами на продукты питания и покупательной способностью американцев вызвал в США широкую волну протестов. Это в свою очередь побудило к действию некоторых конгрессменов. И вот по телевидению выступает член конгресса Бенджамин Розенталь (демократ, штат Нью-Йорк), который, обращаясь к миллионам телезрителей, говорит, что продовольственные монополии и владельцы супермаркетов, выступая единым фронтом против покупателей,

искусственно взвинчивают цены. Попросту говоря, американцев грабят. Однако Розенталь вовсе не предлагает примерно наказать грабителей. Вместо этого он предлагает провести очередное «расследование» (буржуазная демократия подменяет такими расследованиями конкретные действия). Ведущий передачу комментатор, воплощенная объективность, сообщает телезрителям, что на завтрашнем заседании сенатской комиссии выскажут свое мнение владельцы супермаркетов. Разговоры продолжаются, а цены тем временем растут.

Прогулка по центру Нью-Йорка

Брожу по улицам центральной части Манхэттена: по Бродвею, Пятой, Шестой и Седьмой авеню, Лексингтон-авеню и Мэдисон-авеню. Несколько дней назад я отправился на прогулку по улицам моего когда-то родного района — Восточного Бронкса. Мне пришлось осторожно пробираться среди сотен заброшенных, пустующих домов. Как живо напомнило мне это зрелище разбомбленные города в годы второй мировой войны! Но здесь, в центре Манхэттена, как я вижу, имел место строительный бум: за мое шестилетнее отсутствие тут выросли новые ультрасовременные небоскребы из стали, алюминия и стекла. К сверкающим на солнце сорока-пятидесятиэтажным громадам административных зданий подкатывают на «кадиллаках» с собственными шоферами вылощенные, с иголочки одетые бизнесмены. Магазины на Пятой авеню и Мэдисон-авеню блещут праздничным великолепием — это нескончаемая выставка предметов роскоши. На боковых улицах — 50-й и близлежащих, тянущихся на восток,— респектабельно расположились дорогие рестораны с самой разнообразной кухней, рассчитанные на изощренный вкус тонких гурманов. Символом этого современного Вавилона, средоточия власти и роскоши, является грандиозный комплекс из стекла и стали, город в городе, носящий красноречивое название Рокфеллер-плаза. Здесь, на небольшом пятачке, собраны классические памятники могуществу американского свободного предпринимательства. Арендная плата за эту землю так высока, что по сравнению с ней игрушечной кажется высота небоскребов. Какая наглядная иллюстрация паразитического характера земельной ренты: несколько акров земли ценятся дороже, чем стоящие на ней «памятники»! Нельзя не поражаться всему этому параду роскоши и великолепия, этим устремленным к небу замкам из сверкающего стекла. При условии, конечно, что вы не выходите за пределы пятачка.

Но стоит вам пройти по 42-й улице на запад, в район Таймс-сквера (названный так потому, что здесь издавна размещается редакция газеты «Нью-Йорк таймс»), и вы неожиданно оказываетесь в совершенно ином мире, мире непотребства и разврата. Шесть лет назад Таймс-сквер уже имела дурную репутацию излюбленного места сборищ сутенеров, проституток (обоего пола) и грабителей. Но теперь это не просто место сборищ темных личностей — теперь этот район, самый центр Нью-Йорка, взят на откуп поставщиками порнографии и всяческой моральной скверны. По мере того как я продвигаюсь по 42-й улице, у меня появляется такое ощущение, словно я очутился на самом дне. Представьте себе московскую улицу Горького, заполненную подонками общества царской России,— и вы поймете мои чувства. Но если на дне, изображенном Горьким, сквозь все бездны страдания, нищеты и морального падения просвечивают сердечность, достоинство и душевная красота, то на дне, образовавшемся в богатейшей стране мира во второй половине двадцатого века, вас со всех сторон окружает только грязь. Похоже на то, как будто эти кварталы стали концентрированным выражением загнивающего общества. Впритык друг к другу, как машины на запруженной проезжей части улицы, теснятся вдоль тротуаров порнографические кинотеатры, бары и салоны массажа без вывесок, варьете со стриптизом, книжные лавки «для взрослых» и т. д. и т. п. Процветает на этой ярмарке грязи и порнография, рассчитанная на гомосексуалистов,— в полном соответствии с духом подлинно свободного предпринимательства! Здесь царит свирепая конкуренция, и зазывалы не только зазывают, но и чуть ли не силком затаскивают прохожих в свои заведения. Словно мухи на навоз, слетаются к этим скопищам грязи проститутки, сводники, сутенеры, воры, наркоманы и торговцы наркотиками. Все они подстерегают своих жертв: зеленого юнца, распаленного похотью; пожилого распутника и старого сластолюбца; простаков приезжих, случайно забредших в это болото, и подонков нью-йоркского общества. Кстати, численность нью-йоркских подонков постоянно увеличивается за счет подонков из других американских городов, которых привлекает этот национальный центр морального разложения. У финансового капитала есть своя Уолл-стрит, у его отребья — своя 42-я улица.

42-я улица еще неприглядней и, конечно, страшней, чем Бауэри — прибежище неудачников, вышвырнутых за борт обществом свободного предпринимательства. В отличие от Бауэри, где доживают свой век отчаявшиеся и опустившиеся бедолаги, 42-я полна жизни — порочной и угрожающей. Она собирает вокруг себя и плодит опаснейший общественный слой — люмпенов.

«Индустрией» 42-й улицы заправляет крупный капитал. К специализированным районам Манхэттена, финансовому, швейному, прибавился еще один. Таймс-сквер стала

районом, поставляющим секс и садизм, а это сейчас один из самых процветающих видов бизнеса во всем Нью-Йорке. Здесь не пахнет никаким экономическим спадом. «Промышленность» растления бурно процветает. Она расширяет свои владения, захватывает все новые и новые кварталы центрального Манхэттена, подминая и вытесняя бродвейские театры, которые один за другим гибнут, поглощенные грязной пучиной. Одни театры закрываются, другие дышат на ладан: падает посещаемость. Объясняется это, помимо прочих причин, также и тем, что публика не желает пробираться к театру через море грязи вокруг. Своим процветанием 42-я улица во многом обязана новой буржуазной «культурной революции». «Прежняя» революция, совершившаяся, когда буржуазное общество было на подъеме, освободила культуру от тесных оков гибнущего феодализма. «Новая» же революция «освободила» порнографию и половую распущенность от прежних ограничений и от необходимости держаться в тени. Эта «революция» привела к освобождению и узаконению всяческой непристойности. Многие либералы и интеллигенты приветствуют ее как сексуальную революцию, расчистившую почву для нового, более «раскованного» стиля жизни.

«Стиль жизни» — модная сейчас идея. Ее адепты, верные духу индивидуализма, утверждают, что каждый человек имеет право на свой собственный стиль жизни. Это является-де составной частью «личностной» революции. Пусть каждый живет по-своему! Между прочим, слово «революция», наводившее когда-то страх, получило ныне признание — разумеется, если речь идет не о социальной революции. «Сексуальная революция» отменила среди прочих запретов и запрет на нецензурные слова. Теперь можно свободно употреблять их в кругу семьи и в обществе. Похабничайте на здоровье, раз таков ваш стиль жизни. Правящему классу США подобные «революции», само собой разумеется, ничем не угрожают. Поэтому-то он с такой готовностью признает и даже поощряет их в наше неспокойное время. Кое у кого, в особенности у мелких буржуа, набравшихся недавно леворадикальных идей, «сексуальная революция» создала иллюзию подлинного освобождения. Кое-кому из них новообретенная «личная свобода» настолько вскружила голову, что они стали свысока смотреть на «сексуально подавленных» жителей социалистических стран, которые лишены «свободы» валяться в грязи по примеру наиболее «раскрепощенных» граждан «свободного мира». Помню, как во время проходившего в 1973 году в Москве Международного театрального конгресса одна его участница, нью-йоркский театральный критик, требовала, чтобы ей объяснили, почему на сцену советских театров не допускают порнографию и гомосексуальную тематику. Ошарашенные работники советского театра не знали, что и отвечать: такой неожиданностью прозвучало для них подобное «требование».

Благодаря «сексуальной культурной революции» центральное место на сцене заняла постель и даже сточная канава. Те, кто еще совсем недавно осуждали реализм (и особенно реализм социалистический), требуют показа на экране и на сцене полового акта (в том числе и гомосексуального) во имя более глубокого, более правдивого реализма. Искусство призвано изображать жизнь во всей ее «полноте», утверждают они. Такого рода «полноту жизни» уже вовсю демонстрируют с экрана в бесчисленных сексуальных фильмах. Однако «утонченные» ценители искусства требуют теперь «художественного» изображения «всей полноты жизни» на сцене, подобно тому как это делается с некоторых пор в литературе. (Например, Джон Апдайк, освещая вполне актуальную тему морального разложения буржуазии, так перегружает свое повествование «художническим» подглядыванием через замочную скважину за тем, как совершается соитие, что читатели утомляются, пожалуй, больше, чем пары из его романа, который так и называется «Пары».)

Мне довелось посмотреть по телевизору дискуссию на эту тему с участием группы видных английских театральных деятелей. В центре дискуссии оказалась на какое-то время популярная в Лондоне постановка, по ходу которой актеры изображают на сцене половой акт. Известный театральный критик Кэннет Тайнен одобрил эту «новацию» как закономерное явление в театральном искусстве и с похвалой отозвался об «артистичности», с которой исполняется половой акт. Единственное его возражение (если это можно назвать возражением), высказанное тоном почтительного удивления, касалось того, что актерам иногда приходится играть эту сцену по четыре раза в день. Не осталась обойденной «сексуальной революцией» и сфера проституции. Так, в Сан-Франциско проститутки организовали собственный «профсоюз». Они требуют, помимо прочего, признания за ними «морального» права заниматься своим ремеслом и узаконения их статуса. Предводительница проституток Сан-Франциско выступила по телевидению, чтобы ознакомить с их требованиями широкую публику. И, представьте себе, многие либералы и даже «революционеры» поддерживают «моральное» право заниматься проституцией во имя равенства полов и борьбы против господства мужчин. (Заметим в скобках, что 25 процентов проституток Сан-Франциско — лесбиянки.)

Кое-кто в Соединенных Штатах по вполне понятным причинам был бы очень рад навязать американцам маниакальную одержимость сексом. И речь идет далеко не только о хозяевах процветающего бизнеса непристойщины, так называемых «королях порнографии»! Однако мысли большинства американцев заняты сегодня отнюдь не сексом, тем более разнузданным и извращенным. Их помыслы связаны с исчезновением миллионов рабочих мест (семь с половиной миллионов безработных насчитывается в стране на сегодняшний день) и ценами на хлеб, которые поднялись до 60—65 центов за фунт.

Лечение по-американски

Труднее всего мне оказалось «приспособиться» на родине к «мелочам» повседневной жизни. Мы только что отпраздновали наше первое рождество в США после шестилетнего отсутствия. Это рождество стало для нас тем более приятным событием, что мы встречали этот традиционно семейный праздник вместе с нашим сыном Майком, невесткой Дженет и внуками: двухлетней Кирстен и восьмимесячным Бренданом. Ничто не настраивает на такой радостно-благодушный лад, как встреча рождества дома, и в эти дни общей доброжелательности я был больше, чем когда-либо, готов «приспосабливаться». Но тут я столкнулся с одной «мелочью жизни», которая остро напомнила мне, в каком мире я теперь живу. Заболела Кирстен. У нее начала подниматься температура. Родители, естественно, встревожились. Они время от времени ставили ей градусник, и показания термометра можно было прочесть на их расстроенных лицах. Однако врача они почему-то не вызывали. Жизнь научила их сдерживать свое беспокойство и выжидать, с тем чтобы обратиться к врачу только в том случае, если жар опасно усилится. На то имелась веская причина — та самая причина, по которой американцы в большинстве своем обращаются к врачу только после того, как почувствуют себя «достаточно серьезно больными». Пойти с Кирстен к врачу значило бы платить каждый раз минимум 10 долларов, а ведь малыши, как всем известно, так часто болеют. Поэтому реагировать на повышающуюся температуру Кирстен было бы непомерной роскошью. Хватило ли бы тогда денег на квартплату, покупку продуктов питания и прочих предметов первой необходимости, особенно теперь — в условиях экономического спада и инфляции? Но, признаюсь, мне, только что вернувшемуся из Москвы с ее поликлиниками и обеспокоенному лихорадочным блеском в глазах Кирстен, както не пришли в голову эти «практические» соображения. Побуждаемый, как мне казалось, совершенно естественной реакцией, я наивно спросил: «А разве нельзя вызвать к Кирстен врача на дом?» Дженет горько рассмеялась. «Вы слишком долго отсутствовали. Поздравляю с приездом на родину, в этот сумасшедший дом!» — воскликнула она. И тут же познакомила меня с суровыми фактами жизни в нашей стране, готовящейся отметить свое двухсотлетие: «Пригласить доктора на дом нельзя ни за какие деньги. Сколько ни предложить, все окажется мало, чтобы компенсировать затраченное им время. Ведь врачи оценивают в долларах каждую свою минуту — приходится уж нам самим ходить к ним». «Ну, а как быть, если ребенок настолько болен, что не может подняться с постели? — не унимался я.— В конце концов предполагается, что врач — это не то же самое, что бизнесмен!» Дженет только улыбнулась моей наивности и иронически хмыкнула. Она принялась терпеливо объяснять, помогая мне «приспособиться» к здешней действительности: «Врач ответит, что если ребенок так болен, что его нельзя доставить к нему, следует обратиться в отделение неотложной помощи больницы. Вот тут-то и начнутся волнения и неприятности. Надо убедить больничную администрацию, что ребенок «достаточно болен», чтобы послать за ним машину «скорой помощи» и предоставить ему койку в больнице. А это — дело гиблое, особенно при нынешних сокращениях и без того скудных больничных бюджетов». (Объем предоставляемого больницами медицинского обслуживания сужается, многие больницы закрываются. Президент Форд в своем послании конгрессу призвал отсрочить принятие закона об учреждении национальной программы здравоохранения. Из всех крупных капиталистических стран только Соединенные Штаты не имеют такой программы.)

Через пару дней заболели и мы с женой — подхватили такую же, как у Кирстен, сильную простуду. Неожиданно для нас самих мы почувствовали тот же страх, который удерживал Дженет от того, чтобы набрать по телефону номер врача. И мы тоже, запасшись терпением, ждали, когда будем «достаточно серьезно» больны, чтобы можно было показаться врачу.

Да, это дело «привычки». За шесть лет мы «привыкли» считать чем-то само собой разумеющимся бесплатное и всестороннее медицинское обслуживание, включающее визиты на дом врача из нашей поликлиники в сопровождении медицинской сестры. Вместе с нами в Москве жил наш младший сын Джозеф с женой Кристиной и дочерью Эльвирой, которой было тогда около двух лет. Эльвира тоже то и дело болела. Мысль, что надо подождать с вызовом врача до тех пор, пока Эльвира не разболеется «достаточно серьезно», просто не могла прийти в голову в московских условиях ни моему сыну, ни его жене. Дело тут не в разном отношении родителей (в США и они были бы вынуждены «привыкнуть» не торопиться с обращением к врачу). Нет, такая идея никак не могла бы взбрести им на ум, потому что в стране социализма такое немыслимо. Наоборот, однажды в детской поликлинике нашего района моего сына и его жену, как мне помнится, даже отчитали за то, что они, как полагали врачи, слишком редко обращались к ним за помощью.

Превращение профессии врача в прибыльный бизнес (врачи принадлежат к категории людей с наиболее высокими доходами) не только налагает дополнительное бремя на широкие массы американцев, но и оказывает разлагающее влияние на все врачебное сословие. Вспоминаю свои детские годы в Бруклине: как мы любили нашего домашнего врача! У доктора Гордона была тучная фигура и усталое, но всегда добродушное лицо. Мы жили на четвертом этаже многоквартирного дома в Браунсвилле, и, под-

нявшись к нам по крутой лестнице, доктор долго не мог отдышаться. От него всегда приятно пахло сигарами (каким-то образом этот запах ассоциировался в моем сознании с представлением о человеке спокойном, положительном, надежном). До сих пор, вдыхая аромат сигары, я вижу внутренним взором доброе и умное лицо нашего доктора. Доктор Гордон десять долгих лет лечил моего отца, которого медленно, но верно сводил в могилу туберкулез. Мы были очень бедны, и доктор Гордон отлично понимал, что у моей матери нет денег, чтобы платить ему за визиты. И тем не менее он приходил всякий раз, когда мать его приглашала (нимало не считаясь с соображением, что «время — деньги»). Больше того, он каждый раз упорно отказывался взять пару сложенных долларовых бумажек, которые мать, провожая его до двери, робко совала ему в руку. Моя мать боялась, как бы мы, дети, находясь в постоянном контакте с отцом, не заразились от него его страшной болезнью. Доктор Гордон также опасался этого. Вот почему он брал на себя труд регулярно осматривать всех нас во время своих визитов к отцу. Эту процедуру он считал естественной и непременной составной частью своих обязанностей домашнего врача. Кроме того, если его звали, он являлся к больному и среди ночи, и по воскресеньям. Врачевать, защищать людей от болезней, помогать им бороться за жизнь — вот в чем состояла его работа. Он видел в этом не только священный долг, но и главную награду своей почетной профессии. Не думаю, чтобы доктор Гордон был богат или даже обладал средним достатком. Да ни ему, ни нам и в голову не приходило измерять в долларах вознаграждение за его нелегкий, подвижнический труд.

После смерти моего отца наша семья все реже нуждалась в услугах доктора Гордона. Мы, дети, подросли, окрепли, и стало ясно, что его и матери опасения насчет нашего здоровья не подтвердились. И мало-помалу мы потеряли из виду нашего любимого домашнего доктора.

В Америке «домашних докторов» давно уже нет и в помине. Интересно, что сталось с нашим доктором Гордоном? Неужели и он тоже стал в конце концов таким же, как все его коллеги, которые, используя открывшиеся перед врачами богатые возможности, наживаются на болезнях и страхах своих пациентов? Не знаю, не знаю. Откровенно говоря, я стараюсь не думать об этом. Слишком больно было бы узнать, что наш общий любимец, наш добрый домашний доктор превратился в расчетливого дельца. Американцам, никогда не покидавшим пределов своей родины, тоже пришлось кое к чему привыкнуть. Они вынуждены были привыкнуть к утрате одной из самых милых нашему сердцу традиций — обращения к домашнему врачу.

Пряничные домики пригородов

Мы в Мейфилд-хейтс, пригороде Кливленда. Опрятные домики на одну семью с расписными ставнями сияют уютом, комфортом и заманчивой красивостью рождественской открытки. Опушенные снегом, они похожи на пленительные пряничные домики из волшебных сказок, которыми я зачитывался в детстве. Нескончаемые ряды пряничных домиков выстроились ровными шеренгами, как солдаты на параде. На подъездной дорожке перед каждым домом стоит сверкающая лаком машина, иногда две (машина на дорожке перед домом помимо всего прочего означает, что хозяева дома). Узенький газон перед домом, клочок земли за ним да расстояние между домами по ширине двух машин — и вы имеете наглядное представление о сбывшейся американской мечте об уединенной, уютной и «устойчивой» жизни. При взгляде на нее со стороны эта американская мечта выглядит как прочная и основательная действительность. И хотя всего каких-нибудь двадцать минут езды отделяют пряничные домики Мейфилд-хейтса от негритянского гетто в трущобах Кливленда, где тоже есть свои «разбомбленные» районы с развалинами обезлюдевших домов, как-то не думается о таком соседстве среди этой сказочной страны. И тем не менее неблагополучные городские гетто больше, чем когда-либо раньше, занимают сегодня мысли обитателей нарядных пряничных домиков. Чем объяснить это? Может, у них неспокойна совесть и они не способны наслаждаться комфортом, зная, что другие живут в нищете? Нет, это было бы прекрасным объяснением, но, к сожалению, неверным (если не считать немногих исключений). Здесь дело идет о пороховой бочке напряженности, которая угрожает в наши дни взрывом Америке, и прежде всего крупнейшим ее городам.

На протяжении ряда лет, и особенно в последние два десятилетия, многие белые семьи (принадлежащие главным образом к средним слоям общества и к наиболее высокооплачиваемому слою рабочих) бежали из пораженных кризисом городов с их растущей преступностью и ухудшающимися школьными условиями в пряничные дома пригородов, где они рассчитывали обрести покой и безопасность. И хотя бежали они в поисках мирной и безопасной жизни, толкнули их на бегство страх и предрассудки расистского характера. «Пусть город окончательно разлагается, пусть расползаются во все стороны «разбомбленные» районы (лишь бы оставались в городской черте!) — мы будем жить-поживать в наших пряничных домиках». Подобными самодовольными и иллюзорными идеями руководствовались многие американцы, искавшие решение проблемы обеспечения своей безопасности не на пути радикального изменения общества,

а на пути изменения географии своего местожительства. Не обладая политической сознательностью, движимые страхами и предубеждениями, которые всячески разжигались реакционными силами, многие белые американцы возлагали вину за упадок наших городов на жителей гетто. Еще бы! Черные обитатели ветхих строений, кишащих крысами, мозолили им глаза, а вот белые домохозяева, проживающие вдали от своих владений, безликие корпорации, владеющие недвижимостью, и земельные банки, которые совместными усилиями выкачивали из этих домов всю прибыль, какую только можно было выжать, а затем выбрасывали их и их жильцов, как пустые консервные банки, оставались вне их поля зрения. Они видели страдающих наркоманией подростков-грабителей, но не видели протежируемых полицией подпольных синдикатов по торговле наркотиками, которые наживались на этом несчастье. Но страх заползает и в пригороды. Он бродит по стране как беспощадный призрак, от которого невозможно отгородиться, как злой дух, которого нельзя запереть в гетто. Страхом насквозь пронизан весь образ жизни в охваченных кризисом Соединенных Штатах. Он следует за вами по всей стране. Страх, который давно уже стал повседневным спутником жителей внутренних районов городов, и особенно трущоб, населенных неграми и пуэрто-риканцами, витает ныне и над пряничными домиками. Вечером безмолвные улицы пригородов пустынны. С наступлением темноты безлюдье и уединенность, столь привлекательные днем, становятся источником опасности. Здесь, так же как и в городах, из которых они бежали, американцы проводят ночь за семью запорами, охраняемые системами сигнализации против взломщиков и сворами злых псов. Почти каждый пряничный домик имеет рычащего четвероногого сторожа. Незнакомца или гостя встречает дружный собачий лай— вас облаивает не только непосредственный «страж» пряничного домика, но и все клыкастые «охранники» по соседству. Поездка на автомобиле «в город» считается рискованным предприятием. Поездку планируют таким образом, чтобы миновать опасные зоны (районы гетто), объехать их стороной. Двери в машине обязательно запирают, а во время вечерних поездок даже эту предосторожность считают недостаточной. Постоянно растет число ограблений людей в автомобилях (грабители останавливают машину, выволакивают наружу сидящих в ней и отнимают у них деньги). Все чаще совершаются ограбления среди бела дня. Один из наших друзей рассказал нам, какой случай произошел с его престарелой матерью. Ее подозвали из подъехавшей машины двое мужчин. Было это днем, поэтому она направилась к машине, думая, что молодые люди хотят спросить дорогу. Как только она приблизилась, один из них схватил ее сумку. Напуганная старушка судорожно цеплялась за свою сумочку, и машина волокла ее по улице. Грабители вырвали-таки у пожилой женщины сумку и оставили ее лежать на асфальте со сломанной рукой, на грани нервного потрясения.

Для того чтобы получить представление о взлете кривой преступности, даже не надо обращаться к цифрам статистики. Почти все наши друзья и почти все американцы, с которыми нам довелось говорить, либо сами стали жертвой ограбления (с насилием и без) или кражи со взломом, либо могли рассказать о подобной неприятности, произошедшей с их соседом, приятелем или родственником. Преступность — не только главная тема разговоров (и, конечно же, сообщений, ежедневно публикуемых на первых страницах газет, передаваемых по радио и телевидению). Это национальная навязчивая идея. Американцы уже были одержимы ею шесть лет тому назад, когда мы уезжали в Советский Союз. Но с тех пор в их сознании начали происходить под влиянием количественного роста преступности **качественные** сдвиги. Они по необходимости должны были «привыкать» жить в вечном страхе. У них выработалось что-то похожее на психологию солдат на передовой. Но с таким психологическим настроем в лучшем случае можно просуществовать какое-то ограниченное время — пока длится «война». Однако американцам приходится жить в атмосфере страха без надежды на то, что эта гнетущая атмосфера рассеется. Наоборот, она все больше сгущается над нашими большими городами и давно уже окутала их пригороды — край пряничных домов. Страна приближается к тому рубежу, за которым, если чреватое взрывом недовольство жизнью в условиях постоянного кризиса не будет направлено по правильному пути широкой совместной народной борьбы за коренные социальные преобразования, на этом непереносимом страхе смогут сыграть расистские и реакционные силы, с тем чтобы развязать ужасную расовую междоусобицу.

Все усиливающийся страх граничит с истерией. Расисты и реакционеры, жадно ухватившиеся за возможность использовать этот страх в своих интересах, призывают к войне против обитателей гетто, особенно молодых. Зловещим предостережением против этого служат события в Бостоне, ставшем Литтл-Роком Севера. Главной мишенью являются теперь, судя по всему, 14—15-летние подростки. Пространная статья, напечатанная недавно в «Нью-Йорк таймс», рисует отвратительную и ужасающую картину. Она подробно рассказывает о невероятной бесчеловечности и равнодушии общества свободного предпринимательства, которые и порождают потерявших человеческий облик убийц-подростков. Реакционеры и расисты, изображая из себя поборников законности и порядка, предлагают потребовать официального разрешения на «отстрел» этих озлобившихся, озверевших юнцов. В законодательном органе штата Нью-Йорк обсуждается сейчас разработанный этими элементами законопроект, предусматривающий наказание 14—15-летних правонарушителей по всей строгости закона, наравне с совершеннолетними.

Впрочем, и многое другое, помимо страха, подтачивает устои благополучия пряничных домиков. Страх — это фактически лишь отражение глубинных социальных толчков, сотрясающих землю, на которой стоят зажиточные пригороды, да и вся наша страна. На поверку оказывается, что прочные с виду дома — одни оштукатуренные, другие из красного кирпича, третьи деревянные — ненадежны, будто они и впрямь сделаны из имбирного пряника. Ведь на самом деле владельцы этих заложенных и перезаложенных домов в большинстве своем являются по существу не хозяевами, а жильцами. Их месячные платежи, значительно увеличиваемые уплатой процентов и все более высоких налогов на земельную собственность, а также растущей стоимостью эксплуатации, ремонта, материалов и в особенности горючего, не меньше, а во многих случаях и больше астрономической квартирной платы обычных жильцов-съемщиков. Подлежащие уплате проценты при продаже дома в рассрочку на 20—30 лет практически удваивают действительную его цену. Поэтому многие так никогда и не становятся полными хозяевами своих пряничных домиков. Самый доходный бизнес в Америке — это зарабатывать деньги на деньгах!

Транспортный кризис (причиной которого являются недостаточное развитие общественного транспорта, повышающаяся плата за проезд в нем и резкое вздорожание бензина) намного повысил стоимость содержания этих пряничных домиков. Плата за проезд из Мейфилд-хейтса до центра Кливленда составляет 50 центов, плюс 5 центов доплаты в экспрессе. Так что дом и машина, два главных компонента «американской мечты», оборачиваются для многих обитателей пригородов сущим кошмаром. Пригороды планировались и строились с таким расчетом, что жить в них будут люди, имеющие свою машину. Без собственных колес жизнь в них немыслима. За покупками приходится ездить в торговые центры с их большими магазинами, куда можно добраться только на транспорте. А это значит — на собственном автомобиле, так как автобусного сообщения между жилыми кварталами и торговым центром чаще всего нет. Ездить в такси очень накладно. (В Нью-Йорке, например, плата за такси составляет 65 центов при посадке и по 60 центов за каждую милю пути.) В еще большей степени относится все это к поездкам на работу. Ведь в частнопредпринимательской Америке забота о том, как добраться к месту работы и обратно домой, в основном является, как и многое другое, вашим «частным» делом.

Мы провели несколько дней в гостях у наших друзей в нью-йоркском пригороде на Лонг-Айленде. Внутри их апартаменты выглядят так же добротно и уютно, как снаружи. Комнаты, затянутые под плинтус коврами, просторны и радуют глаз. Входя, буквально погружаешься в комфорт. Наши друзья — ценители красоты, и интерьер их гостиной выдержан в разных оттенках солнечно яркого желтого цвета, гармонично переходящих один в другой, как на картине Ренуара. Ванная и уборная блистают полным набором усовершенствованных приспособлений, превращающих эту часть жилища американской семьи среднего достатка в самый роскошный уголок в доме. Экономический спад только что нанес сокрушительный удар по этому «райскому» благополучию: деньги, скопленные за долгие годы изнурительного труда в мелкой деловой конторе, и семейные сбережения, доставшиеся по наследству,—все это пошло прахом после того, как катастрофически упала цена акций, которые приобретались, когда курс акций на бирже повышался. Это обрушилось на наших друзей как гром среди ясного неба. Такая же беда пришла в дом миллионов американцев. Нашим друзьям кое-как удается сохранить свой прежний комфортабельный образ жизни. Москвичей, вероятно, впечатлил бы этот комфорт, но зато им не приходится, в отличие от наших друзей, считать каждую копейку, делая покупки. Им не нужно тревожиться за завтрашний день — не в пример нашим друзьям, ощущающим в своих ренуаровских комнатах, как земля уходит у них из-под ног. Мало того, пошатнулись экономические устои их благополучия,— терпят крах сами идеалы, которые лежат в основе образа жизни, символизируемого апартаментами, устланными мягкими коврами. К тому же, как и во многих других зажиточных американских семьях, сами «идеалы» оспариваются молодым поколением. Я отлично помню сыновей этой супружеской четы. Их воспитывали в убеждении, что ковры от стены до стены и комнаты в стиле Ренуара — и есть символ той заветной цели, что придает смысл человеческой жизни. «Грязная война» во Вьетнаме немало способствовала разоблачению фальши и лицемерия, на которых зиждились подобного рода идеалы. И вот сыновья наших друзей, как многие и многие молодые американцы, взбунтовались против этих фальшивых идеалов и отказались принимать участие в «грязной войне». Их бунту не хватало такого важнейшего качества, как политическая сознательность, которая указала бы им путь к осуществлению их пылких устремлений к более человечному образу жизни. Подлинной трагедией этих молодых людей стало то, что туман антисоветизма и антикоммунизма заслонил от них жизненную реальность такого пути. В результате, хотя многие из них и сейчас продолжают отвергать жизненные идеалы своих родителей, протест этот носит пассивный характер — каждый как-то пытается лично для себя найти нечто иное. Старший сын моих друзей, квалифицированный химик, живет в Канаде на очень скромные заработки от всякой случайной работы, которую ему удается найти. У него нет никакой определенной жизненной цели. Его письма — настоящие поэмы, прекрасные и трогательные в своей искренней, хотя и смутной устремленности к жизни, которая (как известно мне, но, к сожалению, не известно ему) уже существует в значительной части сегодняшнего мира. Младший, талантливый

музыкант, является членом музыкальной общины в маленьком городке штата Нью-Йорк; он возлагает какие-то надежды на перспективы честной творческой деятельности и поклонения прекрасному в узком кружке родственных душ. В Америке сегодня много таких идеалистически настроенных, ищущих молодых людей. Конечно, рано или поздно они окажутся перед выбором: либо сделать шаг вперед и обратить свой протест в сознательное, коллективное и действенное движение, либо оказаться поглощенными тем самым образом жизни, который они отвергают. Но каким бы ограниченным ни был бунт молодых, он оказал глубокое влияние на жизнь наших друзей. В некоторых отношениях даже более глубокое, чем жестокий финансовый удар, который нанесла им фондовая биржа. На первых порах они не понимали и осуждали своих сыновей, отвергших образ жизни, который вели их родители и который позволял родителям и сыновьям наслаждаться комфортом и безопасностью мира пряничных домиков. Помню, с каким огорчением и недоумением отнеслись они поначалу к бунту своих детей. Но по мере того как наши друзья, наряду с миллионами других американцев, осознавали весь позор и ужас войны во Вьетнаме, они начали понимать сыновей. Борьба против войны во Вьетнаме стала суровой школой не только для большого числа молодых людей из состоятельных семей, но и для их родителей. Америка, в том числе и Америка зажиточных пригородов, никогда не станет прежней. Правда, с подписанием Парижского мирного договора, ознаменовавшего собой победу героически сражавшегося вьетнамского народа и его верных союзников — социалистических государств (и прежде всего Советского Союза), а также борцов за мир и национальное освобождение во всем мире, волна бунтарства, с небывалой силой захлестнувшая Америку, пошла на убыль. Однако массовые выступления против попыток госдепартамента снова разжечь огонь войны в Камбодже свидетельствуют о многом. Сегодня и состоятельным американцам, получившим в ходе десятилетней борьбы против «грязной войны» такое потрясение, которое они никогда не забудут, приходится ломать голову над новыми критическими проблемами, связанными с начавшимся распадом их пряничного мирка.

Кое-кто, играя на страхах и смятении обитателей этого расстающегося с идиллией мира, пытается изобразить все углубляющиеся кризисы, порожденные разложением капиталистической системы, как предвестие всеобщего хаоса. Объявляются шарлатаны всех мастей и прожженные демагоги, которые спешат подзаработать в роли пророков близкого конца света. Телевизионные программы и страницы газет заполнены всевозможными проектами индивидуального спасения, которые эти прорицатели предлагают (конечно, за плату) жителям пряничных пригородов. К числу таких пророков принадлежит и некто Хью Мартин — предприимчивый тридцатипятилетний делец, имеющий ученую степень магистра психологии, которая пришлась ему, при нынешних его занятиях, очень кстати. Есть у Мартина и другие «подходящие данные» для роли провозвестника конца света. Еще зеленым юнцом он научился делать деньги, играя на бирже (он-то умел в нужный момент выйти из игры!). К тому же много полезного для себя он почерпнул в одном бестселлере — книжице под названием «Как нажиться на денежном кризисе». Мартин и его последователи развернули активную деятельность среди обитателей пряничных домиков в окрестностях Сан-Франциско от Милл-вэлли до Пало-Альто. Недавно мне довелось побывать в Милл-вэлли. Это идеальный пряничный городок, уютно угнездившийся между величественными зелеными холмами и живописным заливом Сан-Франциско. Тема проповедей Мартина носит поистине пугающий характер: как выжить среди хаоса, который воцарится в результате приближающегося крушения всей экономической системы свободного предпринимательства. Он рисует перед своими слушателями ужасную картину краха, по сравнению с которым кризис 30-х годов покажется сущей безделицей, появления миллионов и миллионов безработных и голодающих, партизанской войны в городах и установления в результате всего этого диктатуры правого или левого толка. (Относительно того, какую диктатуру предпочел бы сам Мартин, сомневаться не приходится.) Установка Мартина беспардонно дерзка. Он явно исходит из того, что панический страх необходимо навязывать средствами настойчивой торговой рекламы. Он призывает своих последователей «насквозь проникнуться ужасом». При этом он внушает им: «Панический ужас пробудит энергию, которая поможет вам действовать». «Паранойя и реальная действительность — это разные вещи, но иногда они сливаются воедино»,— вещает Мартин, ясно давая понять, что «иногда» значит «теперь». Своим последователям Мартин предлагает (по цене 60 долларов за право прослушать две его лекции) следующий рецепт «спасения»: надо приобрести убежище в уединенной местности, чтобы скрыться в нем, когда города охватят мятежи и беспорядки; запастись продовольствием (преимущественно сухими продуктами), медикаментами и вообще всем необходимым для самостоятельного существования и **психологически подготовиться** к катастрофе. Мартин лично подал пример. Он купил дом в районе Милл-вэлли, спрятанный от посторонних взглядов в глубине каньона. Добраться до него можно только пешком, перейдя три пешеходных мостика. Мартин хвастливо заявляет, что «ни одна душа не найдет этого укромного местечка».

Проповедь Мартина — это лишь одно из крайних выражений эскепистских настроений, ростом которых сопровождается прогрессирующий упадок общественной системы. Мартин решил прятаться в каньоне, но чем еще, как не попыткой бегства из городов, являются пряничные домики пригородов и цитадели — громады жилых комплексов, отгородившиеся, как средневековые города-крепости, от «неприятеля»—обитаю-

щих вокруг бедняков? Вот уж поистине призыв «Вперед к феодализму!» можно назвать лозунгом современного эскепизма. Кое-кому явно хотелось бы добавить к нынешней одержимости сексом в самых его развращенных формах еще одну навязчивую идею: **грядет беда!** Среди фильмов, поднимающих тему бедствия, наиболее популярны «Землетрясение» и «Ад в поднебесье». В первом из них при помощи последних достижений кинематографической техники картину землетрясения удалось воссоздать с таким живым правдоподобием, что у зрителей создается полная иллюзия присутствия. Постановщики второго фильма добиваются аналогичного эффекта, показывая, как высотный отель превращается в пылающий погребальный костер.

Однако было бы в корне неверно приписывать подобные настроения обреченности, ожидания катастрофы и эскепизма широким массам американцев. Напротив, в народе нарастает гнев, вызванный горькими переживаниями последнего десятилетия, которые привели к небывалому доселе разочарованию в политических лидерах страны, начиная от всякой мелкой сошки и кончая президентами. Многие называют десятилетие после убийства президента Джона Кеннеди «смутным временем». Это и было «десятилетие смуты» — достаточно вспомнить об убийстве братьев Кеннеди и доктора Мартина Лютера Кинга, об Аттике, Кенте, секретных документах Пентагона, «грязной войне» во Вьетнаме, беспорядках в негритянских и пуэрто-риканских гетто и Уотергейтском деле! Смуте и неурядицам не предвидится конца. Наоборот, они растут и усиливаются: уровень безработицы достигает 8,5 процента (согласно прогнозам, он возрастет в будущем до 10 и более процентов и не начнет снижаться по меньшей мере в ближайшие три года), темпы инфляции составили 12 процентов в год и продолжают расти, свирепствует энергетический кризис, объем жилищного строительства сократился до 50 процентов от уровня прошлого года, кризис наших городов постоянно обостряется и быстро углубляется, а теперь пошатнулось и благополучие пряничных домиков в пригородах. Но, пожалуй, наиболее зловещим предзнаменованием грядущих потрясений является прямо-таки убийственная статистика: **41,1 процента (то есть чуть ли не половина) всех юношей негров в возрасте до двадцати лет не имеют ныне работы!** Встревоженный взрывоопасностью того социального динамита, которым начинены эти сухие цифры, известный политический комментатор Джеймс Рестон предостерегает со страниц газеты «Нью-Йорк таймс» от 23 февраля 1975 года: «Проблема этой необузданной энергии может оказаться посерьезней энергетических трудностей, с которыми он (президент США.— **М. Д.**) сталкивается сейчас на Ближнем Востоке!» Рестон обеспокоен тем, что правительство проявляет недальновидность, все еще подходя к решению этого критического вопроса как к одному из обычных текущих дел. «Хотя администрация Форда обнародовала эти цифры и завела разговор о расширении общественных работ, она несерьезно относится к этой проблеме»,— отмечает Рестон. Никакая другая страна в мире не являет собой такого наглядного примера ограниченности буржуазной демократии и ее хваленой «свободы слова», как США. Никакая другая страна не исследует свои социальные недуги в обстановке такой широкой гласности и не возвещает о них на весь мир со столь мизерными практическими результатами. Это ведь сама администрация сообщила о 41,1 процента безработных среди негритянской молодежи. И она же, как указывает Рестон, ничего не делает для разрешения этой проблемы. Раздаются голоса, призывающие во имя укрепления правопорядка узаконить в негритянских гетто «охоту» на несовершеннолетних преступников, но наша богатейшая в мире страна ничего не предпринимает для того, чтобы дать этим юношам возможность трудиться на благо общества. Наоборот, почти половина из них обречена влачить беспросветное существование на улицах гетто среди кладбищ брошенных, полуразрушенных домов. «Где бы вы ни оказались в нашей стране,— пишет Рестон,— повсюду бросаются в глаза **вопиющие различия между богатыми и бедными** районами в каждом штате, а зачастую в одном и том же городе, большом или малом. В крупных городах, судя по фантастическим ценам, которые платят люди, стоящие на высшей ступени экономической лестницы, есть большие деньги, и вместе с тем **средние американцы сталкиваются с серьезными проблемами** в начале и в конце своей семейной жизни». Ни в одной другой стране мира неимущие, и особенно обитатели гетто, не подвергаются таким мучительным искушениям, как в Соединенных Штатах. Именно в этом безумном мире вопиющих контрастов живут те «41,1 процента», о которых шла речь выше. Современные Вавилоны — средоточия наслаждений и могущества, круглогодичные рождественские ярмарки предметов роскоши на Пятой авеню и даже тронутые распадом пряничные домики мелкой буржуазии и наиболее высоко оплачиваемых рабочих изо дня в день дразнят своей недосягаемостью тех, о чьей доле в экономическом и социальном пироге красноречиво говорит цифра «41,1 процента».

В будущем году наша страна готовится торжественно отпраздновать свое двухсотлетие, но поводов для празднества, право же, мало. Мы оказались в ситуации, которая все больше и больше напоминает повторение событий экономического кризиса 30-х годов. Я хорошо помню те тяжелые времена — ведь они сформировали мое сознание подобно тому, как сформировали они сознание тысяч и тысяч безработных молодых людей. Очереди за бесплатным куском хлеба и тарелкой супа развеяли в 30-е годы «великие мифы» системы свободного предпринимательства о том, что в

Америке каждый может быстро разбогатеть или стать президентом. А сегодня рассыпается прахом и новый миф — миф о благополучных пряничных домиках.

Тысячи американцев, пробуждаясь по утрам от тревожного сна, колесят по стране в отчаянных поисках работы. На днях по телевидению было передано сообщение, что город Форт-Уэрт в Техасе каким-то чудом оказался не затронутым экономическим спадом,— уровень безработицы там составляет «всего только» 3,9 процента. Сообщение это представляло собой шитую белыми нитками попытку поднять шум вокруг «хороших известий». Дело в том, что некоторые представители крупного капитала — сторонники жесткой линии — обвинили средства массовой информации в том, что подаваемые материалы «способствуют» экономическому спаду и даже «вызывают» его. Как видно, они, подобно тиранам древности, полагали, что достаточно казнить вестника, принесшего дурную новость, и худые вести исчезнут. Однако в Форт-Уэрте восторги телевидения не вызвали никакой радости. Ликующее сообщение о городе, которому «повезло», поставило Форт-Уэрт перед серьезными проблемами. Должностные лица из Общества содействия путешествующим умоляли репортеров не передавать больше сообщений о завидном экономическом положении Форт-Уэрта, так как их буквально осаждают доведенные до отчаяния люди, которые надеются получить в этом городе работу.

В отличие от типичной картины кризиса 30-х годов, бедолаги, скитающиеся по стране в тщетных поисках работы, едут не только в обшарпанных, с вмятинами, машинах, битком набитых детворой и семейным скарбом, но и в сверкающих лимузинах последних выпусков с прицепными фургончиками. Многие из этих лимузинов еще совсем недавно красовались перед пряничными домиками.

Беспокойство Рестона вполне обоснованно. Американцы, ищущие работу, не только доведены до отчаяния — они полны гнева. Они не умоляют — они требуют. Перепуганные сотрудники службы содействия путешествующим в Вашингтоне не раз просили полицию очистить помещение от «не поддающихся уговорам» просителей, явившихся за помощью. Гнев «средних американцев» копится и уже начал вырываться наружу, как показывает недавняя демонстрация 10 000 выброшенных на улицу рабочих автомобильной промышленности (сильнее других пострадавших в результате экономического спада) перед вашингтонским Капитолием. Мне хорошо известно, сколько скрытой ярости таится в этом гневе. Ведь такой же гнев клокотал во мне и вокруг меня в годы моей юности — в горькие, но поистине исторические годы экономического кризиса 30-х годов, когда я был одним из руководителей советов безработных и рабочего альянса в Нью-Йорке. Этот гнев, направленный в русло борьбы организациями безработных под руководством численно небольшой, но быстро растущей коммунистической партии, не только спас в те годы миллионы американцев от голода и нищеты, но и привел к введению социального законодательства, в частности, к принятию законов о страховании по безработице, о пособиях особо нуждающимся, о продуктовых талонах, о пенсиях по старости для полностью утративших трудоспособность и о социальном страховании по старости, которые хотя бы в какой-то степени амортизируют для пострадавших силу удара, нанесенного нынешним спадом. Без подобной амортизации теперешний экономический спад, пришедший на смену десятилетию смуты, можно было бы с полным основанием охарактеризовать как «проблему необузданной энергии» посерьезней любого экономического кризиса.

Однако сегодня рушится не только благополучие пряничных домиков, но и механизм амортизации. Высказываются сомнения в платежеспособности системы социального обеспечения. К 1976 году дефицит фондов социального обеспечения достигнет, как полагают, приблизительно 67 миллиардов долларов — система «вот-вот останется без гроша», сообщает газета «Сан-Франциско кроникл» в номере от 16 февраля 1975 года. Продуктовые талоны, без которых миллионы американцев с низкими заработками голодали бы в самом прямом смысле слова, не покрывают стоимости, как это вынуждено признать правительство, даже самого скудного рациона питания. То же справедливо и в отношении пособий, выплачиваемых в порядке социального вспомоществования особо нуждающимся, и всех прочих паллиативов системы социального обеспечения. Ведь это и есть не больше как паллиативы, едва позволяющие кое-как перебиваться перед лицом растущей инфляции и безработицы. И все же правительство отдало недавно распоряжение о 10-процентном сокращении пособий особо нуждающимся. Это значит не просто «несерьезно относиться» к взрывчатым проблемам, против чего Рестон предостерегает правящие круги США,— это значит раздувать пламя гнева «средних американцев», к числу которых относятся теперь многие и многие обитатели пригородных домиков, выбитые из колеи, но протрезвевшие.

Зеркало безумия

Пытаюсь вновь приспособиться к характеру здешнего телевидения, настоящего зеркала безумия. Привыкать к подобному «зеркалу» оказалось труднее всего. Дело не только в том, что это чудо техники заваливает вас специально подобранными и сконцентрированными свидетельствами разложения, рисуя совершенно ошарашиваю-

щую картину (например, вы можете теперь, сидя у себя в комнате, наблюдать натуральное, в цвете, зрелище зверских убийств, сообщениями о которых пестрят первые страницы ежедневных газет). Самое ужасное во всем этом то, что никто не ужасается. Для телевизионных репортеров и комментаторов это хлеб, и трудно себе представить, что бы они делали без такого рода хроники. Все это безумие преподносится деловито, будничным голосом, как будто речь идет о нормальных событиях повседневной жизни. Кровавые подробности пересказываются даже с некоторым смакованием. В этой же манере подаются и убийственные разоблачения. Общий тон подачи материалов таков: «Вот как обстоят дела, и ничего тут не поделаешь; завтра и послезавтра будет то же самое. Поэтому нечего зря волноваться. Лучше отдыхайте у своих телевизоров и наслаждайтесь треволнениями нашего ненадежного мира». И, надо сказать, приглашение действует. Лавина сообщений об актах насилия, каждодневно обрушиваемая на телезрителей, постепенно притупляет восприятие, и люди начинают находить удовольствие в таких вещах. Даже когда телевидение в драматизированной и художественной форме живописует реальные катастрофы, кошмары, язвы жизни общества свободного предпринимательства, оно в страхе отшатывается от правды и пытается представить его пороки в виде добродетелей.

Огромное значение придают на телевидении отработке всяческих острот и шуток — делается буквально все, чтобы посмешить телезрителей (потенциальная эффективность юмора скрупулезно подсчитывается научными специалистами телевизионных корпораций). Среди мастеров этого жанра идет свирепая конкурентная борьба. Я очень люблю юмор, но, замечаю, телевизионные шутки перестали меня смешить, хотя некоторые из них забавны и даже остроумны. Может быть, причина кроется в том, что звучат они «слишком остроумно», «слишком забавно» и «слишком легковесно». А может быть, я не смеюсь из-за того, что не могу отделаться от мысли о потугах платных юмористов, пытающихся выжать из меня смех. Возможно, мне не смешно потому, что меня забавляют «благодаря любезности» корпораций x, y, z, которые хотят, чтобы я запомнил их и их продукты... Или же потому, что мне отнюдь не кажется смешным тот факт, что радиоволны, как и все остальное, принадлежат кучке монополистов. Ну, а может быть, все дело тут в том, что слишком свежи у меня в памяти программы московского телевидения: балет Большого театра, концерты известных исполнителей и спектакли лучших театров, причем передачи не прерываются каждые несколько минут коммерческой рекламой и никто не призывает вас покупать его продукцию. Без малого шесть лет телевидение удовлетворяло мои культурные запросы, так что я привык считать это моим естественным правом и широко пользоваться им. И вот я снова на родине, в стране с богатым культурным наследием, где немало талантливых мастеров искусств. Но на этот раз я никак не могу привыкнуть к тому, что предприниматели, «покупающие» телевизионное время, и телевизионные монополии, «продающие» его, решают за меня и за миллионы моих соотечественников-американцев, из чего должна состоять наша духовная пища. И все это называют «свободой слова», а советское телевидение изображают этаким «объектом контроля и подавления». Смотря «мыльные оперы», эти душещипательные телеспектакли для домохозяек, и многосерийные приключенческие постановки, я понял, что за шесть лет ничего, по существу, не изменилось. Правда, в соответствии с духом времени телевизионный экран стал куда смелее в обсуждении секса и в показе эротических сцен. Пожалуй, самым приятным новшеством явилось то, что теперь среди ведущих исполнителей и дикторов телевидения видишь больше черных лиц. Но это отрадное явление пока что не привело к широкому ознакомлению телезрителей с богатыми культурными традициями негритянского народа и с его нынешним вкладом в культуру, как это делают в Советском Союзе, показывая по телевидению культурные достижения ста национальностей, живущих в СССР. И вот еще какое разительное различие между телевизионными программами, которые я смотрю теперь, и советскими программами, которые я смотрел всего несколько дней назад, бросилось мне в глаза. Сейчас я вижу на экране бесконечную череду личностей, принадлежащих к средним и буржуазным слоям общества, которых занимают проблемы, волнующие многих людей их круга. Да и эти проблемы не являются насущными и затрагиваются лишь самым поверхностным образом. Помимо «героев» уголовной и скандальной хроник экран американского телевидения заполняют важные персоны из сферы политики и бизнеса. А ведь на днях еще я видел на экране телевизора в Советском Союзе совсем других героев: лучших тружеников заводов, полей и шахт, лучших ученых, искусствоведов и артистов.

Неприятности в земном раю

Сан-Франциско, конечно, тоже является частью нашего сумасшедшего дома, но это, пожалуй, самая очаровательная его часть. Тут почти примиряешься с мыслью, что ты находишься в бедламе. В каждом американском городе есть места, откуда открываются красивые виды, и такие возвышенности, господствующие над окружающей местностью, обычно становятся драгоценным достоянием самых богатых. Закаты и

восходы, горные пики и открытые морские просторы, как и всякий товар высшего качества, имеют в нашей стране свою цену, которая, как правило, большинству не по карману. И в Сан-Франциско тоже лучшие районы захвачены в основном наиболее состоятельными людьми. Жилые же дома, населенные рабочими, особенно если они расположены в этих заветных уголках, сносят под предлогом обновления облика города, и это становится все более серьезной проблемой. На их месте возводят претенциозные административные и жилые высотные здания, которые не только искажают преимущественно горизонтальный силуэт Сан-Франциско, но и все больше лишают город его основной особенности, придающей ему прелесть и своеобразие,— открытого вида на живописный голубой залив и окружающие холмы. В течение нашего шестилетнего отсутствия жители Сан-Франциско вели яростную борьбу за красоту своего города и за равное для всех право наслаждаться ею. Комплекс небоскребов типа нью-йоркских, тесной группой возвышающихся в деловой части Сан-Франциско, свидетельствует о далеко зашедшем процессе «манхэттенизации». Это такое же порождение экономики свободного предпринимательства, как и асфальтовые джунгли Манхэттена в глубине бетонных ущелий. Цена каждого клочка земли так высока, что выгодно строить лишь дома высотой до небес. А если массы горожан больше не видят солнца, моря, холмов или гор — что ж, тем хуже для них. Вот откуда берется «манхэттенизация», которая до такой степени преобразила облик всех больших городов США, превратив их в точную копию Нью-Йорка, что стало все труднее отличать их друг от друга. Многие опасаются, что такая же участь постигнет и Сан-Франциско, эту жемчужину Тихоокеанского побережья, если крупные корпорации, владеющие недвижимостью, получат свободу действий.

Но пока что Сан-Франциско очень красив и полон прелести. Природа и первые планировщики города были к нему куда добрее, чем нынешние осквернители. Сан-Франциско стоит на многочисленных холмах, и куда бы вы ни пошли, впечатление такое, что весь город раскинулся у ваших ног. Из окон живописных домов на вершинах холмов и почти с каждого перекрестка открываются такие виды, от которых захватывает дух. А вечером гладь залива напоминает небо, мерцающее звездочками огней. Холмистый рельеф украшает город, но и осложняет жизнь в нем: автомобили здесь изнашиваются намного быстрее, особенно быстро приходят в негодность тормоза и механизмы передач. Слабо тормозящие машины часто скатываются по крутым склонам, и это представляет постоянную опасность: автомобили с сильно помятым, покореженным кузовом здесь обычное зрелище. Об этой опасности предупреждают дорожные знаки на улицах. Несоблюдение строгих правил стоянки автомашин или небрежное к ним отношение расцениваются как угроза общественной безопасности. В Сан-Франциско для того, чтобы совершить прогулку пешком, спускаются на машине в низинную часть города. Прогуливаться здесь значит карабкаться в гору, и когда человек моего возраста преодолевает, наконец, крутой подъем, он долго не может перевести дыхание. Несмотря на угрозу «манхэттенизации», значительная часть Сан-Франциско по-прежнему восхитительно горизонтальна по своей архитектуре. Поэтому здесь нет неуютного чувства, что ты зажат домами-исполинами, которое испытываешь в большинстве крупных городов США. Высота бетонных громад не подавляет здесь человека. Тут нет такой резкой и гнетущей диспропорции между зданиями и людьми. Не в пример другим американским городам Сан-Франциско сумел сохранить свой неповторимый облик, а его горожане — сильно развитое чувство местного патриотизма. В эпоху типовой архитектуры его двух-, трехэтажные строения самой разнообразной формы и окраски (обычно яркой, многоцветной) отличаются очаровательным своеобразием. Они служат не только жильем, но и своего рода архитектурной выставкой на открытом воздухе. Вы невольно задерживаетесь, чтобы полюбоваться на прелестные домики, так естественно вписывающиеся в пейзаж.

Гуляя по улицам Сан-Франциско, то и дело останавливаешься и смотришь по сторонам — удовольствие, которого лишено большинство городских жителей сегодняшней Америки. Именно во время таких прогулок все больше влюбляешься в город. Достаточно побеседовать с любым сан-францискцем, чтобы сразу убедиться в том, с какой любовью относятся к своему городу его обитатели. Своим особенным колоритом Сан-Франциско во многом обязан национальному и расовому составу населения. Этот город на самом краю нашего Дальнего Запада ближе всего к Востоку не только в географическом отношении. Среди его жителей больше людей азиатского происхождения, чем в любом другом городе Соединенных Штатов. Добавьте сюда изрядное количество выходцев из Мексики и Латинской Америки, негров и значительную примесь русских (главным образом, потомков первых поселенцев), и вы получите представление о пестром, многонациональном населении Сан-Франциско.

Расскажу об одном запомнившемся мне воскресном дне, когда моему взору открылись и колдовское обаяние Сан-Франциско, и грозные тучи социальных невзгод, нависшие ныне даже над этим прелестнейшим из «райских уголков» городской Америки. Внезапно кончились обложные дожди, небо расчистилось, и во всем своем великолепии в город пришла весна. Это событие было встречено с особым ликованием, так как явилось для сан-францискцев неожиданным подарком. Зимние месяцы в Сан-Франциско — сезон дождей. Еще накануне, как и в предшествующие дни, было ненастье, по небу ползли низкие тучи. А этим погожим воскресным днем

жители города высыпали на набережные. Одна из самых восхитительных особенностей Сан-Франциско, придающих городу неповторимое очарование, состоит в том, что его портовая часть — это не только место, где кипит работа. Это еще и один из главных городских центров отдыха и развлечений. Здесь сосредоточены многие увеселительные заведения и лучшие рестораны Сан-Франциско.

Горожане, в основном молодые парочки, фланировали по эспланаде вдоль взморья — замечательному месту для прогулок, овеваемому свежим ветерком с залива. Гуляющие останавливались, чтобы неторопливо рассмотреть разные кустарные изделия, выставленные продавцами прямо на тротуаре. Рядом сидели в ленивых позах, нежась на солнце, бородатые длинноволосые юноши и девушки, одетые в яркие одежды самого разнообразного стиля. Здесь совсем не ощущалось атмосферы базара: никто не зазывал покупателей, не нахваливал товара, не торговался, хотя продавцы, очевидно, были заинтересованы в том, чтобы сбыть свои изделия. Все это больше напоминало расположившуюся на тротуаре выставку, чем рынок. Тут были разложены красиво выделанные кожаные ремни, разноцветные бусы, кустарные ложки, мониста, цветочные горшки необычной формы, шляпы и шапки в стиле головных уборов первых поселенцев на Дальнем Западе. Чернобородый молодой человек с внешностью Иисуса Христа (по крайней мере половина этих бородатых молодых людей походила на Христа) сочинял стихи на любую предложенную тему по цене 10 центов за двустишие. Другой «Христос» потешал публику, изображая из себя «джюкбокс» — музыкальный автомат. Как только кто-нибудь опускал монету в прорезь большого ящика, в котором сидел молодой музыкант, последний выскакивал из этого импровизированного «джюкбокса» и исполнял на трубе заказанную мелодию. А неподалеку выстроились длинные очереди желающих прокатиться на знаменитом канатном трамвае Сан-Франциско. По линиям этого трамвая, являющегося, собственно, фуникулером, курсируют старомодные открытые вагончики типа конок начала нашего века. Плата за проезд в таком трамвайчике — 25 центов, такая же, как и в огромных современных автобусах обтекаемой формы. Но все же люди терпеливо ждали своей очереди, чтобы совершить поездку в прошлое.

Сан-Франциско принадлежит к числу немногих американских городов, где имеется метро. Метро в Сан-Франциско новое, и здесь нет той гнетущей атмосферы упадка, которая превращает в ад подземку Нью-Йорка. Впрочем, не так уж давно новым было и нью-йоркское метро. Однако каким бы современным и привлекательным ни было метро Сан-Франциско, его работа могла бы послужить идеальным материалом для создания комедии ошибок, если бы не угрожала каждодневно обернуться трагедией. Несчастные случаи, приводящие людей к тяжелым увечьям, иной раз к гибели, не говоря уж о частых задержках, происходят здесь с таким постоянством, что метро стало мишенью для горьких шуток и предметом ведущегося сейчас специального расследования. Москвичам будет трудно поверить, что современное метро, оборудованное новейшими автоматическими приборами и приспособлениями и управляемое с помощью системы электронно-вычислительных машин (и притом где — в Соединенных Штатах, которые славятся умением четко наладить работу и усовершенствованными компьютерами), может оказаться таким ненадежным и небезопасным средством транспорта. Автоматические двери вагонов метро, неожиданно открывающиеся в момент, когда они должны быть закрыты, представляют такую опасность, что инженеры рекомендуют соорудить проволочные предохранительные заграждения для спасения жизни пассажиров, которые могут выпасть из открывшейся по ошибке двери вагона на высоких надземных станциях (иногда высота достигает 30 футов, так что падение грозит увечьем или смертью). Прерыватели электрического тока — автоматические выключатели — вдруг сами по себе воспламеняются. А ведь их устанавливали специально для того, чтобы **предохранить** от воспламенения электросистему. Из 386 вагонов метро 186 в настоящее время не используются — из-за поломок или же находятся в ремонте. Зато, как и во всех видах общественного транспорта повсеместно в США, плата за поездку на короткое расстояние в ближайшие окрестности Сан-Франциско (стоимость аналогичных поездок в московском метро — 5 копеек) поднялась с 1 марта сего года с 60 центов до 1 доллара. Минимальная стоимость проезда, возрастающая по зонам, составляет 25 центов.

И вот какая идея пришла мне в голову. Почему бы не избрать в качестве одного из практических проектов, которые будут осуществляться США и СССР в сотрудничестве друг с другом, разработку методов наиболее эффективной и, разумеется, наиболее экономной эксплуатации метро? Не только сан-францискцы, но и нью-йоркцы приветствовали бы такое сотрудничество. Ни одна страна в мире не накопила такого опыта, умения и знаний в этой области, как Советский Союз. Возможно, тот факт, что до сих пор не ведется совместной работы в этом направлении, объясняется отчасти тем, что пресса США избегает проводить какие-либо сравнения между американским и советским метро. Московские корреспонденты американских газет и журналов, финансируемых крупным капиталом, не стесняются на все лады расписывать советские «недостатки». Более того, раздувание этих «недостатков» является одним из главных их занятий в часы, когда они не слишком заняты преувеличением роли крохотной и все уменьшающейся кучки «инакомыслящих». Большинство этих же американских газет изображает дело так, будто разрядка международной напряженности и сотрудниче-

ство между США и СССР выгодны только Москве. Советский Союз, утверждают они, не может обойтись без технических знаний Запада (и особенно Соединенных Штатов). И ничтоже сумняшеся призывают Вашингтон потребовать ту или иную «плату» за предоставление такой помощи. Судя по тому, что я видел собственными глазами, наша страна тоже вполне могла бы воспользоваться советскими техническими знаниями, и работа метро и систем общественного транспорта в наших охваченных кризисом городах является лишь одним из наглядных тому примеров.

Другим примером могут служить коммунальные услуги — снабжение газом и электроэнергией. Трудно представить себе бóльшую бессмыслицу, чем предоставление коммунальных услуг на откуп монополиям, как это практикуется у нас. Ни в какой другой крупной капиталистической стране мира коммунальные услуги, столь необходимые людям, не находятся полностью в руках монополистов. Привыкнув платить в Москве около 3—4 рублей в месяц за электричество и по 16 копеек с человека (меньше рубля со всей нашей семьи) за газ, я никак не могу «привыкнуть» к мысли, что какой-то группе лиц предоставлено право брать с нас большие деньги за «привилегию» пользоваться «их» газом и электричеством. За эту «привилегию» американцы платят ныне дороже, чем когда бы то ни было. Так, например, компания «Пасифик гэс энд электрик» требует сейчас (и добьется-таки своего) повышения расценок, в результате чего среднему квартиросъемщику в Сан-Франциско придется выкладывать еще 7 долларов 88 центов в дополнение к 28 долларам 35 центам, которые он ежемесячно платит за газ и электричество. Жители Сан-Франциско, как и большинство американцев, платят за пользование газом и электроэнергией в два с лишним раза больше, чем жители советских городов — за квартиру. Но прямо-таки верхом бессмыслицы является то, что пресса, радио и телевидение изображают это беспардонное требование как законное осуществление монополией, владеющей предприятиями общественного пользования, своего «естественного права»!

В соседнем Окленде «частная» авиалиния, управляемая каким-то таинственным мистером Бердом, энергично занималась вербовкой пилотов (набравшихся «опыта» во время бомбежек вьетнамских деревень) для срочной переброски по воздуху военного снаряжения ради спасения пошатнувшегося марионеточного правительства Камбоджи, но что-то не видно, чтобы предпринимались такие же срочные усилия для спасения пораженных кризисом школ в Сан-Франциско. Городской совет Сан-Франциско проголосовал за отмену в средних школах внеклассных занятий физкультурой, музыкой, театральной самодеятельностью и всех прочих занятий после уроков. Это решение вызвало волну бурных протестов со стороны учащихся, родителей и учителей, и мэр города, стараясь успокоить общественность, в конце концов объявил об устройстве концерта музыки рок-н-ролла, весь сбор от которого пойдет на оплату сильно урезанных программ внеклассных спортивных занятий в этом году. Итак, на этот год деньги «найдены». Как быть в будущем году — это уже другой вопрос. Здесь считают, что без музыки, театральной самодеятельности и прочих внеклассных занятий вполне можно обойтись. Ни в какой другой стране гражданам не приходится так раскошеливаться, расплачиваясь за неспособность правительства и общества позаботиться о них, как в Соединенных Штатах. Американцев призывают делать взносы в фонды борьбы с раком, сердечными болезнями и артритами и оказывать финансовую поддержку одной-единственной телевизионной станции, программы которой более или менее рассчитаны на удовлетворение культурных запросов. Обслуживание, обычно предоставляемое в социалистических странах государством, перекладывается здесь на плечи самой общественности или же финансируется за счет широко рекламируемых пожертвований из различных филантропических фондов, создаваемых крупным капиталом. А поскольку эти пожертвования вычитаются из сумм, подлежащих обложению подоходным налогом, на деле выходит, что все эти виды обслуживания финансируются налогоплательщиками.

С приморской эспланады в Сан-Франциско открывается вид на сине-зеленый водный простор, сходящийся у горизонта с голубым небом. Между ними лишь зеленые холмы и Алькатрас. Раньше этот остров был известен своей страшной тюрьмой для преступников, приговоренных к длительным срокам заключения. Теперь тюрьма закрыта, но сохранена в качестве напоминания о страданиях и ужасах недавнего прошлого, которые и по сей день являются уделом многих. В стране осталось немало алькатрасов, хотя никому больше не приходит в голову садистская идея построить тюрьму посреди такой красоты. А у моей сестры Рут зрелище Алькатраса вызывает воспоминание о том, как она полгода прожила там среди скал вместе с индейцами, оккупировавшими этот остров. Она стала их сестрой милосердия. Восстание индейцев на этой «скале» и привело к закрытию алькатрасской тюрьмы. По окончании оккупации Алькатрас стал одной из городских достопримечательностей. Теперь любители всяческих достопримечательностей могут за определенную плату посетить «скалу» и попытаться представить себе, каким адом была жизнь заключенных в окружении райских красот.

От эспланады рукой подать до Чираделли-сквера. Чираделли-сквер представляет собой архитектурный комплекс, импозантный и радующий глаз, который сплошь состоит из ресторанов, магазинов и лавчонок. Как и многие другие посетители этого торгового центра, мы только разглядываем выставленные в витринах товары и

Арлезианки в праздничных нарядах

Из работ французского художника Ива Брайера

Белая скала

Испанская деревня

Хижина художника

Кипарисы

Петух

деликатесы. Жители Сан-Франциско, подобно большинству американцев, любят поглазеть на витрины. Вообще рассматривание витрин — одно из любимейших американских развлечений. Если уж богатство и изобилие Америки не удается попробовать на вкус, то можно сколько угодно наслаждаться их видом и запахом. Особенно теперь, когда безумные инфляционные цены делают это «изобилие» недоступным для многих и многих.

Приятное времяпрепровождение превращается в настоящую пытку, когда мы попадаем в район, именуемый Рыболовецкой пристанью. Из огромных чанов, в которых варятся крабы, креветки и омары, распространяются дразнящие ароматы. Красными горами лежат на прилавках раки и лангусты. Многие прохожие останавливаются, соблазненные видом всех этих яств, пожирают их взглядом, жадно вдыхают их запах. Мы услаждаем себя аппетитным зрелищем и упоительными ароматами, задерживаясь на миг, чтобы изучить меню с головокружительными ценами, выставленные в окнах ресторанов. Шесть лет назад я вот так же прогуливался по Рыболовецкой пристани. Цены и тогда были высокие, но не настолько, чтобы нельзя было устроить себе пир. Если у вас разыгрывался аппетит, вы могли зайти в ресторан и отвести душу. Конечно, это било по карману, но все же можно было и кутнуть. А теперь, подобно большинству прогуливающихся здесь, мы не можем позволить себе такую роскошь и лишь поглядываем снаружи на немногих счастливчиков, для которых и сегодня цена — не помеха.

Нагрянувшая весна высветила и темную сторону улицы. В районе Мишн-авеню мы внезапно натолкнулись на длинную очередь перед мрачноватым церковным зданием. Как не похож был этот унылый хвост на очередь желающих проехаться на трамвайчике! И здесь тоже люди терпеливо дожидались чего-то, но отнюдь не увеселительной прогулки по городу! Они дожидались дарового ужина, которым благотворительная организация при церкви кормила нуждающихся по принципу «первым ест тот, кто первый пришел». Да, это была «хлебная очередь» — очередь безработных за бесплатным питанием. И стояли в ней не обнищавшие до крайности бедняки, не опустившиеся на дно неудачники, а точь-в-точь такие же рабочие люди, которых мы только что видели на Мишн-авеню,— молодые и старые, мужчины и женщины.

Экономический спад ощущается в Сан-Франциско еще острее, чем в Нью-Йорке. В Калифорнии более 9 процентов безработных. Одна из городских телевизионных станций, как видно, решила взять на себя роль доброго самаритянина и одновременно с этим нажить кое-какой политический капитал на служении обществу. Каждый день она представляет с экрана одного из безработных (которых в городе тысячи и тысячи) в расчете на то, что среди телезрителей найдется заинтересованный наниматель. Это своего рода публичные торги, где продаются с молотка рабочие руки. Телезрителям демонстрируется фотография счастливчика, отобранного для этого аукциона, и сообщаются его краткие анкетные данные: профессия, квалификация, уровень образования и состав семьи. За всем этим слышна мольба: «Возьмите меня на работу!» Около миллиона безработных в одной только Калифорнии и свыше семи с половиной миллионов безработных по США в целом обращаются с той же мольбой — будь то по телевизору, в газетных объявлениях или на биржах труда, частных и государственных. Словно какая-то страшная болезнь поразила внезапно страну, превратив мужчин и женщин, известных на весь мир своей высокой производительностью труда, в ставших ненужными людей, которые вынуждены униженно просить о том, чтобы им дали возможность стать жертвой эксплуатации.

И мне вспомнилась первая моя прогулка по улице Горького в Москве! Эта прогулка запечатлелась у меня в памяти, потому что я впервые увидел тогда бесчисленные объявления, которыми пестрели доски объявлений на стенах магазинов, учреждений, всевозможных предприятий. «Вас приглашают...» — говорилось в объявлениях. И куда приглашают — на работу! На протяжении шести лет мне на каждом шагу попадались эти объявления, приглашающие на работу, и я стал забывать о том, что существует другой мир — мир, откуда я прибыл, где подобные приглашения редки и носят сугубо временный и эфемерный характер. Когда я покидал Соединенные Штаты, в экономике страны царило оживление — это был самый разгар длительного периода подъема деловой активности. В ту пору безработицей были поражены главным образом «очаги бедствия», неблагополучные районы и слои общества: городские гетто, где безработных всегда было хоть отбавляй, бассейн Аппалачей, престарелые и молодежь, национальные меньшинства. Теперь же я вернулся в Америку, в которой бедствие вырвалось за пределы «очагов» и распространилось на всю страну. Беда угрожает теперь средним американцам. Она уже постучалась в двери к квалифицированным рабочим, которые производили своим трудом те 9 миллионов автомобилей, что выпускала Америка каждый год. Она обрушилась на большие и малые города и на сельские местности, поражая в первую очередь одноотраслевые промышленные центры. И она совершает свое грозное шествие по стране в сопровождении новой беды — инфляции, которая наносит американцам еще один жестокий удар.

Однако у читателя не должно сложиться ложное впечатление, будто в сегодняшних Соединенных Штатах вообще не процветает никакой бизнес. Нет, этого сказать нельзя. Поэтому кое-кто здесь ломает голову над решением проблемы, прямо противоположной той, что стоит перед безработными, и столь же серьезной. Как помочь людям, у которых денег столько, что они не знают, куда их потратить? И вот один

бизнесмен, Рональд Уитэкр, движимый духом подлинно свободного предпринимательства, нашел решение: «Плавающий город для сверхбогатых!» Уитэкр и его предприимчивые компаньоны собираются приобрести пароход «Юнайтед Стейтс», который некогда был гордостью американского флота, а ныне поставлен на прикол как неисправный. Корабль длиною в 990 футов будет превращен, по словам Уитэкра, в плавучий рай «для очень, очень богатых, которые **ищут** способ приятно потратить свои большие деньги». Ведь в конце концов, как правильно отметил Уитэкр, «у денежных людей денег полно всегда, независимо от того, **бум** сейчас или **спад**». Вот каким образом предполагает Уитэкр **помочь** таким людям разрешить их тяжелую проблему. На судне оборудуются 282 квартиры, которые будут сдаваться на 76 дней по цене от 650 000 долларов за однокомнатную до двух с половиной миллионов долларов за восьмикомнатные апартаменты-люкс. Эти 76 дней пароход будет находиться в открытом море, совершая плавание по маршруту Средиземное море — Нью-Йорк — Карибское море — Флорида.

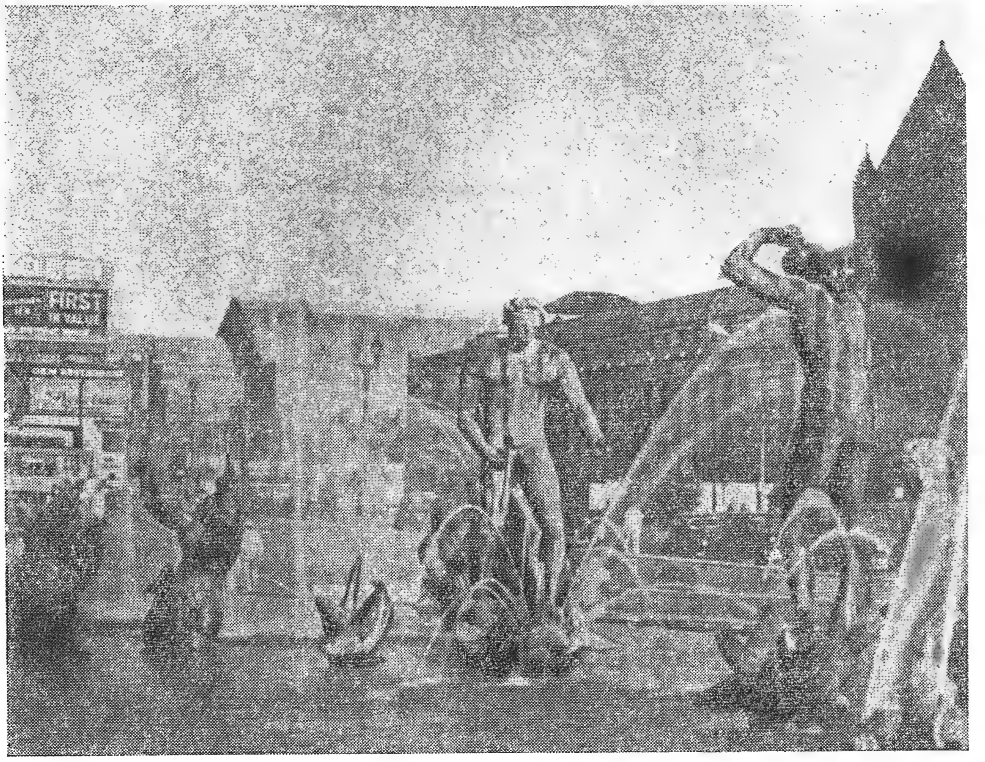
Возвращение в сумасшедший дом

Разумеется, безумный и бесчеловечный мир, который я покинул на шесть долгих лет, был мне достаточно хорошо знаком. Ведь всю мою сознательную жизнь я боролся за то, чтобы изменить его. Но теперь я вернулся в этот мир после того, как пожил (а не просто побывал) в разумном и подлинно человечном мире. Возвращение сопровождалось для меня тяжелыми перегрузками, подобными — в известном смысле — тем, что испытывают космонавты. Впечатление такое, словно я вернулся не в иную страну, а в иную эпоху.

Вы, наверное, помните известный советский фильм о русском солдате, потерявшем память в результате ранения, полученного в первую мировую войну, незадолго до Октябрьской революции. Когда память к нему возвращается, он обнаруживает, что революция перевернула все вверх дном. Каторжная жизнь рабочего в царской России, которой он вдосталь хлебнул, безвозвратно ушла в прошлое. Драматический эффект достигается в фильме путем изображения радостного изумления рабочего при виде происшедших перемен. Так вот, мое возвращение сопровождалось таким же потрясением, но только с противоположными эмоциями. Я как будто бы опустился в мир, который распадается и становится прошлым человечества. Это было возвращением в общество, которое не только разлагается, но и становится все более безумным.

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

◆

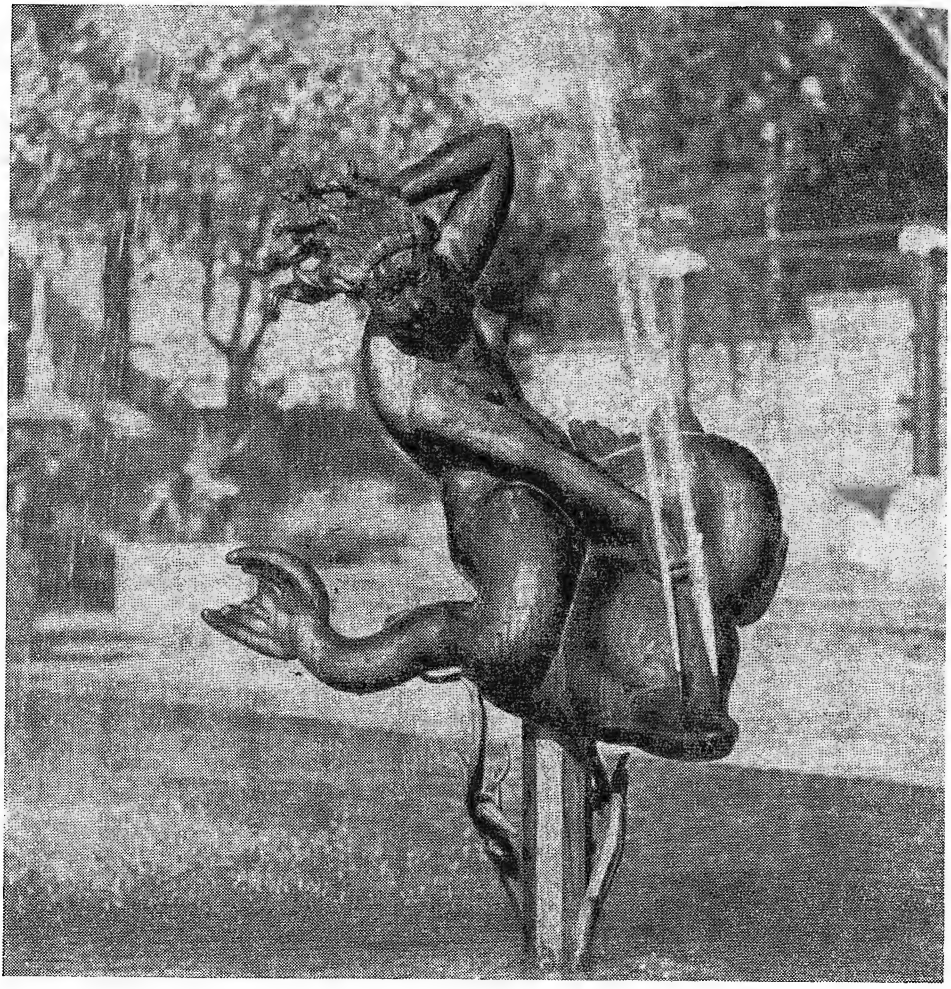


«Встреча вод». Фонтан. Сент-Луис.

КАРЛ МИЛЛЕС

К столетию со дня рождения

Имя Карла Миллеса, выдающегося шведского скульптора XX века, профессора Королевской академии художеств в Стокгольме, широко известно не только в Скандинавских странах, но и за пределами европейского континента. Этой популярности до сих пор содействует обширное наследие мастера — итог его восьмидесятилетней жизни. Многогранное и очень современное по мироощущению, оно включает небольшие, преимущественно ранние, жанровые композиции, портретную галерею современников, создававшуюся на протяжении всего творческого пути, и множество разноплановых монументальных произведений. С искусством Миллеса позволяет познакомиться оригинальная



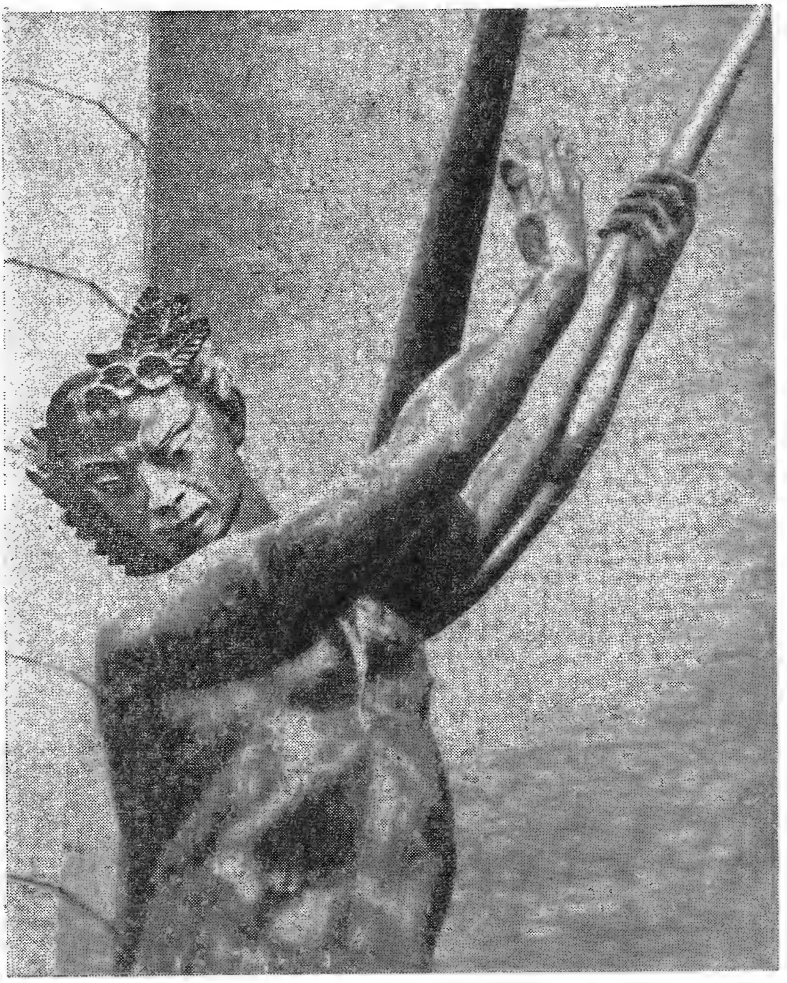
«Отблеск солнца». Миллесгорден.

экспозиция «Миллесгордена» — музея под открытым небом, расположенного в живописных окрестностях Стокгольма на острове Лидинге. На территории этого музея и похоронен художник.

Самые значительные достижения скульптора связаны с монументально-декоративным творчеством. Привлекают его фонтаны — плод безудержной фантазии и высокого мастерства ваятеля. Среди малых фонтанов наиболее известны очаровательная «Маленькая наяда» (бронза и гранит, 1916), исполненный буйного темперамента «Отблеск солнца» (бронза, 1918), «Купающаяся Сусанна» (гранит, 1925), грациозная «Диана» (бронза, 1928) и ряд других малых фонтанов. Каждый из них — часть гармонического ансамбля, составленного произведением искусства и окружением, природным и архитектурным.

Дарование Миллеса-монументалиста, сказавшееся очень рано, в полную меру заявило о себе тогда, когда от однофигурных камерных композиций он перешел к масштабным усложненным фонтанным проектам, отмеченным подлинно общественным звучанием. Их осуществление начиная со второй половины двадцатых годов будет играть ведущую роль в творческой деятельности скульптора, принесет ему славу мастера городского фонтана.

Многие фонтаны Миллеса стали эмблемами шведских, а также американских городов (в начале 30-х годов Мил-



«Орфей». Фрагмент фонтана. Стокгольм.

лес уезжает в США, в 1951 году возвращается в Европу, работает попеременно в Швеции и в Италии, участвуя в формировании их городов).

Романтическая приподнятость, торжественность настроения, внутренняя экспрессия, красота силуэтов отличают фонтан «Похищение Европы», в образах которого еще одно оригинальное воплощение нашел античный миф о похищении Зевсом красавицы Европы (Халмстад, 1926). В «Фонтане Фолькунгов», центром которого является бронзовая конная статуя, Миллес обращается к национальному сюжету, легенде, рассказывающей эпизод из жизни одного из представителей средневековой королевской династии. На этот раз автор вводит в городское окружение обостренно драматический образ (Линчёпинг, 1927).

Одним из самых известных фонтанов Миллеса является «Посейдон» (1930) — символ Гётеборга, крупнейшего скандинавского порта. Благодаря отлично найденному соотношению архитектуры и скульптуры он великолепно вписан в замкнутое с трех сторон пространство площади.

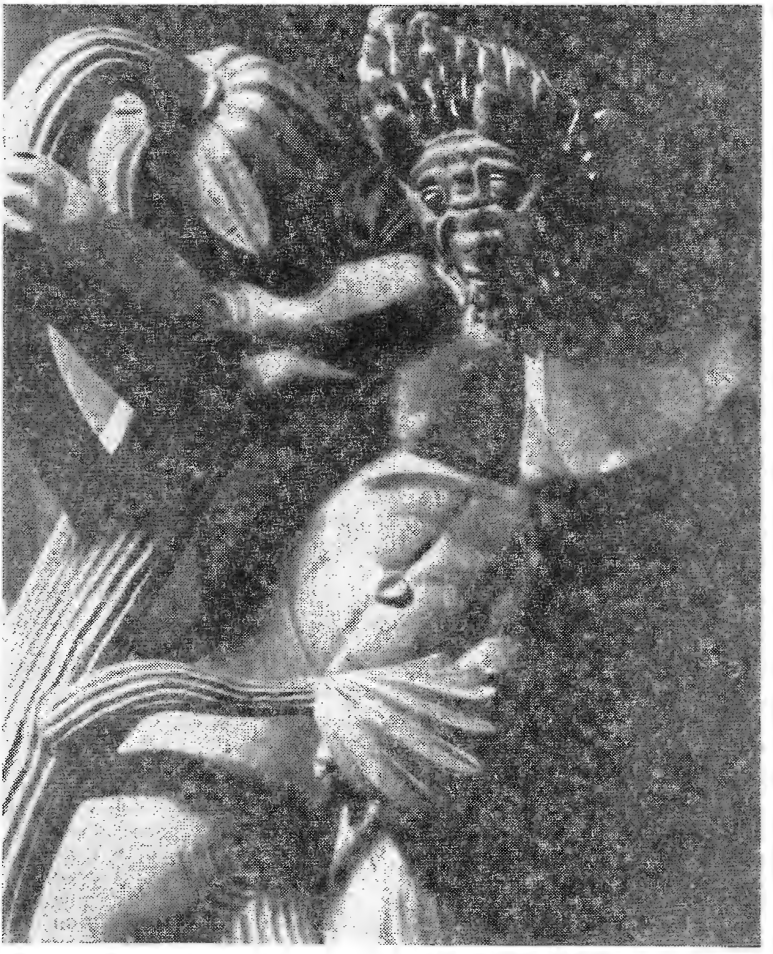
В 1936 году на одной из главных площадей Стокгольма, перед Концертным домом был возведен фонтан «Орфей». Грустная легенда о любви Орфея к Эвридике ожила в пластических образах. Психологизм и эпичность повество-

вания слиты в одной из самых грандиозных многофигурных фонтанных композиций Миллеса — «Встреча вод» (Сент-Луис, штат Миссури, США, 1940). Торжественная встреча двух рек Америки — Миссури и Миссисипи — олицетворена здесь в образах молодости — атлетически сложенного юноши и мечтательной девушки. Мажорное настроение объединяет эту центральную группу с вторящим ей скульптурным аккомпанементом.

Особое место в творчестве Миллеса занимает задуманная как фонтан аллегорическая композиция «Человек и Пегас» (Де-Мойн, штат Айова, США, 1949; композиция неоднократно повторена), в которой рядом с мчащимся по небу крылатым конем изображен вознесенный им человек. Проблема движения, привлекавшая Миллеса на протяжении всего творческого пути (скользящие, летящие, парящие фигуры), получила совершенное выражение в этой композиции, славящей величие человеческого разума, воплощающей идею раскрепощения личности.

В неустанном прославлении человека и природы — главная притягательность и сила своеобразного и талантливого искусства шведского скульптора.

МИРОСЛАВА БЕЗРУКОВА



«Фавн». Фрагмент группы «Человек и природа». Нью-Йорк.

Среди книг

Издано в СССР

ЧЕТЫРЕ ПОЭТА

Из современной румынской поэзии. Составители К. Ковальджи и Ю. Кожевников. Предисловие К. Ковальджи. Москва, «Прогресс», 1974.

Поэтический сборник «Из современной румынской поэзии» представил четыре имени: Н. Стэнеску, М. Сореску, А. Бландиана, И. Александру [1]. Но зато у каждого из поэтов здесь достаточная «площадь», почти мини-избранное. Их стихи не случайны в таком узком сборнике. Они знаменуют разные течения румынского стиха. Объемный портрет современной поэзии Румынии возникает, таким образом, и из сборника, о котором ведется речь.

Неповторимая интонация Никиты Стэнеску (род. в 1933 г.), чья бунтующая и подвергающая беспощадному анализу, изощренная и сложная поэзия то взмывает в патетические высоты восторга, то рушится в глубины драматических противоречий, отражает повсеместную и не только в румынской новой поэзии тягу к расширению прерогативы стиха. Разве не ощущаем мы сходства поэзии, скажем, Стэнеску и А. Вознесенского, или П.-Э. Руммо, или Отара Чиладзе? Это не только «интеллектуальная» поэзия — она мифотворяща и аналитична одновременно. Она «собирает» большой мир по атомам, торопится его освоить хотя бы в виде первоначального, чернового синтеза. Она ко всему причастна, и все отражается в ее особом малом мире.

Будто из «века чистого разума» смотрит на нас ироничная улыбка Марина Сореску (род. в 1936 г.). Все видящий с рентгеновской нескромностью, его стих — порождение ума не насмешливого, но проникающего. Стих, боящийся патетики. Точный до того, что кратчайшая прямая к истине становится эстетической категорией. Как у Бориса Слуцкого — у нас, Артура Мендзыжевского, Тадеуша Ружевича — в Польше, Константина Павлова — в Болгарии. Оголенная мысль, парадокс, трезвость XX века, поправка к иллюзиям на здравый смысл и исторический опыт. Направление, на мой взгляд, все более набирающее силу в мировой поэтической практике и слабо осмысливаемое критикой. Хотя уже Маяковский, Аполлинер, Элиот задали нам эту задачу.

Ана Бландиана (род. в 1942 г.) — само олицетворение «чистого лирика», с традиционной восторженностью перед словом и с традиционной верой в то, что слово и поэт умеют «творить счастье». Она сама зажигается от собственных слов, от безоглядного желания быть среди людей, открываться, делиться. Ей «нечего забыть. Ни перед кем не стыдно... некого таиться». Бландиана вся на виду и доверчиво ждет от других того же. За этим поэтическим феноменом стоит давняя традиция поэзии

[1] Стихи Н. Стэнеску, М. Сореску, А. Бландианы, И. Александру были опубликованы в «Иностранной литературе» № 2, 1968. Стихи М. Сореску были опубликованы в № 8, 1974.

самовнушения и здоровой веры в магию эмоций. Эта традиция романтическая с известной модификацией нашего времени.

Наконец, еще один вариант поэтической типологии — сплав реалистического подхода к жизни, внимательного взгляда на нее, такую, какая она есть в самой себе, а не в поэзии,— с напряженными раздумьями о сути вещей. Неторопливое вникание в предмет, свойственное натуре трансильванского крестьянина, острая и гуманная мысль интеллигента XX столетия — вот чем является для меня поэзия Иона Александру (род. в 1942 г.), четвертого участника рецензируемого сборника. Опять-таки, переходя на аналогии, можно сказать, что эта традиция связана с «прочными» именами Дюлы Ийеша в Венгрии, Александра Твардовского у нас.

Пожалуй, никто в румынской поэзии так, как Н. Стэнеску, не ощущает ритмов эпохи. Текучести времени. Нервная его муза стихийно защищается. Она любит образ... камня. «И я и мой слух могли бы сравниться только с камнем, с нерасколотой глыбой» («Сердце»). «Если были бы камни подобны костям, как росли бы они...» («Если бы»). «Ах, пусть не знает никто... застывшей сути камней...» («Состояние бытия»). «Из камня сложенная плотная стена большой и синий глаз приоткрывает...» («Стихотворение»). «В поле замерзшем лошади гибли... словно были тела их из камня» («На каменном поле»). Порой к символам прочности прибегают тогда, когда боятся непрочности, изменчивости, текучести мира. Это как раз такой случай. Но в констатации «текучести» — одновременно и залог оптимистических гипотез: «Ты — жизнь, вращение, превращение будущего «будет» в настоящее «есть». Это не игра ума, не каламбур. То, что мы хотим приблизить, становится явью не без помощи воли. Недаром стихотворение называется «Полюс будущего», по аналогии, очевидно, с «полюсом недоступности». В стихотворении «Старая корчма» состояние оцепенения передано образом: «и какое-то вокруг позавчера». Время входит в образную стихию Стэнеску как движущая сила сюжета во многих стихотворениях. В «Стертом рисунке» состояние улетучивающейся былой близости становится физически ощутимым. Стэнеску подымает это чувство непрочности отношений между людьми до философских высот, оно олицетворено неким следом «звездного зверя, который прошел по снегам никогда — теперь, всегда, когда-то...» («Как бело, как черно-бело!»).

Знаменательная особенность поэзии нашего века: раньше молодая поэзия или не интересовалась проблемой Времени, или ощущала его в неизмеримой проекции неисчерпаемого Завтра. Сегодня с первых шагов чуткое ухо начинает слушать стук метронома, заботиться о прочных основах бытия. «...Ты веришь, что они подобны камню, ты веришь?» «Они» — это, по Стэнеску, «стихи», «аромат» дерева, «жизнь хрупкая», сама жизнь человеческая... Поэзию Стэнеску принято считать менее драматической, нежели стихи Сореску, поскольку у последнего сарказм и ирония неприкрыто говорят о скепсисе и срывании разных масок с лица современного мещанства. Однако это не совсем так. Н. Стэнеску — не менее суровый судья. Только его, в отличие от Сореску, волнуют тайны самого мироздания, неразрешимые подчас вопросы существования всего живого на земле. И в то время как Сореску трезво и понимающе анатомирует свой предмет, Стэнеску склонен к пафосу несогласия с лежащими на поверхности объяснениями сути вещей. Стэнеску не возражает и против пафоса, сам тяготеет к нему. Верит в незавершенность, неразгаданность жизни. Примером может служить прекрасное, на мой взгляд, стихотворение «Барельеф с влюбленными»: «Существовать мы только тем должны, что в мир повернуты, в его пространства, и явно выступаем из стены». Здесь к месту пришлась индивидуальность Б. Слуцкого, который перевел стихотворение Стэнеску четко, рельефно, с указанием на сущность метафоры: «как на колонны, опершись на миги...». Снова миг, время, счет времени — чувство в протяженности. Вера в чудо возможного открытия, непредвиденного исхода. «...И ничего мы про себя не знаем, ни где начнем, ни как мы завершим».

Марин Сореску, кажется, все рассчитал, продумал заранее. В блестящем стихотворении «Музей села» нет и следа сомнений, поиска решений. Он берет давно известное: вековые страдания народа, на своих плечах вынесших все этапы «формаций» — первобытной эры, античности, средневековья:

Видимо, неграмотные крестьяне
Так и не узнали, что между этими
эпохами
Существуют
Коренные различия.

Преобладающие экспонаты —
Это землянки.
От работ на земле
Крестьяне прямиком отправлялись
в землю —
Отдохнуть от забот.

(Перевод К. Ковальджи)

Так же определенно и ясно для Сореску, что такое поэзия. Он рисует поэзию Эминеску и его личность как отражение земли, воды, птиц, рек, народа, географии и истории, нравов и поверий, которые — все вместе! — стали героями поэзии Эминеску, самим Эминеску, «оттого, что все это должно было называться одним-единственным именем...».

Сореску обладает здравым смыслом в поэзии. Это до сих пор почему-то вводит в заблуждение и смущает иных судей искусства. Как это вдруг — поэзия и здравый смысл? Многие еще путают придыхание и восклицания с поэтическим пафосом. А Марин Сореску высекает искры поэзии из столкновения жизненной правды с бесконечными иллюзиями, подделками, фальсификатами ее, как бы они ни назывались. А называется ложь о жизни, как правило, «красивыми словами». Вот и получается у Сореску, что он якобы воюет с «красотой» и самой «поэзией».

Порой он не отказывается и от классической метафоры. Но и она оборачивается современным, «трезвым» прочтением:

Нас окружают троянские кони,
Скрывающие воинов,
Которые по ночам
Соскальзывают к нам по веревкам.

Из картин, из бутылок, из одежд,
По простоте принесенных нами в дома,
Выходят отряды врагов,
Предводимые стулом.

(Перевод Б. Слуцкого)

Вторая строфа стихотворения «Троя» недвусмысленно говорит о том, в каком направлении, как выражаются литературоведы, «реализуется» метафора,— в антимещанском.

Я думаю, Стэнеску и Сореску — соратники и в то же время антиподы. Как каждый настоящий художник, и тот и другой неповторимы, но и рождены одной эпохой. Общее у них — в аналитичности, достигаемой только разными средствами. У Стэнеску есть стихотворение о том, как слова убивают сами себя. Сореску пишет о вещах, которые «пополам разрезаны точно: с одной стороны сама вещь, а с другой — ее имя». Сходство и различие знаменательны в равной мере. Сореску констатирует дуализм как данность, Стэнеску добивается слияния двух начал. Стэнеску хочет дать любимой «ветку» — символ любви, так как произнести это слово — значит почти солгать, завтра это слово убьет себя. Для Сореску же тут нет трагедии: между словом и делом — «Пространство большое, где и бегать возможно и жить». «Кто-то понял тебя на мгновенье...»! Вот в этом — общем! — назывании вещи видит спасение Сореску.

Если первые два поэта больше сосредоточены в себе, то Ана Бландиана так же целиком и бесповоротно стремится выплеснуться вовне: «я решила себя расточить», «мне жаль всех тех, кто учится молчать», «я стыжусь каждого мгновения, растраченного в одиночестве», «счастье — это митинг, на который я приглашена». Даже «сердце в зеркале показаться хотело». Ее не мучают проблемы времени — «...я знаю, что без меня время и не родилось бы». Или еще проще: «Я держу время в руках, как горсть черешен». Счастливая уверенность! Но в ее эстетике есть и внутренние противоречия. «Слова» начинают отделяться от сути вещей, мучить напоминанием мифа о Мидасе («Дарование»). В стихотворении «Падение», почти по Сореску, падение ангелов объяснено «усталостью». Да, ангельская позиция ранней Бландианы, не знавшей «пробела сомненья», начинает давать трещину. «Я знаю, что невинность бесплодна, девы детей не рождают». Она обеспокоена: «Меня учили, что океан очень большой... Мне говорили, что над нами звезды, но не сказали, что это значит».

Ион Александру — очень серьезный поэт. Несмотря на молодость, он поражает глубиной и сосредоточенностью мысли, в которой «хомут человеческой речи» примеряется по меркам суровой жизни. Его манера неторопliва и основательна, не рассчитана на внешние эффекты. В стихотворении «Жеребенок» есть что-то общее для нас с повестью Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!». Жизнь лошади прослежена параллельно с жизнью человека. Трогательна и поучительна судьба живого существа в вечной заботе о труде и пользе. Александру, как никто из его товарищей по сборнику, умеет быть реалистически точным в деталях. Он описывает женщин села, что под порывистым ветром идут на работу в поле:

Уходят женщины в поле на заре,
Головы повязав большими платками,
Весь день будет холодный осенний
ветер,
Об этом свистят обнаженные ветки айвы.

(«Женщины». Перевод Р. Казаковой)

Мы слышим, как они «окликают друг друга», видим, как держат они «под мышкой корзинки», видим их ноги в ботинках, «привязанных бечевками», а потом, когда «мертвое солнце затемняет их тень», женщины, словно птицы, «улетают большими стаями к огромным полям». Образ почти эпический. И он вполне подготовлен не только мыслью гуманной и сочувствующей, но и глазом художника — вдалеке их так много сходится на околице, что кирки и мотыги за спинами начинают казаться крыльями большой птицы. И еще одна аналогия пришла мне на ум, когда я читал это стихотворение. В нем Александру перекликается с отличным нашим поэтом, литовцем Юстинасом Марцинкявичюсом. Стена — символ времени, которое отсчитывается разрушением каменной этой преграды, оттеняя по-новому (сравни позицию Стэнеску!) суть побеждающей жизни.

Ион Александру — мастер точнейшей жизненной зарисовки, как бы с «натуры». «В горах» — история выдачи замуж девушки, простая до кощунства, трагичная по сути, но рассказанная словно сквозь зубы. И лишь последняя деталь из мира природы — «а зимой бывает слышно, как ели замерзают под ветром»,— выдает боль поэта. Тысячи жизненных наблюдений рассыпаны в этой поэзии, демократичной без натуги, человечной и простой по форме. О елке, которую после встречи нового года выбрасывают на свалку, Александру говорит как о чем-то живом, загубленном попусту — и веришь поэту, что это не дань «красивой» метафоре, а выношенное, органичное чувство добра. Ряд стихотворений, таких, как «Конец войны», «Возвращения», «В горах», «Женщины», «Жеребенок», «Мой дом», представляются мне хрестоматийными.

Сборник «Из современной румынской поэзии» познакомил нас с четырьмя интересными поэтами. И тенденции, выраженные в их творчестве, которые я пытался раскрыть в кратком отзыве, во многом характерны для современной поэзии социалистических стран.

В. ОГНЕВ

СРЕДИ КНИГ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТКРЫТИЯ

Калидаса. Избранное. Драмы и поэмы. Перевод с санскрита С. Липкина. Составление, подстрочный перевод, вступительная статья и примечания Б. Захарьина. Москва, «Художественная литература», 1974.

Двадцатый век славен не только техническими, но и культурными открытиями. Давно ли курс всемирной литературы для студентов-филологов ограничивался западноевропейской традицией. Разумеется, существовали и курсы литератур восточных — однако исключительно для будущих специалистов-востоковедов. Осуществлялись и переводы. Либо подстрочные, опять же для специалистов, либо так называемые экзотические, то есть «импровизации на тему», подчеркивающие своеобразие, необычность образного строя, быта, религиозных верований. Человеческое содержание в таких переводах оказывалось столь глубоко запрятанным под внешней эффектностью, что до него не всегда можно было докопаться.

Новые переводы из Калидасы, выполненные С. Липкиным [1], заставляют задуматься над тем, насколько ближе и понятнее стала Индия нашему современнику. Насколько более единой видится нынче вся мировая поэзия.

И это происходит не только потому, что наша индология достигла замечательного расцвета и Липкин работал с самыми точными подстрочниками. Дело в том, что в его переводах органически сливаются Восток и Запад, и перед нами не просто классика индийской литературы, перед нами — истинное сокровище культуры мировой, созвучное сердцу современного человека, не требующее особых комментариев для его разума. То есть явление из того же ряда, как и новый перевод Шекспира. Перевод, который вводит Калидасу в обиход советского читателя.

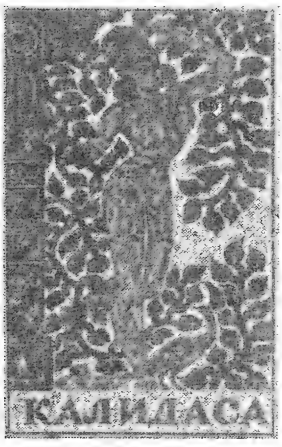
А ведь русскому Калидасе уже почти двести лет. В 1792 году в «Московском журнале» были опубликованы сцены из «Шакунталы». Переводчик их Н. М. Карамзин писал: «Калидас для меня столь же велик, как и Гомер».

В последующие годы Калидаса переводился на русский язык неоднократно. Были переводы научные и переводы поэтические, издавались они как в Москве и Петербурге, так и в Вологде и Харькове. Однако для того, чтобы Калидаса стал «столь же велик, как и Гомер», не только для передовых умов своего времени, но и для широкого читателя, потребовались не просто годы. Потребовался новый читатель, для которого подлинно массовой литературой стали все мировые сокровища человеческого духа, потребовалась новая, советская школа литературного перевода, сочетающая истинную научность с высочайшими художественными критериями.

С. Липкин — один из наиболее ярких представителей этой школы. Десятки лет он занят поистине титаническим трудом — переводом фольклора и классической поэзии Востока. Героический эпос народов нашей страны — киргизский, бурятский и калмыцкий, классика таджикско-персидской поэзии — Рудаки и Фирдоуси, Хайям и Хафиз, Саади и Джами, средневековая арабская лирика и главы из «Махабхараты» — вот далеко не полный диапазон творческих интересов переводчика. Мне уже доводилось писать о переводах С. Липкина из классической таджикско-персидской поэзии, да и Государственная премия Таджикской ССР имени Рудаки, присужденная ему, говорит сама за себя.

Я и раньше имел возможность убедиться, насколько глубоко вошло не только в культуру Индии — в ее повседневный быт творчество Калидасы. Думается, что Липкину во многом удалось передать тот феномен искусства, который делает творчество Калидасы таким близким народной жизни, созвучным многонациональному советскому читателю. Должен признаться, что книга новых переводов Калидасы натолкнула и меня самого на некоторые весьма любопытные догадки и сопоставления, разумеется, нуждающиеся в конкретизации. Надеюсь, что более детальным исследованием займутся молодые филологи, занимающиеся индийско-таджикскими литературными связями, взаимовлиянием культур, поэтому спешу поделиться своими наблюдениями.

Речь идет о творчестве Мирзы Абдулкадира Бедиля, известного русскому читателю в основном по поэме «Комде и Модан» и очень популярного в советских среднеазиатских республиках. Как известно, Бедиль, творивший на фарси и оказавший настолько большое влияние на целые поколения среднеазиатских поэтов, что возник даже так называемый «индийский стиль», жил в Индии. Родным языком Бедиля был бенгальский, знал он урду и санскрит, тад-



[1] О работе над переводом «Калидасы» см. статью С. Липкина «Мысль и слово в переводе» — «Иностранная литература» № 1, 1975.

жикскому научился только в школе. Влияние индийской культуры на творчество Бедиля общеизвестно — исследователи единогласно отмечают не только влияние индийской философии на его мировоззрение, но и подчеркивают, что сам сюжет поэмы «Комде и Модан» взят из индийской сказки.

Однако, по-моему, никто еще из советских исследователей не проследил влияние литературной традиции Индии на Бедиля. Странными путями порою обнаруживается такое влияние. И вот, читая поэму «Облак-вестник» Калидасы в переводе Липкина, особенно те ее строфы, которые посвящены описанию красоты горных районов Индии, я услышал знакомые с юности интонации. В юности я не был знаком с творчеством Калидасы, однако и меня не минуло увлечение Бедилем.

И действительно, вновь перелистав «Тури марифат» («Синай знания») Бедиля, посвященное описанию горного Бейрата, я узнал эти интонации. Разумеется, речь идет не о заимствовании, а о влиянии и о не более чем догадки — ведь поэме Калидасы пришлось преодолеть столько языковых барьеров. Однако думается, догадка эта заслуживает внимания и еще раз свидетельствует о мастерстве переводчика.

И мне хотелось бы от всей души поблагодарить замечательного труженика С. Липкина и за радость продолжения открытия Калидасы, и за то, что его поэтические открытия подводят читателя к открытиям собственным. Ведь подлинная поэзия — всегда нескончаемое открытие.

МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ

Издано за рубежом

ПУТЬ К ПАРТИИ

Tadeusz Hołuj. Osoba. Powieść. Katowice, Wydawnictwo "Śląsk", 1974.

По единодушному мнению критики и жюри одного из серьезнейших за последние годы литературных конкурсов, объявленного в честь 30-й годовщины создания Польской объединенной рабочей партии, роман Тадеуша Голуя «Личность» является выдающимся произведением, которое выделяется идейной и художественной зрелостью, открывает новые возможности и пути развития прозы, посвященной сложным и значительным событиям в истории польского народа. И ни одна книга последних лет не вызывала столь широкого и живого отклика среди читателей.

Что же представляет собой эта книга? Художественный вымысел или хронику реальных событий? Ведь совершенно очевидно сходство между главным героем романа Потурецким и видным деятелем польского революционного движения Игнацы Фиком. Голуй намеренно использовал отдельные факты биографии Фика: его герой тоже учитель, связанный с подпольным коммунистическим движением межвоенного периода, он тоже страстно увлечен публицистической и литературно-критической деятельностью. Как известно, в Польше 30-х годов Фик был одним из наиболее радикально и самостоятельно мыслящих литературных критиков. В своей оценке художественных произведений он всегда исходил из интересов народа, а на применяемом им методе критического исследования отчетливо сказалось влияние марксистской эстетики. Некоторые взаимоотношения в семье героя романа также несомненно подсказаны автору жизненной историей Фика.

И прежде всего подлинная судьба Игнацы Фика отражена в событиях, пережитых учителем Потурецким во время оккупации. Как и его прототип, герой романа «Личность» занимается продажей старых книг в небольшом городке поблизости от Кракова, организует группу подпольщиков, которые ведут вооруженную борьбу с оккупантами, ставя в то же время своей целью проведение коренных реформ в будущей возрожденной Польше и установление самой тесной связи с Советским Союзом. Перекликаются с реальными фактами и обстоятельства трагической гибели героя романа, подобно Фику павшего жертвой гитлеровского террора.

Популярность этой книги объясняется отчасти желанием читателей узнать как можно больше о вызывающей до сих пор живой интерес фигуре Игнацы Фика, все еще недостаточно изученной, окруженной в какой-то мере тайной и легендой (перед войной, в особенности же во время войны условия конспиративной работы благоприятствовали возникновению вокруг его имени некоторого ореола таинственности). Стремясь воссоздать историю этой человеческой судьбы, Голуй отказался от классического повествования и применил своеобразный документальный монтаж, объединяющий отрывки из воспоминаний и дневников участников событий, выписки из архивных документов и хроник, научных работ историков и фрагменты литературных произведений (стихов и прозы), в которых, пусть даже слабым отголоском, отразились события, охваченные книгой. Многочисленные компоненты, складываясь в единое целое, делают образ героя необычайно полнокровным. Он лишен упрощений и банальности, хотя многое в его жизни ставит читателей перед сложнейшими, требующими ответа вопросами.

Особенно привлекает в романе сдержанность и лаконизм автора, продиктованные стремлением отказаться от возможных домыслов и предположений. Такое самоограничение вызвано отнюдь не скудностью исторического материала, необходимого для того, чтобы полностью восстановить личность и жизненный путь Игнацы Фика. Напротив, сведений, которыми располагает автор, хватило бы с избытком на традиционный биографический роман. По-видимому, у писателя было совсем другое намерение: «Личность» — не роман о Фике, это произведение лишь навеяно его судьбой. Истинный смысл книги заключается в попытке создать портрет политического деятеля, не ограниченный в то же время рамками жизненного опыта отдельной личности. В итоге возник образ человека, поднявшегося до революционного сознания, нашедшего дорогу к партии, к активному участию в революционном преобразовании мира. Таков учитель Потурецкий, выходец из пролетарской семьи, в сложных условиях буржуазного общества межвоенного периода ценой многих лишений и трудов получивший образование, интеллигент, просветитель, педагог-воспитатель по призванию.

Уже в самом начале гитлеровской оккупации Потурецкий создает группу участников Сопротивления, первыми выступивших против оккупантов. Это были патриоты, которые твердо верили в Советский Союз как в силу, способную сломить могущество «третьего рейха». Из таких именно групп, как и возглавляемая в действительности И. Фиком организация, которые укрепляли и сплачивали испытанные польские революционеры, создавалась Польская объединенная рабочая партия.

Достоинство и заслуга романа Тадеуша Голуя в том, что автор сумел в художественно-новаторской форме, творчески используя опыт литературы факта, исторического документа, создать человеческий образ, отразивший ценные и важные завоевания нашего революционного движения. Голуй показал, как в пору военного лихолетья подлинное горе, страдания и надежды переплавлялись в оружие партийной сознательности, сплоченной воли к борьбе за истинную свободу народа, за его социалистическое будущее.

ВАЦЛАВ САДКОВСКИЙ
г. Варшава

СЕГОДНЯШНЕЕ, ВЧЕРАШНЕЕ, ВЕЧНОЕ

Philip Larkin. High Windows. London, Faber and Faber, 1974.

Филип Ларкин. Это имя обычно произносится первым, когда приезжающему к нам английскому писателю или критику задается вопрос о самых крупных поэтах современной Англии. Однако известность Ларкина в его стране теперь уже означает не просто признание критики и ценителей поэзии — стихи его становятся в последние годы какой-то частицей национальной жизни, входят в сознание соотечественников, даже далеких от литературы. Почему среди живой, многообразной поэзии послевоенной Англии так упрочилась репутация именно Филипа Ларкина, профессионального библиотекаря, доныне работающего в этом качестве в университете Гулля, автора двух романов, книги статей о джазе и всего четырех небольших сборников стихов, которые появились с десятилетними интервалами на протяжении тридцати лет его литературной деятельности?

Вряд ли можно говорить о какой-либо особой доходчивости стихов Ларкина. Хотя он и не принадлежит к числу поэтов, творчество которых требует расшифровки, в самом строе его поэтической мысли нет той облегченности, что часто способствует популярности стихотворца. Нет в стихах Ларкина и ничего эффектного, звонкого, подкупающе мелодичного, даже рифма, как правило, присутствующая в его строфе, угадывается не сразу, в интонации подчас возникает какая-то запинка, словно рожденная неуверенностью. Это интонация человека, размышляющего вслух,— настойчиво, недоуменно, горестно, иронично и предельно честно. Честность — вот, вероятно, основное свойство поэзии Филипа Ларкина, располагающее к себе читателя. В его поэзии, полностью погруженной в конкретную действительность и в то же время поднимающей эту конкретность до высот «вечных» метафизических категорий, раскрывается сложная личность автора. Сложная, но не будем автоматически добавлять близнецовый эпитет «противоречивая». Глубокий лиризм и холод сарказма (часто обращенного и против себя самого), ностальгия, снимаемая трезвым и горьким взглядом в прошлое,— черты контрастные, но не взаимоисключающие.

У Ларкина есть круг постоянных тем, вернее, тематических пристрастий. Поэт, абсолютно современный по мировосприятию, он наделен в то же время острым интересом к истории — в каждом сборнике Ларкина появляются своеобразные этюды, посвященные «кусочкам жизни» давно ушедшей Англии. Любовная лирика поэта чуть стилизована, изящна, шутлива, всегда отстранена от героини, с которой автор неизменно на «вы». Рядом с этими почти альбомными строфами неожиданной кажется резкость, безжалостность многих философских размышлений и наблюдений Ларкина. Быт занимает его чрезвычайно, но, повторим снова, не как материал для иллюстрации, а как основа человеческого существования. Поэтому не так часты в стихах Ларкина поэтические размышления о жизни «вообще», обычно они вырастают из впечатлений реальной повседневности — не как резонерский довесок, а как естественное продолжение разговора поэта с собой и читателем.

Четыре сборника стихотворений Филипа Ларкина — «Северный корабль» (1945), «Меньший обман» (1955), «Свадьбы на Трои-

цын день» (1964) — и новый сборник «Высокие окна» (1974) говорят об устойчивости его поэтического мира. В большом стихотворении «У моря», открывающем книгу, возникает привычная глазу автора картина: многолюдный морской пляж в разгаре сезона:

С приморского шоссе, через барьер
Перешагнув, окажешься на пляже.
Все та же яркость, скученность все
та же,
Веселье на затверженный манер.
Купальные халаты, топчаны,
Ныряльщики под низким горизонтом,
Волнишки, развернувшиеся фронтом,
И пароходик белый, словно сны
Дневные, в отчуждении бесплотном.
Все длится это, длится... нет конца!
С транзистором, под мерный шум прибоя,
Лежать, уставясь в небо над собою,
Иль в роли благодушного отца
Водить детей в оборках кружевных,
Хватающих огромный воздух ртами,
Или катить в колясках под зонтами
Смиренных стариков, жалея их,
Сезон последний проводящих с нами...[1]

Это — не бытовые зарисовки; в обычной до тривиальности картине есть некая эпичность, которая естественно переходит в воспоминание о прошлом, о детстве, чтобы завершиться на характерной для поэзии Ларкина ноте меланхолической резиньяции:

Быть может, лучше всех себя ведут
Те, кто свою убогость сознавая,
Смирясь, по схеме заданной живут,
Идут к воде, смешно переступая,
Жалеют старцев и детей пасут.

Такая же резиньяция звучит в другом значительном стихотворении сборника «Старые дурни» — стихотворении о старости. Мысль поэта стучится в двери, отделяющие человека от беспомощной дряхлости тела и разума, пытается проникнуть в глубины гаснущего сознания и в бессчетный раз задается гамлетовским вопросом о том, что наступит за гранью жизни. А кончается это размышление — напряженное, эмоциональное, полное боли и горького смеха — примиренным: «Что ж, в свой срок узнаем сами...» Вообще мысли о смерти и тяжелых страданиях занимают много места в новой книге Ларкина, этой теме посвящено и стихотворение «Здание», в котором поэт приводит нас в приемный покой огромного госпиталя.

И все же преобладают в «Высоких окнах» не размышления о бренности жизни людской, а стихи, в которых запечатлены и другие грани облика поэта. «Историческое зрение» Филипа Ларкина, его жадное внимание к реальной человеческой жизни в полной мере проявились в таких стихах, как «Существования», «Субботняя ярмарка», «В пятницу вечером в отеле «Роялстейшн», в которых работает каждая деталь, каждый предмет и все одушевлено, заряжено интенсивным поэтическим ощущением действительности. Возможности Ларкина-сатирика раскрыты в этой книге в нескольких стихотворениях, выдержанных в совершенно особом для него ритме и рисунке — четком, жестком. Разговорная речь и появление персонажа-маски в роли «лирического героя» характерны для иронических этюдов «Чудесный год», «Светские вирши», «Деньги», «Для потомства».

И, наконец, еще одна сторона дарования поэта открывается в «Высоких окнах»: публицистичность, в которой нет ничего плакатного, выспреннего, публицистичность очень личная, отмеченная своеобразием Ларкина-лирика. Большое стихотворение «Уходит, уходит» — реквием по разоряемой природе и уходящей в музеи старине Англии — проникнуто печалью, гневом и сарказмом. Ларкин скорбит о том, что страна его неуклонно превращается в «первую трущобу Европы», где все, что остается жителям,— это бетон и резиновые покрышки, а жадность и мусор так густо покрыли землю, что их не выметешь и не прикроешь лживыми оправданиями. Любопытно, что «Уходит, уходит» написано по «прямому заказу» ведомства, занимающегося проблемами защиты окружающей среды, и было впервые напечатано в сборнике, драматически озаглавленном «Как вы хотите жить?».

Послевоенная английская поэзия в отличие от американской пока еще мало знакома советскому читателю. Думается, работа над воссозданием «русского Ларкина» может стать увлекательным делом для поэтов-переводчиков разных индивидуальностей.

И. ЛЕВИДОВА

[1] Переводы стихотворений принадлежат А. Кушнеру.

НАХОДКИ И ОТКРЫТИЯ

Werner Schmidli. Fundplätze. Roman. Zürich-Köln, Benziger-Verlag, 1974.

«Я пишу, чтобы полемизировать со своим окружением, поднимать острые проблемы, вскрывать механизм общественных отношений, учить пониманию, солидарности...»

«Мне важно вызвать человека на очную ставку с самим собой, расшевелить его способность самостоятельно мыслить, заставить его открывать самого себя. Это должно быть постоянным движением вперед, от открытия к открытию».

Эти высказывания, отличающиеся не совсем обычной для большинства швейцарских литераторов целеустремленностью и активностью общественной позиции, принадлежат базельскому писателю Вернеру Шмидли (род. в 1939 г.). В прошлом рабочий, он пишет о рабочих и для рабочих. Он настойчиво ищет контакта с читателем, старается пробить глухую стену некоммуникабельности — «иначе мы будем производить только товар, пусть даже и возникающий в результате творческого процесса».

Человек и общество, человек в обществе — сквозная тема творчества Шмидли. Разрабатывается она и в новой книге «Места находок». Это третий роман писателя; первые два назывались «А по-моему, пусть идет снег» (1967) и «Дом теней» (1969). «Места находок» — своего рода семейный роман, история безрадостного прозябания и медленного распада рабочей семьи.

Оговоримся сразу: рабочая среда, показанная в романе,— не пролетариат со сложившимся классовым сознанием, а довольно многочисленная в Швейцарии прослойка, подпавшая под влияние мелкобуржуазной и правооппортунистической идеологии, люди, толкущиеся у ведущего «наверх» узкого люка и завидующие чужим удачам: этот, бывший рабочий, стал служащим, тот — мелким предпринимателем. Шмидли задался целью показать, что собственническая психология является причиной хронической несвободы, что ставшая притчей во языцех застойность духовной атмосферы в Швейцарии — не результат «малости» государства, а следствие определенных общественно-политических условий.

Сюжетообразующим элементом книги выступает распространенный прием расследования. Автор (точнее, рассказчик) берет на себя роль собирателя улик, прямых и косвенных, для освещения жизни человека, не приемлющего «общество потребления», зловещим символом которого в романе служит огромная мусорная свалка. Свалка — место неожиданных находок — как магнит притягивает к себе любознательного рассказчика: «Людей можно узнать по тому, что они выбрасывают...» Ему повезло — он находит два чемодана с документами и личными вещами незнакомого человека, находит то, о чем мечтают многие писатели,— вполне обозримую поучительную хронику человеческой жизни.

Начинается расследование — кто хозяин чемоданов, что с ним произошло, какова его дальнейшая судьба. Рассказчик тщательно изучает наиболее важные документы (дневники, письма, рекламные проспекты и т. п.), пытается по ним реконструировать жизнь исчезнувшего человека, воссоздать его характер, среду, в которой он вырос.

Герой книги — молодой автомеханик Вольфганг Шук, ничем не примечательный рабочий парень со скромными духовными запросами. Но и он не уживается в родительском доме, не может примириться с рабской покорностью матери-домохозяйки, с потребительской философией отца, забывшего ради немудрящих жизненных «благ» о рабочей гордости и чести. «Всю свою жизнь он позволял собой командовать, безропотно со всем соглашался, а когда наступал день зарплаты, еще изливался в благодарностях»,— с горьким сарказмом говорит сын об отце.

Не устраивает Вольфганга и профессия автомеханика. «Я только монтер запасных частей,— жалуется он в письмах к знакомой.— Я не хочу засохнуть здесь, в этой стране...» В конце концов, после мучительных раздумий и безуспешных попыток найти общий язык с окружением, он порывает с семьей и отечеством, складывает свое имущество в два чемодана и отправляет их на свалку.

Шук — явление типическое. Он «один из тех, кто хочет не только работать, есть, спать, приобретать, потреблять и выбрасывать на свалку, а стремится каждый день прожить по-новому; один из тех, кто покончил со всем и со всеми и начинает сначала, где-нибудь, только не здесь, скорее там, или там, или еще где-нибудь, даже там, все равно где, но только не здесь, не здесь». Это звучит как заключение. Недоверчиво-критическое отношение Вольфганга Шука к «обществу потребления» — это позиция и писателя, который в этой книге не ограничивается критикой или резиньяцией, а пытается выдвинуть позитивную альтернативу обществу классового антагонизма.

Герои прежних книг Шмидли приспосабливались или приходили в отчаяние. Вольфганг Шук, ощутив на себе беспощадность системы, которая подавляет творческое начало в человеке, выносит ей обвинительный приговор, не подлежащий обжалованию.

Таков Шук в представлении рассказчика, по созданной им на основании отрывочных сведений «легенде». А каким он был на самом деле? Чтобы выяснить это, автор начинает новый этап расследования — проверяет вымысел жизнью. Он расспрашивает о Шуке его товарищей по работе, знакомых, соседей, родителей. Тот, о ком рассказывают дотошному детективу-любителю, не похож на Шука, созданного его воображением. Не удовлетворенный собой, семьей, страной, этот парень в глазах многих — чудак, психопат, неуживчивый и бестактный человек, говорящий правду в глаза, когда его об этом не просят, неполноценный член общества, а для некоторых даже — опасный смутьян, «осквернитель собственного гнезда». Образ Шука как бы отдаляется от рассказчика, становится неуловимым, зато возникает зримая картина среды, освещается социальный фон, на котором разыгралась драма молодого рабочего. Шмидли акцентирует: любая уступка этой среде грозила обернуться возвращением к привычной упорядоченности сытого прозябания — от пятницы до пятницы, от получки до получки. Заработал, приобрел, потребил, выбросил на свалку... Так десятилетиями жили в иллюзорном мире социального «равновесия» люди, окружавшие Шука, так не хочет, не может жить он сам.

Заданный ритм жизни семьи Шука отражен в замедленном течении повествования, в преобладании повторов и вариаций, в неторопливой обыденности происходящих событий. Персонажи Шмидли, включая Шука, говорят «как все» — устойчивыми словосочетаниями, стандартными фразами. Примечательно, что этим обезличенным языком писатель заставляет пользоваться и рассказчика, выдерживая на длинной дистанции объемистого романа завидное единство стиля.

«Места находок» В. Шмидли — серьезный и многообещающий подступ к рабочей теме, которая долгое время выпадала из поля

зрения швейцарских писателей. Теперь за ее разработку берутся и другие авторы (например, Сильвио Блаттер, Вальтер Кауэр), расширяя диапазон охвата действительности, затрагивая проблемы и борьбу рабочего класса, сплоченного вокруг Швейцарской партии труда. Шмидли оставляет своего героя, не сумевшего пока найти единомышленников и вынужденного на время покинуть страну, на распутье. Точнее, в пути, потому что возврата в стан соглашателей-отцов не будет. Решение молодого автомеханика согласуется с объективным смыслом истории: для рабочего небезопасно связывать свою судьбу с изживающей себя буржуазной средой. Примечателен в этом плане последний эпизод романа: в поисках правды о Шуке рассказчик приходит к его родителям. Оказывается, им почти нечего сказать о сыне, о мучивших его проблемах, о причинах разрыва с семьей. Мать говорит о нем в прошедшем времени — живущий где-то в Австралии Вольфганг для нее больше не существует. Вся ее жизнь по-прежнему — это кухня, уборка квартиры, абсолютное подчинение мелочной тирании мужа. За несбыточную мечту выбиться в «среднее сословие» родители Шука заплатили дорогой ценой — утратой личности. Это уже не люди, а тени (вспомним название предыдущего романа Шмидли «Дом теней»).

Искренность исканий и бесповоротность принятого решения убеждают читателя в том, что Вольфганг Шук найдет свое место «в рабочем строю». Он, как и автор романа, на верном пути. Открытие новой исторической перспективы закономерно повлекло за собой открытие нового героя, новой и актуальной проблематики. Прогрессивная критика не случайно дала высокую оценку роману, который свидетельствует об оживлении в швейцарской литературе интереса к рабочей тематике.

В. СЕДЕЛЬНИК

РОМАН О НОВОЙ АФРИКЕ

Amu Djoleto. Money Galore. London, Heinemann, 1975.

В 1941 году в колонии Золотой Берег было создано одно из первых в западноафриканской литературе произведений — повесть Р. Обенга «Восемнадцать пенсов». Приветствуя ее появление, видный общественный деятель страны Дж. Данква в предисловии к первому изданию писал, что она, «возможно, станет предтечей других значительных произведений, которые будут созданы на Золотом Берегу». По сути, повесть «Восемнадцать пенсов» — это притча о бедном крестьянине-поденщике, который терпеливо сносит все обиды и притеснения. В награду за кротость и смирение судьба посылает ему клад — горшок с золотыми монетами. Современный читатель, снисходительно улыбнувшись наивности сюжета, во всяком случае, не усомнится в том, что герой эту награду вполне заслуживает.

Повесть Обенга оказалась той единственной ласточкой, которая весны не делает: на Золотом Берегу, а позднее в независимой Гане долгое время примечательных произведений не появлялось. Но во второй половине 60-х годов обозначился сдвиг: в литературу вступили одаренные прозаики, среди них — Квеи Арма, теперь уже автор четырех романов, пожалуй, один из наиболее интересных писателей Африки. Об уверенном развитии литературы Ганы свидетельствует творчество и другого романиста — Аму Джолето, в особенности его новая книга «Деньги».

А. Джолето, специалист в области народного образования, работает в министерстве просвещения Ганы и романы, как и большинство его коллег, пишет только в свободное время. В своей первой книге, названной «Странный человек» (1967), Джолето, по примеру других писателей Африки, немало места уделил описанию быта патриархальной деревни, мелким, незначительным происшествиям, которые не могут не позабавить читателя. Первый опыт не принес успеха — роман остался почти незамеченным. Вторая книга Джолето значительно удачнее, компактнее, динамичнее, а самое главное — насыщена очень острой проблематикой.

Роман «Деньги» (его можно было бы назвать и «Бешеные деньги») заставляет вспомнить некоторые произведения западноафриканских писателей, например, «Прекрасные еще не родились» К. Армы или роман нигерийца Ч. Ачебе «Человек из народа». Литературные критики недаром говорят, что в западноафриканской литературе существует «школа Ачебе»: в романе «Деньги» воздействие Ачебе заметно и в подходе к основной проблеме, и в некотором сходстве героев, и даже в сдержанности тона, что не мешает книге быть остросатирической.

Кофи Кафу, школьный учитель, приходит к выводу, что деятельность на поприще просвещения юных умов не удовлетворит его честолюбивых устремлений, и он, поссорившись с директором, добросовестным и энергичным человеком, подает в отставку, чтобы заняться политикой. Уже на этом этапе его намерения вполне определенны — «превратить государственную службу в частный сектор». Он выставляет свою кандидатуру от «партии освобождения», пользующейся поддержкой зажиточных слоев населения: лавочников, частнопрактикующих врачей и юристов, заимодавцев и других. Ей противостоит на выборах «партия национального единства», в рядах которой — арендаторы, промышленные рабочие, шахтеры, шоферы, некоторые университетские преподаватели, ставшие «апостолами социальной справедливости». Именно здесь вспоминается роман «Человек из народа» Ачебе, герой которого, создавший «партию простых людей», соби-

рался принимать туда «рабочего, фермера, кузнеца, плотника». Книги Ачебе и Джолето отображают чрезвычайно важную и все более заметную черту общественной жизни африканских государств: активизацию деятельности трудящихся, защищающих свои интересы, появление партий и группировок, выражающих интересы широких слоев населения. Хотя роман «Деньги» написан ганским писателем, книга эта повествует не только о Гане, но и о многих молодых государствах Африки, в которых идут сейчас трудные и сложные процессы перестройки, затрагивающие все сферы жизни и приводящие к более глубокому расслоению общества, размежеванию общественных интересов, обострению форм социального протеста.

На выборах побеждает «партия освобождения» — и учитель Кафу становится «министром внутреннего благосостояния». Его первая акция на посту министра — незаконное увольнение с поста директора школы, своего бывшего начальника, не прощавшего ему халатного отношения к делу. Затем министр начинает осуществлять свой принцип — «превращение государственной службы в частный сектор». Избирательная кампания потребовала тридцать тысяч седи (денежная единица Ганы), сам он внес только двести, остальное дали богатые торговцы и предприниматели, рассчитывая приобрести в управленческом аппарате «своего» человека, покровителя и сообщника. И министр, утвердившись в должности, начинает «возвращать долги», устраивает выгодные контракты своим друзьям, не очень-то заботясь о тех, кому перед выборами сулил златые горы.

Джолето создал книгу злободневную и острую, изобличающую демагогию, коррупцию, эгоизм. В поведении выскочки Кафу наряду с чертами личными, отчетливо проступают характерные черты социальной психологии, роднящие его с подобными деятелями других стран Африки.

Начинается забастовка муниципальных рабочих-мусорщиков, и министр делает многократно испытанный в классовой борьбе ход: предлагает лидеру забастовщиков взятку столь крупную, что тот, хотя и сознает неправедность своего поступка, не может устоять и начинает склоняться к соглашательству, что вносит раскол в ряды забастовщиков. В результате забастовка, так и не разгоревшись, затухает. Но своим положением недовольны и другие группы трудящихся: готовятся к забастовке водители грузовиков, собираясь прекратить подвоз горючего в некоторые районы страны и тем самым парализовать их. Поскольку все более широкие слои населения выражают свое недовольство положением дел в стране, «партия национального единства» оказывает профсоюзу шоферов «негласную, но мощную поддержку». На собрании водителей, требующих уменьшить плату за проезд по дорогам, министр держится высокомерно и грубо, пытаясь запугать и в то же время задобрить их. Но ему явно не верят, и когда полиция открывает пальбу в воздух, забастовщики во избежание худшего разбегаются, но затем, построившись в колонны, организованно возвращаются в свои кварталы, скандируя: «Забастовка! Забастовка!» В этих эпизодах Джолето делает шаг вперед по сравнению с Ачебе. Народ в его романе — не только избиратели, легко верящие демагогическим лозунгам и лишь пассивно наблюдающие за происходящим, а люди, начавшие осознавать свою силу и то, что сила их — в единении.

Завершается роман военным переворотом — здесь снова напрашивается сравнение с Ачебе (его роман заканчивается так же), если бы военные перевороты не были столь частым явлением в политической жизни африканских государств. К власти приходят военные, которые заявляют: «Мы берем власть в свои руки, но мы ненавидим кровопролитие». Таков финал. Дорога в тридцать лет, полных бурных событий, разделяет притчу «Восемнадцать пенсов» о добродетельном крестьянине и публицистически резкую книгу Джолето о совсем не добродетельном чиновнике. Роман «Деньги», отражающий новую эпоху и новое мировоззрение трудящихся Африки, свидетельствует о том, что они начинают все больше верить в действенность совместной борьбы за свои права.

ВЛ. ВАВИЛОВ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

«ПРИТВОРИТЬСЯ МЕРТВЫМ»

Так называется новый фильм режиссера Акселя Корти и сценариста Михаэля Шранга.

Молодой каменщик, герой фильма, задумал жениться, он уже ждет ребенка и, чтобы накопить денег на собственный дом, поступает работать в одну из крупных венских строительных фирм. Но хозяин, у которого он работал прежде, не желает терпеть такого «предательства» и чинит ему всяческие неприятности. Дело доходит до яростной стычки, в пылу которой парень наносит своему бывшему работодателю телесные повреждения.

Суд отказывается принять во внимание какие бы то ни было смягчающие обстоятельства. Все ополчаются на молодого рабочего. Его приговаривают к тюремному заключению. В тюрьме, не выдержав несправедливости и издевательств, герой кончает жизнь самоубийством.

«Авторы этого реалистического фильма,—пишет орган КПА газета «Фолькштимме»,— убедительно показывают, как оказывается разбитой жизнь простого рабочего парня, выходца из крестьянской среды, неопытного и беспомощного в отношениях с представителями бесчеловечной системы, где крупные рыбы пожирают мелких и где надо притвориться мертвым, если хочешь жить. Он погиб, потому что его протест против несправедливости был лишь действием одиночки. Он не нашел в себе сил, чтобы жить, не увидел пути к таким же, как он».

Газета расценивает фильм как одно из наиболее значительных явлений в современном австрийском кинематографе.

АЛЖИР

КАТЕБ ЯСИН О СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ

Еженедельник «Аль-Муджахид кюльтюрель» опубликовал под заголовком «Катеб Ясин освобождает живое слово» рассказ писателя о своем творчестве, об общих проблемах тех алжирских писателей, которые, подобно ему, пишут на французском языке. Во вступлении к этой публикации журналисты М. Джэдер и К. Неккури отмечают, что после постановки сатирических пьес «Человек в каучуковых сандалиях» и «Мухаммед, собирай свой чемодан» творчество Катеба Ясина стало предметом споров. Характерный для писателя усложненный, полный символов язык уступил теперь место языку народной притчи. Рабочие предприятий смотрят пьесы, автор которых говорит с ними об их проблемах на понятном им языке. Некоторые критики упрекают писателя в отходе от привычной творческой манеры; по их мнению, стремление Ясина вступить в диалог со зрителем приведет к потере «интеллектуальной» читательской аудитории.

«Подобные упреки,—отвечает Катеб Ясин,— исходят от людей, воспитанных на французской культуре, для которых мое творчество замыкается на «Звездном полигоне», «Неджме», «Кольце репрессий». Они признают литературный поиск лишь в области формы, поэтому новые мои произведения для них — шаг назад. Но эти люди не учитывают, что весь ход развития моего творчества закономерно привел меня к последним произведениям.

Как все молодые писатели, я начинал с подражаний. Я испытал влияние Бодлера, Рембо, Мюссе. Но еще до того как я начал писать, у меня был опыт тюрьмы,

открывшей мне политический мир. Общение с заключенными, среди которых были духовно богатые люди, повлияло на мои литературные пробы не меньше, чем повлияли любимые мною поэты. Выйдя из тюрьмы, я в основном общался во Франции не с интеллектуалами, а с рабочими-эмигрантами.

Затем в Алжире началась вооруженная борьба. Для французов тогда алжирская литература была связана с именем Камю. Действительно, алжирской литературой во Франции заинтересовались с появлением романов Диба. Я в то время работал над «Неджмой», а это произведение потом пытались выдать за «новый роман». Я же хотел в меру своих возможностей показать людям, что представляет собой Алжир. Критики считают, что «Неджма» была написана под влиянием Фолкнера. Я не приемлю Фолкнера как личность, но он гениальный писатель. А его родина, Юг, был для Северных Штатов примерно тем же, чем Алжир с его французским меньшинством — для Франции в то время, когда я писал «Неджму». Поэтому Фолкнер не мог не повлиять на меня, хотя влияние это и очень относительное.

Многие думают, что события, происходящие в «Неджме», относятся к 1956 году, когда книга была издана, но я начал писать ее еще в 1945 году: «Человек в каучуковых сандалиях» был опубликован в 1971 году, и стали говорить о повороте в моем творчестве, а пьеса была задумана в 1947 году, в 1949 были написаны первые сцены.

Когда «Человека в каучуковых сандалиях» ставили в Алжире, я долго спорил с режиссером Мустафой Катебом о языке спектакля. Я был за разговорный алжирский диалект, он — за литературный арабский язык. Он настоял на своем, и результат получился плачевным. Но все же это было лучше постановки Марселя Марешаля во Франции, где из пьесы удалили политический аспект, сочтя его «пропагандой».

Теперь над текстом я работаю вместе с актерами. Такую возможность мне предоставило министерство труда и социальных проблем, предложив создать спектакль об эмигрантах. О такой пьесе я думал, еще живя во Франции.

В труппе нас было 15 человек, и мы работали в течение восьми месяцев, практически и днем и ночью. Раньше я не представлял себе, что означает коллективный труд. Во время работы каждый предлагал свои находки, и было уже не важно, кому они принадлежат, потому что мы ощущали себя единым организмом. Так родилась пьеса «Мухаммед, собирай свой чемодан».

Я работал в расчете на совершенно другую аудиторию, нежели раньше, я говорил со зрителями их языком. Писатель, выражая себя, хочет, чтобы его книги читали и понимали, но многие писатели находятся в своеобразном гетто—они отчуждены от своего народа. Примером поэта, который стремился быть доступным народу, я считаю Маяковского. Если писатель действительно хочет участвовать в революции, он должен не только выражать самого себя, но и способствовать самовыражению народа. В этом плане театр и в еще большей степени кино являются спасительным выходом для писателей моей страны».

АНГЛИЯ

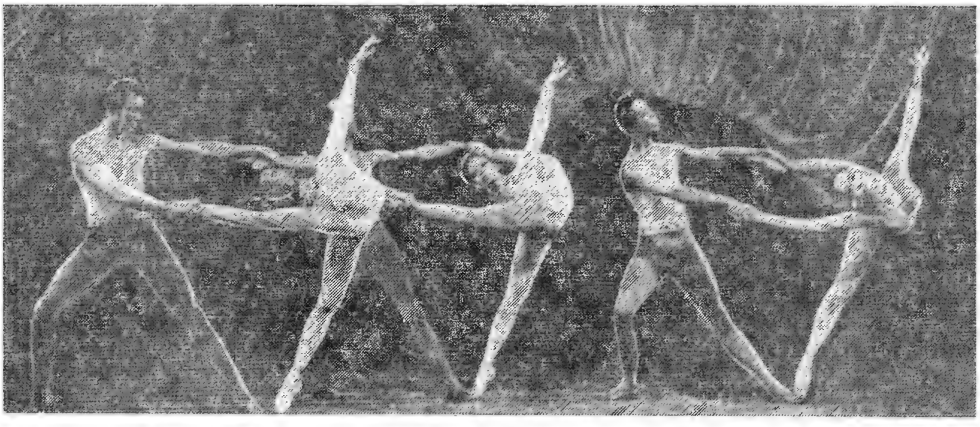
«ВУНДЕРКИНД СЛОВА» АЙРИС МЕРДОК

Вышел из печати новый, семнадцатый по счету, роман Айрис Мердок «Вун-

---

С большим успехом выступает в Лондоне труппа «Гарлемского театра танца» под руководством известного хореографа Артура Митчелла.
На снимке: выступление артистов «Гарлемского театра танца».

(Газета «Морнинг стар»)



деркинд слова». В нем подробно прослеживается жизненный путь главного героя Хилари Берда: детство в приюте для бедных детей, необыкновенная способность к языкам, которая была замечена учителем, проникшимся симпатией к одаренному мальчику, блестящая карьера в Оксфорде, нелепо оборвавшаяся из-за любовной связи с женой друга, затем тусклое, бессмысленное существование в Лондоне в какой-то жалкой конторе, где Хилари не мог найти применения своим обширным лингвистическим знаниям, неожиданное возвращение друга, перед которым Хилари чувствует себя виноватым.

Обычно Айрис Мердок, пишет Фрэнк Кермоуд в рецензии, опубликованной в журнале «Лиснер», любит перетасовать события, как колоду карт, заставляя читателя гадать, «кто есть кто», что происходит, когда и каким образом. Однако в своем последнем романе Айрис Мердок подробно и хронологически точно восстанавливает жизнь своих героев, и это можно считать новой, ранее отсутствовавшей чертой в ее творчестве.

Фрэнк Кермоуд назвал «Вундеркинда слова» «романом воспитания». А Стивен Уолл в большой статье «Грамматика вины», опубликованной в «Таймс литерари саплмент», пишет, что под всеми традиционными покровами у Мердок всегда скрывается экзистенциалистский роман с ярко выраженной философско-этической проблематикой. Ту же закономерность он наблюдает и в ее последнем произведении. Он считает, что в этом романе писательницу прежде всего волнует «проблема вины и добра».

Все английские критики отмечают высокое мастерство автора, ее умение вести сложное, многоплановое повествование. Однако в оценке проблематики книги мнения расходятся. Фрэнк Кермоуд считает, что за всеми разговорами о добре и вине скрывается пустота, что роман лишен настоящего чувства.

БОЛГАРИЯ

ДОРА ГАБЕ — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ ИВАНА ВАЗОВА

Премия имени великого народного поэта и писателя Ивана Вазова, 125-летие со дня рождения которого широко отмечалось в этом году по всей стране и за рубежом,—одна из самых почетных литературных премий Болгарии. Этой премии в юбилейный год была удостоена известная поэтесса Дора Габе за свою многолетнюю литературную деятельность и за сборник стихов «Плотная тишина».

Как сообщает еженедельник «Литературен фронт», премия была ей вручена на многолюдном торжественном митинге, состоявшемся в Сопоте,— родном городе народного поэта.

НАРОДНЫЙ ПЕВЕЦ НИКОЛАЙ ГЯУРОВ

Прошло двадцать лет с тех пор, как замечательный болгарский певец Николай Гяуров, ныне народный артист, получил свою первую золотую медаль на Всемирном молодежном фестивале в Берлине. С этого дня началась его слава.

На снимке: Николай Гяуров в роли Мефистофеля в опере Гуно «Фауст».

(Журнал «Славяни»)

БРАЗИЛИЯ

ИНТЕРВЬЮ С РЕЖИССЕРОМ

Видный кинорежиссер Нелсон Перейра дос Сантос, один из зачинателей бразильского «нового кино», автор одиннадцати фильмов, из которых советскому зрителю известны «Рио, 40 градусов» и «Засушенные жизни», дал интервью бразильской газете «Жорнал ди летрас», где он подводит итоги своей работы в кино.

И сейчас режиссер вспоминает ту «ужасную борьбу», которая разгорелась 20 лет назад вокруг его первого полнометражного фильма «Рио, 40 градусов», получившего впоследствии признание во всем мире. В Бразилии картина была снята с проката по настоянию «высокопоставленных лиц», нашедших, что в ней изображены лишь неприглядные стороны жизни, и только в 1966 году вернулась на экраны страны.

О своем новом полнометражном фильме «Амулет Огуна» Нелсон Перейра дос Сантос говорит: «Фильм предназначен для массового зрителя, однако это вовсе не означает, что он коммерческий. Это фильм для народа, такие произведения не ориентируются на рыночный спрос и предложение, а стремятся передать то, как воспринимает действительность народ... Я работал с невероятным увлечением, чувствую себя так, словно это был мой первый полнометражный фильм».

По словам режиссера, «Амулет Огуна» вобрал в себя многое из того, что содержалось в его фильмах «Рио, 40 градусов» (1955), «Рио, северная зона» (1957) и «Златоуст» (1962). «И атмосфера, и действующие лица этих фильмов и «Амулета Огуна» схожи между собой. Эта картина в некотором роде является также и продолжением «Засушенных жизней» (1963), ибо затрагивает проблему массового ухода жителей северо-востока Бразилии в большие города». С горечью отзывается Н. Перейра дос Сантос о состоянии бразильской

кинематографии; по его свидетельству, работа в кино не приносит режиссеру материальной обеспеченности; сам он, параллельно с созданием фильмов, был вынужден сотрудничать в газетах «Диарио кариока» и «Жорнал до Бразил». Да и теперь он предпочитает называть себя журналистом, а не кинематографистом. Свою долгую жизнь в кино художник, не без горького юмора, объясняет «большой изобретательностью и известной способностью к сопротивлению». По мнению режиссера, «бразильскому кино предстоит битва за национальный кинорынок: он должен быть предоставлен преимущественно национальным фильмам.

Трудности создают те, кто сидит в Федеральном совете по вопросам культуры: они считают совершенно естественным, что наши фильмы обречены пребывать на задворках культуры... Единственная для нас возможность иметь собственную культуру—это самим браться за ее создание»,— завершает свое интервью Нелсон Перейра дос Сантос.

ВЕНГРИЯ

СОЦИОГРАФИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР

Все большую популярность приобретает в Венгрии издающаяся вот уже несколько лет ежегодная антология «Глазами писателей», составляемая из наиболее значительных произведений так называемой социографической литературы — эссе и очерков, в основе которых лежит исследование венгерской действительности.

С некоторыми произведениями, включенными в эти сборники, знакомы и советские читатели (например, с очерком Эрне Гондоша «Лицом к лицу с текстом», опубликованным в «ИЛ» № 6 за 1972 год). В сборнике «Глазами писателей, 1974» выступили такие авторы, как Шандор Ласло-Бенчик (его очерк «История: взгляд снизу» о рабочих — упаковщиках товаров для экспорта напечатан в «ИЛ» № 4 за 1975 год), Иштван Аг, Ференц Бараньи, Андраш Мезеи, Магда Сабо.

Тематика сборника шире предыдущих: есть в нем материалы и о труде социалистических бригад, и об исследовании проблемы использования свободного времени, и о положении женщины. В нем охвачены события последних тридцати лет.

В связи с выходом антологии «Глазами писателей, 1974» бюллетень «Кёньвилаг» пишет: «Это ценная во многих отношениях книга. Она ценна своей высокохудожественностью, актуальностью поднимаемых проблем, современностью, свежим взглядом на исторические события и события наших дней».

«МАТЬ ОБЕЩАЕТ МНЕ ЛЕГКИЕ СНЫ»

Несколько лет тому назад у известного писателя Андраша Шюто вышла книга «Мать обещает мне легкие сны», которую по праву румынские и венгерские критики называют «художественной энциклопедией крестьянства, одной из самых лучших книг о деревне, рассказывающей о становлении социалистического кооперативного хозяйства».

Сюжет книги очень прост: в деревню, в свой родной дом приезжает погостить сын, литератор. Мать просит написать о людях их села книгу. Герой надолго остается в деревне, присматривается ко всему, ведет беседы с односельчанами о том, что было и что будет. Все это и составляет основу книги. Гражданская позиция автора, глубоко верящего в социалистический путь деревни, придает этой «ткани» необыкновенную прочность. А художественное мастерство Шюто делает книгу тонкой, мягкой по тону, задушевной и спокойной, несмотря на то, что в книге рассказывается о многотрудной жизни крестьян.

Недавно режиссер Государственного театра в городе Орадя в Трансильвании Йожеф Сабо воссоздал это произведение на сцене или,

Сцена из спектакля «Мать обещает мне легкие сны». В роли деда — актер Андраш Вандор.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

Эдмонда Альдини — в роли богатырши Брадаманты и Оттавия Пикколо — в роли Анжелики в телевизионном фильме «Неистовый Роланд».

(Газета «Унита»)

в фильме переплетаются эпизоды нескольких сюжетных линий. В связи с этим газета «Паэзе сера» стала помещать своеобразные руководства к отдельным выпускам телевизионного «Роланда».

Зрители далеко не единодушны в оценке фильма. Многие активно не приемлют его. Обозреватели «Униты» и «Паэзе сера» объясняют это в первую очередь тем, что телезрители привыкли к традиционным жанрам телеэкрана.

КАНАДА

ОСТРОУМНАЯ ПРИТЧА БРАЙАНА МУРА

Известный канадский писатель Брайан Мур обратился к одной из распространенных форм современного романа — притче. Его новая книга «Великая викторианская коллекция», по мнению американской критики, является попыткой высказать мысли о XX веке в форме фантастического гротеска.

Во время отпуска в Калифорнии молодой канадский ученый Энтони Мэлони засыпает в заброшенном мотеле, воображая себя владельцем удивительной викторианской коллекции. Утром он с изумлением обнаруживает в гараже ожидающую его материализовавшуюся грезу — удивительную викторианскую коллекцию. Здесь мебель и столовое серебро, литература в духе маркиза де Сада, орудия пыток и прочие атрибуты «декораций» викторианской эпохи. Не веря своим глазам, Мэлони пытается понять, что же перед ним — реальность или мираж? Вскоре он убеждается в том, что для того, чтобы сохранить свою коллекцию, он должен каждую ночь воображать ее себе в мельчайших деталях. А рассматривая свои сокровища днем, он однажды замечает, что на задней стороне одного из «экспонатов» написано: «Сделано в Японии». Наконец герой приходит к убеждению, что каждая из этих вещей «всплыла» из глубин его подсознания,— все это он когда-то видел в музеях, книгах, знал со слов знакомых.

Мэлони становится узником своей коллекции, всецело поглощающей его сознание, заставляющей его воображение постоянно бодрствовать. Газетчики и оккультисты стекаются посмотреть на чудотворца, который интересует всех гораздо больше, чем его «воплощенная» мечта, сам он превращается в своеобразный «экспонат». Вокруг него и его коллекции вырастают рестораны и лавочки с броскими названиями — «Чайная Флоренс Найтингейл», «Выезд Оскара Уайльда». Фантастический мир гибнет под натиском бездушной коммерческой вульгарности.

«Благодаря остроумной форме,— пишет рецензент американского журнала «Тайм»,— роман может быть воспринят как притча об искусстве нашего времени, когда люди с большим интересом читают литературные переложения, чем сами книги, и предпочитают автографы живописи. На деле все обстоит гораздо серьезней — роман проникнут трагическим мироощущением современного человека, замкнувшегося в своей одержимости вещами, тоскующего по утраченным ценностям, страдающего изолированностью души... Мур мастерски рисует противоречивость XIX века — эпохи элегантности и китча, респектабельности и порнографии, распущенности нравов и изощренной дипломатии. Эта противоречивость вселяет жизнь в роман Мура, но она же заставляет его хромать». По словам критика, после двухсотой страницы автору надоедает и Мэлони и его коллекция, писатель резко обрывает страдания своего героя — лишая его способности вновь и вновь воссоздавать свою фантазию. В завершающей части книги Мур уходит от тех серьезных проблем, которых он коснулся в начале романа, и заканчивает свое новое произведение в духе развлекательной беллетристики.

МАЛИ

ПЕСНИ И ТАНЦЫ СТРАНЫ СКАЗОК

Среди коллективов, которые участвовали в этом году в традиционном международном фестивале театра во французском городке Нанси, был Национальный фольклорный ансамбль Мали. Спектакли ансамбля имели огромный успех у зрителей. «На каждом представлении малийцев,— пишет журнал «Жён Африк»,— до отказа заполненный зал с благоговейным вниманием

слушал солисток ансамбля, певших под аккомпанемент балафона и миолона».

Национальный фольклорный ансамбль Мали существует уже 15 лет. Он был создан на базе молодежных танцевальных и певческих коллективов, которые существуют во многих городах страны. За эти годы артисты ансамбля не раз демонстрировали свое искусство за рубежом. Они выступали в Соединенных Штатах, Франции. Видели их спектакли и советские зрители. В 1966 году ансамбль завоевал первый приз на Всемирном фестивале негритянского искусства в Дакаре, в 1969-м — золотую медаль на Панафриканском фестивале в Алжире. Сейчас в ансамбле около сорока певцов, танцоров и музыкантов в возрасте от 17 до 40 лет. Руководят коллективом Диалло Буба и Мамаду Бадьян Куайте.

Сообщение о выступлениях ансамбля на фестивале в Нанси «Жён Африк» заканчивает словами: «Для ансамбля прежде всего характерны народность и самобытность. Танцы, песни, мимические номера синтезировали этническое и географическое многообразие страны. Именно такова главная задача ансамбля: как можно полнее и точнее показать искусство и культуру Мали, страны сказок, легенд и героических эпопей».

ПОЛЬША

«ТЕАТР НАЦИЙ» В ВАРШАВЕ

После длительного перерыва возобновил свою деятельность «Театр наций» — международный театральный фестиваль, который ранее регулярно проводился в Париже по инициативе Международного института театра (МИТ). Его деятельность на несколько лет была прервана из-за финансовых и других трудностей. В 1973 году на конгрессе МИТ, который состоялся в Москве, было решено возродить форум театров мира, чтобы он проводился ежегодно и в разных странах. На нынешнем международном фестивале, проходившем в Варшаве, были представлены театральные коллективы из разных стран.

Советское театральное искусство было представлено спектаклем Академического драматического театра им. Моссовета «Василий Теркин». Как отмечает польская пресса, именно в этом году, когда весь мир праздновал тридцатилетие победы над фашизмом, создание образа главного героя пьесы, мужественного советского солдата, покрывшего себя боевой славой, приобретает особый смысл. У многих из зрителей этот спектакль пробуждает воспоминания о тех днях, когда советские воины, плечом к плечу с которыми сражались солдаты Войска польского, принесли свободу польскому народу. Газета «Жице Варшавы» отмечает, что образы Василия Теркина, которые каждый по-своему прекрасно создают семь молодых актеров, подкупают человечностью во всех перипетиях их солдатской судьбы.

«Василий Теркин,— пишет известный театральный рецензент «Жице Варшавы» Станислав Витольд Балицкий,— это собирательный образ народного героя, солдат земли советской, участник великой народной войны. Созданный на основе фронтовых впечатлений замечательного поэта, Василий Теркин стал жизненно достоверным героем. Тысячи солдат могли увидеть в нем себя. Высокое поэтическое мастерство поэта и искусство владения лирическим стихом, в котором улавливаются пушкинские и некрасовские интонации, придают Василию Теркину черты ска-

Сцена из спектакля фольклорного ансамбля.
(Журнал «Жён Африк»)

зочного героя безымянной народной поэзии».

Широко были представлены на фестивале хозяева — польские театры. Они показали пьесы «Балладина» и «Бенёвский» Юлиуша Словацкого, поставленные Национальным театром. Несколько представлений дал варшавский Большой театр. В их числе — опера К. Пендерецкого «Луденские дьяволы». Были также показаны произведения русских классиков. Среди них — пользующиеся большой популярностью в Польше спектакли по пьесам Тургенева «Месяц в деревне» и советского драматурга Вампилова «Прошлым летом в Чулимске».

Большой интерес у зрителей вызвал берлинский «Дойче театер», представивший спектакль по пьесе Пабло Неруды «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (опубликована в «ИЛ» № 2, 1968 г.).

В Варшаве выступил еще один театр из ГДР — «Фольксбюне», показавший два спектакля: «Добрый человек из Сезуана» Бертольта Брехта и «Дикая утка» Г. Ибсена.

С интересом было встречено выступление угандийского театра «Абафуми компани», показавшего пьесу Роберта Серумаги.

Внимание прессы привлекли выступления шведского Королевского театра, показавшего «Двенадцатую ночь» Шекспира в постановке Ингмара Бергмана с участием известной шведской актрисы Биби Андерсон.

В Варшаве выступили также Национальный театр имени Ивана Вазова из Софии, Государственный театр из Брно, испанский театр имени Марии Герреро, венгерский театр имени Гергея Чики из Капошвара, «Театрул Мик» из Бухареста, «Ателье-212» из Белграда. Свое искусство показали труппы из Англии, Западного Берлина, Италии, США, Франции, Японии.

Кроме того, на фестивале состоялись встречи, симпозиумы театральных деятелей. На четвертом конгрессе международной ассоциации театральных критиков, проходившем в рамках фестиваля, представители тридцати стран обсудили задачи, стоящие перед театральным искусством.

Закончились съемки фильма «Доктор Юдым», в основу которого лег роман Жеромского «Бездомные люди». Режиссер фильма Влодимеж Хауп в беседе с корреспондентом журнала «Экран» сказал, что работа над фильмом была очень сложной, нелегко экранизировать произведение, которое стало «краеугольным камнем польской литературы двадцатого века».
На снимке: Ян Энглерт в роли доктора Юдыма.

(Журнал «Экран»)

«1001 НОЧЬ» БОЯ-ЖЕЛЕНСКОГО

Под таким заголовком еженедельник «Литература» помещает рецензию на недавно вышедший в Государственном издательском институте последний том театральных рецензий Тадеуша Боя-Желенского (см. «ИЛ» № 12, 1974 г.), который Бой-Желенский так и не успел издать перед войной и который шутливо называл своею «1001 ночью». При захвате гитлеровцами Львова Бой-Желенский в июле 1941 года вместе с другими деятелями культуры был расстрелян.

Рецензент пишет: «Хотя и в последнем томе Бою не изменяют ни его острое перо, ни его проницательность в оценке явлений, однако на всей книге, в отличие от предыдущих, лежит печать усталости, грусти и бессилия, ощущение надвигающейся войны».

Далее рецензент говорит, что за двадцать лет Боем написана не 1001 рецензия, а гораздо больше. Перед читателем встает картина междувоенной театральной Польши, в книге упоминается огромное количество имен людей, создававших и ныне создающих польскую культуру, таких как Аксер, Рудский, Рыбковский, Белицкая, Душинский, Свидерский. Люди, умножившие славу польского театра, тогда только начинали свою карьеру, Бой-Желенский умел предвидеть и открывать все талантливое.

В заключение рецензент выражает сожаление, что такое бесценное свидетельство времени, каким является последний том рецензий Боя-Желенского, выпущен небольшим тиражом.

РУМЫНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Жюри Союза писателей СРР под председательством Титуса Поповича назвало имена лауреатов премий 1974 года.

За поэтические сборники «Элегии» и «Погоня за счастьем» премии удостоен Овидиу Дженару, за сборник «Воздушная твердыня» — поэт Дан Дешлиу. Премиями отмечены романы Франциска Пэнурарю «Лабиринт» и Августина Бузуры «Лики молчания», сборник рассказов Мирчи Хории Симионеску и сборники пьес Константина Кирицэ и Марина Сореску. В списке лауреатов имена критиков Николае Балоте и Аурела Мартина.

ГОРНЯЦКИЙ ФОЛЬКЛОР

Журнал «Вяца ромыняскэ» опубликовал восторженную рецензию поэтессы Вероники Порумбаку на сборник «Горняцких легенд», записанных и выпущенных в свет Анной Шойт в содружестве с И. Илиешем. Эти сказы, собранные в самых различных уголках страны — от Западных Карпат до Добруджи,— составляют, по словам В. Порумбаку, красочную художественную карту мира румынских «подземных кладовых». Вместе с тем они — весомое свидетельство одаренности, духовного богатства их творцов, румынских горняков.

Рядом с легендами в сборнике помещены горняцкие народные песни, большинство которых, по мнению рецензента, отличается высокими художественными достоинствами, позволяющими сравнить их с лучшими образцами румынского фольклора. Тяжелая доля бесправного труженика в мире эксплуатации в старой, досоциалистической Румынии — главная тема этих песен.

«ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ»

Румынская пресса положительно оценила новую кинокомедию «Цыплят по осени считают», снятую М. Молдованом по сценарию прозаика П. Сэкулдяну. «Зрители смеются от души,— замечает рецензент «Контемпоранул» К. Кэлиман,— однако смех этот отнюдь не бездумный».

«Цыплята» — это трое выпускников высшей школы, приехавших на работу в отдаленный уголок страны. Уже в первых эпизодах трудовой самостоятельной жизни им приходится преодолевать не только собственные сомнения, неопытность, но и недоверие крестьян, вызванное поведением мелькнувших здесь прежде дипломированных «летунов». По словам рецензента «Ромыния литерарэ», создатели фильма умело используют богатые возможности жанра кинокомедии для решения сложных нравственных проблем.

Вместе со сценаристом и режиссером успех комедии делят актеры М. Морару, Д. Фурдуй, С. Папаяни, Д. Олтяну и другие.

СЕНЕГАЛ

ПОВТОРНЫЙ ЗАПРЕТ ЦЕНЗУРЫ

В 1971 году фильм «Реу Тлакх» режиссера Махамы Траоре был запрещен сенегальской цензурой. В этом году, после того как он с успехом прошел на биеннале в Австрии, автор снова попытался добиться разрешения на его демонстрацию в Сенегале, но безуспешно.

В фильме рассказывается о молодом американце-негре, который приезжает в Сенегал, чтобы «приобщиться к культуре своих предков». Он читал много книг о победе над колониализмом, о строительстве нового общества, о возрождении культуры. Действительность разочаровывает его. Он видит контрасты между новым городом автомобилей и вилл и старым городом, где ютятся безработные. На каждом шагу он ощущает влияние бывших колонизаторов, а традиционная культура не развивается, служа лишь приманкой для туристов.

Сенегальские студенты, с которыми беседует герой, объясняют ему, что происходит в стране, делятся с ним своими разочарованиями и своими тревогами. Они видят корни всех бедствий в том, что в стране после завоевания независимости возникла своя местная буржуазия, которая тесно связана с Западом.

Фильм кончается сценой посещения острова Горе, откуда отправляли когда-то в Америку рабов. Герою видятся картины прошлых страданий народа, потом мысли его опять возвращаются к современности, он хочет продолжать борьбу за духовное возрождение своего народа.

США

«КУЛЬТ ОБРЕЧЕННОСТИ И ЖЕСТОКОСТИ»

Под таким заголовком была опубликована на страницах американской газеты «Дейли уорлд» статья известного писателя-сценариста Лестера Коула о фильме «День саранчи», снятом голливудской компанией «Парамаунт» по одноименному роману Натаниела Уэста.

Съемки этого грандиозного фильма ужасов, пишет критик, обошлись в шесть с половиной миллионов долларов, картина имела большой коммерческий успех. Комментируя этот факт, а также восторженные отклики буржуазной прессы, Коул, близ-

---

Кадр из фильма «Цыплят по осени считают». В главных ролях—Драга Олтяну-Матей и Себастиан Папаяни.

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

ко знавший автора романа «День саранчи», обращается к подлинной истории и мифам, сложившимся вокруг писателя и его книги.

При жизни Н. Уэста его творчество не пользовалось широкой популярностью. Он принадлежал к литературной элите, его общественный горизонт был крайне узок. Выраженное в его произведениях мироощущение было трагическим, Уэста преследовали мучительные кошмары, он был одержим мыслью о том, что от природы человек жесток. В 1939 году выход романа «День саранчи» приветствовали лишь несколько снобов.

Однако через десять лет после смерти писателя (погибшего в автомобильной катастрофе в 1940 г.) буржуазная критика вспомнила о его книгах и объявила их «пророческими». Апокалипсические фантазии Уэста были истолкованы как выражение духовного убожества современного человека, его стремления к саморазрушению, к уничтожению цивилизации. Голливуд конца 30-х годов, изображенный в в романе «День саранчи», стал символом сюрреалистического, беспредельно жестокого мира психопатов, порвавших все общественные связи и гибнущих во всеобщем хаосе. По своему настроению роман оказался, пишет Коул, необычайно созвучным авангардистскому направлению в современном искусстве.

Кульминацией фильма становится глава романа, в которой дана картина стихийно возникшей волны бесчеловечности: звезды экрана съезжаются на премьеру, полиция с трудом сдерживает возбужденную толпу, слабоумный мальчик, поддавшись всеобщему нервному напряжению, ранит камнем одного из актеров, и невротичный «кумир» в приступе ярости и боли убивает ребенка, инстинкты толпы развязаны, следует всеобщее побоище, нагромождение ужасов.

«Если бы я изобразил в романе тех искренних и честных людей, которые ведут в Голливуде свою великую прогрессивную борьбу,— писал Уэст другу, которому не понравился роман,— само их присутствие непоправимо нарушило бы ту ткань, из которой я создал этот своеобразный полумир». Боясь разрушить этот полумир, пишет Лестер Коул, представитель славной голливудской «десятки», десяти прогрессивных деятелей Голливуда, обвиненных в оскорблении Конгресса США за отказ подчиниться антикоммунистической маккартистской кампании, Уэст пожертвовал ради него целым миром — и реальность лишила жизни его вымысел. Именно в этой узости видения коренится трагизм мироощущения писателя. В ней — причина идейной и художественной слабости этого фильма, который, по словам Коула, не помогает понять ужас подлинной жестокости, а пытается представить ее универсальным явлением в жизни современного человека.

«ВИД НА МОРЕ» ЭДВАРДА ОЛБИ

На Бродвее состоялась премьера новой пьесы Эдварда Олби «Вид на море»; постановку осуществил сам автор. После того как в 1971 году увидела свет драма «Все кончено», действие которой происходило у постели умирающего и которая говорила о бескрайнем пессимизме ее создателя, Олби долго не напоминал о себе. По мнению критиков, новая пьеса свидетельствует об определенных сдвигах в миропонимании Олби, об его отходе от представлений о полной абсурдности и бессмысленности бытия.

«Вид на море» — философская комедия. В ней два акта, тематически взаимосвязанных, но разноплановых по стилю. Первый акт написан в «ранней» манере Олби, отмеченной достоверным изображением повседневной жизни ничем не примечательных людей. Во втором акте господствует стихия гротеска и фантастики, вызывающая ассоциации с драматургией Шоу.

Герои пьесы, пожилая супружеская чета Нэнси и Чарли, живут на морском побережье, и образ моря становится в пьесе ведущим, объединяя оба действия и придавая произведению целостность. Типичные «средние» американцы, Нэнси и Чарли прожили самую обычную жизнь, и серая будничность заполнила собой и их духовный мир. На протяжении первого действия они ссорятся по ничтожным поводам.

Философская тема пьесы намечена уже в этих диалогах, за которыми стоит невысказанный вопрос драматурга: неужели человеческая жизнь должна быть такой мелкой, убогой?

Переход ко второму акту намечен мимоходом брошенной репликой Чарли, что жизнь возникла из моря и, может быть, из его пучин возникнет совсем другое бытие. И когда на сцену являются двое диковинных морских животных и присоединяются к героям, зритель уже подготовлен к этому резкому повороту действия.

Эти животные — Сара и Лесли — свободно говорят по-английски и ведут себя хотя и несколько необычно, но в «рамках правил». Однако они оказываются решительно неспособными понять и принять систему условностей и мнимых ценностей, существующую в том мире, где живут Нэнси и Чарли. Столкновение «морской» и «земной» стихий создает множество комических ситуаций, которые нужны Олби не сами по себе — речь идет о философском осмыслении тех норм и понятий, которые владеют сознанием среднего американца и воспринимаются как противоестественные Сарой и Лесли.

Узнав, что по законам «земли» им надлежит провести остаток дней в заботах о благоденствии детей и непременно охладеть друг к другу, Сара и Лесли решают навсегда покинуть непонятный им людской мир и вернуться в море. Нэнси и Чарли успели полюбить своих гостей и уговаривают их остаться, обещая всеми силами помочь им в трудном процессе «приспособления». Пьеса завершается иронической репликой Чарли: «Ну что ж, попробуем. Начинайте».

Американская критика подчеркивает, что и конфликт пьесы, и ее философский смысл отмечены гораздо большей социальной конкретностью, чем в драмах, написанных Олби в конце 60-х годов, и отдает должное художественному своеобразию нового произведения. В «Сатердей ревью» Генри Хьюз оценивает «Вид на море» как несомненный шаг вперед в творчестве талантливого, но противоречивого драматурга. По мнению Хьюза, успешно прошел и дебют Олби-режиссера. Критик выделяет великолепную — на грани психологической достоверности и гротеска — игру участников премьеры Деборы Керр (Нэнси), Барри Нельсона (Чарли) и Фрэнка Лагеллы (Лесли).

ФРАНЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО. ОТВЕЧАЮТ ПИСАТЕЛИ

Французская коммунистическая партия выступила с «Манифестом в защиту книги», в котором анализируется «кризис чтения» и издательств. Еженедельник Французской коммунистической партии «Франс нувель» опубликовал ответы нескольких французских литераторов на вопросы, которые предложили им корреспонденты еженедельника Ги Конопницки и Клод Прево: каковы отношения между писателями и французским обществом? Как ощущают писатели кризис чтения? Может ли общество обойтись без настоящей литературы?

«Общество в кризисе,— пишет во вступительной заметке Клод Прево. — Это общий кризис, который проявляется во всем. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он распространился на культуру, а в особенности на книгу».

На вопросы «Франс нувель» ответили писатели Ив Наварр, Луи Ури, Жан-Пьер Фай, Раймон Жан, Жан-Клод Монтель, Рено Камю и другие, литературоведы Жан Рикарду и Франс Вернье, известные советским читателям прозаики Бернар Клавель, Роже Шатонё и поэт Ален Боске. Каждый из них говорил о том, что ему ближе всего, рассматривал вопросы еженедельника под собственным углом зрения, однако, суммируя ответы, можно сделать вывод об общей тревоге писателей за судьбы французской литературы, о бедственном и бесправном положении литератора в обществе.

Ален Боске замечает: «Издатель-капиталист думает о собственной прибыли, он не будет публиковать книгу, которую сочтет сложной и неходовой». «Самое необходимое, что нужно сделать для писателей,— пишет молодой прозаик Рено Камю,— это признать за ними статус трудящихся и прежде всего право на социальное обеспечение, в котором им до сих пор отказывают. Двадцать стипендий, которые с этого года будут распределять среди писательской молодежи,— ценная поддержка, но совершенно недостаточная. Большинство французских писателей живут в трудных, ненадежных, несправедливых условиях».

Роже Шатонё на вопрос «Может ли общество обойтись без настоящей литературы?» ответил: «Без литературы нет ни цивилизации, ни общества, может быть лишь примитивная организация людей с низким уровнем сознания. Горе народу, который теряет своих поэтов, горе народу, который перестает мыслить и мечтать. Против него обернутся тогда силы и законы, на которых держится жизнь. В нашу эпоху великой печали и великой надежды история будет беспощадна к капитулянтам и дезертирам мысли, свободу и счастье обретут лишь те, кто, как французские патриоты во времена Сопротивления, последнее слово оставит за разумом».

«КЛОП» МАЯКОВСКОГО НА ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ

Театр сатиры в Вениссьё (пригород Лиона) поставил пьесу В. Маяковского «Клоп». Это — вторая постановка «Клопа» во Франции (первая была осуществлена в 1959 году в театре «Ателье» режиссером Андре Барсаком).

У Театра сатиры есть свой печатный орган, журнал «Пратик театраль э кюльтюрель», выходящий раз в три месяца. В номере журнала, приуроченном к постановке «Клопа», напечатан ряд статей о творческом пути Маяковского, о советской литературе 20-х годов и развитии социализма в СССР. Новый перевод пьесы выполнен группой студентов Института слави-

Сцена из спектакля «Клоп».

Фотография М. Тирогаласа.

стики при университете Клермон-Ферран под руководством известного русиста профессора Жана Перюса.

В беседе с корреспондентом газеты «Юманите» художественный руководитель театра Бруно Карлуччи сказал, что он хотел в работе над «Клопом» опереться на опыт советского театра начиная с В. Мейерхольда, поставившего «Клопа» в 1929 году. «Надо показать связь этой пьесы с советской действительностью, которая вдохновила его и на которую Маяковский хотел воздействовать как коммунист, как поэт. Мы хотим подчеркнуть противоречие, лежащее в ее основе: социализм против капитализма. Маяковский говорил об опасностях и соблазнах мелкобуржуазного духа в определенном историческом контексте, в годы нэпа. Мы можем извлечь отсюда немалые уроки, не поддаваясь легким решениям, не приближая время действия пьесы к нашим дням». Карлуччи сослался на нозую постановку «Клопа» в московском Театре сатиры, получившую высокую оценку в газете «Известия». Он сказал далее:

«Это необыкновенно богатое произведение утверждает неотделимость революции культурной от революции политической. Это — театральное зрелище «с цирком и фейерверком». Чем серьезнее вещь, тем смешнее должен быть спектакль. Маяковский указал точно: это фантастическая музыкальная сатирическая комедия. Мы представим настоящую музыкальную комедию. Мишель Бериар написала для нас отличную «Музыку пожарных», руководствуясь советами, которые Маяковский давал Шостаковичу в 1929 году. Для Театра сатиры эта постановка — большая работа, подтверждение верности поэту, чье творчество, чья мысль осветили наш путь».

ЮАР

РОМАН О «ПОСЛЕДНЕМ ИНОСТРАНЦЕ»

Роман Надин Гордимер «Хранитель», удостоенный в Англии литературной премии «Букер», вызвал широкий отклик американской критики. Общую мысль всех рецензентов книги можно передать словами из статьи П. Теру, опубликованной на страницах «Нью-Йорк таймс бук ревью»: «Когда мы хотим понять новую, независимую Африку, мы обращаемся к книгам этой белой женщины, например, к ее роману «Почетный гость» (1970). Если мы хотим узнать, как чувствуют там себя белые, особенно интеллигенты самых разных настроений, лучшим средством для этого нам послужат ее рассказы «Левингстонские попутчики» (1971). Критика единодушно отмечает оригинальность творчества Надин Гордимер, указывая, что ее книги далеки от распространенных «стереотипов» литературы об Африке.

Большая творческая удача писательницы — герой романа «Хранитель», белый предприниматель, владелец чугунолитейного дела Меринг. Очень богатый и пресыщенный жизнью человек, больше всего в мире он ценит свою загородную виллу, «ферму» с окружающей ее прекрасной землей. На склоне лет Мерингу приятно думать, что его дело вносит большой вклад в развитие местной экономики, что, купив заброшенный живописный уголок африканской земли, он, хранитель существующего в этой стране европейского порядка, стал хранителем этой земли. Меринг убежден, что ведет себя в Африке несравненно благороднее многих белых. Однако, как отмечает в своей рецензии в «Сатердей ревью» М. Гейсмар, еще никогда ирония Гордимер в отношении белого населения Африки не была столь очевидной, ни в одной другой ее книге обреченность белого господства здесь не представала с такой убедительностью, как в романе «Хранитель». Теру в этой связи отмечает, что жалость Меринга к этой земле, его сочувствие Африке, столь распространенное среди европейцев, «всего лишь слабая тень любви».

Сюжетную канву романа составляют воспоминания и размышления Меринга — мысли о несложившейся личной жизни, о взаимоотношениях с местным белым обществом (М. Гейсмар указывает, что в романе немало блестящих сатирических сцен, изображающих жизнь городских верхов). Рецензенты единодушно отмечают, что, хотя действие романа в значительной мере обращено в прошлое, современная Африка предстает в нем реальной, почти физически осязаемой. Еще никогда, пишут критики, Надин Гордимер не писала так ярко о пустынях Намибии и люцерновых полях Трансвааля, о травяных пожарах и разливах рек, угрожающих поглотить ферму Меринга, этого обреченного «иностранца» на африканской земле.

Сегодняшние слуги и рабочие, покорные хозяевам, знают о них гораздо больше, чем белые знают об этой чужой земле. Роман заканчивается безвременной смертью Меринга, но не его похороны становятся важным событием, логически завершающим повествование. На земле, принадлежащей Мерингу, хоронят безвестного африканца. И его оплакивает челядь бывшего белого хозяина, которая остается со своими детьми жить на бывшей земле Меринга — их земле. Прекрасная земля Африки принадлежит африканцам, и их час придет — вот основная мысль романа Н. Гордимер «Хранитель».

Авторы этого номера

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — JAROSŁAW IWASZKIEWICZ (род. в 1894 г.).

Выдающийся польский писатель — поэт, прозаик, драматург и общественный деятель, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», Государственной премии ПНР, которая присуждалась ему трижды, председатель польского Союза писателей, главный редактор журнала «Твурчость».

Советские читатели хорошо знают творчество Я. Ивашкевича. В русском переводе вышли трехтомный роман «Хвала и слава», воссоздающий картину польского общества от кануна первой мировой войны до изгнания с польской земли фашистских оккупантов, исторический роман «Красные щиты», монографическая книга «Шопен», неоднократно выходили сборники его избранной прозы и поэзии, куда, в частности, вошли повести «Влюбленные из Мароны», «Девушка и голуби», «Панны из Вилко», «Мать Иоанна от Ангелов», «Мельница на Лютыне», пьеса «Лето в Ноане» и другие произведения. Его стихи и проза публиковались также в «Иностранной литературе».

Эссе Я. Ивашкевича «Сады» («Ogrody»), предлагаемое вниманию читателя, было напечатано в одноименном сборнике, вышедшем в 1974 году («Ogrody», Warszawa, Czytelnik, 1974).

■

МИЛАН РУФУС — MILAN RÚFUS (род. в 1928 г.).

Словацкий поэт, лауреат государственной премии имени Клемента Готвальда. (О нем и его творчестве — в предисловии О. Малевича.)

Публикуемые стихи взяты из сборника «Стол бедных» («Stôl chudobných», Bratislava, Slovenský spisovatel, 1972).

■

АЛЕН БОСКЕ — ALAIN BOSQUET (род. в 1919 г.).

Французский поэт, романист, эссеист. Уроженец Одессы, он ребенком был увезен родителями в Болгарию, потом в Брюссель, где получил философское образование. Во время второй мировой войны служил сначала в бельгийской, потом во французской армии. После поражения Франции уехал в США. В Нью-Йорке работал в газете «Вуа де Франс», печатался в эмигрантских журналах, выпустил первые сборники стихов. Вступив в американскую армию, участвовал в высадке союзных войск в Нормандии, прошел с войсками до Эльбы и несколько лет прослужил в союзнической администрации в Германии. Выйдя в отставку в 1951 г., он поселился в Париже и посвятил себя литературному творчеству.

Его перу принадлежат пять романов, много сборников стихов, эссе о поэзии и живописи, статьи и рецензии. Книга стихов «Жизнь ушла в подполье» («La vie est clandestine», 1945) отразила участие поэта в борьбе против фашизма. В последние годы А. Боске выпустил поэтические сборники «Сто примечаний к одному одиночеству» («100 notes pour une solitude», 1970), «Примечания к одной любви» («Notes pour un amour», 1972), «Слово «народ» («Le mot peuple», 1974).

Предлагаемые читателю стихи взяты нами из сборника «Второе завещание» («Deuxième Testament», 1959).

■

КУДИНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (род. в 1922 г.).

Советский поэт и переводчик. Автор трех книг стихов для детей. В его переводе опубликованы сборники стихов французских и бельгийских поэтов: Гийома Аполлинера, Блэза Сандрара, Жака Превера, Робера Десноса, Рэмона Кено, Жана Тардье, Андре Френо, Мориса Карема. Составитель и переводчик антологического издания «Из современных французских поэтов», куда вошли его переводы стихов 32 авторов. Переводы из Жерара де Нерваля опубликованы в нашем журнале (№ 1, 1974).

■

ХАНС ЛИДМАН — HANS LIDMAN (род. в 1910 г.).

Шведский писатель. Автор многих книг, некоторые из них переведены на европейские языки. В русском переводе вышла книга «В лесах бескрайних». (Подробнее о нем — во вступительной статье В. Якуба.)

Предлагаемые читателю рассказы Ханса Лидмана были напечатаны в книге «Звезда Лапландии» («Lapplands stjerne», Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1971).

■

МОТЫЛЕВА ТАМАРА ЛАЗАРЕВНА.

Советский литературовед, доктор филологических наук, профессор. Автор книг: «Мировое значение Л. Н. Толстого» (1957), «Творчество Ромена Роллана» (1959), «Иностранная литература и современность» (1961), «Зарубежный роман сегодня» (1966), «Роман Анны Зегерс «Седьмой крест» (1970), «Достояние современного реализма» (1973), «Первый антифашистский роман» (1974) и др.

■

ЧЕРКАССКИЙ ЛЕОНИД ЕВСЕЕВИЧ (род. в 1925 г.).

Советский китаист и литературовед, поэт-переводчик, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения АН СССР. Автор книг: «Поэзия Цао Чжи» (1963), «Новая китайская поэзия» (1972), ряда статей по истории китайской литературы. Издал сборники поэтических переводов китайской классической поэзии и поэзии нашего времени: «Семь печалей» (1962), «Красный прибой» (1964), «Дождливая аллея» (1969), «Пятая стража» (1975) и др.

■

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС (род. в 1924 г.).

Греческий писатель. На русский язык переведены его романы: «Ночи и рассветы», «Горы», сборники рассказов «Парфенон освещается», «Суд», «К звездам», «Будьте счастливы». В нашем журнале напечатаны очерк «Суд над убийцами Ламбракиса» (№ 9, 1967), статья «Греция: фашизм и судьбы прогрессивной культуры» (№ 6, 1968).

М. Александропулосу принадлежит перевод на греческий язык «Слова о полку Игореве», кроме того, он — автор книги путевых заметок «От Москвы до Москвы». В 1975 г. в Афинах вышла его книга «Пять русских классиков» — сборник эссе о Пушкине, Гоголе, Достоевском, Толстом, Белинском.

Статья «Яннис Рицос сегодня» получена от автора в рукописи.

■

АНТАЛ ГИДАШ — HIDAS ANTAL (род. в 1899 г.).

Венгерский поэт, романист, эссеист, переводчик. Лауреат премии имени Кошута. Имя А. Гидаша давно известно в нашей стране, его стихи неоднократно выходили отдельными сборниками («Сад моей тетушки», «Улица Жасмина» и др.), печатались в журналах. На русский язык переведены романы А. Гидаша — «Господин Фицек», «Мартон и его друзья», «Другая музыка нужна», книга «Шандор Петефи».

А. Гидашем переведены на венгерский язык многие произведения русской и украинской литературы.

■

МАЙК ДЭВИДОВ — MIKE DAVIDOV (род. в 1913 г.).

Американский журналист и драматург. Автор ряда пьес, одна из которых, «Долгая жизнь» («Long Life»), удостоена литературной премии. В течение нескольких лет был московским корреспондентом газеты американских коммунистов «Дейли уорлд».

«Письмо к советским друзьям из «свободного» мира» получено в рукописи.

ВАЦЛАВ САДКОВСКИЙ — WACŁAW SADKOWSKI (род. в 1933 г.).

Польский литературный критик, эссеист, главный редактор польского журнала «Литература на свете» («Literatura na świecie»). Автор работ «Исследование и комментарий. Заметки рецензента» («Penetracje i komentarze. Notatnik recenzenta», 1960—1965), «Дороги и перепутья западной литературы» («Drogi i rozdroża literatury Zachodu», 1968), сборника эссе о литературе англоязычных стран «Взаимопроникновение» («Kręgi współnoty», 1972). В нашем журнале была напечатана его статья «В борьбе за социалистическую культуру» (№ 5, 1974).

Рецензия «Путь к партии» получена в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (и. о. отв. секретаря), **С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 23/VII 1975 г. А04998. Подписано к печати 16/IX 1975 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л. 18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 28,27.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5, в типографии № 2 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев, Анри Барбюса, 51/2. Тираж 585.000 экз. (1-й завод 1—150.000 экз.). Зак. 1089.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К нашим читателям

В 1976 ГОДУ РЕДАКЦИЯ
ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ:

КРИСТИАН БАРНАРД,
ЗИГФРИД СТАНДЕР (ЮАР)
Нежелательные элементы

ДЖЕЙМС ДЖОЙС (Ирландия)
Портрет художника в юности

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ (Польша)
Переплывешь реку

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР (Куба)
Средство от метода

АЛЬФОНСО ЛОПЕС МИКЕЛЬСЕН
(Колумбия) Избранные

ЭМИЛЬ МАНОВ (Болгария)
Сын директора

ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ (Венгрия)
Загадка Прометея

Р. К. НАРАЙАН (Индия)
Мои дни

ТОРНТОН УАЙЛДЕР (США)
Теофилиус Норт

ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ,
ТОНИО ГУЭРРА (Италия)
Амаркорд